ИЗЪ
ЖИЗНИ ИДЕЙ.

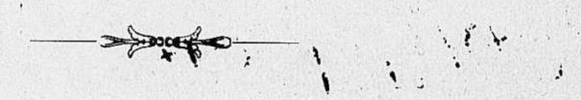
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЯ СТАТЬИ

ПРОФ. С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

Ѳ. ЗѢЛИНСКАГО

ТОМЪ ВТОРОЙ

ДРЕВНІЙ МІРЪ И МЫ



С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Типографія М. М. Стасюлевича. Вас. остр., 5 л., 28
1911

ДРЕВНІЙ МІРЪ
И
МЫ.

ЛЕКЦІИ

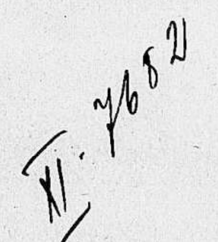
ЧИТАННЫЯ УЧЕНИКАМЪ ВЫПУСКНЫХЪ КЛАССОВЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ГИМНАЗІЙ И РЕАЛЬНЫХЪ УЧИЛИЩЪ ВЕСНОЙ 1903 г.

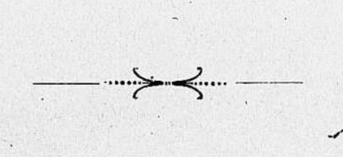
ПРОФЕССОРОМЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

Ѳ. ЗѢЛИНСКИМЪ

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

СЪ ПРИЛОЖЕНІЯМИ





С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. остр., 5 л., 28
1911

4178

ПРЕДИСЛОВІЕ

КО ВТОРОМУ ИЗДАНІЮ.

Лекціи о древнемъ мірѣ, составляющія ядро настоящей книги, были мною прочитаны, по приглашенію начальства С.-Петербургскаго учебнаго округа, ученикамъ выпускныхъ классовъ С.-Петербургскихъ гимназій и реальныхъ училищъ весной 1903 г.; въ теченіе лѣта того же года онѣ были напечатаны въ Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія, а осенью появились и отдѣльнымъ изданіемъ. Несмотря на тяжелыя времена, наступившія вскорѣ затѣмъ для всей Россіи, несмотря на крайне враждебное отношеніе къ моей книгѣ, съ одной стороны, большинства органовъ печати, а съ другой— Ученаго Комитета, признавшаго ее не заслуживающей допущенія въ библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній:—несмотря на всѣ эти неблагопріятныя обстоятельства, книга въ теченіе года почти разошлась. Этимъ было доказано, что общество вовсе не такъ несочувственно относится къ тому, что̀ было ея руководящей идеей; я счелъ, поэтому, своимъ долгомъ позаботиться о новомъ ея изданіи.

Въ этомъ второмъ изданіи книга назначена уже непосредственно для общества. Форма обращенія къ выпускнымъ учени-

камъ, правда, удержана; она никому не мѣшаетъ, и мнѣ не хотѣлось, разрушая ее, разрушить память о часахъ, которые я причисляю къ лучшимъ въ моей жизни. Но при всемъ томъ я повторяю: книга назначается для общества. Я глубоко убѣжденъ, что *возрожденіе русской классической школы, необходимое въ интересахъ русской культуры, наступитъ тогда, когда само общество убѣдится въ его необходимости*. Близокъ ли этотъ часъ? Я не знаю. Но этотъ вопросъ и его возможное рѣшеніе не могли и не должны были вліять на мое отношеніе къ моей задачѣ. Возвращеніе общества къ классической школѣ будетъ результатомъ пробужденія истины; а ея пробужденію нельзя содѣйствовать разсчетами политики, тѣми самыми, которыми она была погружена въ сонъ. Въ противоположность къ нимъ я рѣшилъ неукоснительно слѣдовать истинѣ, нимало не заботясь объ успѣхѣ моей книги въ цѣломъ или въ частяхъ.

Семь экскурсовъ, которыми я дополнилъ настоящее второе изданіе — очень разнородные по формѣ и содержанію — отчасти уже были раньше мною напечатаны, а именно:

экск. IV — въ „Сѣверномъ Курьерѣ“ 26 нб. 1900 г.,
„ V — въ „Филологическомъ Обозрѣніи“ VII (1894),
„ VI — въ „Трудахъ Высочайше учрежденной Коммиссіи по вопросу объ улучшеніяхъ въ средней общеобразовательной школѣ“ VI.

Относительно пятаго (о чтеніи судебныхъ рѣчей Цицерона въ гимназіи) замѣчу, что онъ имѣетъ значеніе лишь образца — образца того, какъ слѣдуетъ одухотворять чтеніе авторовъ въ гимназіи сообразно со сказаннымъ на стр. 64 сл. объ универсализмѣ занятій античностью. Принципы, развитые мною въ этомъ экскурсѣ въ области чтенія судебныхъ рѣчей, я примѣнилъ на дѣлѣ въ своемъ изданіи „рѣчи Цицерона за Верреса“ (5 кн.), появившемся въ собраніи Л. А. Георгіевскаго и

С. А. Манштейна (2-е изд. 1896). Ту же цѣль, въ области чтенія историковъ и трагиковъ, преслѣдуютъ мои изданія 21-й книги Ливія (4-е изд. 1904), „Царя Эдипа“ (2-е изд. 1896) и „Трахинянокъ“ Софокла (1898 тамъ же). Вмѣстѣ взятыя, эти четыре изданія составляютъ мой посильный вкладъ въ то, что̀ я называю въ своихъ лекціяхъ „школьною античностью“; могу ли я надѣяться, что тѣ, которые отнеслись скептически къ моимъ разсужденіямъ объ универсализмѣ этой школьной античности, сочтутъ своимъ долгомъ хоть самымъ поверхностнымъ образомъ ознакомиться съ этими изданіями?

Первые три экскурса, объединенные своей полемической формой, составляютъ и по содержанію одно цѣлое; особенно это касается второго и третьяго. Только вмѣстѣ взятые они, подобно парнымъ стереоскопическимъ снимкамъ, даютъ правильное и выпуклое представленіе о воззрѣніяхъ автора — о той „серединной тропѣ“ правды и разума, которой онъ по мѣрѣ своихъ силъ старается слѣдовать. Смѣю, однако, увѣрить, что ихъ полемическая форма является именно только формой; по содержанію они столь же положительны, какъ и всѣ прочія составныя части настоящей книги.

Особнякомъ стоитъ седьмой и послѣдній экскурсъ: я хотѣлъ въ немъ представить синтезъ того, что̀ я, какъ истолкователь древняго міра, имѣю передать тѣмъ, для кого я работаю. Я хотѣлъ его первоначально озаглавить „моимъ друзьямъ“, разумѣя подъ послѣдними не однихъ только моихъ личныхъ друзей, но и всѣхъ тѣхъ, кто, подобно мнѣ, признаетъ обязательнымъ для себя „кодексъ чести мыслителя“ (см. стр. 91). Послѣ нѣсколькихъ метаморфозъ онъ вылился, въ силу художественныхъ соображеній, въ настоящую свою форму. Такъ-то я лишній разъ убѣдился, что отъ автора зачастую зависитъ только рѣшеніе, писать ли книгу или не писать ее; разъ рѣшеніе принято — она пишется сама и принимаетъ ту форму,

которую должна принять по внутренней необходимости. Въ этомъ — особый смыслъ извѣстной поговорки habent sua fata libelli; и, пожалуй, самый глубокій и „роковой“ ея смыслъ.

Со всѣмъ тѣмъ, я сознаю, что этотъ экскурсъ—для очень немногихъ; но эти немногіе — въ то же время тѣ, которые мнѣ дороже всѣхъ. Знай я, кто они и гдѣ они — я бы имъ прямо послалъ его, „на правахъ рукописи“; но нѣтъ — мнѣ приходится искать ихъ между многими. Прошу, поэтому, остальныхъ поступить съ нимъ точно такъ же, какъ они поступаютъ съ письмами, не имъ написанными и случайно и ненарокомъ попавшими къ нимъ въ руки: т.-е., убѣдившись въ непринадлежности, прекратить чтеніе и забыть о содержаніи прочитаннаго. Для того этотъ экскурсъ и напечатанъ послѣднимъ, съ нечетной страницы, чтобы его можно было отрѣзать, не портя книги.

Впрочемъ, сказанное только-что объ этомъ экскурсѣ—что онъ долженъ искать своихъ читателей — относится въ значительной степени и ко всей книгѣ. Скажу напрямикъ: моя книга — книга ищущая. Я знаю, она найдетъ тѣхъ, кого ищетъ; въ этомъ меня убѣждаетъ нежданный успѣхъ ея перваго изданія. Но гдѣ она ихъ найдетъ? Одно ясно: не среди направленцевъ, не среди готовыхъ и непереубѣдимыхъ, не среди тѣхъ, къ которымъ направленская ливрея прилипла, какъ Нессовъ плащъ: о, нѣтъ—на нихъ я давно махнулъ рукой, какъ и они на меня. Но гдѣ же? Отвѣчу: среди тѣхъ, которые ищутъ сами; моя книга—книга для ищущихъ.

Ѳ. Зѣлинскій.

С.-Петербургъ, Апрѣль 1905.

ПРЕДИСЛОВІЕ

КЪ ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНІЮ.

Въ настоящемъ изданіи коренная статья „Древній міръ и мы“ перепечатана безо всякихъ измѣненій. Истекшее шестилѣтіе принесло ей немало хорошаго: помимо продолжающагося сочувствія русской публики, она была переведена на пять иностранныхъ языковъ — нѣмецкій, французскій, англійскій, чешскій и итальянскій, причемъ первый изъ этихъ переводовъ успѣлъ уже появиться третьимъ изданіемъ [1]).

Главнымъ образомъ, подъ вліяніемъ этого ряда успѣховъ я рѣшилъ пропустить въ настоящемъ изданіи всѣ экскурсы (кромѣ послѣдняго), которыми было дополнено второе. Ихъ ядромъ были второй и третій, полемическіе по формѣ, хотя и положительные по содержанію. Они были обращены противъ противниковъ слѣва и справа, изъ коихъ первый, къ сожалѣнію, выбылъ изъ ряда живыхъ, второй вообще никогда въ немъ не состоялъ и былъ мною прихваченъ скорѣе по стереоскопическимъ соображеніямъ. Но главное, повторяю — мое желаніе избѣгнуть въ этомъ изданіи всякой полемики. А впрочемъ, я

---

[1]) Die Antike und wir. Deutsch von Schoeler (Leipzig 1905. 3-tte Aufl. 1911). — Le monde antique et nous. Trad. par E. Derume (Bruxelles 1909). — Our debt to antiquity. Transl. by H. A. Strong and Hugh Stewart (London 1909). — Stary svět a my. Prel. Fr. Novotny (Praha 1910). — L'Antico e noi (Firenze 1910).

отъ сказаннаго ни въ одномъ пунктѣ не отрекаюсь; второе изданіе съ его экскурсами не сметено съ лица земли, и я по прежнему думаю, что ихъ съ пользою для себя прочтутъ и начинающіе педагоги, и среднихъ лѣтъ публицисты, и бюрократы генеральскаго чина и возраста.

Я даже охотно освободилъ бы и коренную статью отъ тѣхъ немногихъ полемическихъ мѣстъ, которыя въ ней имѣются; но для этого пришлось бы произвести слишкомъ крупныя измѣненія. Прошу поэтому читателя помнить, что она была написана въ 1903 году.

Взамѣнъ устраненныхъ экскурсовъ я, идя на встрѣчу высказаннымъ критикой пожеланіямъ, дополнилъ коренную статью другими, появившимися раньше въ разныхъ журналахъ, но не включенными въ другіе томы моего сборника. Это слѣдующія:

1) Вильгельмъ Вундтъ и психологія языка („Вопросы философіи и психологіи" 1902, январь—мартъ).

2) Художественная проза и ея судьба („Вѣстникъ Европы" 1898 ноябрь).

3) Уголовный процессъ двадцать вѣковъ назадъ („Право" 1901 № 7 и 8).

4) Характеръ античной религіи въ сравненіи съ христіанствомъ („Русская Мысль" 1908 февраль).

5) Памяти И. Ѳ. Анненскаго („Аполлонъ" 1910 январь).

Ѳ. Зѣлинскій.

С.-Петербургъ, январь 1911.

ЛЕКЦІЯ ПЕРВАЯ.

Введеніе: Постановка задачи.—Три антитезы.—Vox populi—vox Dei.—Большое и малое «я» общества.—Общественное мнѣніе и соціологическій подборъ.—*Первая антитеза:* образовательное значеніе античности.—Данныя историческаго опыта.—Зацѣпки.—Гетерогенія цѣлей.—Эволюція классическаго образованія.—Критеріи образовательной силы предметовъ: психологія и психологическое науковѣдѣніе. — Смыслъ сочетанія: «образовательное значеніе». — Принципъ профессіональный и принципъ образовательный.—Назначеніе средней образовательной школы.

Моя задача—выяснить вамъ, насколько это позволятъ время и силы, значеніе той области знанія, представителемъ которой я состою при нашемъ университетѣ и которую я, ради краткости, буду просто называть *античностью*. Задачу эту можно рѣшить въ трояком направленіи, соотвѣтственно троякому значенію самой античности. Она, во-первыхъ, является предметомъ науки, которую принято—несовсѣмъ правильно—называть классической филологіей; она, во-вторыхъ, представляетъ собою элементъ умственной и нравственной культуры современнаго европейскаго общества; она, въ-третьихъ—и это ея значеніе для васъ самое близкое—входитъ въ составъ учебныхъ предметовъ привилегированнаго типа средней школы, такъ называемой классической гимназіи. Каждая изъ этихъ трехъ точекъ зрѣнія открываетъ намъ новую сторону античности; но по отношенію къ каждой изъ нихъ посвященный въ дѣло человѣкъ бываетъ вынужденъ отстаивать мнѣніе, діаметрально противоположное тому, которое стало ходячей

монетой въ современномъ и спеціально въ русскомъ интеллигентномъ обществѣ. Дѣйствительно, о классической филологіи общество привыкло думать, что она—наука вдоль и поперекъ изслѣдованная, не представляющая болѣе интересныхъ задачъ для творческой работы; знатокъ же дѣла вамъ скажетъ, что теперь она интереснѣе, чѣмъ когда-либо, что вся работа предъидущихъ поколѣній была лишь подготовительной, была лишь фундаментомъ, на которомъ мы только теперь начинаемъ возводить настоящее зданіе нашей науки, что новыя проблемы, манящія къ изслѣдованію и рѣшенію, намъ встрѣчаются на каждомъ шагу нашего научнаго поприща. Затѣмъ, по отношенію къ античности, какъ элементу современной культуры, общество усвоило мнѣніе, что она играетъ въ ней ничтожную роль, будучи давнымъ давно превзойдена успѣхами новѣйшей мысли; знатокъ же дѣла вамъ скажетъ, что мы въ своей умственной и нравственной культурѣ никогда еще не стояли такъ близко къ античности, никогда такъ въ ней не нуждались, но и такъ не были приспособлены понимать и воспринимать ее, какъ именно теперь. Наконецъ, по отношенію къ античности, какъ элементу образованія, большинство общества склонно полагать, что это—какой-то странный пережитокъ, неизвѣстно почему и какимъ образомъ сохраненный въ современной школѣ и подлежащій скорѣйшему и окончательному упраздненію; знатокъ же дѣла, опять-таки, вамъ скажетъ, что античность по самому существу своему, въ силу условій какъ историческаго, такъ и психологическаго характера, является органическимъ элементомъ образованія европейскаго общества, и что окончательно упразднена она будетъ не иначе, какъ съ упраздненіемъ всей современной европейской культуры.

Таковы наши три антитезы; согласитесь, что болѣе рѣзкихъ и представить себѣ нельзя. И я боюсь, что именно наличность этихъ антитезъ можетъ васъ смутить и возбудить ваше недовѣріе къ тому, что̀ я имѣю вамъ сказать; а такъ какъ предвзятое недовѣріе аудиторіи къ лектору заранѣе уничтожаетъ возможное дѣйствіе его словъ, то позвольте мнѣ сдѣлать попытку устранить его, поскольку оно вообще устранимо воздѣйствіемъ разума. Въ самомъ дѣлѣ, я представляю себѣ съ вашей стороны возраженіе въ родѣ слѣдующаго: „да развѣ уже изъ самаго состава борющихся сторонъ не ясно, кто правъ и кто виноватъ? развѣ можетъ быть правъ вопреки мнѣнію совокупности общества тотъ единоличный «знатокъ дѣла», о которомъ вы говорите и подъ которымъ вы, вѣроятно, разумѣете самого себя, г. лекторъ? Оставимъ въ сторонѣ классическую филологію: она для общества неинтересна, и оно имѣетъ поэтому право ея не знать; но античность, какъ элементъ культуры, античность, какъ факторъ образованія—развѣ можно допустить, чтобы общество ошибалось въ рѣшеніи такихъ насущныхъ, такъ близко его касающихся вопросовъ? Не даромъ же и въ пословицѣ сказано: vox populi—vox Dei!“

Тутъ я могъ бы сдѣлать оговорку—и довольно существенную—по отношенію къ этой «совокупности общества», о которой намъ такъ много говорятъ; но это не такъ важно. Пусть будетъ по-вашему: я все-таки не могу согласиться, чтобы вы къ этой дѣйствительной или мнимой совокупности примѣняли пословицу о vox populi, такъ какъ противъ этого примѣненія громогласно протестуетъ исторія всѣхъ временъ. Вспомните о томъ, какъ римское общество требовало на арену первыхъ христіанъ, вспомните объ остервенѣніи общества противъ еретиковъ въ Испаніи или противъ вѣдьмъ въ Германіи, вспомните о той единодушной поддержкѣ, которую долгое время находили въ обществѣ такіе институты, какъ рабство негровъ въ Америкѣ или крѣпостное право у насъ—и вы согласитесь, что очень часто vox populi бываетъ поистинѣ vox diaboli, а не Dei. Мы въ настоящее время не только осуждаемъ такія проявленія общественной воли,—мы, что̀ также не худо, безстрастно ихъ объясняемъ, обнаруживая причины, которыя во всѣхъ указанныхъ случаяхъ заставляли общество неправильно судить о своихъ собственныхъ потребностяхъ. И здѣсь возможно то же самое, и здѣсь мы можемъ—и это войдетъ, если дозволитъ время, въ составъ моей послѣдней лекціи—анализировать смыслъ недоброжелательнаго отношенія современнаго общества къ античности, выдѣлить ту роль, которую въ немъ сыграло добросовѣстное и непроизвольное заблужденіе, отъ той, въ которой мы должны признать проявленіе сознательнаго обмана. Теперь моя цѣль другая: я вѣдь хотѣлъ только расшатать въ васъ увѣренность—если таковая есть—въ непогрѣшимости

общественнаго мнѣнія, хотѣлъ протестовать противъ злоупотребленія поговоркой vox populi—vox Dei.

А каковъ правильный смыслъ этой поговорки, это я разовью вамъ тотчасъ. Не въ оглушительномъ крикѣ, который такъ часто бываетъ выраженіемъ взбудораженныхъ страстей, должны мы признать гласъ Божій, а въ томъ тихомъ и безстрастно повелительномъ голосѣ таинственной воли, который указываетъ человѣчеству пути его культурнаго развитія. Съ незапамятныхъ временъ, когда физіологіи пищеваренія и органической химіи еще и въ поминѣ не было, этотъ голосъ указалъ человѣку на хлѣбъ, какъ на ту пищу, пользуясь которой онъ можетъ достигнуть наивысшаго возможнаго для него совершенства. Въ этомъ голосѣ древніе греки, умѣвшіе удивляться тому, что поистинѣ удивительно, признали взаправду голосъ Божій — голосъ своей богини Деметры; современная біологія, не признающая метафизики... или, правильнѣе говоря, вводящая вмѣсто прежней, теологической метафизики, свою собственную, біологическую—видитъ въ немъ дѣйствіе открытаго ею *закона подбора*, совершенно аналогичнаго тому, который и всякой скотинѣ указалъ наиболѣе свойственную ей пищу. Да, господа, законъ подбора—подбора естественнаго, который тамъ, гдѣ его субъектомъ является человѣческое общество, носитъ названіе соціологическаго подбора — вотъ настоящая vox populi, vox Dei.

Теперь спросимъ себя: каково же отношеніе этого подбора къ интересующему насъ вопросу—вопросу о роли античности въ образованіи молодежи, или, короче говоря, къ тому, что мы называемъ классическимъ образованіемъ?—А таково это отношеніе, что вотъ теперь, черезъ полторы почти тысячи лѣтъ послѣ паденія Рима и болѣе чѣмъ двѣ тысячи лѣтъ послѣ паденія Греціи, мы все еще споримъ о томъ, должны ли ихъ языки занимать центральное мѣсто въ образованіи молодежи или нѣтъ. Согласитесь, господа, что это единодушное свидѣтельство вѣковъ—гораздо болѣе знаменательный фактъ, чѣмъ эфемерный вердиктъ современнаго намъ общества, даже если бы его единодушіе было менѣе фиктивно, чѣмъ оно есть. Вспомните картину, представляемую нашей Невой, когда дуетъ роковой для насъ югозападный вѣтеръ: волны совершенно

явственно направлены на востокъ, кажется, что рѣка вспять потекла, обратно къ Ладожскому озеру—и тѣмъ не менѣе вы знаете, что каждая капля этого озера въ силу незримаго, но очень реальнаго естественнаго теченія рѣки попадетъ въ Финскій заливъ, и что единственнымъ результатомъ того встрѣчнаго теченія, вызваннаго вѣтромъ, будетъ кратковременное наводненіе въ Галерной гавани. То же самое и въ обществѣ и общественномъ мнѣніи: и въ немъ вы имѣете не одно теченіе, а два. Одно—это то, въ которомъ оно отдаетъ себѣ отчетъ, бурное, крикливое, капризное, производящее всякаго рода наводненія и другія бѣдствія; другое—то, существованія котораго оно не подозрѣваетъ—тихое, безмолвное и повелительное. Два теченія—или, если хотите, двѣ души, два *я*; и къ обществу можно примѣнить то разграниченіе, которое Фр. Ницше остроумно установилъ для отдѣльныхъ его единицъ, различая ихъ «малое я», сознательное и сравнительно легковѣсное, отъ ихъ подсознательнаго, но властно управляющаго ихъ развитіемъ «большого я». Тотъ неблагопріятный для классическаго образованія вердиктъ современнаго общества, который вы склонны противопоставить моему якобы единоличному мнѣнію—онъ вынесенъ не имъ, этимъ обществомъ, а только его малымъ *я*; конечно, мнѣ, какъ единицѣ, это малое *я* можетъ причинить, и дѣйствительно причиняетъ, не мало непріятностей; но для меня, какъ мыслителя, историка, оно никакого авторитета не имѣетъ. Какъ таковой, я обязанъ прислушиваться не къ его голосу, а къ голосу того таинственнаго большого *я*, которое управляетъ его судьбой. И вотъ тутъ-то я слышу нѣчто совершенно другое. Малое *я* современнаго общества твердитъ на всѣ лады: „долой классическое образованіе!“; большое *я*, напротивъ, говоритъ намъ: „берегите его пуще зѣницы ока!“ Или, вѣрнѣе, оно намъ этого даже и не говоритъ: оно само его бережетъ, вотъ уже 15—20 вѣковъ, несмотря на постоянные протесты своего собственнаго малаго *я*, и сбережетъ его, будьте въ этомъ увѣрены, и впредь.

Впрочемъ, этотъ благопріятный для античности результатъ получился у насъ лишь мимоходомъ, его придется подробнѣе обосновать въ дальнѣйшемъ; не придавайте ему пока значенія и замѣтьте лишь то, что я сказалъ вамъ о двухъ теченіяхъ

общественной жизни и объ ихъ сравнительной цѣнности. А теперь приблизимся къ темѣ. Я выставилъ съ первыхъ словъ положеніе о трояко̀мъ значеніи античности: чисто научномъ, культурномъ и образовательномъ; въ нашей бесѣдѣ, однако, порядокъ будетъ иной; мы начнемъ съ того, что̀ касается васъ всѣхъ, и кончимъ тѣмъ, что̀ непосредственно касается или, вѣрнѣе, коснется лишь немногихъ изъ васъ. Итакъ, *въ чемъ заключается образовательное значеніе античности?*

Допустимъ, прежде всего, что на этотъ вопросъ мнѣ пришлось бы отвѣтить: „не знаю“ — или что мой отвѣтъ васъ не удовлетворитъ; что̀ бы отсюда слѣдовало?

Еще раньше, развивая вамъ смыслъ закона соціологическаго подбора, я, ради иллюстраціи, указалъ на то замѣчательное его проявленіе, въ силу котораго хлѣбъ сталъ основной пищей культурнаго человѣка; теперь позвольте мнѣ воспользоваться этой иллюстраціей для одной картины или притчи, которая, впрочемъ, уже разъ сослужила мнѣ службу въ сходномъ случаѣ. Представимъ себѣ, что въ тѣ времена, когда склонны были относиться къ организму человѣческаго тѣла, какъ къ механизму, въ эпоху Гельвеція и Ламеттри, была бы созвана комиссія съ цѣлью реформы физическаго питанія человѣка. Ораторы-противники традиціонной системы питанія нарисовали бы, первымъ дѣломъ, мрачную картину физическаго состоянія современнаго человѣка: живетъ онъ много-много 60—70 лѣтъ, между тѣмъ какъ природа положила ему жить 200 лѣтъ (таково было, къ слову сказать, позднѣе мнѣніе Гуфеланда), да и это незначительное число лѣтъ — какъ онъ ихъ живетъ? Онъ бываетъ слабъ, некрасивъ, быстро старится; а сколько больныхъ, этихъ «неудачниковъ» физической жизни! и т. д. Отчего все это? Оттого, что онъ нераціонально питается. Пища должна обновлять человѣческое тѣло; а между тѣмъ въ составъ нашей пищи входятъ большею частію вещества, ненужныя тѣлу и потому имъ, какъ вполнѣ безполезныя, снова выдѣляемыя. Тѣлу нужны: мясо, кровь, жилы, кости, мозгъ и т. д.; между тѣмъ, мы даемъ ему почти исключительно растительную пищу, въ которой главную роль играетъ хлѣбъ. Вредъ хлѣба заключается уже въ томъ, что онъ совершенно заслоняетъ другія, дѣйствительно питательныя вещества; а чтобы убѣдиться въ его безполезности, достаточно взглянуть на человѣческое тѣло. Развѣ изъ тѣста состоятъ наши руки, ноги, голова, легкія и т. д? Нѣтъ. А изъ чего же? Изъ крови, мяса, жилъ, костей и т. д. Итакъ, дайте намъ реальное питаніе, которое соотвѣтствовало бы составу нашего тѣла; дайте намъ единую общепитательную пищу, содержащую въ гармонической, уравновѣшенной смѣси все нужное для обновленія нашего физическаго *я*, — кровь, мясо, кости, жилы и т. д. Тогда не будетъ неудачниковъ физической жизни; тогда человѣкъ будетъ жить двѣсти лѣтъ, оставаясь молодымъ долѣе, чѣмъ онъ нынѣ вообще живетъ и т. д.

Что̀ могъ бы возразить противъ этой рѣчи защитникъ традиціонной системы питанія? Что̀ могъ бы онъ отвѣтить, если бы отъ него потребовали, чтобы онъ доказалъ питательное значеніе хлѣба? — Въ настоящее время, разумѣется, возможенъ отвѣтъ, вполнѣ удовлетворительно разрѣшающій всѣ затрудненія: съ одной стороны, физіологія выяснила процессъ пищеваренія во всѣхъ его подробностяхъ; съ другой, — органическая химія анализировала потребляемую нами пищу во всѣхъ ея составныхъ частяхъ. При помощи химіи мы можемъ доказать, что хлѣбъ содержитъ всѣ или почти всѣ нужныя для обновленія нашего тѣла вещества; при помощи физіологіи мы показываемъ, какимъ образомъ нашъ организмъ ихъ ассимилируетъ. Но вѣдь мы предполагаемъ эпоху, когда процессъ пищеваренія былъ извѣстенъ лишь очень несовершенно, органическая же химія вовсе не была извѣстна; итакъ, повторяю, что̀ могъ бы отвѣтить защитникъ традиціонной системы питанія представителю діэтетическаго авантюризма? — Я думаю, вотъ что̀. „Вы спрашиваете, въ чемъ состоитъ питательное значеніе хлѣба и растительной пищи вообще; я этого не знаю. Но фактъ тотъ, что принявшіе нашу систему питанія народы суть вмѣстѣ съ тѣмъ и народы-носители цивилизаціи, между тѣмъ какъ по вашей теоріи питаются только самые грубые изъ дикарей; фактъ тотъ, далѣе, что цивилизованные народы все размножаются и расширяютъ свои владѣнія, между тѣмъ какъ живущіе мясной пищей дикари численно уменьшаются и отступаютъ; фактъ тотъ, затѣмъ, что цивилизованный человѣкъ, вынужденный внѣшними условіями отказаться отъ хлѣба и

овощей и перейти на исключительно мясную пищу, хирѣетъ и гибнетъ; фактъ тотъ, наконецъ, что вы, изобразивъ вообще правильно недостатки нашей физической жизни, не доказали, однако, ихъ зависимости именно отъ системы питанія и не желаете даже принять въ разсчетъ того обстоятельства, что питающіеся по-вашему люди не оказываются ни долговѣчнѣе, ни сильнѣе, ни красивѣе, ни здоровѣе насъ, что̀ является уже прямой насмѣшкой надъ эмпирическимъ методомъ".

Такъ, полагаю я, отвѣтилъ бы защитникъ традиціонной системы питанія, и его выводъ былъ бы, разумѣется, неоспоримъ; теперь перехожу къ себѣ. Вы требуете, чтобы я указалъ вамъ, въ чемъ состоитъ образовательное значеніе античности: я же, первымъ дѣломъ, отвѣчу вопросомъ, обнаружила ли психологія во всѣхъ его деталяхъ процессъ умственнаго пищеваренія, и существуетъ ли такая органическая химія, которая была бы примѣнима къ умственной пищѣ, допуская ея качественный и количественный анализъ? Если же вы сознаетесь, что науки, которыя я имѣю въ виду, суть науки будущаго, извѣстныя намъ въ настоящее время лишь въ своихъ началахъ, то вы этимъ самымъ даете мнѣ право отвѣтить вамъ слѣдующее: „Въ чемъ состоитъ образовательное значеніе античности — этого я не знаю; но фактъ тотъ, что классическая система воспитанія существуетъ испоконъ вѣка, что за время своего существованія она охватила всѣ народы такъ называемой европейской культуры, которые лишь со времени ея принятія и сдѣлались цивилизованными народами; фактъ тотъ, далѣе, что если изобразить, какъ это дѣлаютъ метеорологи, кривою линіей колебанія классической системы образованія въ различныхъ государствахъ за весь періодъ ихъ существованія, то эта кривая будетъ выражать, вмѣстѣ съ тѣмъ, и колебанія умственной культуры въ тѣхъ же государствахъ, ясно доказывая этимъ тѣсную зависимость общей культурности страны отъ уровня ея классическаго образованія; фактъ тотъ, въ-третьихъ, что и въ настоящее время культурная сила народа тѣмъ значительнѣе, чѣмъ серьезнѣе въ немъ поставлено классическое образованіе, между тѣмъ какъ народы, лишенные его (напр., испанцы), не играютъ никакой роли въ мірѣ идей, несмотря на свою численность и славу своего прошлаго; фактъ тотъ, затѣмъ, что и

у насъ въ Россіи ударъ, нанесенный классическому образованію въ гимназіяхъ реформою 1890 г., имѣлъ послѣдствіемъ общее паденіе уровня образованія кончающей гимназію молодежи, удостовѣренное отзывами самихъ противниковъ классической системы; фактъ тотъ, наконецъ, что тѣ, кто рисуетъ такую мрачную картину недостатковъ нашей гимназіи, не доказали, однако, зависимости этихъ недостатковъ отъ классическаго образованія и упорно отказываются принять въ разсчетъ то обстоятельство, что воспитывающіеся въ неклассической средней школѣ ученики оказываются страдающими тѣми же недостатками".

Выводъ отсюда неоспоримый: въ интересахъ умственной культуры русскаго народа мы должны желать возможно высокаго уровня классическаго образованія въ нашихъ гимназіяхъ, независимо отъ того, удастся ли намъ дать удовлетворительный отвѣтъ на вопросъ объ образовательномъ значеніи античности или нѣтъ.

А теперь, прежде чѣмъ идти дальше, оглянемся назадъ. На основаніи культурно-историческихъ соображеній мы вывели заключеніе, что античность представляетъ изъ себя нормальную пищу развивающихся поколѣній. Это заключеніе я назвалъ неоспоримымъ; дѣйствительно, человѣкъ, привыкшій взвѣшивать то, что онъ говоритъ, и подчинять въ научныхъ вопросахъ (а съ таковымъ мы имѣемъ дѣло и здѣсь) свои чувства своему разуму, обязательно признаетъ его таковымъ. Но, къ сожалѣнію, такіе люди составляютъ рѣдкость; люди обыкновеннаго типа, наоборотъ, свой разумъ подчиняютъ своимъ чувствамъ: если то, что имъ доказываютъ, имъ не нравится, они стараются отыскать въ вашихъ словахъ какую-нибудь зацѣпку для возраженія, и если имъ удалось сказать нѣчто, имѣющее хоть внѣшнее подобіе логическаго разсужденія, то они говорятъ, а часто и воображаютъ сами, что они васъ опровергли. Такія опроверженія, конечно, предусмотрѣть невозможно: путь истины вездѣ одинъ, но путей заблужденія безчисленное множество. Все же, будучи знакомъ со многимъ изъ того, что̀ писалось по вопросу о средней школѣ, я могу себѣ представить, что въ моихъ словахъ противники найдутъ двѣ зацѣпки.

Первая зацѣпка. Я только-что сказалъ: „въ интересахъ умственной культуры русскаго народа...", принимая за несо-

мнѣнное, что выводы, добытые на основаніи культурныхъ колебаній во всей Европѣ, примѣнимы также и къ Россіи. Правильно ли это? Въ числѣ моихъ противниковъ не мало такихъ которые этого сближенія не признаютъ: „классическая школа", говорятъ они, „не имѣетъ опоры въ исторіи Россіи". Упраздднивъ на этомъ основаніи классическую школу, они затѣмъ предлагаютъ проекты собственной школы, относительно которой они, однако, исправно забываютъ ставить вопросъ, имѣетъ ли она опору въ исторіи Россіи или нѣтъ. Въ дѣйствительности же дѣло обстоитъ такъ: классическая школа имѣетъ, быть можетъ, и не очень сильную опору въ исторіи Россіи; но всѣ остальные типы школъ, существующіе и предполагаемые, не имѣютъ никакой. Но для насъ вовсе не это важно, а вотъ что: Россія долгое время не имѣла классической школы — но за все это время она и не была культурной страной; она стала таковой лишь съ тѣхъ поръ, какъ завела у себя классическую школу. Это фактъ, и притомъ фактъ, вполнѣ подтверждающій нашъ выводъ.

Второе возраженіе параллельно первому, относясь къ нему, какъ время къ пространству: противники этого лагеря стараются создать для современности такое же исключительное положеніе, какъ тѣ для Россіи. Античность, говорятъ они, прежде дѣйствительно составляла важный предметъ обученія, такъ какъ было чему у нея поучиться; но теперь мы ее настолько опередили, что учиться намъ у нея болѣе нечему. Этихъ противниковъ очень легко опровергнуть: для этого имъ стоитъ задать вопросъ, когда приблизительно мы, по ихъ мнѣнію, опередили античность—этого они не знаютъ. Дѣло же обстоитъ слѣдующимъ образомъ. Классическое образованіе, какъ мы уже видѣли, есть дѣло соціологическаго подбора; дѣйствіе же этого подбора опредѣляется такъ называемой *«гетерогеніей цѣлей»*, т.-е. несоотвѣтствіемъ дѣйствительной, несознаваемой цѣли — кажущейся и сознаваемой. Такъ, кажущаяся и сознаваемая пчелой цѣль, заманивающая ее во внутреннюю часть цвѣтка — это возможность полакомиться его сладкимъ сокомъ; дѣйствительная же и несознаваемая ею цѣль—растормошить тычинки цвѣтка и этимъ произвести его оплодотвореніе. То же самое и здѣсь. Дѣйствительная цѣль соціологическаго подбора (вы, конечно, понимаете, что я употребляю слово «цѣль» здѣсь въ томъ условномъ смыслѣ, въ которомъ его вообще признаетъ современная біологія) — итакъ, его дѣйствительная цѣль при сохраненіи классическаго образованія была во всѣ времена одна и та же: умственное и нравственное совершенствованіе человѣчества; кажущіяся же и сознаваемыя обществомъ цѣли были другія, въ различныя времена различныя, при чемъ интересно прослѣдить: 1) какъ каждый разъ съ отживаніемъ, такъ сказать, одной кажущейся цѣли выдвигается на ея мѣсто другая, и 2) какъ тѣ народы, которые, принимая кажущуюся цѣль за дѣйствительную, стремились къ ней не по тому пути, который имъ предначерталъ законъ подбора, а по другому, болѣе краткому и удобному,—были за это умничанье жестоко наказаны исторіей, точно такъ же, какъ это наблюдается и въ біологіи.— Прежде всего, еще въ ранній періодъ среднихъ вѣковъ кажущейся цѣлью классическаго образованія было усвоеніе Священнаго Писанія и литургіи, затѣмъ твореній отцовъ церкви и житій святыхъ и т. д. Конечно, для этого былъ другой способъ, болѣе простой и удобный—переводъ всего этого на родной языкъ; такъ поступили народы христіанскаго востока, и послѣдствіемъ было то, что они остались въ сторонѣ отъ культурнаго движенія. Затѣмъ, во вторую половину средневѣковья эта цѣль отошла на задній планъ, выдвинулась вторая: усвоеніе античной науки, изложенной, разумѣется, на древнихъ языкахъ. И здѣсь къ услугамъ желающихъ былъ другой путь, болѣе краткій и удобный: перевести научныя сочиненія древнихъ на свой родной языкъ. Этимъ путемъ воспользовались арабы, и результатомъ было, послѣ краткаго расцвѣта, быстрое и окончательное уничтоженіе мусульманской культуры—вполнѣ естественно, такъ какъ арабы пересадили къ себѣ одни только цвѣты античности, оторвавъ ихъ отъ ихъ корней, древнихъ языковъ. Далѣе, къ исходу среднихъ вѣковъ и эта цѣль отошла на задній планъ: усвоивъ античную науку, новая Европа ее превзошла... Дѣйствительно, на поставленный выше вопросъ, когда мы опередили античность въ области науки, придется отвѣтить: отчасти уже въ средніе вѣка; тогда были усовершенствованы мало извѣстныя древнимъ науки, какъ алгебра, тригонометрія, химія и др., а болѣе извѣстныя были подняты

на еще болѣе высокую ступень. Казалось бы, можно съ античностью и покончить; и дѣйствительно, классическое образованіе стало въ XIV вѣкѣ приходить въ упадокъ. Но именно въ этомъ вѣкѣ оно быстро и ярко расцвѣло вновь — наступилъ періодъ Возрожденія. Было открыто античное искусство, не только изобразительное (архитектура, ваяніе, живопись), но и искусство рѣчи; латинскому языку стали учиться ради его формальныхъ красотъ, стали ихъ воспроизводить и въ прозѣ, и въ стихахъ; это—такъ называемое старогуманистическое направленіе. Вторично латинскій языкъ сталъ языкомъ-воспитателемъ языковъ новой Европы; результатомъ этого воспитанія были современные языки съ ихъ гибкостью и силой, съ ихъ художественной прозой и художественной поэзіей. Но вотъ этотъ результатъ былъ достигнутъ; казалось бы, можно сдать античность въ архивъ. Но нѣтъ: едва только эта цѣль стала отступать на задній планъ, какъ на смѣну ей явилась новая, числомъ четвертая, преходящая цѣль. Былъ открытъ интеллектуалистическій характеръ древней литературы, вѣнцомъ котораго была древняя философія: какъ раньше учились по-латыни, чтобы хорошо говорить и писать, такъ теперь стали ей учиться, чтобы хорошо мыслить и разсуждать, pour bien raisonner. Таковъ былъ девизъ «просвѣтительной» эпохи, начавшейся въ Англіи 17 в., продолжавшейся во Франціи 18 в. и отразившейся на культурѣ прочей Европы того времени, эпохи Ньютона, Вольтера, Фридриха Великаго и Екатерины. Но уже въ томъ же XVIII в. односторонній интеллектуализмъ просвѣтительной эпохи вызвалъ реакцію, начавшуюся въ Англіи и Франціи (Руссо) и достигшую особенной силы въ Германіи Винкельмана и Гёте; лозунгомъ стало гармоническое развитіе человѣка въ указанномъ природой направленіи — и средствомъ къ достиженію этого идеала стала опять античность, за изученіе которой въ гимназіяхъ принялись съ особенной силой. Это было неогуманистическое направленіе; тогда впервые греческій языкъ и греческая литература заняли мѣсто наравнѣ съ латинскими, такъ какъ дѣятели этой эпохи совершенно основательно полагали, что къ ихъ идеалу греческая жизнь стоитъ ближе, чѣмъ римская. — Теперь опять настало переходное время, и уже ясно обрисовывается новая точка зрѣнія, которая обусловитъ изу-

ченіе античности въ наступающемъ столѣтіи: развитіе естественныхъ наукъ выдвинуло принципъ эволюціонизма, античность стала намъ вдвойнѣ дорога, какъ родоначальница всѣхъ безъ исключенія идей, которыми мы живемъ понынѣ. И вотъ мы видимъ, какъ и въ вопросахъ классическаго образованія гуманизмъ борется съ историзмомъ, причемъ послѣдній, повидимому, беретъ верхъ. Конечно, мы къ этой въ высшей степени важной точкѣ зрѣнія еще вернемся; теперь же достаточно будетъ удостовѣрить, что это—числомъ уже шестая сознаваемая точка зрѣнія на важность изученія античности, явившаяся какъ разъ во-время на смѣну пятой, неогуманистической.

И любопытно прослѣдить, какъ съ измѣненіемъ взгляда на цѣль изученія античности происходитъ измѣненіе также и метода ея изученія; я этого подробно развить не могу, ограничусь указаніемъ на самую осязательную метаморфозу,—на первенствующихъ въ каждомъ данномъ случаѣ авторовъ. Первый періодъ — изученія латыни ради спасенія души — естественно ставилъ въ центръ преподаванія христіанскія сочиненія; второй, научный, такъ сказать, періодъ— соотвѣтственныя руководства, латинскаго Аристотеля и такъ называемыя artes, т.-е. учебники математики, астрономіи, затѣмъ медицины, права и т. д.; третій, старогуманистическій—Цицерона, какъ мастера латинской рѣчи; четвертый, просвѣтительный, тоже Цицерона, но уже Цицерона-философа; пятый, неогуманистическій—Гомера, трагиковъ, Горація. Его традиціями мы живемъ и понынѣ, но уже нарождается потребность создать такую выборку изъ античной литературы, которая представила бы ученикамъ античность именно какъ родоначальницу нашихъ идей; не такъ давно въ Германіи Виламовицъ попытался удовлетворить этой потребности составленіемъ греческой «книги для чтенія», въ высшей степени заинтересовавшей тамъ весь педагогическій міръ. Нѣтъ сомнѣнія, что современемъ это движеніе коснется и насъ; очень вѣроятно, что о немъ была бы рѣчь уже теперь, если бы не школьная смута, въ которой мы живемъ.

Какъ бы то ни было, таково чередованіе преходящихъ точекъ зрѣнія на античность въ различные періоды исторіи нашей культуры; и таковъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, нашъ отвѣтъ на невѣжественное возраженіе, будто теперь намъ у античности

учиться нечему, такъ какъ мы ее опередили,—и на не менѣе невѣжественный упрекъ, будто классическая школа неподвижна и не прогрессируетъ со временемъ. Но, повторяю, то были все преходящія цѣли,—такія, которыя сознавались обществомъ въ каждую изъ упомянутыхъ эпохъ,—такія, въ которыхъ общество отдавало отчетъ себѣ и намъ; несознаваемой и въ то же время наиболѣе важной цѣлью была та, которая вообще преслѣдуется всякимъ подборомъ: совершенствованіе—въ данномъ случаѣ, конечно, культурное, т.-е. умственное и нравственное совершенствованіе человѣчества... Спѣшу тутъ оговориться, чтобы не подать повода къ недоразумѣніямъ; дѣйствительно, можетъ показаться страннымъ, что я, указывая вамъ цѣль классическаго образованія, называю эту цѣль въ то же время «несознаваемой»; да развѣ можно сознавать несознаваемое? Нѣтъ, конечно; но знать несознаваемое можно—этому учитъ методъ современной біологіи, который одинаково примѣнимъ и къ жизни единицъ, и къ жизни народовъ и человѣчества—и къ онтогеніи, и къ филогеніи.

Но, спрашивается, какимъ же образомъ достигается умственное и нравственное совершенствованіе человѣчества путемъ классическаго образованія? Этотъ вопросъ самъ собою сводится къ другому вопросу: въ чемъ же заключается образовательное значеніе античности? Его мы поставили еще раньше, и прежде чѣмъ отвѣтить на него, я вамъ доказалъ, что каковъ бы ни былъ нашъ отвѣтъ — удачный или неудачный — самый фактъ образовательнаго значенія античности остается фактомъ, будучи добытъ совершенно независимо отъ этого отвѣта, путемъ культурно-историческихъ соображеній. Эту оговорку я прошу васъ твердо запомнить— я придаю ей огромное значеніе; такъ точно вѣдь и фактъ питательнаго значенія хлѣба былъ фактомъ много раньше, чѣмъ физіологія и органическая химія доказали его намъ вполнѣ нагляднымъ образомъ. Что такое физіологія въ данномъ случаѣ? Анализъ воспринимающаго организма. А что такое химія? Анализъ воспринимаемаго вещества. Переходимъ отъ тѣла къ душѣ, отъ питанія къ образованію, отъ хлѣба къ античности; существуютъ ли здѣсь науки, параллельныя физіологіи и органической химіи, т.-е. учащія насъ производитъ анализъ и воспринимающему организму, и воспринимаемому веществу? Посмотримъ.

Воспринимающій организмъ — это, въ данномъ случаѣ, человѣческій умъ; анализъ ума составляетъ содержаніе *психологіи*, а эта наука существуетъ еще только въ зародышевомъ видѣ. Она не можетъ еще отвѣтить на всѣ вопросы, съ которыми къ ней обращаются... положимъ, и физіологія этого не можетъ, все же она гораздо болѣе изслѣдована, много старше и годами, и опытомъ, чѣмъ та. Затѣмъ — анализъ воспринимаемаго вещества, т.-е. античности; самъ по себѣ онъ не очень труденъ, но вѣдь здѣсь требуется изученіе ея элементовъ въ ихъ дѣйствіи на психическую натуру человѣка, т.-е. своего рода *психологическое науковѣдѣніе*... тутъ уже самое сочетаніе словъ вамъ доказываетъ, что соотвѣтственной науки еще не существуетъ. Итакъ, господа, не будьте слишкомъ требовательны. Я обѣщалъ дать вамъ отвѣтъ на поставленный вопросъ и дамъ его, поскольку этотъ отвѣтъ возможенъ по нынѣшнему состоянію психологическихъ наукъ; — хотя это, повторяю, науки будущаго, все же кое-что въ нихъ установлено довольно прочно, методъ опредѣляется все точнѣе и точнѣе, и мы видимъ, по крайней мѣрѣ, какъ и въ какомъ направленіи искать отвѣтовъ на тревожащіе насъ вопросы. Кое-что я смогу вамъ сказать — да; но при всемъ томъ прошу васъ помнить, что это будетъ лишь предварительный отвѣтъ, и что наши потомки дадутъ его въ гораздо болѣе полной и убѣдительной формѣ. Но, прежде чѣмъ исполнить это свое обѣщаніе, я долженъ васъ просить выслушать нѣсколько замѣчаній, касающихся самаго смысла слова «образовательное значеніе». Я не желаю, чтобы вы принимали отъ меня что бы то ни было безъ надлежащаго, такъ сказать, таможеннаго осмотра; онъ насъ задержитъ на нѣсколько минутъ, но зато потомъ довѣрія будетъ больше.

Итакъ, ставлю вопросъ; какъ понимать слово «образовательное значеніе»?

Начнемъ съ самаго конкретнаго. У отца, столяра, есть сынъ; онъ хочетъ обучить его своему, столярному, ремеслу. Тутъ дѣло обстоитъ просто, для всѣхъ понятно: школа непосредственно „готовитъ къ жизни“, всѣ пріемы, усвоиваемые

мальчикомъ, пригодятся ему именно въ этомъ видѣ въ его будущей дѣятельности. Мы можемъ себѣ прекрасно представить столярную школу — это будетъ одна изъ такъ называемыхъ профессіональныхъ школъ. Имѣетъ ли она право на существованіе? Безусловно да, если допустить, что столь раннее опредѣленіе призванія мальчика вообще возможно или желательно. Но возможно ли распространеніе принципа *профессіональнаго утилитаризма* также и на область умственнаго труда? Отчасти да, какъ это вамъ доказываютъ духовныя семинаріи, военныя училища и нѣкоторые другіе такіе же типы среднихъ школъ; но именно только отчасти. Для большинства относящихся сюда профессій такихъ школъ не существуетъ, да и только-что упомянутыя чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе стремятся оставить свой узко-профессіональный характеръ и усилить на его счетъ свой характеръ какъ общеобразовательныхъ заведеній, и вообще замѣчается потребность въ такихъ школахъ, которыя не предрѣшали бы будущей профессіи учениковъ. Но какъ такія школы устроить съ тѣмъ, чтобы онѣ, тѣмъ не менѣе, «готовили къ жизни», т.-е. къ будущей профессіи учениковъ? — Вотъ это-то и есть та педагогическая квадратура круга, надъ рѣшеніемъ которой современное общество бьется съ такимъ же успѣхомъ, какъ раньше надъ знаменитой геометрической.

Укажу вамъ нѣкоторые изъ путей къ ея рѣшенію, представляющихся уму неподготовленнаго человѣка.

Первый путь. Требуется школа, которая готовила бы будущихъ юристовъ, медиковъ, натуралистовъ, математиковъ, техниковъ, филологовъ и т. д. Прекрасно; пусть же въ ея программу войдутъ тѣ предметы, которые являются общими для всѣхъ этихъ областей дѣятельности. — Неправильность этого рѣшенія очевидна: вѣдь въ томъ-то и дѣло, что такихъ предметовъ нѣтъ или почти нѣтъ. Сравните обозрѣніе преподаванія на юридическомъ и на естественномъ факультетахъ, въ историко-филологическомъ и въ технологическомъ институтахъ — и вы въ этомъ убѣдитесь.

Второй путь. Возьмите по равной порціи изъ числа юридическихъ, медицинскихъ, физико-математическихъ, историко-филологическихъ и другихъ предметовъ и составьте изъ нихъ программу средней школы. — Нѣкоторые, дѣйствительно, такъ

полагаютъ; тѣмъ не менѣе, это явная несообразность. Во-первыхъ, получится ошеломляющая и притупляющая многопредметность; а во-вторыхъ, принципъ утилитаризма все-таки не будетъ соблюденъ, такъ какъ каждому ученику въ отдѣльности такая школа дастъ не болѣе $^1/_{10}$ того, что̀ ему нужно. Теперь спрашивается: какая же это школа, которая на $^1/_{10}$ полезнаго учебнаго матеріала содержитъ $^9/_{10}$ балласта?

Третій путь. Въ виду несостоятельности первыхъ двухъ рѣшеній предлагается оставить въ сторонѣ будущую дѣятельность питомцевъ средней школы и требовать отъ послѣдней только того, чтобы она выпускала образованныхъ людей. Это значитъ: *устраняется профессіонально-утилитарный принципъ, вводится принципъ образовательный.* Прекрасно; но что же это такое: образованный человѣкъ? Опредѣлить это можно: вѣдь есть же образованные люди. Итакъ, что нужно знать для того, чтобы быть образованнымъ человѣкомъ? Одинъ изъ публицистовъ, подвизающихся на педагогическомъ поприщѣ, предложилъ для рѣшенія этого вопроса радикальную мѣру. А именно: путемъ опроса (т.-е. экзамена) образованныхъ людей установить уровень знаній, необходимыхъ для образованнаго человѣка, и эти-то знанія сдѣлать предметомъ школьнаго преподаванія. — Эту мѣру стоило бы осуществить: выводъ получился бы утѣшительный. Вы, разумѣется, понимаете, что по этому рецепту тѣ знанія, которыми обладаетъ одинъ образованный человѣкъ, все-таки не попадутъ въ общеобразовательную программу, коль скоро есть другой образованный человѣкъ, который ими не обладаетъ, — такъ какъ это доказываетъ, что можно, и не обладая ими, быть образованнымъ человѣкомъ. Вѣдь въ самомъ дѣлѣ, если бы оказалось, что иной чудакъ можетъ назвать 30 патагонскихъ деревень, то это его личное дѣло; въ программу мы включили бы только то, что все образованное общество, или его большинство знаетъ о Патагоніи — т.-е. ничего. И такъ по всѣмъ предметамъ; въ результатѣ бы вышло: по ариѳметикѣ — четыре дѣйствія надъ цѣлыми числами съ общимъ понятіемъ о дробяхъ, по геометріи — общія представленія о фигурахъ и тѣлахъ, по алгебрѣ — ничего, по тригонометріи ничего и т. д.; въ общей сложности — програма,

для усвоенія которой вполнѣ достаточно одного или двухъ гимназическихъ классовъ.

Очевидно, и этотъ путь не ведетъ къ цѣли. Въ чемъ же заключается наша ошибка? Въ томъ, что мы *образованіе ставимъ въ зависимость отъ наличности знаній.* Знанія забываются, но образованность не утрачивается — образованный человѣкъ, даже забывъ все, чему онъ учился, остается образованнымъ человѣкомъ. Этимъ я вовсе не намѣренъ умалить значеніе знаній; совершенно напротивъ — человѣкъ постольку годенъ, поскольку онъ что-нибудь знаетъ. Но, господа, различнымъ людямъ нужны различныя знанія; это и теперь такъ, это и подавно будетъ такъ въ будущемъ—знанія, вѣдь, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе специализируются. Объемъ одинаково нужныхъ всѣмъ людямъ, или даже всѣмъ интеллигентнымъ людямъ знаній и теперь ужъ очень невеликъ, и будетъ еще уменьшаться съ каждымъ поколѣніемъ, соотвѣтственно росту и, стало быть, специализаци самихъ знаній; на немъ, значитъ, строить программу средней школы нельзя. А между тѣмъ, средняя школа—какъ школа для всѣхъ будущихъ интеллигентовъ—должна дать имъ именно то, что одинаково пригодится имъ всѣмъ; въ этомъ весь ея смыслъ. Что же это будетъ? Это будетъ, разумѣется, *такая подготовка ума, которая приспособитъ его съ наименьшей затратой силъ и времени и съ наибольшей пользой воспринимать тѣ знанія, которыя ему понадобятся впослѣдствіи.* Истина старая, избитая, если хотите, но никѣмъ не опровергнутая и неопровержимая.

Если бы моей задачей было составлять программу средней школы, то я, на основаніи сказаннаго, постарался бы вамъ выяснить, что она должна обнимать: 1) предметы общаго знанія и 2) предметы общаго образованія, съ преобладаніемъ, разумѣется, послѣдней группы, и что къ этой группѣ должны принадлежать науки математическія, физическія и филологическія—соотвѣтственно тремъ методамъ человѣческаго мышленія: дедуктивному, индуктивно-экспериментальному и индуктивно-наблюдательному. Но, какъ я сказалъ вначалѣ, моя задача уже: я намѣренъ говорить объ образовательномъ значеніи только моего предмета, т.-е. античности. Впрочемъ, и тутъ я долженъ принять мѣры къ тому, чтобы вы не взвалили на

меня большей отвѣтственности, чѣмъ ту, какую я хочу и могу на себя взять. Я знаю, многіе ораторы и публицисты доказываютъ вамъ, что вы совершенно напрасно потеряли то время, которое у васъ пошло на изученіе древнихъ языковъ, и вы имъ рукоплещете; я, со своей стороны, намѣренъ вамъ доказать, что вы этого времени не потеряли даромъ; даже рискуя сказать вамъ этимъ непріятное. Но, господа, довольно съ меня одного этого риска; за весь тотъ кругъ представленій и чувствъ, который вы, вѣроятно, соединяете съ понятіями «классицизмъ» и «классическая школа», я отвѣтственности на себя брать не хочу. Я прекрасно знаю, что наша классическая школа страдаетъ многими недостатками—эти недостатки мѣстами больше мѣстами меньше, въ зависимости отъ состава учащихъ и учащихся (а этотъ элементъ гораздо важнѣе всякихъ программъ и инструкцій); но я знаю также, что если въ Турціи санитарное дѣло плохо поставлено, то отсюда еще не слѣдуетъ, чтобы медицина никуда не годилась. Итакъ, моя задача—выяснить вамъ не превосходство той или другой гимназіи, или даже гимназіи вообще, а, согласно сказанному, образовательное значеніе античности при такой постановкѣ ея преподаванія, которую я считаю желательной и, на основаніи собственнаго и чужого опыта, возможной.

Къ рѣшенію этой задачи я и приступаю теперь; все сказанное до сихъ поръ имѣло цѣлью лишь выясненіе ея смысла и расчистку почвы. Возможно, что я на это употребилъ слишкомъ много времени, слишкомъ мало полагался на ваше собственное вниманіе, сообразительность и безпристрастіе. Въ этомъ случаѣ прошу меня простить; я проученъ горькимъ опытомъ, притомъ на людяхъ, отъ которыхъ съ гораздо большимъ правомъ можно бы было требовать всѣхъ этихъ прекрасныхъ качествъ, чѣмъ отъ васъ.

ЛЕКЦІЯ ВТОРАЯ.

Первая антитеза: продолженіе. — Составъ школьной античности. — Древніе языки какъ таковые.—Ассоціаціонный и апперцепціонный методы усвоенія языковъ.—Относительная цѣнность чужого языка какъ дополненія къ родному.—Абсолютная его цѣнность какъ пищи для ума.—Прозрачность правописанія.—Прозрачность флексіи.—Исключенія.—Закономѣрность лингвистических явленій.

Древній міръ—какъ показываетъ самое слово—представляетъ изъ себя въ высшей степени широкую, богатую и разнообразную область знаній; это дѣйствительно — своеобразный и законченный въ себѣ «міръ», но притомъ такой, съ которымъ нашъ современный міръ соединенъ тысячью, большею часть несознаваемыхъ, нитей. Изслѣдованіе этого міра, использованіе его идей для обогащенія умственной и нравственной культуры современности — а первое безъ послѣдняго безполезно — составляетъ завидную задачу той семьи ученыхъ, къ которой я имѣю честь и счастье принадлежать; ученикамъ гимназій онъ дѣлается извѣстнымъ лишь въ очень небольшой своей части, путемъ тѣхъ своихъ элементовъ, которые входятъ въ составъ такъ называемаго классическаго образованія. Эти элементы суть слѣдующіе: во-первыхъ, система обоихъ древнихъ языковъ съ ея тремя составными частями, этимологіей, семасіологіей (vulgo «слова») и синтаксисомъ; во-вторыхъ, избранныя части лучшихъ произведеній древнихъ литературъ, читаемыя и толкуемыя въ подлинникѣ; въ-третьихъ, ознакомленіе съ различными сторонами античности путемъ прохожденія

древней исторіи, а также и чтенія образцовъ въ переводѣ, разсказовъ о жизни древнихъ, маленькихъ вступительныхъ лекцій о древней философіи, литературѣ, государственномъ и уголовномъ правѣ, объясненія памятниковъ искусства, рекомендаціи хорошихъ новѣйшихъ романовъ изъ жизни древнихъ, а гдѣ возможно—и курзорнаго чтенія цѣлыхъ произведеній на дому и т. д. Съ этихъ трехъ элементовъ мы и должны начать—или, вѣрнѣе, съ первыхъ двухъ, такъ какъ третій войдетъ во вторую часть моего курса, посвященную культурному значенію античности.

Итакъ, во-первыхъ: въ чемъ состоитъ *образовательное значеніе древнихъ языковъ какъ таковыхъ?*

Прежде всего, въ методѣ ихъ усвоенія. Есть, вообще говоря, два метода усвоенія языка, и эти два метода соотвѣтствуютъ обѣимъ кореннымъ функціямъ нашего ума... я васъ предупреждалъ, господа, въ прошлой лекціи, что наука объ умственномъ, такъ сказать, пищевареніи, которая одна только и можетъ намъ отвѣтить на вопросъ объ образовательномъ значеніи того или другого предмета, называется психологіей; естественно, поэтому, что теперь мы прибѣгаемъ къ ея услугамъ. Тѣ двѣ коренныя функціи, о которыхъ я говорю, называются въ современной психологіи, одна—ассоціаціей, другая—апперцепціей; обѣ имѣютъ цѣлью восприниманіе и воспроизведеніе умственнымъ организмомъ предлагаемой ему пищи, но одна сопровождается большимъ, другая меньшимъ участіемъ вниманія. Если какое-нибудь слово, невольно услышанное мною при извѣстной обстановкѣ, само собою возникаетъ въ моей памяти при повтореніи самой обстановки, то мы приписываемъ это дѣйствію ассоціаціи; если же въ обоихъ случаяхъ—и при запоминаніи, и при воспроизведеніи — потребовалось усиліе вниманія, то мы соотвѣтственную функцію нашего ума называемъ апперцепціей. Теперь приложимъ сказанное къ изученію языковъ. Ассоціаціоннымъ путемъ, т.-е. при пассивномъ состояніи вниманія, усвоивается прежде всего родной языкъ; достигается этимъ чисто ремесленная, такъ сказать, сноровка, въ силу которой человѣкъ легко владѣетъ и распоряжается всѣми этимологическими, семасіологическими и синтактическими сокровищами языка, не будучи, однако, въ состояніи отдать

себѣ отчетъ въ причинѣ, почему онъ ими распоряжается именно такъ, — не зная организма своего языка. Всѣ новые языки усвоиваются ассоціаціоннымъ путемъ тѣми, для которыхъ они — родные; а въ виду легкости и пригодности этого метода для быстраго овладѣванія языкомъ, ему слѣдуютъ по возможности и иностранцы. Въ послѣднее время ассоціаціонный методъ преподаванія иностранныхъ языковъ проникаетъ и въ школу, и нѣтъ сомнѣнія, что онъ, подъ какимъ бы то ни было именемъ, овладѣетъ ею со временемъ вполнѣ — за вычетомъ, конечно, тѣхъ увлеченій, которыми онъ пока еще грѣшитъ.

Противоположность къ ассоціаціонному методу составляетъ апперцепціонный. Тутъ мы первымъ дѣломъ изучаемъ организмъ языка, вполнѣ сознательно усвоивая его этимологію, семасіологію, синтаксисъ,—шагъ за шагомъ учась понимать и образовывать сначала простыя предложенія, затѣмъ все болѣе и болѣе сложныя, наконецъ, періоды и соединенія таковыхъ. Достигается этимъ путемъ не ремесленная сноровка, а научное пониманіе языка: человѣкъ раньше усвоитъ, напримѣръ, правило о чередованіи временъ, чѣмъ станетъ бѣгло и безошибочно употреблять въ каждомъ данномъ случаѣ требуемое время. А если такъ, то понятно, что все, что намъ говорятъ о пользѣ изученія языка, относится только къ апперцепціонному методу: нагляднымъ примѣромъ безполезности (для умственнаго развитія) ассоціаціоннаго метода являются кельнера иностранныхъ отелей, бѣгло говорящіе на нѣсколькихъ языкахъ, которые они усвоили именно ассоціаціоннымъ путемъ. — Теперь мы видѣли, что родной языкъ усвоивается исключительно путемъ ассоціаціи — для него апперцепціонный методъ прямо невозможенъ, такъ какъ онъ усвоивается въ такомъ возрастѣ, когда умъ еще мало приспособленъ къ апперцепціонному изученію чего бы то ни было. Мы видѣли далѣе, что новые иностранные языки, для которыхъ апперцепціонный методъ самъ по себѣ возможенъ, тѣмъ не менѣе, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе отходятъ въ область ассоціаціоннаго метода, которому они современемъ подпадутъ цѣликомъ. Этого движенія намъ никоимъ образомъ не задержать, такъ какъ главная цѣль изученія новыхъ иностранныхъ языковъ,—умѣніе бѣгло говорить или хоть читать на нихъ, — несомнѣнно быстрѣе и легче достигается при помощи ассоціаціоннаго метода. Такимъ образомъ все, что намъ говорится о пользѣ изученія языковъ, относится исключительно къ изученію языковъ древнихъ.

Прежде чѣмъ идти дальше, установимъ объемъ того, что пока доказано. Доказана польза, для умственнаго развитія, изученія древнихъ языковъ вообще; не доказано, что этими языками должны быть именно греческій и латинскій; недоказано, что оба они, а не какой-нибудь одинъ. Но первое возраженіе не заслуживаетъ вниманія, хотя слышать его приходится, къ сожалѣнію, нерѣдко: кто рекомендуетъ для введенія въ гимназіи вмѣсто греческаго и латинскаго языка — древнееврейскій или санскритскій, тотъ доказываетъ этимъ, во-первыхъ, что онъ ни о томъ, ни о другомъ не имѣетъ никакого представленія, а во-вторыхъ—слабость такого рода суррогатовъ состоитъ именно въ томъ, что каждый изъ нихъ оказывается до извѣстной степени пригоднымъ лишь по одному изъ тѣхъ пунктовъ, по которымъ мы разсматриваемъ пользу античныхъ языковъ, такъ что если всѣ суррогаты сложить вмѣстѣ, чтобы создать эквивалентъ по всѣмъ пунктамъ, то эта сумма окажется и много труднѣе, чѣмъ античные языки, и дающей, вмѣсто гармоническаго цѣлаго, безпорядочный хаосъ разрозненныхъ, не служащихъ поддержкой другъ другу знаній. — Второе возраженіе, что сказаннымъ пока не доказана необходимость изученія обоихъ древнихъ языковъ, справедливо, — но именно только пока.

Теперь идемъ дальше. Само собою разумѣется, что наиболѣе плодотворными и благодарными для апперцепціоннаго усвоенія должны считаться тѣ языки, которые 1) въ своемъ организмѣ даютъ наиболѣе пищи уму, и 2) *по своимъ психологическимъ свойствамъ являются наиболѣе желательнымъ дополненіемъ къ родному языку*. Начнемъ со второй стороны...

Опять-таки повторяю, господа, вы предупреждены: физіологіи въ области умственности соотвѣтствуетъ психологія, органической же химіи—то, что я назвалъ выше психологическимъ науковѣдѣніемъ; съ помощью этихъ двухъ наукъ намъ удастся когда-нибудь анализировать вполнѣ точно то, что я непоэтично, но правильно назвалъ умственнымъ пищевареніемъ. Образчикъ психологіи въ примѣненіи къ нашей темѣ я привелъ вамъ

выше, говоря вамъ объ ассоціаціи и апперцепціи; теперь я долженъ привести образчикъ психологическаго науковѣдѣнія въ примѣненіи къ лингвистикѣ. Мы различаемъ въ языкахъ двоякаго рода элементы: во-первыхъ, элементы, выражающіе видимость и вообще предметы непосредственныхъ ощущеній; во-вторыхъ, элементы, выражающіе результаты рефлексіи. Первые мы называемъ сенсуалистическими, вторые—интеллектуалистическими элементами; это различіемъ, какъ вы увидите, соприкасается съ различіемъ между вещественными и отвлеченными элементами, но не вполнѣ съ ними совпадаетъ. Смотря по преобладанію тѣхъ или другихъ элементовъ въ языкахъ мы и языки разбиваемъ на тѣ же группы, т.-е. одни языки называемъ сенсуалистическими, а другіе интеллектуалистическими. Если теперь, сообразуясь съ этой точкой зрѣнія, составить табель близкихъ намъ языковъ въ видѣ прогрессіи, въ которой первымъ членомъ былъ бы языкъ наиболѣе интеллектуалистическій и наименѣе сенсуалистическій, а послѣднимъ — языкъ наименѣе интеллектуалистическій и наиболѣе сенсуалистическій, то на обоихъ концахъ этой прогрессіи оказались бы—языки латинскій на одномъ и русскій на другомъ. Особенно разительно это различіе сказалось на системѣ спряженія. Дѣйствительно, наиболѣе яркимъ выразителемъ сенсуалистическаго характера языка является такъ называемый видъ глагола, передающій непосредственное впечатлѣніе, воспринимаемое органами внѣшнихъ чувствъ; напротивъ, выразителями интеллектуалистическаго характера языка будутъ съ одной стороны времена, съ другой — наклоненія. Времена — порожденія сортирующей памяти и рефлексіи; память хранитъ образы событій въ ихъ правильной исторической перспективѣ, проицируя ихъ не на одинъ общій фонъ, а на разные, въ соотвѣтствіи съ ихъ послѣдовательностью; рефлексія создаетъ такія же, такъ сказать, кулисы и для ожидаемыхъ событій въ будущемъ. Вспомните, если кому приходилось переводить по-латыни предложенія въ родѣ слѣдующаго: „когда ты ко мнѣ придешь, мы погуляемъ“: вѣдь „придешь“ по-латыни „venies“—такъ и хочется русскому человѣку поставить „cum ad me venies, ambulabimus“, а это будетъ неправильно. Приходъ, вѣдь, предшествуетъ прогулкѣ, это два различныхъ фона

въ будущемъ; вы должны, беря futurum exactum, сказать: „cum ad me *veneris*, ambulabimus“. Это различеніе — порожденіе рефлексіи; русскій языкъ его не выражаетъ, сливая всѣ фоны послѣдовательности на общемъ экранѣ будущности, латинскій же языкъ ихъ выражаетъ и требуетъ отъ васъ, чтобы вы, пользуясь имъ, прибѣгали къ этой рефлексіи.—Еще замѣчательнѣе въ этомъ отношеніи наклоненія. Они — порожденія той же рефлексіи, не довольствующейся установленіемъ одной только дѣйствительности, засвидѣтельствованной органами внѣшнихъ чувствъ, а тщательно отличающей различные углы «наклона» къ дѣйствительности даннаго дѣйствія, начиная съ его полнаго совпаденія съ ней, продолжая ожидаемостью, затѣмъ простой возможностью и кончая недѣйствительностью. Времена и наклоненія особенно развиты въ древнихъ языкахъ, притомъ времена въ латинскомъ, наклоненія въ греческомъ — напротивъ, виды въ нихъ слабѣе представлены, особенно въ латинскомъ. Въ русскомъ языкѣ, наоборотъ, времена едва намѣчены, наклоненія вполнѣ отсутствуютъ,—напротивъ, виды получили такое развитіе, какого они не имѣютъ ни въ одномъ другомъ языкѣ. Итакъ, древніе языки—языки преимущественно интеллектуалистическіе; въ качествѣ таковыхъ они являются наиболѣе желательнымъ дополненіемъ къ преимущественно сенсуалистическому русскому языку.

Тутъ интереснѣе всего то, что наши противники, получивъ нѣкоторое представленіе объ указанномъ здѣсь различіи, эксплуатируютъ его въ свою пользу: „латинскій языкъ“, говорятъ они, „по своему строю совершенно различенъ отъ русскаго; стало быть, онъ намъ русскимъ и не нуженъ“. Неосновательность этого силлогизма станетъ очевидна, если перенести его на болѣе матеріальную почву. Представьте себѣ экономиста, который сталъ бы разсуждать такъ: „Россія—преимущественно земледѣльческая страна; стало быть, ввозить въ нее продукты промышленности нечего, слѣдуетъ ввозить хлѣбъ; напротивъ, Англія—страна преимущественно промышленная: она нуждается, поэтому, во ввозѣ мануфактурныхъ издѣлій, а хлѣба ей не нужно“. Въ данномъ случаѣ, впрочемъ, исторія приходитъ на помощь теоріи, подтверждая ея выводъ: для всѣхъ новыхъ языковъ латинскій языкъ былъ языкомъ-воспитателемъ, съ по-

мощью котораго они были интеллектуализованы; съ его же помощью они, къ слову сказать, послѣ этой первой школы интеллектуализаціи, прошли, какъ мы видѣли, и вторую, доставившую имъ художественность. Творцомъ нѣмецкой художественной прозы былъ Лессингъ, французской — скорѣе всего Бальзакъ старшій, итальянской — Боккачьо; всѣ трое вполнѣ сознательно подражали латинскимъ образцамъ, особенно Цицерону.

Перейдемъ, однако, къ первой сторонѣ интересующаго насъ здѣсь пункта. Я утверждаю, что древніе языки потому должны считаться наиболѣе плодотворнымъ и благодарнымъ матеріаломъ для апперцепціонаго усвоенія, что они *въ своемъ организмѣ даютъ наиболѣе пищи уму*.

Чтобы доказать это, намъ нужно взглянуть нѣсколько внимательнѣе на эту «безплодную степь древнихъ языковъ», какъ ее называютъ наши противники. Начинаемъ съ начала. Съ перваго же урока ученикъ испытываетъ то удовольствіе, что чтеніе не представляетъ ему никакихъ затрудненій, благодаря строгому, почти полному соотвѣтствію произношенія начертанію, звуковъ буквамъ. Ни въ одномъ новомъ языкѣ это соотвѣтствіе не бываетъ столь полнымъ: уже съ этой одной точки зрѣнія латинскій языкъ заслуживаетъ быть первымъ иностраннымъ языкомъ, преподносимымъ мальчику. Вѣдь гораздо естественнѣе, полагаю я, слово est сначала произносить «эстъ», а затѣмъ уже, при прохожденіи французскаго языка, усвоить позднѣйшее, истершееся произношеніе «э», — чѣмъ съ самаго начала учить, что одно и то же слово произносится «э», но пишется, по непонятнымъ для ученика причинамъ, est.

Прежде, однако, чѣмъ идти дальше, спросимъ себя, какую пользу намъ принесла эта прозрачность латинскаго языка, сказывающаяся въ соотвѣтствіи произношенія начертанію. Ту ли только, что на усвоеніе произношенія не потребовалось никакого труда? Нѣтъ. Я еще намѣренъ въ одной изъ слѣдующихъ лекцій побесѣдовать съ вами о модномъ нынѣ вопросѣ «облегченія» школьнаго труда и указать вамъ на тѣ серьезныя опасности соціальнаго характера — да, господа, соціальнаго — которыя принесетъ съ собой это облегченіе. Но школьный трудъ бываетъ двухъ родовъ — трудъ образовательный и трудъ необразовательный. Подъ образовательнымъ трудомъ я разумѣю такой, который заставляетъ васъ пускать въ ходъ свою сообразительность, подводя частный случай подъ общее правило; такой трудъ будетъ въ то же время и нравственнымъ, такъ какъ онъ учитъ васъ чувствовать надъ собой власть закона, а не произвола, и ничего не принимать на вѣру безъ достаточнаго основанія. Теперь вспомните тотъ трудъ, котораго вамъ стоило заучиваніе французскаго правописанія въ отличіе отъ произношенія; можно ли его назвать образовательнымъ и нравственнымъ? Почему слово, произносимое какъ «э», пишется то *et*, то *est*, то *ait* и т. д.? Съ какой стати въ *doigt* «палецъ» появилась эта непроизносимая и ненужная буква *g*? Отчего *honneur*, *labeur* пишутся безъ *e* послѣ *r*, а *demeure*, *heure* черезъ *e*? На все это отвѣта нѣтъ; единственное достаточное основаніе, которое ученикъ можетъ всему этому привести, это: „такъ сказалъ учитель“ или „такъ стоитъ въ учебникѣ“. Положимъ, на дѣлѣ всему этому достаточное основаніе есть — но, господа, это основаніе заключается именно въ латинскомъ языкѣ: правописаніе *et*, *est* и *ait* вполнѣ понятно тому, кто знаетъ, что эти слова восходятъ къ латинскимъ *et*, *est*, *habeat*; сверхштатная согласная *g* въ *doigt* не смутитъ того, кто знаетъ, что это слово произошло отъ *digitus*; въ правописаніи перечисленныхъ словъ на *eur(e)* не ошибется тотъ, кто знаетъ, что и въ латинскомъ языкѣ первая категорія имѣетъ основы на согласную (honor, labor), а вторая — на гласную (mora, hora). Все это такъ, и я вовсе не имѣлъ въ виду принизить сказаннымъ французскій языкъ. Но вѣдь мы имѣемъ въ виду ученика, который учится по-французски, не зная латыни; такой, разумѣется, никакого закона надъ собой не чувствуетъ, чувствуетъ одинъ только произволъ. И мнѣ жаль каждаго часа, потраченнаго на такое ученіе: оно не развиваетъ, не освобождатъ духа, а напротивъ, закрѣпощаетъ его, заглушаетъ въ немъ исконное стремленіе доискиваться въ каждомъ случаѣ закона и разумнаго основанія. И вотъ почему я ставлю латинскому языку — а равно и греческому — въ великую заслугу то, что онъ съ первыхъ же уроковъ освобождаетъ учениковъ отъ этого крѣпостного труда.

Ту же прозрачность строя, облегчающую столь важное для развитія ума установленіе причинности, мы встрѣчаемъ и въ дальнѣйшемъ, начиная съ этимологіи. Проходятся пять склоненій; почему ихъ именно пять? Я предлагаю ученику образовать во всѣхъ пяти родительные падежи множественнаго числа: mens*a*rum, hort*o*rum, turr*i*um, stat*u*um, di*e*rum; затѣмъ творительные падежи единственнаго; mens*a*, hort*o*, turr*i*, stat*u*, di*e*—вездѣ тѣ же пять гласныхъ, по одной на каждое склоненіе. Теперь ему ясно, почему въ латинскомъ языкѣ пять склоненій: потому что и гласныхъ пять. Но кромѣ гласныхъ, бываютъ еще и согласные; дѣйствительно, мы имѣемъ родительные падежи reg-um, capit-um, dolor-um; оказывается, склоненіе такихъ словъ совпадаетъ со склоненіями словъ на *i*, образуя съ ними вмѣстѣ такъ называемое третье склоненіе. Теперь ему понятно, почему въ этомъ третьемъ склоненіи иныя слова имѣютъ въ извѣстныхъ падежахъ *i*, *ium*, *ia*, а другія—*e*, *um*, *a*.—Затѣмъ естественный вопросъ: „а у насъ какъ?“ Учитель скажетъ: и у насъ, въ сущности, то же самое; только вы этого не замѣчаете, потому что у насъ окончанія поистерлись. А когда будете учиться церковнославянскому языку, то вы увидите, что и у насъ склоненія зависятъ отъ заключительной гласной основы, что и у насъ есть основы на *a*, *o*, *i*, *u* (только на *e* нѣтъ), что и у насъ основы на согласные отчасти соединились съ основами на *i*.

Въ системѣ спряженій то же явленіе: am*a*re, doc*e*re, stat*u*ere, fin*i*re; согласные примкнули къ основамъ на *u*: re*g*-ere, scri*b*-ere спрягаются такъ же, какъ и stat*u*-ere. Но почему нѣтъ основъ на *o*? Потому что рядомъ съ основами на *a* онѣ излишни: глаголъ firmare общій и для firmus и для firma.—Все это еще не научная историческая грамматика, а только осмысленная школьная; путемъ этого осмысленія я внушаю ученику убѣжденіе, что языкъ есть царство законности, а не произвола, что каждое явленіе въ языкѣ имѣетъ свое разумное основаніе. Попробуйте теперь добиться тѣхъ же результатовъ съ помощью нѣмецкой системы склоненій, этихъ безсмысленныхъ starke, schwache und gemischte Declination, или французской системы спряженій съ ихъ не менѣе безсмысленными и произвольными окончаніями *er*, *ir*, *oir* и *re*! Вѣдь для

того, чтобы внести нѣкоторый смыслъ въ французскій языкъ, я долженъ опять-таки воспользоваться помощью того же латинскаго, долженъ свести французскіе глаголы, aimer, finir, devoir и vendre къ ихъ латинскимъ первообразамъ amare, finire, debere и vendere! Не даромъ же глубокій знатокъ французскаго языка и французской литературы, Vinet, сказалъ, что le latin c'est la raison du français: этимъ самымъ онъ призналъ, что французскій языкъ самъ по себѣ raison не имѣетъ и, какъ языкъ, пищи уму дать не можетъ. Вотъ почему вдвойнѣ хорошо, что французскій языкъ, какъ и вообще новые языки, усвоивается ассоціаціоннымъ путемъ, апперцепціоннымъ же путемъ только тѣ, которые по своему организму этого стоятъ.

А исключенія? спросите вы. Да, конечно; имѣй мы латинскій языкъ въ своей власти, мы бы его устроили такъ, чтобы исключеній въ немъ не было; но такъ какъ это не въ нашей власти, то будемъ же радоваться хоть тому, что ихъ такъ немного. Въ самомъ дѣлѣ, вспомнимъ, что въ самомъ легкомъ изъ русскихъ склоненій (женскихъ на *а*) совершенно схожія по формѣ и ударенію слова *толпа*, *звѣзда*, *вода* представляютъ изъ себя, однако, три различныхъ, различно склоняемыхъ типа (I. *толпá*, *толпý*, *толпы*; II. *звѣздá*, *звѣздý*,—*звѣзды*: III. *водá*,—*вóду*, *вóды*); что въ тоже нетрудномъ склоненіи мужскихъ на *ъ* односложныя слова распадаются даже на четыре типа (I. *споръ*, *спóра*, *спóры*, *спóровъ*; II. *зубъ*, *зýба*, *зýбы*,—*зубóвъ*; III. *полъ*, *пóла*,—*полы́*, *полóвъ*; IV. *столъ*,—*столá*, *столы́*, *столóвъ*); возведемъ, какъ это необходимо при апперцепціонномъ усвоеніи, одинъ изъ этихъ типовъ въ правило—и мы увидимъ, какія у насъ получатся безконечныя вереницы исключеній. Вспомнимъ, затѣмъ, объ опредѣленіи рода французскихъ и особенно нѣмецкихъ существительныхъ—и мы легко согласимся, что въ латинскомъ языкѣ исключеній, сравнительно, очень немного.

Но при всемъ томъ они есть и, поскольку они есть, затрудняютъ апперцепціонное усвоеніе языка; что же дѣлаетъ съ ними классическая школа? Какъ школа серьезная, она требуетъ отъ своихъ питомцевъ умственной работы—но лишь постольку, поскольку эта работа образовательна и плодотворна; считая усвоеніе исключеній необходимымъ въ виду своихъ

дальнѣйшихъ цѣлей, но не плодотворнымъ въ смыслѣ развитія ума, она облегчила его до послѣдней возможности. Книга знаменитаго экономиста Bücher'а «Arbeit und Rhythmus», въ которой авторъ развиваетъ экономическое значеніе ритма, какъ облегчающаго работу средства, и узнаетъ въ первоначально безсмысленной и только ритмической рабочей пѣсенкѣ одинъ изъ главныхъ корней (онъ говоритъ даже: единственный корень) поэзіи — эта книга въ ту эпоху, о которой я говорю, еще не была написана; все же фактъ, который Бюхеромъ впервые былъ тщательно изслѣдованъ, сознавался уже тогда. Затѣмъ, школа понимала, что имѣетъ дѣло не съ взрослыми, а съ 9—11-лѣтними мальчиками, для которыхъ заучиваніе безсмысленнаго, но ритмическаго набора словъ составляетъ физическую потребность: достаточно, вѣдь, вспомнить, что это — тотъ самый возрастъ, когда дѣти при своихъ играхъ такъ любятъ «считаться», какъ они это называютъ, при чемъ они пользуются какой-нибудь тарабарщиной, лишенной всякаго смысла, но въ ритмической формѣ. Опираясь на указанные психологическіе факты — 1) облегчающую, спеціально мнемоническую силу ритма и 2) склонность дѣтей къ заучиванію ритмическаго набора словъ — классическая школа нашла выходъ изъ затруднительнаго положенія, въ которое она была поставлена наличностью исключеній: желая по возможности облегчить своимъ питомцамъ ихъ усвоеніе, она составила тѣ знаменитыя стихотворныя правила, которыми насъ постоянно попрекаютъ наши противники. Послѣдующія времена, измѣнивъ цѣли преподаванія, дали возможность значительно сократить эти стишки; но въ этой сокращенной формѣ они являются и понынѣ лучшимъ средствомъ для усвоенія требуемаго матеріала. Я самъ ими пользовался, когда былъ преподавателемъ въ первомъ классѣ: помню, какъ вычурныя сочетанія мудреныхъ словъ и потѣшныя риѳмы вызывали здоровый дѣтскій смѣхъ моихъ учениковъ, особенно когда я заставлялъ ихъ, къ концу урока, хоромъ повторять риѳмованныя правила; а такъ какъ я признавалъ здоровый юморъ очень полезнымъ «вегикуломъ» (какъ говорятъ врачи) при преподаваніи въ младшихъ классахъ, то эти финалы уроковъ обращались въ своего рода веселую игру; и если бы послѣ такихъ уроковъ школьный врачъ соблагово-

лилъ циркулемъ измѣрить притупленность нервовъ у моихъ мальчиковъ, то онъ остался бы, полагаю я, вполнѣ доволенъ.

Такова латинская этимологія; скажу теперь нѣсколько словъ и о греческой. Она довершаетъ лингвистическое зданіе прибавленіемъ къ нему важнаго отдѣла — фонетики. Только греческій языкъ даетъ достаточно полную систему звуковъ; только на немъ можно ознакомиться съ такими важными лигвистическими явленіями, какъ стяженія гласныхъ и комбинаціи согласныхъ, благодаря чему организмъ языка дѣлается еще прозрачнѣе и понятнѣе. Настоящимъ торжествомъ такого освѣщенія языка представляется система спряженія, которую только въ греческомъ языкѣ и можно пройти синтетически. Я даю ученику не формы, а ихъ составные элементы: говорю ему, что корень вообще не измѣняется, но что къ нему прибавляются разнаго рода частицы, выражающія время (такъ называемая «примѣта времени»), наклоненіе (такъ называемая «тематическая гласная»), лицо и число («окончаніе»); учу его обращаться съ этими элементами, предупреждаю его, что принадлежность дѣйствія прошлому подчеркивается прибавленіемъ такъ называемаго приращенія, а его совершенность выражается удвоеніемъ — и мой ученикъ уже самъ, рѣдко прибѣгая къ моей помощи, образуетъ мнѣ всю систему глагола. И разумѣется, не одинъ только греческій языкъ сталъ ему понятенъ этимъ путемъ — такое разложеніе формъ на ихъ элементы освѣщаетъ заодно и строй каждаго языка, строй языка вообще. Съ этой точки зрѣнія можно сказать, что латинская этимологія раскрыла ученику анатомію, а греческая — химію языка вообще; вмѣстѣ взятыя онѣ выясняютъ ему происхожденіе и образованіе языка, который теперь уже не будетъ ему казаться наборомъ чисто условныхъ и произвольныхъ правилъ, а напротивъ — закономѣрнымъ и величественнымъ въ своей закономѣрности явленіемъ природы. А насколько важенъ такой взглядъ, въ этомъ легко убѣдится всякій. Вспомнимъ, что языкъ — та природа, которой мы дѣйствительно окружены вездѣ и всегда; выясняя ученику закономѣрность этой природы, пріучая его къ наблюденіямъ въ этой области, мы поддерживаемъ въ немъ тотъ духъ научности, который приспособляетъ человѣка ко всякаго рода научному труду. Не могу останавли-

ваться здѣсь на этой мысли; сошлюсь, однако, на «Введеніе въ философію» Фр. Паульсена, который доказываетъ, что даже эволюціонная теорія, которой такъ гордится естествознаніе нашихъ временъ, была, прежде всего, установлена на латинскомъ языкѣ В. Гумбольдтомъ, а затѣмъ уже перенесена на явленія матеріальной природы. Эта книга, къ слову сказать, можетъ быть горячо рекомендована тѣмъ, которые раздѣляютъ неправильное мнѣніе, будто методъ научнаго изслѣдованія неразрывно связанъ со своимъ матеріаломъ; впрочемъ, неправильность этого мнѣнія ясна всѣмъ, кто когда-либо изучалъ исторію какой-нибудь науки, или самъ не чуждъ научнаго творчества.

Довольно, однако, на сегодня. Область, со значеніемъ которой я успѣлъ васъ познакомить, занимаетъ небольшое мѣсто не только въ античности вообще, т.-е. въ системѣ наукъ о древнемъ мірѣ, но даже и въ томъ, что можно назвать школьной античностью. Но, съ одной стороны, это—первая область, съ которой имѣетъ дѣло человѣкъ, вступающій въ предѣлы античности; здѣсь, поэтому, насъ встрѣтила масса принципіальныхъ вопросовъ, которые пришлось, такъ или иначе, выяснить. А съ другой стороны—это въ то же время наиболѣе поруганная область: всѣ противники классическаго образованія попрекаютъ насъ главнымъ образомъ грамматикой обоихъ древнихъ языковъ, этой «безплодной степью», какъ они ее называютъ. Я старался вамъ показать, что эта мнимая степь приноситъ свои плоды, — притомъ плоды, если не всегда сладкіе, то зато здоровые и въ умственномъ, и въ нравственномъ отношеніи. На этомъ я сегодня заканчиваю; на слѣдующихъ лекціяхъ предполагаю нѣсколько ускорить темпъ — это можно будетъ сдѣлать безъ ущерба для дѣла, такъ какъ онѣ будутъ посвящены болѣе привлекательнымъ—также и съ внѣшней стороны—частямъ античности.

ЛЕКЦІЯ ТРЕТЬЯ.

Первая антитеза: продолженіе. — Лексическій составъ древнихъ языковъ.— «Языкъ—исповѣдь народа».—Отраженіе народной души въ словахъ языка.— Отраженіе въ нихъ народнаго быта. — Синтаксисъ.—Эманципація мысли.— Сравнительная неграмматичность русскаго языка.—Стилистическая цѣнность языковъ.—Античный «періодъ» какъ школа стиля.—Опасность оскудѣнія и борьба съ нимъ.

Начиная свою третью лекцію объ образовательномъ значеніи античности, считаю полезнымъ напомнить вамъ въ немногихъ словахъ содержаніе первыхъ двухъ, которыя вы прослушали двѣ недѣли назадъ. Мы видѣли, прежде всего, что враждебное отношеніе къ античности значительной части общества не должно имѣть для насъ рѣшающаго значенія, такъ какъ этотъ сознательный, неблагопріятный вердиктъ, плодъ заблужденія и обмана, не можетъ идти въ сравненіе съ безсознательнымъ благопріятнымъ вердиктомъ того же общества, которое бережетъ классическое образованіе вотъ уже 15—20 вѣковъ, «большое я» важнѣе «малаго». Мы видѣли, затѣмъ, что образовательное значеніе античности должно быть признано фактомъ на основаніи данныхъ опыта, независимо отъ того, удастся ли намъ удовлетворительно выяснить, въ чемъ оно состоитъ—точно такъ же какъ питательное значеніе хлѣба считалось фактомъ на основаніи данныхъ того же опыта много раньше, чѣмъ физіологія пищеваренія и органическая химія намъ его доказали аналитически. Обсудивъ затѣмъ бѣгло и нѣсколько другихъ принципіальныхъ вопросовъ, мы перешли

къ темѣ, т.-е. къ посильному выясненію образовательнаго значенія античности; установивъ, что элементовъ классическаго образованія въ гимназіи три, а именно—система обоихъ древнихъ языковъ, избранныя части лучшихъ произведеній древнихъ литературъ и ознакомленіе съ различными сторонами античности путемъ прохожденія древней исторіи и т. д.—мы сосредоточились на первомъ изъ нихъ, на системѣ древнихъ языковъ, съ ея тремя составными частями, этимологіей, семасіологіей и синтаксисомъ. Я старался вамъ доказать, что образовательное значеніе древнихъ языковъ какъ таковыхъ заключается прежде всего въ апперцепціонномъ (а не ассоціаціонномъ) методѣ ихъ усвоенія, пригодномъ для древнихъ и непригодномъ для новыхъ языковъ; затѣмъ въ томъ, что древніе языки по своимъ психологическимъ свойствамъ, какъ языки интеллектуалистическіе, являются наиболѣе желательнымъ дополненіемъ къ преимущественно сенсуалистическому русскому языку; наконецъ въ томъ, что они въ своемъ организмѣ даютъ наиболѣе пищи уму. Эту питательность, такъ сказать, древнихъ языковъ мы установили прежде всего на этимологіи; мы видѣли, что оба языка почти свободны отъ той неудобоваримой и лишь засоряющей память примѣси, которая обусловливается несоотвѣтствіемъ правописанія произношенію; что латинская этимологія, благодаря своей сравнительной прозрачности, выясняетъ ученику анатомію языка вообще, пріучая его этимъ смотрѣть на языкъ какъ на закономѣрное явленіе природы—между тѣмъ какъ вносящія пертурбацію въ дѣтскій умъ «исключенія» въ латинской этимологіи сравнительно немногочисленны, и усвоеніе ихъ можетъ быть облегчено до послѣдней степени; что, равнымъ образомъ, греческая этимологія, благодаря своей еще большей прозрачности, даетъ возможность расчленить языкъ на его простѣйшіе составные элементы — это то, что я назвалъ «лингвистической химіей». Здѣсь мы остановились; характеристику обѣихъ остальныхъ частей системы древнихъ языковъ—семасіологіи и синтаксиса—пришлось за недостаткомъ времени отложить до слѣдующей лекціи, т.-е. до сегодняшней.

Но, господа, прежде чѣмъ перейти къ ея темѣ, считаю умѣстнымъ подѣлиться съ вами нѣкоторыми соображеніями, вызванными отношеніемъ нѣкоторыхъ моихъ слушателей къ

моимъ первымъ лекціямъ. Моей задачей была и есть характеристика античности въ ея образовательномъ значеніи—именно характеристика, а не защита: апологетическаго элемента я отъ себя вносить не хотѣлъ. Такой, однако, получился и получается самъ собой въ силу естественныхъ условій: тамъ, гдѣ какое-нибудь общественное явленіе подвергается несправедливымъ нападеніямъ, всякая правильная его характеристика невольно принимаетъ видъ апологіи. Отсюда дальнѣйшее неудобство: обидчикъ склоненъ считать всякій протестъ противъ его обиды—обидой, наносимой ему. Возьму примѣръ: натуралистъ (т.-е. разумѣется одинъ изъ натуралистовъ) говоритъ, что античность никуда не годится; я ему возражаю и доказываю, что античность годится на то-то и то-то. Стало быть, говоритъ мой противникъ, по-вашему естественныя науки никуда не годятся? Нѣтъ, г. натуралистъ, это будетъ вовсе не по-моему, совершенно напротивъ: разница между вами и мною состоитъ именно въ томъ, что я и понимаю, и уважаю вашу науку, между тѣмъ какъ вы, повидимому, не въ состояніи уважать, т.-е. понимать мою.

Повторяю, я въ своихъ лекціяхъ стараюсь только характеризовать мою область; иногда я, въ силу необходимости, защищаю ее и себя, но никогда ни на кого и ни на что не нападаю. Выражусь яснѣе: я не только не имѣлъ въ виду обидѣть кого бы то ни было — я никого не обидѣлъ; это заявленіе я въ правѣ сдѣлать, такъ какъ каждое слово моихъ лекцій было мною обдумано именно съ этой точки зрѣнія. Если же кто тѣмъ не менѣе считаетъ себя обиженнымъ, то я позволю себѣ ему замѣтить, что эта его обиженность—плодъ неправильнаго толкованія имъ моихъ словъ, въ которомъ я неповиненъ. Предусмотрѣть такое неправильное толкованіе не было въ моихъ силахъ: путь истины, повторяю, одинъ, но путей заблужденія безчисленное множество.—А затѣмъ перехожу къ темѣ.

Объ образовательномъ значеніи этимологіи обоихъ языковъ было сказано въ прошлой лекціи—конечно, очень бѣгло, но вѣдь недостатокъ времени не дозволяетъ намъ идти дальше самыхъ общихъ контурныхъ эскизовъ; теперь на очереди семасіологія, сводящаяся въ гимназіи къ заучиванію «словъ»

того и другого языка. Это заучиваніе тянется черезъ весь гимназическій курсъ, такъ какъ оно сопровождаетъ чтеніе каждаго автора; спрашивается, какая отъ него польза? Отвѣчаю: польза очень большая и разнообразная; но такъ какъ я здѣсь имѣю въ виду только общеобразовательное значеніе античныхъ языковъ, то я не буду говорить о важности знанія лексическаго ихъ состава для сознательнаго отношенія къ живущимъ понынѣ въ новыхъ языкахъ латинскимъ и греческимъ словамъ, особенно для научной терминологіи, а равно и о важности этого знанія для облегченія и осмысленія изученія романскихъ языковъ, особенно французскаго. Между тѣмъ, то общеобразовательное значеніе болѣе всего оспаривается. Что за польза, говорятъ, въ томъ, что я могу назвать собаку по-латыни canis, а по-гречески κύων? Развѣ мое представленіе о собакѣ благодаря этому обогащается хоть на одну черту? — Когда я слышу подобнаго рода разсужденія — а слышу я ихъ часто — я испытываю такое же чувство, какое испытываетъ химикъ, когда ему въ числѣ элементовъ называютъ воду, или астрономъ, когда ему говорятъ о вращеніи солнца вокругъ земли: на меня вѣетъ чѣмъ-то затхлымъ и старымъ, я убѣждаюсь, что вся новѣйшая эволюція лингвистической науки прошла для разсуждающаго безслѣдно. Еще В. Гумбольдтъ вполнѣ справедливо сказалъ: die Sprache ist durchaus kein blosses Verständigungsmittel, sondern der Abdruck des Geistes und der Weltanschauung des Redenden; и ту же мысль выразилъ у насъ кн. Вяземскій въ своихъ стихахъ:

Языкъ есть исповѣдь народа:
Въ немъ слышится его природа,
Его душа и бытъ родной.

Возьмемъ примѣръ: то слово, которое люди говорятъ другъ другу при прощаніи: χαῖρε, vale, adieu, farewell, leb wohl — тутъ, что ни языкъ, то новое представленіе, новая частица народной исповѣди. Но, возразятъ, чѣмъ же тутъ древніе языки лучше новыхъ? Отвѣчаю: *во-первыхъ*, тѣмъ, что они усваиваются апперцепціонно, согласно сказанному раньше, такъ что тутъ семасіологическое различіе проникаетъ въ сознаніе, между тѣмъ какъ въ новыхъ языкахъ при ассоціаціонномъ усвоеніи оно въ сознаніе не проникаетъ. Говорящій по-французски русскій такъ же мало задумывается надъ тысячу разъ произносимымъ adieu, какъ и надъ своимъ русскимъ „прощай“; напротивъ, по-гречески онъ обязательно учитъ: χαῖρε — собственно „радуйся“, затѣмъ „прощай“, по-латыни обязательно: vale — собственно „будь здоровъ“, затѣмъ „прощай“ — и тутъ-то повѣетъ на него хоть слегка жизнерадостнымъ духомъ Греціи, трезвымъ и бодрымъ — Рима; и самъ собою, точно рикошетомъ, явится вопросъ: „а у насъ какъ?“ И онъ призадумается надъ тѣмъ, что̀ это значитъ, когда мы, разставаясь, говоримъ другъ другу: „прости“, „прощай“; и этотъ клочокъ народной исповѣди пробудитъ въ немъ сознаніе, что его родной языкъ — языкъ дѣйствительно прекрасный и полный чувства и души. Это — разъ, или, вѣрнѣе, разъ и *два*, такъ какъ постоянно вызываемую охоту къ сравненію съ роднымъ языкомъ я тоже считаю достоинствомъ изученія античной семасіологіи; но это не все.

Третье достоинство — ея прозрачность. Среди вокабуловъ третьяго склоненія встрѣчается cor cordis «сердце». „Было у насъ“, спрашиваю, „слово того же корня?“ Да, было: concordia. — „Итакъ, что̀ значитъ concordia собственно?“ — Совмѣстность сердецъ (ученикъ скажетъ, конечно: „когда сердца вмѣстѣ“, и это, пожалуй, даже лучше). Итакъ, происхожденіе отвлеченныхъ понятій изъ конкретныхъ выяснено на примѣрѣ; но вслѣдъ затѣмъ рикошетомъ является вопросъ: „а у насъ какъ?“ И ученикъ въ первый разъ задумается надъ словомъ „согласіе“ и скоро рѣшитъ, что оно означаетъ, собственно, „совмѣстность голосовъ“ — причемъ ему придетъ въ голову и то, что въ данномъ случаѣ латинскій языкъ, пожалуй, обнаружилъ больше глубины и чувства. Попробуйте достигнуть тѣхъ же результатовъ съ французскимъ concorde, въ которомъ ученикъ и не узнаетъ слова coeur, или съ нѣмецкимъ Eintracht, котораго онъ никогда не пойметъ, даже если ему объяснить, что — tracht происходитъ отъ tragen.

Четвертое достоинство заключается въ томъ, что слова князя Вяземскаго о языкѣ дѣйствительно болѣе всего примѣнимы къ древнимъ языкамъ, болѣе всего потому, что они — особенно греческій — выросли самобытно, не испытавъ вліянія

другихъ языковъ. Подчеркиваю этотъ пунктъ: греческій языкъ для насъ незамѣнимъ именно какъ языкъ-самородокъ. Это не значитъ, разумѣется, чтобы въ немъ не было вовсе негреческихъ словъ: таковыя, особенно финикійскаго происхожденія, имѣются, но ихъ не только очень немного, — они касаются только внѣшняго міра и ничуть не затрогиваютъ народной души. Да я здѣсь и не говорю вовсе объ иностранныхъ словахъ — они носятъ отпечатокъ своего иностраннаго происхожденія, болѣе или менѣе легко узнаваемый, и никого, поэтому, въ заблужденіе не введутъ; нѣтъ, я говорю о словахъ, переведенныхъ съ иностраннаго языка и, стало быть, внѣшнимъ образомъ проникшихъ въ языкъ, а не выработанныхъ народной совѣстью; вы легко поймете, что чѣмъ больше процентъ такихъ словъ, тѣмъ менѣе языкъ народа служитъ выразителемъ народной совѣсти. Такъ вотъ именно такихъ «переводныхъ» словъ въ греческомъ языкѣ нѣтъ; благодаря этому онъ весь, какъ онъ есть, явился отпечаткомъ греческой народной души, такъ что мы, даже если бы вся греческая литература погибла, на основаніи одного греческаго словаря могли бы возстановить эту душу. Напротивъ, новые языки, и въ томъ числѣ русскій, вамъ этой возможности не даютъ; спеціально въ русскомъ языкѣ такихъ «переводныхъ» словъ такъ много, что безъ нихъ не только мы, люди культурные, но даже самые неграмотные крестьяне не были бы въ состояніи поговорить другъ съ другомъ «по совѣсти». Для примѣра возьмемъ то самое слово, которое занимаетъ насъ теперь — слово «совѣсть»; можемъ ли мы, можетъ ли народъ безъ него обойтись? Нѣтъ, очевидно. А между тѣмъ, можно ли сказать, что это слово — плодъ русской народной совѣсти, частица исповѣди русскаго народа? Нѣтъ, господа: въ русскомъ народномъ сознаніи это слово корней не имѣетъ. Что̀ такое «совѣсть?» Расчленимъ его: «вѣсть» отъ «вѣдаю», «совѣсть» отъ «со-вѣдаю»... у насъ такого слова или оборота нѣтъ; мы говоримъ: „я не вѣдаю грѣха за собой“, а не „съ собой“. Какъ же появилось у насъ это слово? Чисто книжнымъ путемъ, посредствомъ перевода греческаго συνείδησις (лат. con-scientia), не разъ встрѣчающагося въ Новомъ Завѣтѣ. А συνείδησις — чисто греческое слово и понятіе; по-гречески дѣйствительно говорятъ

σύνοιδα ἐμαυτῷ κακόν τι ποιήσαντι, „я знаю вмѣстѣ съ собою, совершившимъ дурное дѣяніе“. Понимаете ли вы, что это значитъ? Это значитъ вотъ что. Ты совершилъ дурное дѣяніе, со всѣми предосторожностями, тайно отъ всѣхъ людей, и даже, быть можетъ, отъ боговъ. Тѣмъ не менѣе не утѣшай себя мыслью, что у тебя нѣтъ свидѣтелей. Есть нѣкто, «знающій это дѣяніе вмѣстѣ съ тобой», и этотъ нѣкто — ты самъ, божественное начало твоей души, и отъ этого свидѣтеля тебѣ никогда не отдѣлаться, пока ты живъ. И вотъ — продолжаю словами Эсхила — „ночью вмѣсто сна памятливая забота стучится въ окно твоего сердца, и противъ твоей воли ты учишься быть добродѣтельнымъ“. Итакъ, душа человѣка двоится: одна часть, земная, оскверняетъ себя грѣхомъ, — другая, божественная, становится строгой свидѣтельницей и судьей первой; эта вторая часть, „вѣдающая вмѣстѣ съ нами“ — наша совѣсть. Вотъ вамъ опять частица народной исповѣди; да, но эта исповѣдь — исповѣдь *греческаго* народа, составляющая одно цѣлое съ ученіемъ Эсхила и Платона, а не русскаго, который пріобщилъ наше слово путемъ буквальнаго перевода съ греческаго. И такихъ «переводныхъ» словъ у насъ много, и знать ихъ нужно для того, чтобы не приписывать русской народной душѣ того, что ей чуждо. Выводъ отсюда ясенъ: какъ это ни звучитъ парадоксально, но знать по-гречески нужно, чтобы знать русскій языкъ. Кто требуетъ упраздненія греческаго языка и усиленія на его счетъ русскаго, тотъ этимъ требованіемъ доказываетъ, что онъ самъ не знаетъ русскаго языка, его прошлаго, его души.

Впрочемъ, эта важность греческаго языка для пониманія языка русскаго получилась у насъ лишь въ видѣ попутнаго результата; наша тема здѣсь другая — исключительное значеніе античныхъ языковъ какъ полныхъ и цѣльныхъ отпечатковъ народной души. Но кн. Вяземскій говорилъ не только о душѣ: „его душа и бытъ родной“, гласитъ послѣдній изъ приведенныхъ мною стиховъ. Вы могли спросить: при чемъ тутъ бытъ родной? Выясню и это на примѣрѣ.

Вамъ всѣмъ извѣстно слово rivalis, перешедшее также и во французскій языкъ; его значеніе — «соперникъ». Но задумывались ли вы надъ его происхожденіемъ? Указать его

можетъ любой гимназистъ даже младшихъ классовъ: socialis отъ socius, rivalis отъ rivus. Да, конечно; но rivus означаетъ «ручей» — какимъ же образомъ его производное rivalis получило значеніе «соперникъ?» А вотъ какимъ образомъ. Въ Италіи, гдѣ дожди въ жаркое время рѣдкость, уже въ древности практиковалась система искусственныхъ орошеній: вода отъ рѣки или ключа отводилась съ помощью канала, rivus; къ этому каналу примыкали канавы, прорѣзывавшія подлежащіе орошенію поля и луга. Черезъ приподнятый шлюзъ вода въ нихъ вводилась изъ главнаго канала; если земля была достаточно пропитана влагой, шлюзъ опускался — claudite jam rivos, pueri, sat prata biberunt, говоритъ у Виргилія пастухъ. Теперь вы легко поймете, что въ засуху эта вода каналовъ цѣнилась очень дорого: при слишкомъ обильномъ орошеніи у верхняго сосѣда — нижній сосѣдъ могъ остаться безъ воды. Отсюда частые споры между «сосѣдями по каналу», между rivales — таково первоначальное значеніе нашего слова; въ этомъ значеніи оно употребляется римскими юристами. Не всегда, однако, эти споры, это соперничество между rivales оставалось на почвѣ гражданско-правовыхъ сношеній; бывали случаи много серьезнѣе. Отъ обильныхъ дождей питаемый горными ключами каналъ вздулся и разсвирѣпѣлъ; бурной струей текутъ его волны между сдерживающими ихъ плотинами, еще немного — и онѣ поравняются съ краемъ плотины нашего крестьянина или прорвутъ ее, зальютъ его поля, разрушатъ его хижину, разорятъ его..., если только онѣ не прорвутся раньше въ поля его сосѣда по ту сторону канала и не погубятъ его. Tua mors — mea vita. И вотъ онъ ночью, вооруженный заступомъ, прокрадывается къ плотинѣ сосѣда, чтобы ее раскопать и направить разрушительный потокъ на его луга, сады, строенія. Но и сосѣдъ не дремлетъ: едва раздались первые удары заступа, какъ сбѣгается челядь, пускается въ ходъ дубье, камни, ножи, происходитъ кровопролитная драка... между кѣмъ? Между rivales. Понятенъ вамъ теперь переходъ значенія въ этомъ словѣ? Такъ на лексической сокровищницѣ языка отражается «бытъ родной» создавшаго его народа.

Вернемся, однако, къ его душѣ; затронутый здѣсь вопросъ настолько интересенъ и важенъ, что мнѣ хотѣлось бы пояснить его еще нѣсколькими примѣрами. Что такое potens? — «мощный»; а impotens? — изрѣдка «немощный», но чаще «страстный» — вотъ вамъ исповѣдь народа, который въ разумѣ видѣлъ силу, неразумную же страсть отожествлялъ съ безсиліемъ. Далѣе: πράσσω — «поступаю»; εὖ πράσσω — «поступаю хорошо», а затѣмъ «я счастливъ». Вотъ та ячейка народнаго сознанія эллиновъ, изъ которой потомъ органически выросла нравственная философія Сократа, видѣвшая въ добродѣтели, т.-е. въ хорошихъ поступкахъ, необходимое условіе счастья, а затѣмъ — стоическая этика, учившая, что добродѣтель сама по себѣ дѣлаетъ человѣка счастливымъ. Далѣе: γιγνώσκω — «познаю, понимаю»; συγγιγνώσκω — собственно «понимаю вмѣстѣ», затѣмъ «прощаю»; что это значитъ? Это значитъ — tout comprendre c'est tout pardonner: гуманное правило, которымъ прославилась г-жа de Stael, давно уже имѣлось въ исповѣди греческаго народа. Но если христіанинъ молитъ Бога о прощеніи ему грѣховъ, то онъ не можетъ сказать Ему: „пойми ихъ вмѣстѣ со мной“; въ молитвѣ Господней сказано поэтому не σύγγνωθι, а ἄφες, dimitte nobis peccata nostra — «отпусти»; dimitte не удержалось, но его замѣнило равнозначущее perdona, «подари мнѣ сверхъ заслуги», которое и понынѣ живетъ въ романскихъ языкахъ. Я привелъ это послѣднее обстоятельство въ виду *пятаго* дстоинства древней семасіологіи: оно состоитъ въ томъ, что, благодаря ей, мы получаемъ возможность на небольшихъ областяхъ проводить историческія перспективы, которыя и сами по себѣ интересны и цѣнны, и поддерживаютъ въ учащихся духъ историзма — эту сигнатуру современной науки, давшую истекшему XIX вѣку названіе saeculum historicum.

Вмѣстѣ же взятыя указанныя достоинства таковы, что благодаря имъ съ лихвой окупается затрачиваемое на усвоеніе античной семасіологіи время; я, по крайней мѣрѣ, знаю по собственному опыту, что этимъ путемъ можно произвести на учащихся самое глубокое впечатлѣніе, пробуждая въ нихъ не только мысли, но и чувства.

Теперь два района «безплодной степи древнихъ языковъ» благополучно пройдены; остался третій — *синтаксисъ*. Это

БИБЛІО-ТЕКА

вмѣстѣ съ тѣмъ для многихъ самый страшный районъ; къ нему преимущественно относится выраженіе «гимнастика ума», которое наши противники избрали главною мишенью для своихъ насмѣшекъ, замѣняющихъ у нихъ доказательства. Позвольте противопоставить имъ сужденіе человѣка, который, какъ мыслитель, имѣлъ представленіе о процессѣ мышленія, и вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ отецъ современной психологіи, не можетъ не имѣть авторитета въ интересующихъ насъ здѣсь психологическихъ вопросахъ — именно Шопенгауера. „При переводѣ на латинскій языкъ“, говоритъ онъ въ своемъ сочиненіи Über Sprache und Worte § 299, „приходится совершенно освобождать мысль отъ тѣхъ словъ, которыя въ подлинникѣ ее выражаютъ, чтобы она стояла въ нашемъ сознаніи нагой, какъ духъ безъ тѣла; а затѣмъ слѣдуетъ дать ей совершенно другое, новое тѣло при помощи латинскихъ словъ, которыя передаютъ ее въ совершенно другой формѣ, такъ что, напр., существительныя подлинника теперь выражены глаголами и т. д. Производство подобной метемпсихозы развиваетъ настоящее мышленіе. Здѣсь мы имѣемъ то же явленіе, которое въ химіи называется status nascens: простое вещество (Stoff), оставляющее одно соединеніе, чтобы вступить въ другое, обнаруживаетъ, во время своего перехода, особую и исключительную силу и дѣятельность. То же самое относится и къ обнаженной отъ словъ мысли при ея переходѣ изъ одного языка въ другой. Вотъ, стало быть, почему древніе языки непосредственно развиваютъ и укрѣпляютъ духъ“. И вотъ, прибавлю, почему Фулье могъ справедливо сказать: chaque leçon de latin est une leçon de logique; разумѣлъ онъ при этомъ, преимущественно, урокъ латинскаго синтаксиса, къ которому онъ смѣло могъ прибавить и греческій.

Къ положенію Шопенгауера мы еще вернемся; здѣсь пока отмѣтимъ, что оно касается лишь одной стороны дѣла; вторая, тоже важная, состоитъ въ томъ, что каждый урокъ латинскаго или греческаго синтаксиса есть въ то же время и урокъ русскаго языка. Возьмемъ примѣръ: проходя съ учениками греческій синтаксисъ, я предлагаю имъ для перевода по-гречески слѣдующія двѣ фразы: „чтобы его считали благочестивымъ, онъ часто молился“, и „чтобъ сердце гнѣвной матери Господь смягчилъ, молюсь“. Конструкціи вполнѣ одинаковыя — два очевидныхъ предложенія цѣли, „молиться, чтобы“. Тѣмъ не менѣе по-гречески онѣ переводятся различно: въ первомъ случаѣ слѣдуетъ взять союзъ ἵνα съ сослагательнымъ наклоненіемъ, во второмъ — простое неопредѣленное наклоненіе. Почему такое различіе? Потому, что его требуетъ также и логика: вѣдь въ первомъ случаѣ „чтобы его считали благочестивымъ“ есть *только* цѣль молитвы, во второмъ же случаѣ „чтобъ сердце гнѣвной матери Господь смягчилъ“ — не только цѣль, но и содержаніе; некрасовскій крестьянинъ дѣйствительно молился: „Господи, смягчи сердце гнѣвной матери“, между тѣмъ какъ содержаніе молитвъ того ханжи неизвѣстно, да и не важно. Какъ же вамъ кажется: одному ли только греческому синтаксису научилъ я своихъ учениковъ, или же заставилъ ихъ относиться сознательно и къ синтактическимъ явленіямъ русскаго языка? Но, возразятъ намъ, той же цѣли можно достигнуть и безъ греческаго синтаксиса: проходите съ ними русскій синтаксисъ систематически, выясняйте на удачно подобранныхъ примѣрахъ различныя логическія категоріи, совмѣщаемыя въ одинаковыхъ категоріяхъ грамматическихъ — и дѣло будетъ сдѣлано. Отвѣчу: нѣтъ, этимъ путемъ дѣло не будетъ сдѣлано. Ученику нѣтъ надобности знать такія тонкости русскаго синтаксиса, чтобы понимать Некрасова, который и самъ врядъ ли ихъ зналъ; но ему необходимо ихъ знать для правильнаго перевода указаннаго рода фразъ по-латыни или по-гречески. Между тѣмъ, самый дѣйствительный педагогическій пріемъ состоитъ въ слѣдующемъ: если цѣль, которую вы поставили ученикамъ, не самоинтересна, то вы достигнете ея не иначе, какъ превращая ее въ средство къ достиженію другой цѣли.

Вообще синтаксисъ, да и прочую грамматику, слѣдуетъ проходить именно на древнихъ языкахъ, а не на русскомъ, и вотъ почему.

Первая причина та, что она развилась и выросла именно на древнихъ языкахъ, а не на русскомъ, и потому сидитъ на русскомъ языкѣ точно краденое пальто. Какъ удобопримѣнимы грамматическія категоріи къ латинской фразѣ mihi pecunia deest, и какъ не примѣнимы онѣ къ равнозначущей

русской фразѣ „у меня нѣтъ денегъ!“ Какъ объясните вы мальчику, гдѣ здѣсь подлежащее и гдѣ сказуемое? У римлянина grando laedit segetem, у русскаго „градомъ побиваетъ (кто?) посѣвъ“; римлянинъ хочетъ спать, русскому хочется спать; вездѣ видна разница между интеллектуалистическимъ характеромъ древнихъ языковъ и сенсуалистическимъ—русскаго. Да и всякій, полагаю я, знаетъ, что за безплодное занятіе эти синтактическіе разборы (или анализы) русскихъ предложеній вслѣдствіе постоянныхъ уклоненій живой рѣчи отъ грамматическихъ схемъ.

Да, господа, русскій языкъ сравнительно весьма неграмматиченъ; не будь древнихъ языковъ, изъ которыхъ была заимствована русская грамматика—онъ, вѣроятно, такъ и остался бы безъ нея. Быть можетъ, многіе изъ васъ не увидѣли бы въ этомъ большого ущерба: грамматика не пользуется особыми симпатіями молодежи. Но дѣло не въ симпатіяхъ: никто не можетъ отрицать, что грамматика—первый опытъ логики, примѣненной къ явленіямъ языка, и что въ этомъ заключается ея образовательное значеніе. Дѣйствительно, русскій языкъ въ своемъ синтаксисѣ гораздо менѣе логиченъ, чѣмъ древніе, по той же причинѣ, по какой онъ въ своей этимологической части менѣе интеллектуалистиченъ: его легче оцѣнить съ психологической, чѣмъ съ логической точки зрѣнія. Кто знаетъ, будь русскій языкъ предоставленъ самому себѣ,—мы имѣли бы, вмѣсто нынѣшней логической—психологическую его грамматику, и при синтактическихъ разборахъ, вмѣсто терминовъ «подлежащее, сказуемое, главное предложеніе и т. д.», употребляли бы термины: «господствующее представленіе—отступающее представленіе—замкнутая структура—открытая структура—ассоціативный элементъ и т. д.»... Понятно, что въ частностяхъ это себѣ представить трудно, такъ какъ психологія синтаксиса только нарождается. Она обѣщаетъ быть интересной наукой, но по образовательному значенію она все-таки не можетъ сравниться съ испытаннымъ логическимъ синтаксисомъ, и школа имѣетъ полное основаніе дорожить этой не очень вкусной, но очень здоровой пищей,—а стало быть и древними языками, изъ которыхъ она, согласно сказанному, естественнѣе всего добывается.

Итакъ, преимущественная грамматичность древнихъ языковъ—вотъ первая причина, почему проходить грамматику и въ частности синтаксисъ слѣдуетъ именно на нихъ.

Вторая и, пожалуй, главная причина—это полная безцѣльность грамматики при ассоціаціонномъ усвоеніи языка. Ученикъ вѣдь прекрасно сознаетъ, что, производя этимологическій или синтактическій разборъ заданнаго отрывка, онъ ни на іоту не понимаетъ его лучше, чѣмъ понималъ раньше; а потому эти упражненія и не оставятъ слѣда въ его умственномъ развитіи. Напротивъ, при переводѣ каждой почти фразы древняго языка на русскій приходится спрашивать себя, гдѣ здѣсь подлежащее, гдѣ сказуемое, что здѣсь выражаетъ ut,—слѣдствіе или цѣль—и т. д.; здѣсь грамматическій анализъ является дѣйствительно средствомъ къ пониманію текста, а не цѣлью самъ по себѣ; здѣсь онъ, поэтому, и разуменъ и продотворенъ.

А затѣмъ, прежде чѣмъ кончить съ синтаксисомъ и грамматикой вообще, я долженъ заявить, что по моему мнѣнію, наши руководства грамматики обоихъ древнихъ языковъ нуждаются въ реформѣ. Объ этой реформѣ говорить здѣсь не мѣсто; ограничусь, поэтому, замѣчаніемъ, что цѣлью этой реформы должно быть не столько ихъ сокращеніе, ихъ освобожденіе отъ такъ называемаго балласта, сколько ихъ приспособленіе къ образовательной цѣли изученія древнихъ языковъ. Слѣдуетъ выдвинуть и развить ту часть грамматическаго матеріала, которая цѣнна въ логическомъ и психологическомъ отношеніяхъ; слѣдуетъ по возможности облегчить усвоеніе той части, которая, не имѣя цѣнности сама по себѣ, тѣмъ не менѣе необходима для пониманія греческихъ и латинскихъ текстовъ; и слѣдуетъ пропустить ту, которая ни съ той, ни съ другой точки зрѣнія не нужна.

Теперь продолжаю.

Къ синтаксису примыкаетъ стилистика; не являясь сама по себѣ предметомъ преподаванія, она тѣмъ не менѣе косвенно проходится, хотя и не систематически, при переводахъ съ древнихъ языковъ на русскій и наоборотъ; она стоитъ, такимъ образомъ, на рубежѣ между грамматикой и чтеніемъ авторовъ. Что сказать о ней? Вышеприведенныя слова Шопенгауера при-

мѣнимы къ ней въ такой же мѣрѣ, если не въ большей еще, чѣмъ къ синтаксису. Когда я латинскую фразу Hannibalem conspecta moenia ab oppugnanda Neapoli deterruerunt перевожу по-русски „*видъ* стѣнъ удержалъ Аннибала отъ *осады* Неаполя“, то я называю этотъ переводъ «литературнымъ» въ противоположность буквальному, но невозможному по-русски переводу „*увидѣнныя* стѣны удержали Аннибала отъ *имѣющаго быть осажденнымъ* Неаполя“; при этомъ я, во-первыхъ, убѣждаюсь, что выше существительныхъ и глаголовъ стоятъ понятія, которыя сами по себѣ не являются ни тѣми, ни другими, и лишь вслѣдствіе стилистическихъ условій языка, на которомъ мы говоримъ, выражаются либо тѣми, либо другими; говоря иначе, я учусь эманципировать понятія отъ словъ, которыми они выражаются, а это — необходимая подготовка къ философскому мышленію, къ разсужденію, такъ какъ, по мѣткому выраженію Фр. Ницше, „всякое слово есть предразсудокъ“. Во-вторыхъ же, я на такихъ примѣрахъ изучаю именно тѣ стилистическія условія, о которыхъ было упомянуто только что, узнаю на опытѣ, что̀ свойственно и что̀ несвойственно и латинской, и русской рѣчи. А что латинскій языкъ въ этомъ отношеніи дѣйствительно незамѣнимъ — въ этомъ можетъ убѣдиться всякій, если онъ потрудится перевести предложенный мною примѣръ на любой изъ новыхъ языковъ: l'aspect des murs — der Anblick der Mauern — вездѣ существительныя, какъ и по-русски, латинскій языкъ со своими глаголами стоитъ особнякомъ; даже грекъ скажетъ τῆς πολιορκίας вмѣсто oppugnanda. И не думайте, что это странное предпочтеніе, отдаваемое глаголамъ, есть свойство одной только грамматики латинскаго языка — оно стоитъ въ связи съ самымъ процессомъ римскаго мышленія, которое было именно актуальнымъ, а не субстанціальнымъ, и нашло себѣ высшее выраженіе въ римской религіи: римская религія, поскольку она была римской, основывалась на обоготвореніи актовъ, была религіей актуальной, а не субстанціальной. Кто бы могъ думать, что существуетъ такая интимная связь между столь разнородными предметами, какъ грамматика — и религія? А между тѣмъ она есть, и своимъ существованіемъ лишній разъ доказываетъ правильность много разъ приведеннаго слова: „языкъ есть исповѣдь народа“.

Это разъ. Но если въ этомъ отношеніи латинскій языкъ (съ греческимъ) является средствомъ для *теоретическаго* познаванія языка и языковъ, то въ другомъ отношеніи онъ справедливо можетъ быть названъ школой для *практическаго* усовершенствованія стиля. Я долженъ подчеркнуть фактъ, что мы стоимъ здѣсь на вполнѣ твердой почвѣ историческаго опыта; какъ я уже замѣтилъ выше, народы запада выработали свою художественную прозу именно на латинскомъ языкѣ, путемъ старательнаго его изученія и сознательнаго ему подражанія. Да и у насъ художественная проза, поскольку мы ею обладаемъ, результатъ той строгой школы, которую нашъ языкъ прошелъ въ такъ называемый ложно-классическій періодъ; обладаемъ же мы ею еще только въ слабой степени, и можно по праву утверждать, что русскій языкъ еще далеко не вполнѣ развернулся, не нашелъ той художественной формы, которая бы соотвѣтствовала его природной силѣ и гибкости. Но вы можете меня спросить, благодаря какимъ же своимъ качествамъ латинскій языкъ былъ и еще можетъ быть воспитателемъ стиля для насъ; постараюсь дать и здѣсь по возможности ясный и краткій отвѣтъ, а для этого выберу изъ многихъ сюда относящихся сторонъ латинской стилистики одну, особенно яркую — *періодъ*.

Прошу тутъ прежде всего оставить въ сторонѣ одинъ предразсудокъ: если вы думаете, что періодъ выражаетъ собой лишь пышность стиля, что это какой-то торжественный трезвонъ, громкій для слуха и безсодержательный для мысли, то вы глубоко заблуждаетесь. Для мыслителя, вслѣдствіе сложности взаимнаго тяготѣнія частей и частицъ занимающей его въ каждомъ данномъ случаѣ мысли, *періодъ* — этотъ живой организмъ съ его столь опредѣленно выраженнымъ подчиненіемъ второстепенныхъ предложеній главнымъ, а третьестепенныхъ второстепеннымъ, — является необходимой крупной единицей разсужденія, безъ которой построеніе доказательства было бы такъ же затруднено, какъ сложныя алгебраическія вычисленія безъ заключенныхъ въ скобки полиномовъ. Но для того, чтобы служить этой цѣли, періодъ долженъ быть вполнѣ удобообозримъ; удобообозримость же достигается разнообразіемъ подчиненности. Степеней подчиненности три: есть предложенія главныя, придаточныя полныя

и придаточныя сокращенныя. Первыя двѣ общи всѣмъ культурнымъ языкамъ; совершенство языка въ смыслѣ періодизаціи зависитъ отъ наличности и распространенія въ немъ третьей степени — сокращеннаго придаточнаго предложенія. Въ этомъ отношеніи изъ близкихъ намъ языковъ ниже всѣхъ стоитъ языкъ нѣмецкій; это—языкъ двустепенный, сокращеніе придаточныхъ предложеній въ немъ почти не допускается. „Человѣкъ, никогда не учившійся", вы не можете передать сокращеннымъ относительнымъ предложеніемъ: „ein Mensch nie gelernt habender" — вы должны взять полное относительное предложеніе: „ein Mensch, der nie gelernt hat". Выше стоятъ романскіе языки; они допускаютъ сокращеніе нѣкоторыхъ обстоятельственныхъ предложеній путемъ главнымъ образомъ дѣепричастныхъ конструкцій (ayant appris... и т. д.), но не относительныхъ и не дополнительныхъ. Еще выше стоитъ языкъ русскій: въ немъ возможны сокращенія и нѣкоторыхъ обстоятельственныхъ предложеній путемъ дѣепричастныхъ, и, относительныхъ путемъ причастныхъ конструкцій, хотя и съ ограниченіями; сокращеніе дополнительныхъ предложеній, однако, невозможно и здѣсь. Наибольшей степени совершенства достигли языки древніе: они сокращаютъ и обстоятельственныя предложенія (притомъ греческій—всѣ, латинскій—лишь нѣкоторыя), и относительныя (притомъ не только при тѣхъ же подлежащихъ, но, благодаря такъ называемымъ ablativus или genitivus absolutus, и при различныхъ), и дополнительныя (благодаря accusativus cum infinitivo). Итакъ, древніе языки, какъ вполнѣ трехстепенные, наиболѣе совершенны въ смыслѣ періодизаціи; изъ новыхъ же языковъ къ нимъ наиболѣе приближается языкъ русскій.

Но тѣ достоинства, которыми сама природа надѣлила русскій языкъ, остаются большею частью втунѣ. Къ сожалѣнію, непосредственно воспитательной роли древніе языки по отношенію къ русскому въ *новыя времена* не играли; въ древнія времена русской исторіи греческій языкъ дѣйствительно, какъ мы видѣли, былъ воспитателемъ русскаго, и за это спасибо ему: тогда именно и сложились природныя стилистическія силы этого послѣдняго. Нѣтъ, я говорю о новыхъ временахъ, когда вырабатывалась наша художественная проза, вплоть до нашихъ дней. Посмотрите, какой огромный процентъ въ нашей литературѣ (въ широкомъ смыслѣ) составляетъ литература переводная; можете ли вы допустить, что эта литература остается безъ вліянія на языкъ? А между тѣмъ переводятъ у насъ почти исключительно съ французскаго, нѣмецкаго, англійскаго, т.-е. съ такихъ языковъ, которые, какъ двустепенные, въ стилистическомъ отношеніи стоятъ ниже русскаго (въ другихъ отношеніяхъ они выше, но это насъ здѣсь не касается). Переводчики, а съ ними и ихъ читатели, пріучаются не пускать въ ходъ всѣхъ стилистическихъ силъ родного языка, низводятъ его до уровня тѣхъ, съ которыхъ они переводятъ; результатъ— оскудѣніе русскаго языка. Въ одномъ направленіи съ этими переводами дѣйствуетъ и другая разрушительная сила: нездоровое стремленіе приблизить литературный языкъ къ естественно небрежной разговорной рѣчи; а съ тѣхъ поръ, какъ литературная русская рѣчь изъ рукъ писателей перешла въ руки публицистовъ, опасность оскудѣнія стала еще сильнѣе.

Я прошу васъ, господа, серьезно взвѣсить тѣ соображенія, которыя я привожу вамъ здѣсь—не сомнѣваюсь, что многіе изъ васъ ихъ слышатъ впервые—и не брать на вѣру утѣшеній моихъ противниковъ, которые то, что̀ я называю здѣсь оскудѣніемъ, выдаютъ за естественность и говорятъ вамъ о прелести простоты. Что касается естественности, то мы давно отказались отъ плодотворнаго въ свое время заблужденія Руссо, который естественность смѣшивалъ съ примитивностью, и вернулись къ опредѣленію Аристотеля, что естественность заключается въ совершенствѣ, а не въ зародышѣ: для русскаго языка, трехстепеннаго по своей природѣ, естественъ богатый періодъ, а не убогая стилизація западныхъ языковъ и разговорной рѣчи. Что же касается прелести простоты, то если вы ею такъ увлекаетесь,—что же, отбросьте въ музыкѣ хроматику, вернитесь къ семиструнной, а то и къ четырехструнной лирѣ; отбросьте и аккорды, объявите верхомъ музыкальной прелести исполняемаго однимъ пальцемъ «чижика». Отбросьте, равнымъ образомъ, роскошную палитру Рафаэлей и Рубенсовъ, или нашихъ Рѣпиныхъ и Васнецовыхъ, вернитесь—какъ это, впрочемъ, и дѣлаютъ нѣкоторые художники-декаденты—къ живописи четырьмя красками безъ оттѣнковъ; все это — прелесть простоты... Нѣтъ, господа: въ рукахъ вашихъ и вашихъ сверст-

никовъ будущее вашего родного языка. Помните, что въ Аѳинахъ считалось долгомъ чести каждаго гражданина, чтобы онъ унаслѣдованное отъ отцовъ достояніе передалъ сыну не уменьшеннымъ, а скорѣе увеличеннымъ; кто этого не дѣлалъ, про того говорили на картинномъ языкѣ тѣхъ временъ, что онъ «съѣлъ отцовское добро», τὰ πάτρια κατεδήδοκεν, и подвергали его атиміи. Вспомните строгій судъ теперешней Франціи въ лицѣ Тэна надъ французской академіей XVII в. за то, что она, увлекаясь стремленіемъ къ простотѣ, допустила (лексическое) оскудѣніе роскошнаго языка Рабелэ; берегитесь, какъ бы и про васъ потомки не сказали, что вы въ области языка «съѣли отцовское добро».

Конечно, вы изъ моихъ словъ не выведете заключенія, что я приглашаю васъ вездѣ и всегда говорить и писать трехстепенными періодами; вѣдь если я совѣтую вамъ развивать свои физическія силы, то это не значитъ, что вы, чтобы передать сосѣду чашку кофе, должны пускать въ ходъ обѣ руки и упираться всѣмъ корпусомъ. Нѣтъ: мое утвержденіе сводится къ тому, что образованный русскій долженъ *умѣть* строить сложные и въ то же время удобообозримые періоды тамъ, гдѣ этого требуетъ мысль, гдѣ это нужно для логической или психологической полноты разсужденія или изложенія. И вотъ въ этомъ отношеніи классическая школа, при руководствѣ знающихъ свое дѣло преподавателей, можетъ оказать русскому языку существенную услугу. Нѣмецкая и французская проза, вслѣдствіе своего еще меньшаго совершенства, для насъ вполнѣ безполезны; только античная проза, принуждая насъ при переводѣ пускать въ ходъ всѣ стилистическія достоинства нашего языка, можетъ служить школой для нашихъ стилистовъ и спасти русскую рѣчь отъ угрожающихъ ей серьезныхъ и невозвратимыхъ утратъ.

Тутъ я предвижу, однако, слѣдующаго рода возраженіе: можно ли ожидать пользы для русскаго языка отъ классической прозы, когда вы сами, господа классики, портите его своими стилистическими перлами? Не вами ли изобрѣтено «онъ нанесъ войну», «онъ былъ отсѣченъ относительно головы» и т. п.?

Возраженіе это въ значительной степени устарѣло: конечно, въ тѣ времена, когда преподаваніе классическихъ языковъ было поручаемо лицамъ, плохо знавшимъ русскій языкъ, другого и ожидать нельзя было. За вычетомъ же этихъ ненормальностей остается въ силѣ вотъ что: мы, классики, дѣйствительно иногда, съ педагогической цѣлью, прибѣгаемъ къ переводу дословному, который я называю «рабочимъ переводомъ» (по аналогіи термина «рабочая гипотеза»); такъ, напримѣръ, я не могу выяснить ученику *учащемуся* только по-латыни, а не вполнѣ владѣющему ею, стилистическое различіе между Hannibalem *conspecta* moenia ab *oppugnanda* Neapoli deterruerunt и «*видъ* стѣнъ удержалъ Аннибала отъ *осады* Неаполя»—иначе какъ сопоставляя съ этимъ послѣднимъ «литературнымъ переводомъ» также и рабочій переводъ „Аннибала *увидѣнныя* стѣны удержали отъ *имѣющаго быть осажденнымъ* Неаполя“. (Иногда учитель потребуетъ отъ ученика рабочаго перевода для того, чтобы убѣдиться, что онъ работалъ самостоятельно: но это уже скорѣе педагогически-полицейская, чѣмъ педагогически-образовательная мѣра). Но во всѣхъ такихъ случаяхъ рабочій переводъ—не болѣе какъ переходная ступень, соотвѣтствующая такой же переходной ступени въ работѣ самой мысли; бываетъ, что человѣкъ останавливается на немъ, но это—плодъ лѣности или небрежности, который терпимъ быть не долженъ. Рабочій переводъ—то же, что негативъ для фотографа: онъ такъ же необходимъ, какъ переходная ступень, и такъ же недопустимъ, какъ окончательная цѣль и окончательный результатъ нашего труда.

Но, отвѣтятъ, называйте это негативомъ или какъ вамъ угодно будетъ, а все-таки эти безобразные «рабочіе переводы» существуютъ, ученикъ ихъ слышитъ, они безсознательно отзываются на его стилѣ, искажая и извращая его.—Нѣтъ, отвѣчу, они не отзываются на немъ; если вы другого мнѣнія, то я прошу васъ указать мнѣ одинъ примѣръ такой порчи русскаго языка, которой мы были бы обязаны вліянію античной рѣчи. Вы его не найдете; уже таковъ характеръ этой послѣдней что языкъ-ученикъ воспринимаетъ изъ нея одно только здоровое, ведущее къ интеллектуальному и художественному совершенствованію, и безсознательно выдѣляетъ все то, что заставило бы его уклониться отъ этой восходящей колеи. Мо-

жемъ ли мы сказать то же самое и про новые языки? Спросите ревнителей чистоты русскаго языка, насколько они довольны тѣмъ симбіозомъ русскаго языка съ французскимъ, осязательнымъ результатомъ котораго явился пресловутый французско-нижегородскій жаргонъ. Я не говорю здѣсь о такихъ позорныхъ проявленіяхъ лингвистическаго недомыслія, какъ идіотская поговорка „онъ не въ своей тарелкѣ“, заклейменная еще Пушкинымъ и все еще не вышедшая изъ употребленія— поговорка, доказывающая, что ея творецъ никакого другого значенія французскаго assiette, кромѣ гастрономическаго, не зналъ. Нѣтъ, оставимъ это; но что скажете вы объ оборотахъ вродѣ „это происшествіе имѣло мѣсто тогда-то“, „это меня устраиваетъ“, „кровавая баня“, „государственный ударъ“ и т. д.? Античнаго они происхожденія? Нѣтъ. Скорѣе можно сказать, что школа античности учитъ насъ,—въ силу той усиленной сознательности, которую она сообщаетъ своимъ ученикамъ въ области лингвистическихъ явленій—замѣчать ихъ несвойственность и избѣгать ихъ.

Довольно, однако, о стилистикѣ и о языкахъ вообще. Все ли я вамъ высказалъ и развилъ? Нѣтъ, далеко не все. Я не говорилъ вамъ о томъ важномъ фактѣ, что мы только на древнихъ языкахъ можемъ прослѣдить, такъ сказать, *исторію* воплощенія мысли въ словахъ; переходя отъ Гомера къ Геродоту, далѣе въ Өукидиду, Ксенофонту, Платону, отъ нихъ къ Демосѳену и заканчивая Цицерономъ, мы видимъ, какъ духъ борется съ матеріей рѣчи, какъ онъ путемъ послѣдовательныхъ интеграцій разрозненныхъ ея частей вводитъ въ нее порядокъ и градацію подчиненія и изъ самостоятельныхъ предложеній такъ называемаго «нанизывающаго стиля» (λέξις εἰρομένη) создаетъ объединенный и централизованный періодъ, приблизительно такъ же, какъ изъ самостоятельныхъ и самодовлѣющихъ общинъ создается объединенное и централизованное государство. Это, да и много другого, я долженъ пропустить; я и такъ боюсь, что утомилъ ваше вниманіе, такъ долго останавливаясь на языкѣ. Но, господа, эта обстоятельность не была несоразмѣрной: вѣдь и вы, ученики гимназій, употребили много времени на усвоеніе обоихъ древнихъ языковъ и тоже, можетъ быть, склонны думать, что этого времени было слишкомъ много. Я же взялся доказать вамъ, вопреки мнѣнію многихъ, что время, употребленное вами на изученіе античности, не было истрачено безъ пользы; не могъ я въ виду этого не остановиться на той пользѣ, которую вамъ принесло изученіе системы древнихъ языковъ, какъ таковыхъ.

Но, разумѣется, не ради этой только пользы заставляли васъ учиться по-латыни и по-гречески: главное значеніе древнихъ языковъ—то, что они открываютъ намъ непосредственно доступъ къ античной литературѣ и, косвенно, къ античной культурѣ въ самомъ широкомъ смыслѣ. Моя ближайшая тема поэтому — выяснить вамъ образовательное значеніе *античной литературы;* ее я намѣтилъ для слѣдующей же, второй сегодняшней лекціи.

ЛЕКЦІЯ ЧЕТВЕРТАЯ.

Первая антитеза: окончаніе.—Чтеніе памятниковъ.—Подлинники и переводы.—Переводимое и непереводимое.—Учебно-нравственная точка зрѣнія.—Моральные, аморальные и имморальные предметы.—Переубѣдимость.—Учебно-интеллектуальная точка зрѣнія. —Интеллектуализмъ и универсализмъ.—Историческая перспектива.—Оптимизмъ.—Чувство правды: его два требованія.—Заключеніе.

Переходя отъ древнихъ языковъ къ античной литературѣ, я испытываю пріятное ощущеніе человѣка, который изъ изгоя общественнаго мнѣнія превращается въ гражданина, если не полноправнаго, то, по крайней мѣрѣ, съ нѣкоторыми правами. Значительная часть современнаго общества, даже у насъ въ Россіи, признаетъ важность изученія античной литературы, особенно греческой; полагаютъ только, что для этого изученія нѣтъ надобности обращаться къ подлинникамъ — можно удовольствоваться переводами.

Когда въ комиссіи по реформѣ средней школы, членомъ которой я имѣлъ честь состоять, обсуждали вопросъ о желательныхъ улучшеніяхъ въ учебномъ планѣ реальныхъ училищъ, то просвѣщенные ревнители этого столь важнаго и необходимаго у насъ типа образовательной школы высказывали пожеланіе, чтобы въ его программу было введено изученіе также и античной литературы — но, конечно, въ переводахъ. Если эта идея осуществится, то различіе между классической и реальной школой по интересующему насъ здѣсь вопросу сведется, главнымъ образомъ, къ тому, что классическая школа будетъ знакомить своихъ питомцевъ съ подлинниками тѣхъ

произведеній, которыя питомцы реальной школы будутъ читать въ переводахъ. Слѣдуетъ ли въ этомъ различіи признать преимущество классической школы, и если да, то почему? Другими словами: могутъ ли переводы замѣнить подлинники, и если нѣтъ, то въ чемъ состоитъ ихъ недостаточность? Вотъ вопросъ, котораго я не могу обойти молчаніемъ; не опасайтесь, однако, что онъ отвлечетъ насъ отъ нашей темы. Нѣтъ; по моему убѣжденію, въ правильности котораго я надѣюсь убѣдить и васъ, сокровища античной литературы распадаются на такія, которыя можно перенести также и въ переводы, и такія, которыя неразрывно связаны съ формой подлинника; такимъ образомъ, отвѣтъ на поставленный только-что вопросъ будетъ въ то же время и характеристикой античной литературы.

Какъ видите изъ этихъ моихъ словъ, я не принадлежу къ безусловнымъ противникамъ переводовъ. Я самъ выступалъ въ роли переводчика и издалъ очень крупный по объему томъ, который, смѣю надѣяться, займетъ не послѣднее мѣсто въ нашей переводной литературѣ; но именно поэтому я знаю, что́ можетъ передать переводъ и чего нѣтъ. Кто приглашаетъ васъ довольствоваться переводомъ вмѣсто подлинника, тотъ разсуждаетъ точно такъ же, какъ если бы онъ вамъ говорилъ: къ чему вамъ ходить въ консерваторію слушать симфоніи Бетховена или Чайковскаго, когда вы можете съ гораздо бо́льшимъ удобствомъ ознакомиться съ ними на дому по переложеніямъ для фортепіано. Вы знаете, между тѣмъ, что это и такъ и не такъ: переложеніе даетъ вамъ кое-что, но не все, и чѣмъ художественнѣе, чѣмъ глубокомысленнѣе симфоническое произведеніе, тѣмъ менѣе можетъ его замѣнить фортепіанное переложеніе, такъ какъ тонкость мысли и формы достигается именно умѣлымъ пользованіемъ характерными особенностями каждаго инструмента, которыхъ рояль воспроизвести не можетъ. То же самое и здѣсь. Возьмите начало Цезаря: Gallia est omnis divisa in partes tres, „вся Галлія раздѣлена на три части“ — переводъ вполнѣ передаетъ подлинникъ, ничего въ немъ не пропущено. Возьмите возгласъ Ѳетиды у Гомера, когда она узнаетъ о постигшемъ ея сына, Ахилла, несчастіи: ὤ μοι δυσαριστοτόκεια, „о я, на горе себѣ родившая лучшаго въ мірѣ героя“ — и здѣсь все передано, только для этой полной

передачи мнѣ пришлось вмѣсто одного слова подлинника взять въ переводѣ цѣлыхъ восемь; а какъ отъ такого разбавленія страдаетъ сила выраженія, это вы легко поймете. Возьмите, наконецъ, характеристику аѳинянъ у Ѳукидида въ надгробной рѣчи Перикла: φιλοκαλοῦμεν μετ᾽ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας — тутъ уже у переводчика руки опускаются. Конечно, онъ пойметъ, что здѣсь идетъ рѣчь о народѣ-художникѣ, отдѣлившемъ художественную красоту формы отъ притязательной пышности матеріала, о народѣ-мыслителѣ, съумѣвшемъ избѣгнуть разлагающаго вліянія силы мысли на силу воли, — но втиснуть эти два сужденія въ форму той краткой, звонкой и мѣткой антитезы, которую они имѣютъ у Ѳукидида, представится ему по справедливости неисполнимой задачей.

Итакъ, не будемъ пренебрегать переводами, но не будемъ также считать ихъ достаточной замѣной подлинника. Шопенгауеръ сказалъ, что они относятся къ подлиннику (онъ имѣетъ въ виду античную литературу), какъ цикорій къ кофе; кто-то другой сказалъ, что они передаютъ лишь изнанку ковра. Это, пожалуй, несправедливо; скорѣе можно будетъ сказать, что при своеобразныхъ условіяхъ древней рѣчи каждый переводъ древняго произведенія на одинъ изъ новыхъ языковъ будетъ относиться къ подлиннику приблизительно такъ же, какъ деревянныя модели человѣческаго тѣла, которыми пользуются при прохожденіи анатоміи, къ дѣйствительному человѣческому тѣлу: они даютъ общее понятіе о структурѣ и содержаніи подлинника, но его тонкостей въ нихъ не ищите. Но и эти модели бываютъ различны: есть между ними дѣйствительно художественныя, приносящія несомнѣнную пользу; есть и грубыя, аляповатыя, дающія совершенно превратное представленіе объ оригиналѣ. Наши переводы древнихъ авторовъ относятся, къ сожалѣнію, въ громадномъ большинствѣ случаевъ къ этой послѣдней категоріи; очень мало такихъ, въ которыхъ мы могли бы найти хоть намекъ на художественность. Что-жъ! будемъ желать и стараться, чтобъ ихъ было больше; другого ничего не остается. Но какъ бы они ни были совершенны — все-таки остается въ силѣ правило, что толковать античность, всесторонне разбирать ее можно только на подлинникахъ, точно такъ же, какъ изучать структуру тканей

человѣческаго тѣла можно только въ натурѣ, а не на деревянныхъ моделяхъ.

Но именно этотъ методъ толкованія не всѣми признается полезнымъ. Не лучше ли, въ самомъ дѣлѣ, прочесть десять книгъ Ливія въ переводѣ, чѣмъ одну въ подлинникѣ? Вы понимаете, что я говорю здѣсь о такъ называемомъ статарномъ чтеніи древнихъ авторовъ въ гимназіи. Есть ли отъ него польза, и если да, то въ чемъ состоитъ она?

Тутъ, господа, я долженъ первымъ дѣломъ выдвинуть ту точку зрѣнія, которую я называю учебно-нравственной... Я долго колебался, слѣдуетъ ли мнѣ о ней говорить передъ вами; люди, мнѣнію которыхъ я придаю значеніе, совѣтовали мнѣ не дѣлать этого, да и самъ я сознаю, что это было бы благоразумнѣе. Но служеніе истинѣ не всегда совмѣстимо съ благоразуміемъ, и я все-таки рѣшился сообщить вамъ свои взгляды на этотъ счетъ, такъ какъ я имъ придаю очень большое значеніе, и надѣюсь, что вы поймете и оцѣните ихъ лучше, чѣмъ нѣкоторые изъ тѣхъ, которые слышали ихъ отъ меня раньше. Все же я прошу васъ отнестись къ тому, что̀ я имѣю вамъ сказать, съ особеннымъ вниманіемъ.

Что это такое, прежде всего, учебно-нравственная точка зрѣнія?

Ни наука, ни ученіе непосредственно нравственныхъ цѣлей не преслѣдуютъ. Ихъ объектъ—истина; обладаніе же истиной само по себѣ не дѣлаетъ человѣка нравственнѣе. Нѣтъ, не обладаніе истиной, а тотъ путь, которымъ она намъ досталась, то усиліе, которое мы сдѣлали надъ собой, чтобъ ее признать— вотъ въ чемъ заключается нравственный элементъ науки и ученія. Въ томъ, что вы признаете вращеніе земли вокругъ солнца, еще ничего нравственнаго нѣтъ; но если вы вначалѣ усвоили противоположное мнѣніе и затѣмъ, ознакомившись съ доводами вашихъ противниковъ, преклонились передъ истиной — вотъ это былъ нравственный подвигъ: изъ столкновенія истины съ человѣческимъ умомъ произошло нравственное качество послѣдняго — правдивость. „Вначалѣ я спорилъ съ вами, но теперь вижу, что былъ неправъ“ — вотъ девизъ правдивости, и то ученіе, которое даетъ поводъ къ нему, я называю нравственнымъ. Такова учебно-нравственная точка зрѣнія; теперь

примѣнимъ ее къ предметамъ гимназическаго преподаванія. Предупреждаю васъ, что отношеніе каждаго предмета вообще къ нравственности бываетъ троякимъ: благопріятнымъ, неблагопріятнымъ и безразличнымъ. Благопріятно дѣйствующій на нравственность предметъ мы называемъ моральнымъ; неблагопріятно дѣйствующій—имморальнымъ; безразличный—аморальнымъ (очень некрасивое слово, которое я употребляю лишь скрѣпя сердце, но обойтись безъ него нельзя). Такъ какъ я объяснилъ, въ какомъ значеніи я здѣсь понимаю слово «нравственность», то я надѣюсь, что оно никакихъ недоразумѣній не вызоветъ; своихъ противниковъ—если бы таковые оказались въ этой аудиторіи — я прошу твердо запомнить это мое объясненіе и воздерживаться отъ всякихъ каламбуровъ по поводу нашего слова, какъ бы они ни были соблазнительны.

Итакъ, каково отношеніе къ этой учебной нравственности— учебныхъ предметовъ?

Начнемъ съ античной литературы, изучаемой въ подлинникѣ — съ того, что принято называть «чтеніемъ авторовъ». Представляю себя въ роли учителя; передо мной текстъ, который я долженъ объяснить, но — такой же текстъ находится и передъ каждымъ изъ учениковъ. Поясню вамъ, что это значитъ. Давая ученику въ руки текстъ, я даю ему этимъ самымъ общее поле для наблюденій и изслѣдованій; на этомъ полѣ я буду его руководителемъ, но не болѣе: онъ имѣетъ и право и возможность контроля, и надъ нами обоими властвуетъ высшая инстанція — истина. Беру примѣръ изъ Горація:

Scribendi recte sapere est et principium et fons.

Между мною и ученикомъ возникаетъ споръ о томъ, куда отнести recte. Онъ отнесъ его къ scribendi и перевелъ „быть умнымъ—вотъ начало и источникъ того, чтобы правильно писать“. Мнѣ почему-то показалось, что recte слѣдуетъ отнести къ sapere, и что переводить надо „правильно мыслить—вотъ начало и источникъ писательства“. Ученикъ не сдается: „цезура, говоритъ онъ, стоитъ между recte и sapere, разъединяя ихъ, такъ что уже по этой причинѣ удобнѣе соединять recte со scribendi: того же требуетъ и смыслъ, такъ какъ умъ — источникъ не всякаго писательства, а только хорошаго, правильнаго; можно вѣдь писать и вовсе безъ ума“. — „Это вѣрно“, отвѣчаю, „но цезура часто разъединяетъ соединенныя смысломъ слова (привожу примѣры), такъ что это соображеніе имѣетъ только вспомогательное значеніе; что же касается вашего второго соображенія, то о неправильномъ писательствѣ поэтъ и говорить не станетъ“,—„Все-таки“, говоритъ ученикъ, „оказывается, что мое толкованіе имѣетъ больше основанія“.—„Нѣтъ“, отвѣчаю, „такъ какъ при вашемъ толкованіи слово sapere останется безъ опредѣленія, въ которомъ оно, однако, нуждается: это—слово безразличное, его первоначальное значеніе—«имѣть извѣстный вкусъ» (отсюда—sapor, франц. saveur), а затѣмъ «имѣть извѣстныя умственныя свойства». Для того, чтобы получить значеніе «быть умнымъ», оно нуждается въ опредѣленіи, въ этомъ самомъ recte, которое вы отъ него отнимаете“,—„Почему же“, спрашиваетъ ученикъ, „вѣдь отъ sapere происходитъ причастіе sapiens, а его значеніе—положительное «умный», а не безразличное «имѣющій извѣстныя умственныя свойства»“.—„Это не доказательство“, отвѣчаю, „такъ какъ причастія отъ безразличныхъ глаголовъ, превращаясь въ прилагательныя, часто получаютъ положительное значеніе; такъ отъ безразличнаго pati «переносить» вы образуете patiens «хорошо переносящій, терпѣливый». А вы найдите мнѣ примѣръ, чтобы самый глаголъ sapere безъ опредѣленія имѣлъ положительное значеніе «быть умнымъ»!“ — Ученикъ пока умолкаетъ, а на слѣдующемъ урокѣ преподноситъ мнѣ изъ того же Горація примѣръ sapere aude — «рѣшись быть умнымъ».—„Да, это вѣрно“, говорю я ему, „я былъ неправъ“.—Привожу этотъ примѣръ, такъ какъ это—случай изъ моей собственной, хотя и давнишней практики начинающаго преподавателя, а также и потому, что и Оскаръ Іегеръ, извѣстный нѣмецкій педагогъ, разсказываетъ, не сообщая частностей, нѣчто подобное изъ воспоминаній своего отрочества; „тутъ мы почувствовали, говоритъ онъ, что есть сила, выше и учителя и насъ—истина“.

Таково учебно-нравственное значеніе древнихъ авторовъ; какъ видите, оно даетъ намъ полное право признать этотъ предметъ моральнымъ. Теперь возьмемъ для сравненія два другихъ предмета..., при чемъ я прошу васъ помнить, что я опять

излагаю вамъ главу изъ будущаго «психологическаго науковѣдѣнія», и не приписывать мнѣ желанія обидѣть или принизить какой бы то ни было предметъ. Противъ этого предположенія я протестую самымъ энергическимъ образомъ. Я уже разъ заявлялъ, что именно моя спеціальность научила меня уважать всѣ науки, входящія въ составъ грандіознаго общенаучнаго зданія; какъ это случилось, объ этомъ я еще скажу. Но, господа, мы имѣемъ право сказать, сравнивая коня съ орломъ, что у орла крылья есть, а у коня ихъ нѣтъ, и это не будетъ значить, что мы умаляемъ значеніе коня — у него есть за то другія достоинства, которыхъ нѣтъ у орла. Равнымъ образомъ и здѣсь, признавая не только огромную важность математики, но и ея огромную образовательную силу, я тѣмъ не менѣе имѣю право сказать что того учебно-нравственнаго значенія, о которомъ я здѣсь говорю, за ней признать нельзя. И она, конечно, преслѣдуетъ истину, но какъ? путемъ строгихъ, опредѣленныхъ дедукцій, не дающихъ никакого простора для научныхъ споровъ; несогласное съ истиной мнѣніе не можетъ, конечно, удержаться, но оно не можетъ и возникнуть сколько-нибудь разумнымъ образомъ — по крайней мѣрѣ въ той математикѣ, которая входитъ въ предѣлы гимназическаго курса. Это доказывается и ея исторіей; конечно, было время, когда не знали, что сумма угловъ въ треугольникѣ равна двумъ прямымъ, или что сумма двухъ чиселъ, помноженная на ихъ разность, равна разности квадратовъ; но разъ эти истины были найдены — никакихъ споровъ относительно ихъ не было. Итакъ, математика не учитъ васъ отказываться отъ прежняго мнѣнія вслѣдствіе большой убѣдительности доводовъ противника; того важнаго и плодотворнаго усилія надъ собой, результатомъ котораго является признаніе: „я вначалѣ спорилъ съ вами, но теперь вижу, что вы были правы“ — она отъ васъ не потребуетъ. И вотъ почему мы имѣемъ право причислить ее къ безразличнымъ относительно нравственности — къ аморальнымъ предметамъ.

Другая крайность — новые языки, включая русскій. Конечно, ихъ знаніе необходимо; но вѣдь мы говоримъ здѣсь не о знаніи, а о томъ, какъ знаніе пріобрѣтается. А какъ оно пріобрѣтается, это вы знаете: вы выразились такъ-то — васъ поправляютъ: „такъ не говорятъ“. Конечно, это вамъ заявляютъ люди знающіе, и благо вамъ, если вы примете ихъ поправки къ свѣдѣнію — тѣмъ скорѣе пріобрѣтете вы тѣ знанія, которыхъ ищете. Но развѣ вы уступили доводамъ, преклонились передъ силой науки, истины? Нѣтъ; наукѣ и истинѣ здѣсь не мѣсто; вы преклонились передъ авторитетомъ лица, въ которомъ предполагали, вполнѣ основательно, наличность тѣхъ знаній, которыхъ ищете сами. Возникаетъ споръ — его рѣшаетъ тотъ же авторитетъ — противъ приговора „такъ говорятъ“ или „не говорятъ“ спорить и доказывать напрасно. Теперь представьте себѣ, что это преклоненіе передъ приговоромъ „такъ говорятъ“ вошло вамъ въ плоть и кровь; каково будетъ ваше отношеніе къ вопросамъ, которые ждутъ васъ въ жизни? Ваша чисто служебная роль заранѣе рѣшена: нѣтъ такого сомнѣнія, для котораго не нашлось бы панацеи въ этомъ спасительномъ „такъ говорятъ“. „Такъ говорятъ“ — кто? Это ужъ совсѣмъ все равно: начальство, общество, партія, товарищи, печать — вся разница только въ цвѣтѣ ливреи. И вотъ почему я тотъ методъ достиженія знаній, о которомъ идетъ рѣчь здѣсь, называю неблагопріятнымъ въ отношеніи учебной нравственности, называю иморальнымъ. И если преподаваніе новыхъ языковъ будетъ усилено въ гимназіи на счетъ преподаванія языковъ древнихъ, то результатомъ будетъ лишь усиленіе той непереубѣдимости и нетерпимости, которой и теперь уже такъ страдаетъ наше общество.

Такова эта точка зрѣнія учебной нравственности — новая страница изъ ненаписанной еще книги о психологическомъ науковѣдѣніи. Она показываетъ намъ, что тотъ методъ филологической интерпретаціи, который примѣняется при статарномъ чтеніи древнихъ авторовъ — методъ въ высокой степени учебно-нравственный, такъ какъ онъ, допуская возникновеніе споровъ, рѣшаетъ ихъ авторитетомъ науки. Методъ нашъ, помимо всего прочаго, драгоцѣненъ уже тѣмъ, что имъ въ человѣкѣ развивается переубѣдимость, способность принять къ свѣдѣнію и признать въ ихъ доказательности новые преподносимые ему факты. А между тѣмъ именно эта переубѣдимость — условіе плодотворной борьбы и разумнаго мира.

Я подчеркнулъ только-что научно-нравственную сторону

метода филологической интерпретаціи; есть въ немъ, однако, и научно-*интеллектуальная* сторона. Въ самомъ дѣлѣ, что было въ вышеуказанномъ примѣрѣ источникомъ моей ошибки? Недостаточность наблюденія. Что было причиной того, что я измѣнилъ свое мнѣніе? Пополненіе матеріала наблюденія. Итакъ, если мы спросимъ себя, какъ назвать методъ филологической интерпретаціи, то придется отвѣтить: методомъ эмпирически-наблюдательнымъ, въ противоположность, съ одной стороны, методу дедуктивному математики, съ другой—методу экспериментальному физики и родственныхъ наукъ. Съ этой точки зрѣнія на ряду съ филологической интерпретаціей могутъ быть поставлены только естественныя науки въ тѣсномъ смыслѣ — но подъ тѣмъ лишь условіемъ, чтобы поле наблюденій было предоставлено ученику во всей его неприкосновенности. Я отправляю мальчика въ ивнякъ съ порученіемъ опредѣлить, какое дерево ива, однодомное или двудомное; тутъ наблюденіе будетъ имѣть цѣну, такъ какъ при множествѣ деревьевъ будетъ дана возможность и ошибки, и ея исправленія. Но вы легко поймете, что мы не можемъ этотъ ивнякъ перенести въ школу; нѣтъ, въ школѣ единственнымъ матеріаломъ для эмпирически-наблюдательнаго метода можетъ быть филологическая интерпретація, такъ какъ только она можетъ предоставить въ распоряженіе ученика все поле наблюденія—именно текстъ. А воспитанный такимъ образомъ умъ ученика будетъ не только — вслѣдствіе родственности метода—приспособленъ къ работѣ на поприщѣ естественныхъ наукъ, но и на поприщѣ жизни; въ жизни дедукція играетъ небольшую роль, экспериментъ—еще меньшую, житейская же опытность достигается почти единственно путемъ наблюденія и правильныхъ надъ нимъ операцій.

Таковы обѣ методологическія стороны; переходя затѣмъ къ матеріальной сторонѣ чтенія, я долженъ прежде всего подчеркнуть *интеллектуалистическій характеръ также и древней литературы*. Я говорилъ уже выше объ интеллектуалистическомъ характерѣ древнихъ языковъ, противополагая ему сенсуалистическій характеръ языковъ новыхъ; древняя литература, какъ порожденіе языка, носитъ тотъ же отпечатокъ. Признаніе верховныхъ правъ разума проходитъ черезъ нее на всемъ ея

протяженіи; какъ по-гречески одинъ и тотъ же глаголъ — πείθομαι — означаетъ и „я даю себя убѣдить“, и „я повинуюсь“, такъ и въ греческой литературѣ и ея ученицѣ—римской повсюду, точно общая атмосфера, разлита увѣренность, что разумъ управляетъ волей. Правда, отъ людей, считающихъ себя знатоками древняго міра, часто можно услышать мнѣніе, будто онъ преклонялся предъ рокомъ. Но для того, чтобы судить объ античности, требуется очень много знанія; древній міръ былъ (чтобы употребить удачное выраженіе Вл. Соловьева) не однодумъ, а многодумъ. Съ точки зрѣнія отношенія разума къ волѣ эволюція литературы человѣчества можетъ быть уподоблена баллистической кривой, возвращающейся къ плоскости своего исхода. Ея начало—древнѣйшія литературы, въ которыхъ дѣйствія человѣка объясняются вселеніемъ въ него добрыхъ или злыхъ духовъ; у Гомера мы еще находимъ пережитки этого представленія, но онъ уже дѣлаетъ попытки къ освобожденію, а Эсхилъ побѣдоносно выставляетъ принципъ полной свободы движимой разумомъ воли. На немъ построена вся дальнѣйшая философія и литература древнихъ: она справедливо можетъ считаться стоящей въ зенитѣ нашей кривой. Съ выступленіемъ на арену новыхъ народовъ эмоціальное начало возобладало надъ интеллектуальнымъ; классицизмъ вступилъ въ борьбу съ романтизмомъ и его потомками, носившими различныя имена, но одну общую сигнатуру: неподчиненность воли разуму. Дальше всего пошла въ этомъ отношеніи новая русская литература, особенно Достоевскій; это—пока предѣльная точка: кривая вернулась къ плоскости своего отправленія, прежніе добрые и злые духи вновь стали управлять людьми подъ именемъ страстей и внушеній. Это въ своемъ родѣ совершенство, но не съ образовательной точки зрѣнія: развивающемуся еще человѣку полезно признавать силу разума, даже если бы въ послѣдующей жизни ему пришлось узнать, что не разумъ и убѣжденіе, а страсть и похоть управляютъ его средой.

Продолжаю. Древніе писатели были не только людьми очень заботливыми въ стилистическомъ отношеніи—они были также на высотѣ культуры своей эпохи и могли бы смѣло примѣнить къ себѣ гордое заявленіе Ф. Лассаля: „Я пишу

каждое свое слово во всеоружіи образованія моего времени". Образованіе это, будучи въ смыслѣ спеціальныхъ знаній много меньше теперешняго, было однако гораздо многостороннѣе въ умѣ отдѣльныхъ своихъ представителей; съ этимъ обстоятельствомъ должна считаться и интерпретація древнихъ авторовъ. Вотъ почему можно не безъ основанія сказать, что наука объ античности не есть спеціальность на ряду съ другими спеціальностями, замкнутыми въ себѣ и самодовлѣющими; это—предметъ энциклопедическій, постоянно сближающій своего представителя съ другими областями знанія, поддерживающій въ немъ сознаніе единства науки и уваженіе къ отдѣльнымъ ея отраслямъ и всѣмъ этимъ сообщающій ему такую широту горизонта, какой не можетъ сообщить никакая спеціальная наука. „Филологу все пригодится" (ein Philologe kann alles brauchen) было любимымъ изреченіемъ моего учителя, нынѣ покойнаго Риббека, который и самъ былъ однимъ изъ образованнѣйшихъ и просвѣщеннѣйшихъ людей своего времени. Преподаватель-филологъ долженъ сплошь и рядомъ обращаться за помощью то къ юриспруденціи, то къ военному и морскому дѣлу, то къ политическимъ и соціальнымъ наукамъ, то къ психологіи и эстетикѣ, то къ естествознанію и антропологіи, то, наконецъ—и чаще всего—къ житейскому опыту. Понятно, что именно такой преподаватель скорѣе всего можетъ быть *учителемъ* своихъ учениковъ, такъ какъ именно онъ можетъ дѣйствовать на весь ихъ умъ, именно онъ можетъ, самъ будучи цѣльнымъ человѣкомъ, воспитывать человѣка въ томъ его возрастѣ, когда его умъ еще цѣленъ, еще не ушелъ въ спеціальность. Отсюда видно, какъ мало знаютъ классическую школу тѣ, которые обвиняютъ ее въ томъ, что она предрѣшаетъ выборъ спеціальности еще въ дѣтскомъ возрастѣ. Совершенно наоборотъ: именно она его не предрѣшаетъ до старшаго класса включительно. Въ подтвержденіе сказаннаго позволю себѣ привести нѣсколько примѣровъ — желающій увеличить ихъ число найдетъ богатую жатву въ прекрасной книгѣ Cauer'а «Palaestra vitae». Въ «Царѣ Эдипѣ» Софокла (ст. 1137) время питанія стадъ подножнымъ кормомъ опредѣляется словами „отъ весны до Арктура". Опредѣленія совершенно непонятны: моя научная совѣсть не позволитъ мнѣ удовольство-

ваться этимъ буквальнымъ переводомъ. Я прежде всего удостовѣрюсь, знаетъ ли ученикъ, что̀ такое Арктуръ... или, вѣрнѣе, удостовѣрюсь, что онъ никакого представленія о немъ не имѣетъ. А это жаль; позорно видѣть въ звѣздномъ небѣ одинъ только наборъ свѣтящихся точекъ. Я покажу ему эту прекрасную, яркую звѣзду на картѣ, научу его отыскивать ее въ дѣйствительности; но этого мало. Что̀ значитъ „до Арктура"? Я долженъ объяснить ему, что̀ такое утренній восходъ звѣзды или созвѣздія... а для этого предварительно понять это самъ. И это еще не все; отчего поэтъ прибѣгаетъ къ такому сложному опредѣленію времени? Разъ утренній восходъ Арктура совпадаетъ приблизительно съ 10 сентября — почему онъ не говоритъ „до сентября", или, пожалуй (такъ какъ онъ былъ аѳиняниномъ) „до боэдроміона?" Я долженъ объяснить, что въ тѣ времена каждая греческая община имѣла свой календарь, что еслибы софокловскій персонажъ, будучи коринѳяниномъ, сталъ употреблять терминъ аттическаго календаря, то это было бы смѣшно, а если бы онъ выразился по-коринѳски, то его бы не поняли; поневолѣ пришлось поэтому прибѣгнуть къ общеэллинскому и общечеловѣческому, къ астрономическому календарю... А впрочемъ, подлинно ли поневолѣ? Нѣтъ, и по охотѣ. Я постараюсь изобразить ученикамъ прелесть того времени, когда звѣздное небо еще такъ много говорило смертнымъ, когда они замѣчали всѣ его перемѣны, опредѣляя по нимъ и время годовыхъ работъ, и время ночныхъ смѣнъ, направляя по его свѣтиламъ бѣгъ своего корабля, — когда познаніе этого вѣкового порядка возвышало ихъ умы до чаянія той предвѣчной Причины, которая въ немъ проявляется.

Другой примѣръ — изъ «Электры» того же поэта. Клитемнестра-мужеубійца увидѣла страшный сонъ; для Электры, ея дочери, и для ея подругъ ясно, что этотъ сонъ былъ на нее навѣянъ гнѣвною тѣнью ея убитаго мужа, Агамемнона, и что часъ мести недалекъ. „Мужайся, дитя", говорятъ онѣ ей, „не дремлетъ, видно, твой родитель, владыка эллиновъ, — не дремлетъ и та старинная, обоюдоострая сѣкира, которая столь позорно его тогда убила" (ст. 483). Что это, «піитическія вольности»? Нѣтъ, мы погружаемся въ представленія и вѣрованія глубокой старины; одна только антропологія можетъ намъ

выяснить то міровоззрѣніе, изъ котораго потекли эти образы и чувства. Духъ убитаго царя, опечаленный среди тѣней преисподней и взывающій о мщеніи — это не плодъ поэтической фантазіи, это реальный предметъ народной вѣры. Онъ посылаетъ зловѣщій сонъ невѣрной женѣ; онъ и могъ это сдѣлать, такъ какъ та обитель мрака, куда она преждевременно его отправила, считалась въ то же время и обителью сновъ: здѣсь они пребываютъ днемъ, точно летучія мыши подъ сводомъ пещеры, отсюда они вылетаютъ съ приближеніемъ ночи. Но особенно характерно представленіе о сѣкирѣ: какъ видно, и она одушевлена, и она принимаетъ участіе въ происходящемъ, и она горитъ желаніемъ искупить свое первое, неправое убійство—вторымъ, справедливымъ и необходимымъ; только тогда успокоится тотъ духъ проклятія, который въ нее вселился. Передъ нами образчикъ такъ называемой предметной души, пережитокъ древнѣйшаго анимизма; это представленіе вызвало въ старину даже судъ надъ предметомъ, оно и теперь еще не совсѣмъ исчезло... Но на что намъ погружаться въ эту первобытную, грубую старину? Во-первыхъ, для того, чтобы не находить ее грубой, не раздѣлять несноснаго высокомѣрія «современныхъ» людей; но главнымъ образомъ потому, что тогда зародились многія изъ тѣхъ нравственныхъ и правовыхъ понятій, которыми мы живемъ и понынѣ.

Возьму еще одинъ примѣръ—особенно поучительный тѣмъ, что онъ даетъ матеріалъ для сравненія древней поэзіи съ новѣйшей. Въ десятой пѣсни Одиссеи описывается мѣстность по ту сторону океана, преддверіе царства тѣней. Картина унылая (ст. 510):

ἔνθ' ἀκτή τε λάχεια καὶ ἄλσεα Περσεφονείης,
μακραί τ' αἴγειροι καὶ ἰτέαι ὠλεσίκαρποι.

„Тамъ низменный берегъ и рощи Персефоны (перевожу буквально) *теряющіе* (или *губящіе*) *свои плоды* высокіе тополи и ивы“. Отчего тополямъ и ивамъ данъ этотъ странный на первый взглядъ эпитетъ, — который, кстати сказать, въ подлинникѣ выходитъ много поэтичнѣе уже вслѣдствіе того, что тамъ онъ выражается однимъ только словомъ? Дѣло вотъ въ чемъ. Какъ тополь, такъ и ива принадлежитъ къ такъ называемымъ двудомнымъ деревьямъ, т.-е. одни его экземпляры даютъ только мужскіе (тычинковые), другіе — только женскіе (плодниковые) цвѣты, а не тѣ и другіе вмѣстѣ, подобно дубу и большинству другихъ деревьевъ, которыя поэтому и называются однодомными. Если поэтому ивы и тополи стоятъ одиноко или группами экземпляровъ одного только пола, то они не могутъ оплодотворяться, они „теряютъ свои плоды“. Конечно процессъ оплодотворенія растеній не былъ извѣстенъ Гомеру — оттого-то онъ и употребилъ здѣсь слово „плоды“ вмѣсто „неоплодотворенные цвѣты“; но само явленіе терянія „плодовъ“ было замѣчено и имъ, и его слушателями, и вотъ причина, почему онъ неплодное царство тѣней украсилъ именно ивами и тополями: и самый предметъ, и его красивый эпитетъ имѣютъ здѣсь глубокое символическое и, стало быть, поэтическое значеніе.—Теперь позвольте сопоставить съ царемъ греческихъ поэтовъ царя новой, русской поэзіи, Пушкина. Напомню вамъ его прекрасное стихотвореніе, въ которомъ онъ описываетъ впечатлѣніе, произведенное на него его родиной послѣ долгой разлуки: „Вновь я посѣтилъ тотъ уголокъ земли“ и т. д. Тутъ, между прочимъ, встрѣчается слѣдующее мѣсто:

На границѣ
Владѣній дѣдовскихъ, на мѣстѣ томъ,
Гдѣ въ гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоятъ: одна поодаль, двѣ другія
Другъ къ дружкѣ близко. Здѣсь, когда ихъ мимо
Я проѣзжалъ верхомъ при свѣтѣ лунной ночи,
Знакомымъ шумомъ шорохъ ихъ вершинъ
Меня привѣтствовалъ.—По той дорогѣ
Теперь поѣхалъ я, и предъ собою
Увидѣлъ ихъ опять: онѣ все тѣ же,
Все тотъ же ихъ знакомый уху шорохъ,
Но около корней ихъ устарѣлыхъ,
Гдѣ нѣкогда все было пусто, голо,
Теперь младая роща разрослась;
Зеленая семья кругомъ тѣснится
Подъ сѣнью ихъ, какъ дѣти. А вдали
Стоитъ одинъ угрюмый ихъ товарищъ,
Какъ старый холостякъ, и вкругъ него
Попрежнему все пусто.

Съ поэтической точки зрѣнія картина безукоризненна; да и впрочемъ все обстояло бы благополучно, если бы только поэтъ вмѣсто сосенъ представилъ намъ, какъ Гомеръ, ивы или тополи. Но сосна — дерево однодомное, сосенъ-холостяковъ не бываетъ; тотъ процессъ, который здѣсь нарисовала фантазія поэта, дѣйствительности не соотвѣтствуетъ. ...Значитъ ли это, что мы желаемъ принизить Пушкина, какъ поэта? Нѣтъ, конечно: поэтъ не обязанъ быть всевѣдущимъ, незнаніе ботаники не мѣшаетъ ему исполнить свою главную задачу — „чувства добрыя въ людяхъ пробуждать“. Но фактъ остается фактомъ: поэзія Гомера и древнихъ вообще выигрываетъ, если на нихъ смотрѣть глазами натуралиста, — поэзія Пушкина и новѣйшая вообще при тѣхъ же условіяхъ теряетъ. ...Но не грѣшно ли, можете вы меня спросить, портить себѣ впечатлѣніе прекраснаго поэтическаго отрывка мелочной ботанической придиркой? Да, грѣшно; съ этимъ я совершенно согласенъ. Т.-е., другими словами, новѣйшей поэзіей пользоваться для статарнаго чтенія грѣшно — этимъ лишній разъ доказывается правильность словъ Вундта объ обязательно мелочномъ характерѣ филологическаго изученія произведеній новѣйшей литературы [1]). Древнюю поэзію часто сравнивали съ природой; сравненіе это во многихъ отношеніяхъ справедливо, — между прочимъ, и въ нашемъ. Подобно природѣ, она цѣльна и отвѣтственности не боится; другое дѣло — поэзія новѣйшая. Есть у васъ кольцо прекрасной ювелирной работы—ну и любуйтесь на него, сколько хотите, но только невооруженнымъ глазомъ; иначе вы найдете въ немъ столько изъяновъ, что вамъ непріятно будетъ на него смотрѣть. А лепестокъ розы, крылышко бабочки сколько угодно разсматривайте въ микроскопъ: каждое новое изученіе раскроетъ вамъ новыя интересныя и поучительныя подробности.

Я нарочно выбралъ мѣста, для объясненія которыхъ филологу приходится обращаться за помощью къ наукамъ, сравнительно далеко отъ него отстоящимъ; послѣ нихъ вы легко представите себѣ, сколь интересный и разнообразный матеріалъ

[1]) ...daher der philologische Betrieb moderner Autoren bekanntlich leicht ins Kleinliche ausartet (Logik, II, 2, 314).

представляетъ статарное чтеніе древнихъ авторовъ по болѣе близкимъ и родственнымъ наукамъ—особенно исторіи и эстетикѣ. Замѣчу теперь же, что тутъ во всѣхъ почти отношеніяхъ греческая литература превосходитъ римскую, какъ сами греческіе писатели, читаемые въ гимназіяхъ, стоятъ выше римскихъ. Если, поэтому, тѣ защитники классической школы, которые видятъ центръ тяжести въ изученіи самихъ древнихъ *языковъ*, и могутъ до нѣкоторой степени примириться съ оставленіемъ въ ней одной латыни, — то тѣ, которые особенно высоко ставятъ образовательное значеніе древнихъ *литературъ*, естественно должны дорожить сохраненіемъ въ ней также и греческаго языка... предполагая, конечно, что они даютъ себѣ отчетъ въ томъ, чего они собственно хотятъ. — Затѣмъ: всѣ согласятся, полагаю я, что реальныя объясненія, въ родѣ предложенныхъ мною выше, будутъ умѣстны лишь въ томъ случаѣ, если читаемый отрывокъ не будетъ представлять особыхъ затрудненій по части формы; если я вынужденъ, путемъ совмѣстной работы съ ученикомъ, установлять, что за форма ἄλσεα, отъ какого глагола происходитъ ὠλεσίκαρποι и т. д., то для болѣе глубокаго и интереснаго толкованія, пожалуй, не останется и времени. Кто, поэтому, предлагаетъ отсрочить начало прохожденія языковъ, какъ таковыхъ, до среднихъ классовъ, тотъ этимъ самымъ переноситъ грамматическій курсъ изъ среднихъ классовъ, гдѣ онъ нынѣ заканчивается, въ высшій, и заставляетъ насъ жертвовать именно тѣми элементами классическаго образованія, которые онъ самъ, однако, не задумается признать наиболѣе желательными и полезными. Когда отъ меня требуютъ, чтобы я умѣстилъ апельсинъ въ меньшемъ противъ его величины сосудѣ, то я, конечно, могу это сдѣлать — для этого нужно его сжать, при чемъ сокъ вытечетъ, а древесина останется.

Возвращаюсь, однако, къ темѣ. Въ предыдущихъ лекціяхъ уже было указано, какъ на важную въ образовательномъ отношеніи сторону античности, на тотъ духъ *историзма*, который она сообщаетъ изучающимъ ее; я коснулся этой стороны и сегодня, по поводу семасіологіи, но она еще болѣе даетъ себя знать при чтеніи самихъ образцовъ. Гомеровская община, — греческія государства въ эпоху персидскихъ войнъ у Геродота, —

Аѳины въ эпоху Демосѳена,— развитіе римской республики у Ливія, — ея паденіе у Цицерона, — расцвѣтъ принципата у Горація — таковъ государственный фонъ, который проходитъ передъ глазами ученика, и на который постоянно приходится указывать при чтеніи. Уже здѣсь можетъ быть схваченъ и выясненъ принципъ эволюціи, въ которой участвуютъ и нѣкоторые культурные и нравственные элементы, между тѣмъ какъ другіе побѣдоносно выносятъ ея натискъ и остаются незыблемы отъ начала до конца: гомеровская община пала, но любовь Гектора къ Андромахѣ изъ-за этого не стала анахронизмомъ.

И все же, вмѣстѣ взятыя, всѣ эпохи античности образуютъ общій, почти одинаково отстоящій фонъ для нашего времени; изучая его, мы получаемъ общую плоскость отправленія для всѣхъ идей, которыми мы живемъ теперь. При этомъ нравственная оцѣнка встрѣчаемыхъ явленій и идей, при всей своей важности, не имѣетъ вліянія на оцѣнку ихъ значенія. Рабство, конечно, неприглядное явленіе; но оно вѣдь пало, и пало подъ натискомъ античныхъ же идей объ единствѣ человѣческой природы; судъ общественной совѣсти, напротивъ, симпатичное, свѣтлое явленіе—зато онъ и возродился вновь, послѣ долгаго затменія, подъ вліяніемъ тѣхъ же античныхъ идей. И такъ вездѣ: дурное оказывается нежизнеспособнымъ и гибнетъ; хорошее, будучи жизнеспособнымъ, выживаетъ. Въ этомъ, полагаю я, заключается причина того оптимизма и идеализма, того здороваго, добраго настроенія, которое намъ внушаетъ изученіе античности; самый фактъ замѣченъ давно, и еще нѣмецкій писатель начала прошлаго вѣка, Ж. П. Рихтеръ, сказалъ: „современное человѣчество опустилось бы въ бездонную пропасть, если бы юношество на пути къ ярмаркѣ жизни не проходило черезъ тихій храмъ великой классической старины“ (Levana).

Съ затронутымъ здѣсь мотивомъ близко соприкасается другой, относящійся къ самому смыслу интерпретаціи. Каждый писатель, заслуживающій этого имени, пишетъ такъ, чтобы взрослые и образованные его современники могли понимать его безъ помощи толкователя; толкованіе вступаетъ въ свои права лишь тогда, когда историческій фонъ, на которомъ данное произведеніе было само по себѣ понятно, измѣнился— чѣмъ болѣе онъ измѣнился, тѣмъ благодарнѣе задача толкователя. Вотъ почему она такъ благодарна по отношенію къ античной литературѣ, между тѣмъ какъ школьная интерпретація новѣйшихъ писателей, согласно вышеприведенному замѣчанію Вундта, всегда грѣшитъ мелочностью; вотъ также одна изъ причинъ — не единственная, — почему мы должны признать правильнымъ мнѣніе Гете, выраженное имъ въ бесѣдѣ съ Эккерманномъ (т. III, 99): „изучайте не своихъ сверстниковъ и сподвижниковъ, а великихъ мужей старины, сочиненія которыхъ въ теченіе столѣтій сохранили одинаковую цѣнность, одинаковый авторитетъ... изучайте Мольера, изучайте Шекспира, но прежде всего и всегда — древнихъ грековъ“.

Теперь коснусь еще одного, послѣдняго пункта. Есть одно драгоцѣнное для каждаго человѣка чувство, которое только школа можетъ въ немъ воспитать: это — *чувство правды* въ широкомъ значеніи слова. Въ узкомъ значеніи оно совпадаетъ съ требованіемъ, чтобы человѣкъ не измѣнялъ произвольно въ словахъ того образа, который внѣшнія чувства или рефлексія оставили въ его памяти, т.-е. не лгалъ; но въ широкомъ оно обнимаетъ и требованіе, чтобъ этотъ образъ, по мѣрѣ возможности соотвѣтствовалъ дѣйствительности. Первое безъ второго почти безполезно; что пользы въ томъ, что фотографъ не ретушируетъ своихъ фотографій, если у него аппаратъ такой недостаточный, что всякій портретъ выходитъ карикатурой? Вотъ это-то второе, главное чувство правды и должна развить школа, такъ какъ семья развить его не можетъ. Въ семьѣ мальчикъ слышитъ сплошь и рядомъ скороспѣлыя сужденія, внушенныя симпатіей или антипатіей, и самъ пріучается вырабатывать свои сужденія тѣмъ же удобнымъ путемъ; только школа можетъ его научить, какъ слѣдуетъ работать для того, чтобы его сужденія соотвѣтствовали истинѣ. Въ этомъ отношеніи высшее требованіе—чтобы человѣкъ черпалъ свои свѣдѣнія не изъ третьихъ и десятыхъ, а изъ первыхъ рукъ. И тутъ главная роль принадлежитъ нашему статарному чтенію. Всѣ другія свѣдѣнія мальчикъ черпаетъ изъ третьихъ и десятыхъ рукъ — одну только древнюю культуру онъ изучаетъ по первоисточникамъ; читая Геродота и Ливія, онъ читаетъ въ то же время первоисточники греческой и римской исторіи,

тѣ самые, по которымъ работали Гротъ и Моммзенъ. — Не трудно понять, насколько воспитательное значеніе античности потеряло бы, если бы подлинники замѣнить переводами. Не говорю здѣсь о томъ, что я пріучаю ученика довольствоваться свѣдѣніями изъ вторыхъ рукъ, заслоняя ему первоисточники,— уже одно это нехорошо, но это далеко не все. Знаменитый юристъ Іерингъ вывелъ совершенно превратное заключеніе о мнимомъ многоженствѣ героической эпохи изъ одного мѣста Софокла, которымъ онъ пользовался въ переводѣ, между тѣмъ какъ подлинникъ спасъ бы его отъ этой ошибки: филологическая критика ему этого не спустила, справедливо усматривая въ этомъ нарушеніе своего девиза «ad fontes!»

И пусть мнѣ не говорятъ, что классическая школа все равно не можетъ дать питомцамъ достаточныхъ познаній для того, чтобы читать первоисточники; какъ бы ни были недостаточны эти познанія — ихъ хватаетъ на то, чтобы человѣкъ, поставленный въ необходимость заглянуть въ какого-нибудь древняго автора (а въ эту необходимость въ нашъ историческій вѣкъ можетъ быть поставленъ всякій изслѣдователь и писатель), могъ провѣрить переводъ по подлиннику. И мнѣ вспоминается жалоба величайшаго генія русскаго народа, который былъ лишенъ даже этой возможности, который—когда его поэтическая миссія навела его на изученіе первообразовъ поэзіи,—долженъ былъ изучать ихъ по новѣйшимъ переводамъ, недостаточность которыхъ такъ вѣрно сознавала его чуткая душа: „какъ рву я на себѣ волосы часто, что у меня нѣтъ классическаго образованія!"—вотъ слова Пушкина Погодину [1]).

Этимъ позвольте закончить сегодня. Сказанное мною не исчерпываетъ, конечно, характеристики античной литературы: многое пришлось пропустить, кое-что можно будетъ еще добавить въ связи съ прочими элементами умственной культуры древнихъ—ихъ религіей, философіей, искусствомъ. Но это уже придется оставить до слѣдующихъ лекцій.

---

[1]) *Барсуковъ*. Жизнь и труды Погодина, т. III, 59.

ЛЕКЦІЯ ПЯТАЯ.

Вторая антитеза: культурное значеніе античности. — Девизъ: не норма, а сѣмя. — Античность какъ общая родина народовъ европейской культуры. — Античная религія; христіанство и язычество. — Античная миѳологія: переживаніе миѳологическихъ образовъ.—Античная литература, какъ основаніе теоріи словесности.—Духъ античной исторіографіи: «истина—око исторіи».—Особая важность этого принципа въ настоящее время.—Готтентотизмъ и школа.

До сихъ поръ мы вращались въ тѣсномъ кругу того, что я назвалъ школьною античностью; я старался выяснить образовательное значеніе тѣхъ занятій, которыя въ классическихъ гимназіяхъ заполняютъ часы, назначенные для изученія такъ называемыхъ «древнихъ языковъ». Это были, какъ помните— во-первыхъ, система обоихъ древнихъ языковъ какъ таковыхъ, проходимая въ своихъ трехъ составныхъ частяхъ, этимологіи, семасіологіи, синтаксисѣ; а во-вторыхъ, литература обоихъ народовъ, проходимая на подлинникахъ при такъ называемомъ классномъ чтеніи авторовъ. Но роль античности и ея значеніе для современнаго общества не ограничиваются школьной ея частью: какъ я уже сказалъ въ первой лекціи, я вижу въ античности *одну изъ главныхъ силъ, дѣйствующихъ въ культурѣ европейскаго человѣчества*. Установить и выяснить это культурное значеніе античности — такова задача, къ рѣшенію которой мы переходимъ теперь.

Прежде, однако, чѣмъ взяться за нее, бросимъ послѣдній взглядъ на школу и школьную античность. Все ли мною сказано и развито? Разумѣется, нѣтъ. Мое разсужденіе не пре-

тендовало и не претендуетъ на полноту. Я хотѣлъ только обратить вниманіе на главныя стороны дѣла или, выражаясь осторожнѣе, на тѣ, которыя мнѣ кажутся главными; долгъ совѣсти требуетъ, чтобы я хоть вкратцѣ оговорилъ тѣ стороны, которыя иному могутъ показаться главными и которыхъ я намѣренно не касался. Ихъ двѣ: подчеркивая интеллектуальное значеніе античности, я оставилъ въ сторонѣ ея нравственное значеніе; равнымъ образомъ, сосредоточиваясь на образовательномъ значеніи античности, я почти совершенно забылъ о сопутствующемъ ему утилитарномъ элементѣ. Наверстать это теперь ужъ не время; позвольте мнѣ только яснѣе формулировать эти двѣ оговорки.

Я пропустилъ *непосредственно-нравственное значеніе античности* въ дѣлѣ воспитанія; другіе, быть можетъ, именно его постарались бы выдвинуть. Они указали бы вамъ на то, что античность оставила намъ безсмертные образцы *нравственнаго величія и гражданской доблести*, въ лицѣ ли ея историческихъ героевъ — Леонида и Аристида, Фабриція и Регула, и прежде всего и главнымъ образомъ Сократа, — или въ лицѣ созданій творческой фантазіи поэтовъ — Ахилла и Антигоны, Эдипа и Ифигеніи. Мнѣ думается, я чувствую это не менѣе кого бы то ни было; но говорить объ этомъ мнѣ не хотѣлось и не хочется. Я нарочно оставался въ области интеллектуализма; и здѣсь предлагались намъ задачи не легкія, но все же разрѣшимыя. Процессъ же нравственнаго воздѣйствія для меня пока загадоченъ, и я не вижу еще направленія, въ которомъ мы могли бы искать его обнаруженія. Конечно, психологическое науковѣдѣніе со временемъ постарается выяснить и эту сторону дѣла; но до этого еще очень далеко. Итакъ, если я пропустилъ всѣ относящіеся сюда вопросы, то не потому, чтобы не придавалъ имъ значенія, а потому, что сознавалъ свое безсиліе передъ ними.

Другое дѣло — *утилитарное значеніе античности*; этотъ пунктъ я потому оставилъ въ сторонѣ, что признавалъ за нимъ лишь второстепенное значеніе. Знаю, что многіе со мною въ этомъ не согласятся; всякій, кто ставитъ вопросъ въ такой формѣ: „да на что мнѣ пригодится въ жизни латинскій или греческій языкъ?“ разумѣетъ прежде всего и исключительно

ихъ утилитарное значеніе. И таковое они, конечно, тоже имѣютъ, и его хватило бы по меньшей мѣрѣ на цѣлую лекцію; но мы временемъ дорожимъ, утилитарную точку зрѣнія мы должны оставить въ сторонѣ. Все же, чтобы она не считала себя обойденной, постараемся вкратцѣ, не входя въ подробности, формулировать относящіяся сюда положенія. Итакъ, во-первыхъ, знаніе латинскаго языка необходимо для сознательнаго усвоенія французскаго языка и вообще романскихъ, которое онъ и облегчаетъ, и осмысляетъ. Во-вторыхъ, знаніе латинскаго языка необходимо юристу, въ виду той важной роли, которую римское право играло и продолжаетъ играть и въ развитіи современнаго права, и въ университетскомъ преподаваніи юридическихъ наукъ. Въ третьихъ, знаніе обоихъ древнихъ языковъ необходимо для пониманія того ихъ лексическаго состава, который вошелъ во всѣ новѣйшіе культурные языки, особенно же—для усвоенія научной терминологіи, которое оно и облегчаетъ, и осмысляетъ; эта сторона дѣла особенно ощутительна для медиковъ и натуралистовъ. Въ-четвертыхъ, знаніе обоихъ древнихъ языковъ необходимо для будущихъ историковъ и филологовъ, кои въ свою очередь необходимы странѣ. Наконецъ, въ силу культурныхъ условій, которыхъ я уже отчасти коснулся, знаніе греческаго языка особенно необходимо Россіи, культура которой пошла отъ Византіи; не знающій по-гречески русскій словесникъ и историкъ, какъ самостоятельный ученый, прямо не мыслимъ. Таковы соображенія утилитарнаго характера въ пользу классическаго образованія; ихъ можно бы развить, обосновать, иллюстрировать гораздо подробнѣе, — и это было бы вовсе нетрудно и вышло бы очень убѣдительно. Но, во-первыхъ, повторяю, у насъ нѣтъ для этого времени; во-вторыхъ, именно вслѣдствіе своей сравнительной легкости эта задача скорѣе всего можетъ быть предоставлена сообразительности каждаго; наконецъ, въ-третьихъ, мы уже имѣли случай убѣдиться, что утилитарный принципъ можетъ играть въ школѣ лишь вспомогательную, служебную роль.

А теперь оставимъ школу и ея задачи; ея питомцы, гимназисты и реалисты, вышли изъ школы въ жизнь, разбились по спеціальностямъ и теперь, вооруженные каждый своими знаніями, умѣніями, опытомъ, составляютъ интеллигентное обще-

ство. Среди этого общества, при участіи всѣхъ его членовъ, совершается обмѣнъ культурныхъ благъ; результатъ этого обмѣна — *умственная и нравственная культура* общества въ данную эпоху. Теперь спрашивается: входитъ ли античность въ качествѣ составного элемента въ эту культуру, и если да, то каково ея значеніе въ ней?

Собираясь отвѣтить на этотъ вопросъ, считаю полезнымъ напомнить вамъ соотвѣтствующую антитезу, вторую изъ трехъ, съ установленія которыхъ я началъ свои лекціи. „По отношенію къ античности, какъ элементу новѣйшей культуры", сказалъ я тогда, „общество усвоило мнѣніе, что она играетъ въ немъ ничтожную роль, будучи давнымъ давно превзойдена успѣхами новѣйшей мысли; знатокъ же дѣла вамъ скажетъ, что мы въ своей умственной и нравственной культурѣ никогда еще не стояли такъ близко къ античности, никогда такъ въ ней не нуждались, но и такъ не были приспособлены понимать и воспринимать ее, какъ именно теперь". Тогда же я замѣтилъ, что существованіе перваго изъ обоихъ этихъ мнѣній — плодъ недоразумѣнія; выясню теперь, въ чемъ это недоразумѣніе состоитъ.

Дѣло въ томъ, что многіе не въ состояніи представить себѣ другого вліянія античности на современную культуру, чѣмъ такое, которое имѣло бы основаніемъ признаніе античности *нормой* для современности. Затѣмъ они ставятъ вопросъ: въ чемъ именно можетъ сказаться это нормативное значеніе античности для нашей культуры, и не безъ основанія отвѣчаютъ: ни въ чемъ. Дѣйствительно, можетъ ли античная, языческая религія служить нормой и образцомъ для нашей, христіанской? Конечно, нѣтъ. Можемъ ли мы свои государства устроить на подобіе античныхъ, будь то аѳинская республика или римская имперія? Опять-таки нѣтъ. Можетъ ли наше знаніе о природѣ и человѣкѣ обогатиться съ пріобщеніемъ извѣстныхъ древнему міру и неизвѣстныхъ намъ данныхъ? Нѣтъ, или почти что нѣтъ. Должны ли мы свою поэзію, архитектуру, живопись заключать въ рамки античной техники этихъ трехъ искусствъ? Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ. Итакъ, чѣмъ же можетъ быть античность для современной культуры?

Очень и очень многимъ. Дѣло въ томъ, что нормативная

точка зрѣнія a priori неправильна не только по отношенію къ античности, но и по отношенію къ чему бы то ни было. Мы всѣ, работающіе на почвѣ античности съ сознаніемъ важности и плодотворности нашей работы для нашихъ современниковъ и потомковъ — мы всѣ въ одинъ голосъ протестуемъ противъ этой точки зрѣнія, которую намъ навязываютъ... иногда не по разуму усердные союзники, чаще же невѣжественные или злонамѣренные противники. Нѣтъ, господа; мы не намѣрены васъ вернуть къ тому, что было; наши взоры устремлены впередъ, а не назадъ. Если дубъ глубоко пускаетъ свои корни въ почву, на которой онъ растетъ, то не потому, чтобы ему хотѣлось обратно вростать въ землю, а потому, что онъ изъ этой почвы черпаетъ силу, которая даетъ ему возможность подниматься къ небесамъ, перерастая всѣ живущіе одною только поверхностью кусты и злаки. Античность должна быть не нормой, а *живительной силой* современной культуры.

И вотъ съ этой-то точки зрѣнія дѣлается понятнымъ положеніе, что никогда еще человѣческій умъ такъ не былъ приспособленъ къ тому, чтобы понимать и воспринимать античность, какъ именно теперь. Правда, оно нуждается въ соотвѣтственномъ дополненіи: „никогда еще античность не была такъ приспособлена къ тому, чтобы быть понимаемой и воспринимаемой человѣкомъ, какъ именно теперь" — но это дополненіе касается уже не самой античности, а науки о ней, а эту науку мы, согласно нашей программѣ, должны оставить напослѣдокъ. — Было время, когда люди не знали исторіи своего отечества и не интересовались ею; „вы все найдете въ древней исторіи", говорилъ еще Мабли, дѣятель эпохи, предшествовавшей французской революціи, „нѣтъ надобности изучать новую, въ которой все равно ничего не найдешь, кромѣ глупостей и грубостей". Тогда именно люди искали въ прошломъ нормы для настоящаго. Но вотъ проснулся духъ историзма; изученіе родной исторіи, правда, нѣсколько отвлекло умы отъ изученія исторіи древней, но зато придало этой послѣдней совершенно новое, неизвѣстное до тѣхъ поръ значеніе. Оказалось, что культурная исторія каждаго изъ новыхъ народовъ была маленькимъ ручейкомъ до тѣхъ поръ, пока въ нее не влилась широкая рѣка античности, принесшая съ собою

всѣ идеи, которыми нашъ умъ живетъ въ настоящее время, съ христіанствомъ включительно: такъ-то, исторически разсуждая, выходитъ, что у каждаго изъ насъ есть двѣ родины: одна—это страна, по имени которой мы называемъ себя, другая—это античность. Чтобы выразить это въ краткой формулѣ, позвольте прибѣгнуть къ ученію греческихъ богослововъ, которые въ естествѣ человѣка различали три составныя части—плоть, душу и духъ (σῶμα, ψυχή, πνεῦμα),—и сказать: наша родина по плоти и душѣ—это Россія для русскихъ, Германія для нѣмцевъ, Франція для французовъ; наша родина по духу—это античность для всѣхъ насъ; то, что сплочиваетъ воедино европейскіе народы, несмотря на ихъ не только національное, но и племенное различіе—это одинаковое происхожденіе отъ античности. *Мы мыслимъ одинаково*—вотъ почему мы понимаемъ другъ друга, между тѣмъ какъ народы неевропейской культуры, будь они цивилизованы или нѣтъ, не понимаютъ ни другъ друга, ни насъ.

И этотъ фактъ уже проникъ въ сознаніе народовъ, хотя далеко еще не въ достаточной мѣрѣ; они смотрятъ, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе, на древній міръ, какъ на свою общую родину. Италія и Греція—это для насъ всѣхъ почти что святыя земли; культурные народы Европы, каждый по мѣрѣ своихъ силъ, стараются заручиться въ нихъ тѣмъ или другимъ клочкомъ земли для изслѣдованій и раскопокъ; каждое болѣе или менѣе важное открытіе въ области древнихъ литературъ и искусствъ возбуждаетъ интересъ всего цивилизованнаго міра, между тѣмъ какъ такія же открытія въ предѣлахъ новыхъ литературъ и искусствъ рѣдко волнуютъ умы внѣ предѣловъ тѣхъ государствъ, которыхъ они непосредственно касаются. Да, общая античная родина—основаніе единства европейской цивилизаціи; вотъ почему и наоборотъ, центростремительныя силы въ европейскомъ человѣчествѣ прямо или косвенно служатъ на пользу занятіямъ античностью. Это положеніе дѣлъ важно для отношенія къ античности обѣихъ партій, на которыя распадается общество въ государствахъ европейской культуры, націоналистовъ и «европеистовъ», или, какъ ихъ у насъ называютъ, славянофиловъ и западниковъ. Если націоналистъ отрицательно относится къ античности, то это невѣжество простое: онъ не знаетъ или забываетъ, что античность съ давнихъ поръ входитъ въ составъ культуры его родного народа, что, стало быть, гнушаясь античности, онъ обрекаетъ себя на незнанье того, что онъ желалъ бы знать. Но если западникъ дѣлаетъ то же самое, то это уже сугубое невѣжество: онъ прямо, можно сказать, рубитъ тотъ сукъ, на которомъ сидитъ.

Итакъ, развитіе культурной исторіи современныхъ народовъ выяснило намъ ту громадную роль, которую античная родина сыграла въ сложеніи ихъ умственнаго, духовнаго естества; все ли этимъ сказано? Нѣтъ, не все. Вѣдь, противъ этого имѣлось бы очень простое возраженіе: да на что оно намъ вообще, наше прошлое? живите настоящимъ! Да, конечно; но тутъ на помощь исторіи являются естественныя науки, является біологія, опровергая легковѣсную мудрость: „что было, того нѣтъ". Нѣтъ, господа, — что было, то есть; мы не можемъ отдѣлаться отъ нашего прошлаго, такъ какъ оно живетъ въ насъ самихъ, точно такъ же, какъ въ столѣтнемъ дубѣ живетъ все его прошлое, начиная съ того времени, когда онъ былъ еще годовалымъ росткомъ. Это вѣрно по отношенію къ каждому индивидууму и тѣмъ болѣе по отношенію къ обществамъ или народамъ. Мы должны изучать наше прошлое для того чтобы познать самихъ себя, такъ какъ мы—результатъ этого прошлаго. А знать самихъ себя мы должны для того, чтобы разумно управлять своей судьбою, а не жить безотчетно, подобно безсловесной скотинѣ. Этой науки школа не учитъ — она вырабатывается въ теченіе всей жизни, будучи результатомъ того обмѣна культурныхъ благъ, о которомъ была рѣчь вначалѣ.

Перейдемъ, однако, къ частностямъ—къ тѣмъ элементамъ культуры, которые намъ завѣщала древность, и которыми мы пользуемся, какъ живительными соками для нашей собственной культуры. Тутъ первое мѣсто занимаетъ, разумѣется, *религія*.

Древность завѣщала намъ, однако, не одну религію, а двѣ: христіанскую и языческую (античную въ тѣсномъ смыслѣ). Дѣйствительно, отдѣлять христіанство отъ античности нельзя; во-первыхъ (хотя и не главнымъ образомъ) потому, что греческій языкъ есть въ то же время языкъ древнѣйшей христіанской письменности, а языкъ, какъ мы видѣли, есть испо-

вѣдь народа. Да, христіанство въ томъ видѣ, въ какомъ мы его получили, было вскормлено греческимъ народомъ; оно носитъ понынѣ его неизгладимую печать. Мы не можемъ понимать христіанство иначе, чѣмъ изучая его греческіе памятники; возьмемъ, хотя бы, столь знаменитое у насъ ученіе о непротивленіи злу. Подлинно ли училъ Спаситель не сопротивляться *злу*... или только не сопротивляться *зломъ*? Не мое дѣло рѣшить этотъ споръ; но я обращаю ваше вниманіе на то, что для его рѣшенія вы должны исходить не изъ славянскаго или русскаго перевода, а, разумѣется, изъ греческаго подлинника,— а онъ, дѣйствительно, нѣсколько двусмысленъ: въ фразѣ μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ послѣднее слово можетъ означать и «злу» и «зломъ». Вспомните, если кто читалъ, Лѣсковскаго «Колыванскаго мужа» и то великое богословское открытіе, которое дядя-баронъ сообщилъ герою—а именно, что въ молитвѣ Господней слѣдуетъ читать не «хлѣбъ нашъ насущный», а «надсущный», т.-е. духовный: таково, молъ, значеніе греческаго ἐπιούσιος. Бѣдняга растерялся, не находя что отвѣтить; а знай онъ по-гречески—онъ легко опровергъ бы ересь своего собесѣдника указаніемъ на то, что «надсущный» было бы по-гречески ὑπερούσιος (вѣрнѣе: ὑπερουσιακός), а никакъ не ἐπιούσιος. Отсюда вы видите, что такое для образованнаго христіанина греческій языкъ; но это лишь мимоходомъ, наша тема здѣсь другая. Я включилъ христіанство въ античность, во-первыхъ, на томъ основаніи, что греческій языкъ былъ роднымъ языкомъ первоначальнаго христіанства; но главное потому, что оно связано съ античностью общностью развитія и настроенія. Христіанство было, конечно, исполненіемъ еврейскаго закона и ветхо-завѣтныхъ пророчествъ; но оно по крайней мѣрѣ въ такой же степени было исполненіемъ вѣковыхъ стремленій и чаяній античныхъ народовъ. Этого раньше не знали и считали, поэтому, ту вторую, въ тѣсномъ смыслѣ античную религію безполезной и даже вредной для насъ; теперь же это достаточно извѣстно и изслѣдовано. Мы преклоняемся передъ грандіозными концепціями этой языческой античной религіи; мы съ истиннымъ благоговѣніемъ читаемъ Эсхилову молитву Зевсу, — я привелъ въ прошлой лекціи изъ нея отрывокъ — гдѣ онъ воздаетъ своему Богу, „кто бы онъ ни былъ“, благодар-

ность за то, что онъ „направилъ человѣка на путь сознанія, давъ силу слову «страданьемъ учись!» И вотъ ночью вмѣсто сна памятливая забота частой каплей гложетъ наше сердце, и противъ воли мы учимся быть добродѣтельными. Такова благодать (χάρις) человѣку отъ бога, мощно возсѣдающаго у святого кормила вселенной!“

Какъ видите, я отличаю античную религію отъ античной *миѳологіи*, съ которой ее раньше отожествляли; конечно, нѣкоторые миѳы являются также носителями и религіозныхъ ученій, но къ большинству изъ нихъ для насъ, какъ и для древнихъ, возможно только эстетическое или этическое отношеніе. Что же сказать о ней, этой античной или, правильнѣе, греческой миѳологіи? Хотѣлось бы обладать стихомъ нашего поэта, чтобы живо и вѣрно описать этотъ сказочный міръ античности, этотъ шелестъ вѣчно зеленаго дуба греческой саги, выросшаго въ древнѣйшемъ святилищѣ эллиновъ, въ бурной Додонѣ; какихъ только образовъ тамъ нѣтъ! Тамъ гнѣвный Ахиллъ съ замираніемъ сердца смотритъ, какъ въ искупленіе нанесенной ему обиды пылаютъ корабли его народа; тамъ царственный старецъ Пріамъ, чтобы выкупить трупъ сына, смиренно цѣлуетъ руку его убійцы; тамъ многострадальный странникъ Одиссей подъ ласкою богини тоскуетъ по своей далекой родинѣ; тамъ бодрый Ясонъ созываетъ богатырей для чудеснаго плаванія въ золотую Колхиду; тамъ вѣрный Орфей нисходитъ въ обитель смерти, чтобы выпросить у царицы тѣней свою Евридику; тамъ гордая праведница Антигона цѣною жизни покупаетъ свое право исполнить долгъ любви къ умершему брату; тамъ кроткая Ифигенія добровольно принимаетъ смерть ради славы своего отца; тамъ ревнивая Медея въ изступленіи мести убиваетъ своихъ дѣтей; тамъ каменное подобіе благословенной нѣкогда Ніобеи плачетъ надъ своимъ разрушеннымъ счастьемъ. — Эти образы не умирали никогда; они плѣняли лучшіе умы древняго міра, пока текла его жизнь, а послѣ его смерти перешли въ средніе вѣка, чтобы жить тамъ новою жизнью, отчасти подъ тѣми же, отчасти подъ другими именами. Красавица Венера завлекаетъ рыцарей въ свой таинственный гротъ; дерзновенный пловецъ Одиссей плыветъ черезъ океанъ, пока его судно не разбивается объ отвѣсную

гору чистилища; волшебница Цирцея подъ именемъ Армиды удерживаетъ крестоносцевъ отъ святого подвига; Елена промѣняла греческихъ витязей на богатыря мысли Фауста. И выше и выше плетется вѣнокъ поэзіи надъ главами героевъ греческихъ былинъ; каждая эпоха новыхъ временъ дала для него свои цвѣты. Ахиллъ и Эдипъ, Антигона и Медея — это уже не греческіе образы: любовь всего человѣчества ихъ усыновила.

Таковыми они дошли до насъ: теперь они наши — самое прекрасное наслѣдіе нашей духовной родины. И мы роднимъ ихъ со своею душой и видимъ въ этомъ и наслажденіе, и поученіе себѣ: прошедши черезъ горнило всемірной исторіи, эти образы потеряли то случайное и условное, то земное, можно сказать, которое имъ было свойственно вначалѣ; теперь это — чистыя воплощенія идей, неоцѣнимыя для поэта-мыслителя. И не только для него; я уже сказалъ, что, сочетавшись съ твореніями новыхъ временъ, эти образы продолжаютъ жить у насъ подъ чужими именами. Несчастный Орестъ, раздавленный долгомъ кровавой мести, понынѣ живетъ на нашей сценѣ подъ именемъ датскаго принца Гамлета; но это только меньшая часть. Сколько великодушныхъ подвижницъ создала Антигона, сколько мрачныхъ ревнивицъ — Медея! Не сознаютъ этого даже ихъ поэты; имъ кажется, что они внимаютъ голосу собственной души, а того они не знаютъ, что этотъ голосъ — все тотъ же шелестъ вѣчно зеленаго дуба греческой саги, выросшаго въ рощѣ пелазгическаго Зевса въ бурной Додонѣ...

Миѳологія естественно приводитъ насъ отъ религіи къ *литературѣ* античности, являясь содержаніемъ значительной части ея поэтическихъ памятниковъ; но античная литература важна для насъ не только своимъ содержаніемъ — она важна своей формой и, главнымъ образомъ, своимъ духомъ. Относительно формы прошу васъ вспомнить, что античность создала всѣ литературныя типы, которыми наша литература живетъ — дѣйствительно создала, такъ какъ раньше они не существовали — и притомъ создала не вдругъ, а одинъ за другимъ въ органическомъ процессѣ своего развитія.

И тутъ мнѣ хотѣлось бы спросить всякаго, интересующагося литературой, — а интересуется ею теперь всякій — что ощущаетъ онъ въ присутствіи этихъ завѣщанныхъ неизвѣстно кѣмъ литературныхъ типовъ, съ которыми онъ встрѣчается въ своей жизни? почему у насъ имѣются именно они, эта трагедія, комедія, романъ, повѣсть, лирика, эпиграмма и т. д., а не другіе? почему для нѣкоторыхъ литературныхъ типовъ обязательна риѳма и размѣръ, для другихъ — только размѣръ, для третьихъ — ни тотъ, ни другая? Что, повторяю, ощущаетъ интересующійся литературой человѣкъ въ виду этихъ фактовъ? — Ну, я думаю, большинство, если отвѣчать по совѣсти, отвѣтитъ: ровно ничего. Дѣйствительно, кто живетъ одною современностью, тотъ быстро отвыкаетъ мыслить — вѣдь мыслить значитъ связывать слѣдствіе съ причиной, причина же современности лежитъ въ прошломъ. Но возьмемъ человѣка вдумчиваго: онъ, вѣроятно, за объясненіемъ причины обратится къ наукѣ о литературѣ, къ теоріи словесности — и быстро разочаруется. Теорія словесности, какъ наука, дѣло будущаго; пока она скорѣе классифицируетъ и иллюстрируетъ, чѣмъ объясняетъ. Нѣтъ, теперь для вдумчиваго человѣка путь одинъ: на вопросъ о смыслѣ литературныхъ типовъ отвѣчаетъ только исторія ихъ возникновенія, т.-е. античная литература.

Тутъ мы видимъ своими глазами, какъ изъ первобытной лирико-эпической ячейки прежде всего развивается эпическая поэзія; при отсутствіи письменности единственнымъ хранилищемъ того, что слѣдовало знать, была память, а памяти нужно было придти на помощь размѣромъ и напѣвомъ. Итакъ, эпосъ сталъ вмѣщать въ себѣ все, что слѣдовало знать; дѣянія боговъ и предковъ, пророчества, законы, наставленія къ жизни и къ работамъ; отсюда его раздѣленіе на былевую и дидактическую вѣтви. — Развитіе музыки повело къ осложненію размѣровъ: изъ эпоса развивается лирика въ своихъ различныхъ разновидностяхъ, какъ элегія, баллада, пѣсня, ода; чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе расширяетъ она свой кругозоръ, поглощаетъ, наконецъ, эпосъ и съ нимъ вмѣстѣ даетъ драму — трагедію и комедію. — Но тѣмъ временемъ и письменность все шире и шире распространяется; зарождается проза; проза конкуррируетъ съ поэзіей, какъ хранилище того, что слѣдовало знать, но все-таки чувствуется, что поэзія обладаетъ такими достоинствами, какихъ у прозы нѣтъ — ея размѣръ болѣе соотвѣтствуетъ возбужденному состоянію души, чѣмъ гладкое теченіе прозы,

она продолжаетъ быть выразителемъ страстнаго, эмоціальнаго элемента человѣческаго естества, предоставляя прозѣ элементъ интеллектуальный. Эпосъ умираетъ, его замѣняетъ историческая и философская проза. А жизнь все развивается и развивается, страсти кипятъ въ народныхъ собраніяхъ, кипятъ въ судахъ; создается особый родъ прозы, вмѣщающій въ себѣ страсть—краснорѣчіе. Элементъ страсти сближаетъ краснорѣчіе съ поэзіей, оно принимаетъ въ себя нѣчто въ родѣ размѣра, подъ именемъ прозаическаго ритма, обращаетъ вниманіе на равномѣрное дѣленіе частей періода и иногда, для большей вразумительности, подчеркиваетъ это дѣленіе риѳмой. — Съ этимъ лирическимъ элементомъ риторическая проза грозитъ гибелью поэзіи; эта гибель отстрочивается благодаря той любви къ прошлому, которая охватила грековъ послѣ потери политической самостоятельности. Рождается романтическая поэзія такъ называемаго александрійскаго періода; эта поэзія воскрешаетъ прежніе поэтическіе типы и прибавляетъ къ нимъ новый, настоящій выразитель романтическаго настроенія—идиллію. — Затѣмъ литература переносится въ Римъ; это также ведетъ къ воскрешенію поэтическихъ типовъ, но уже на латинскомъ языкѣ, и опять къ созданію новаго типа, естественнаго продукта столкновенія наносной культуры съ туземной грубостью, римской сатиры.—Все же побѣда прозы надъ поэзіей этимъ только отсрочивается; чувствуя свои силы, она вторгается изъ міра дѣйствительности въ царство фантазіи, предоставленное до тѣхъ поръ поэзіи, создается романъ, создается повѣсть— эти послѣдыши античной литературы.—Торжеству прозы содѣйствуетъ тоже и то обстоятельство, что характерный для античныхъ языковъ элементъ количества, на которомъ построена вся античная метрика, въ эпоху по Р. Хр. сталъ теряться; когда поэтому потребовалась новая народная поэзія, что случилось между прочимъ подъ вліяніемъ христіанства, то ея форма была заимствована лишь отчасти изъ старинной поэзіи, главнымъ же образомъ изъ ритмической прозы; характерная особенность послѣдней—равномѣрное дѣленіе періодовъ, подчеркнутое риѳмой—стало характерной особенностью также и новой поэзіи. Такъ возникла поздняя античная поэзія, прошедшая черезъ все средневѣковье: stabat mater dolorosa juxta crucem lacrimosa, и все остальное. А между тѣмъ, это и есть та поэтическая форма, которая завоевала всѣ народы европейской культуры, всюду вытѣсняя грубыя и неспособныя къ развитію туземныя формы; мы всѣ, народы новой Европы, живемъ этимъ наслѣдіемъ, не исключая и нашей народной поэзіи. — Правда, дѣлались попытки замѣнить эти античныя формы другими, заимствованными изъ поэзіи другихъ неантичныхъ народовъ — индійской, арабской, — но эти попытки не имѣли успѣха. Мало того: нашимъ сосѣдямъ, нѣмцамъ, не удалось даже снова призвать къ жизни своей исконной поэтической формы, аллитерирующаго стиха. Его воспроизводили иногда очень удачно, всѣхъ удачнѣе Вагнеръ въ своей знаменитой трилогіи — Helle Wehr, Heilige Waffe, Hilf meinem ewigen Eide!—но его горизонтъ, тѣмъ не менѣе, очень узокъ. Внѣ «Кольца Нибелунга» онъ невозможенъ; ни Фаустъ, ни Орлеанская дѣва не могли имъ быть написаны.

Итакъ, по части литературныхъ типовъ и формъ мы и понынѣ живемъ античностью; новыя времена ихъ отчасти упростили, отчасти разнообразили, но ничего принципіально новаго къ нимъ не прибавили. Но я говорилъ также о *духѣ* античной литературы, и вы, вѣроятно, сами уже подозрѣваете, что въ этомъ духѣ — самое важное наслѣдіе античности. Да, конечно; но здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, я долженъ быть кратокъ, даже рискуя пропустить очень серьезныя стороны моей темы. Ограничусь двумя примѣрами: духомъ античной исторіи и духомъ античной философіи, — конечно, смотря на ту и другую, какъ на литературные типы.

Исторію мы имѣемъ не у однихъ античныхъ народовъ: она была у народовъ Востока, была и у евреевъ. Но у народовъ Востока ея цѣль была совершенно особая: прославленіе дѣяній царей, ихъ побѣдъ, сооруженій и т. д.; о пораженіяхъ и безславіи царей не писали. Другую точку зрѣнія выдвинулъ Израиль: его исторія свидѣтельствовала ему о постоянной опекѣ Бога Саваоѳа, Который и награждалъ избранный Имъ народъ за повиновеніе Его закону, и каралъ за ослушаніе; его исторіографія имѣла поэтому цѣлью обнаружить, гдѣ только можно было, этотъ перстъ Божій. Впервые у древнихъ грековъ находимъ мы понятіе, которое, просто какъ такое, показалось бы

безсмысленнымъ историографамъ Востока, съ Израилемъ включительно: понятіе *исторической истины*. Для чего пишетъ свою исторію Геродотъ? „Для того, чтобы не пропала отъ времени память о дѣяніяхъ людей, и чтобы великія и удивительныя дѣла, совершенныя какъ эллинами, *такъ и варварами*, не лишились своей славы". Замѣтьте: какъ эллинами, такъ и варварами. Историкъ стоитъ выше національностей; великое дѣло какъ таковое его интересуетъ, оно требуетъ отъ него награды и получаетъ ее, безотносительно къ имени совершившаго. Конечно, у Геродота не все достовѣрно; онъ благодушно воспроизводитъ легенду, но безъ всякаго злого умысла: что дѣлать, въ его эпоху историческая критика еще только зарождалась. — Историческая критика... тутъ мы коснулись второй стороны дѣла. Въ прошлой лекціи, говоря о чувствѣ правды, я указалъ на то, что оно заключаетъ въ себѣ не одно, а два требованія — первое: „пусть твои слова соотвѣтствуютъ твоему сужденію", т.-е. „не лги"; второе: „пусть твое сужденіе соотвѣтствуетъ дѣйствительности", т.-е. „не заблуждайся". Первому изъ этихъ требованій удовлетворилъ Геродотъ; удовлетворить второму было предоставлено его преемнику Ѳукидиду. Онъ не довольствуется уже правдивой передачей того, что слышалъ; онъ всячески старается провѣрить услышанное, сличаетъ показанія аѳинянъ съ показаніями спартанцевъ, коринѳянъ и т. д., чтобы такимъ путемъ добраться до исторической истины. Такъ относится онъ къ установленію фактовъ; но это сравнительно легкая задача: историкъ не только докладчикъ, но и судья. Какъ же творитъ Ѳукидидъ историческій судъ? Такъ, какъ мы этого только и можемъ желать: гдѣ передъ нимъ двѣ противоположныя и непримиримыя точки зрѣнія, тамъ онъ послѣдовательно развиваетъ ту и другую въ формѣ состязательныхъ рѣчей представителей обѣихъ сторонъ. Рѣчи встрѣчались уже у Геродота, но у него онѣ только пріятно разнообразили разсказъ, — у Ѳукидида онѣ служатъ главной цѣли его труда, раскрытію исторической истины. Не всѣ, конечно, послѣдовали его примѣру: въ IV вѣкѣ встрѣчаются попытки подчинить историческую истину патріотизму, а затѣмъ и интересности разсказа; но въ серьезной исторіографіи его авторитетъ остался непоколебимъ. Во II вѣкѣ историкъ

Полибій произноситъ замѣчательныя слова, которымъ и слѣдуетъ на дѣлѣ: „истина—око исторіи" (I, 14). Въ 1 вѣкѣ до Р. Хр. Цицеронъ хорошо формулируетъ главныя требованія къ исторіи въ слѣдующихъ словахъ: „ne quid falsi audeat, ne quid veri non audeat historia", — словахъ, которыя и понынѣ красуются, какъ девизъ, на заглавномъ листѣ самаго серьезнаго изъ историческихъ журналовъ, французской Revue historique. Въ I—II вѣкѣ по Р. Хр. Тацитъ высказываетъ приблизительно то же требованіе въ своемъ знаменитомъ sine ira et studio.

Таковъ духъ античной исторіографіи. Что же, будемъ мы ее теперь упрекать въ томъ, что она въ томъ или другомъ отношеніи кажется намъ отсталой, слишкомъ много вниманія удѣляетъ установленію фактовъ внѣшней политики, слишкомъ мало интересуется экономическими и соціальными вопросами? Эти упреки были бы умѣстны, если бы мы, филологи, рекомендовали вамъ античную исторіографію, какъ норму для современной; но я уже разъ протестовалъ противъ этой инсинуаціи, и протестую противъ нея и теперь. Нѣтъ; античность должна быть для насъ не нормой, а сѣменемъ; мы должны принять его въ себя, это сѣмя исторической правдивости, чтобы изъ него выросло дерево правдивой современной исторіографіи. Съ этой-то точки зрѣнія и величайшій изъ историковъ новыхъ временъ, Ранке, называлъ себя ученикомъ Ѳукидида.

И мнѣ думается, что мы никогда еще въ этомъ сѣмени такъ не нуждались, какъ именно теперь. Именно теперь исторической истинѣ, этому оку исторіи, какъ его называетъ Полибій, угрожаетъ сильнѣйшая опасность со стороны ея двухъ исконныхъ враговъ: національзма и партійности; а что это значитъ — это понять нетрудно. Не знаю, извѣстно ли вамъ, что нѣкоторые писатели разумѣютъ подъ готтентотской моралью? Этотъ терминъ имѣетъ своимъ источникомъ анекдотъ, вѣроятно, не очень достовѣрный, — будто одинъ готтентотъ на вопросъ миссіонера, что такое добро и зло, отвѣтилъ: „если мой сосѣдъ уведетъ у меня мою жену, то это зло, а если я уведу у него его жену, то это добро". Теперь вы поймете, что этотъ готтентотскій принципъ проявляется не только на почвѣ

частныхъ сношеній — тамъ онъ намъ не опасенъ, мы надъ нимъ смѣемся,—онъ гораздо вреднѣе въ области національныхъ и партійныхъ интересовъ. Когда, скажемъ, испанецъ съ жаромъ заступается за притѣсняемыхъ въ Португаліи испанцевъ, но возмущается противъ такого же заступничества Португаліи за обижаемыхъ въ Испаніи португальцевъ; когда тотъ же испанецъ, будучи республиканцемъ, горячо одобряетъ правительство за то, что оно запретило карлистскую демонстрацію, а на слѣдующій день бранитъ то же правительство за запрещенную республиканскую демонстрацію—то ему кажется, что онъ во всѣхъ этихъ случаяхъ разсуждаетъ вполнѣ послѣдовательно и здраво. Мнѣ же думается, что онъ обнаруживаетъ въ первомъ случаѣ національный, а во второмъ — партійный готтентотизмъ, и больше ничего.

И все же я скажу: пока этотъ готтентотизмъ царитъ только у взрослыхъ людей въ ихъ національныхъ и партійныхъ распряхъ, то это еще полъ-бѣды: говорятъ, безъ этого нельзя — не буду спорить. Но вѣдь наши испанцы этимъ не довольствуются; они требуютъ, чтобы вся исторія, поскольку она пишется испанцами и для испанцевъ, носила соотвѣтственный характеръ, чтобы видно было, что ее написалъ испанецъ, а не португалецъ. Тутъ мнѣ съ грустью вспоминается Ѳукидидъ; онъ начинаетъ свое сочиненіе словами: „Ѳукидидъ аѳинянинъ написалъ эту исторію войны пелопоннесцевъ съ аѳинянами“ — и хорошо, что онъ это дѣлаетъ, такъ какъ безъ этихъ словъ, по характеру и тенденціи его труда, никто не могъ бы догадаться, кто его написалъ: аѳинянинъ, спартанецъ или коринѳянинъ? Но что же дѣлать; видно придется исторіи, чтобы выдержать свой испанскій характеръ, закрыть свое «око» на протяженіи всѣхъ новыхъ временъ; будемъ утѣшаться тѣмъ, что истина найдетъ себѣ убѣжище хоть въ древней исторіи, такъ какъ древнюю-то исторію съ испанской точки зрѣнія не напишешь. И дѣйствительно, тутъ есть чему радоваться. Я никогда не подпишусь подъ вышеприведеннымъ изреченіемъ Мабли о новой и древней исторіи; несомнѣнно однако, что по нынѣшнимъ временамъ изученіе древней исторіи имѣетъ особенное нравственное значеніе. Здѣсь мы судимъ не на основаніи предвзятыхъ симпатій; мы одобряемъ добрыхъ мужей и добрыя

дѣла, возмущаемся по поводу дурныхъ, безотносительно къ національности того или тѣхъ, о комъ идетъ рѣчь. Здѣсь готтентотизмъ не имѣетъ почвы: вникая въ древнюю исторію, мы учимся быть справедливыми. Но именно это не на руку нашимъ испанцамъ; они требуютъ изгнанія древней исторіи изъ школы, или, по крайней мѣрѣ, ея сокращенія въ пользу новой, особенно же испанской исторіи... Впрочемъ, господа, вы, конечно, давно поняли, что я говорю здѣсь объ испанцахъ только потому, что они живутъ далеко, никогда не узнаютъ, что я о нихъ говорилъ, и поэтому не обидятся; а я уже стольких «обидѣлъ» въ своихъ предыдущихъ лекціяхъ, что будетъ съ меня. Нѣтъ, вернемся домой. Чего только ни требуютъ отъ школьнаго преподаванія исторіи! Оно должно насадить духъ патріотизма, духъ...... другой, третій, четвертый. Боюсь, однако, что изъ всѣхъ этихъ древонасажденій ничего путнаго не выйдетъ, «око» же исторіи окажется при этомъ окончательно вышибленнымъ. Нѣтъ; если бы дѣло зависѣло отъ меня, я, какъ выросшій на античности человѣкъ, сказалъ бы скромно, но рѣшительно: „преподаваніе исторіи должно насаждать духъ правдивости и справедливости“ — а затѣмъ.... поставилъ бы точку.

ЛЕКЦІЯ ШЕСТАЯ.

Вторая антитеза: продолженіе. — Духъ античной философской литературы: переубѣдимость.—Кодексъ чести мыслителя.—Античная философія: ея универсализмъ. — Античная этика.—Этика досократовская, сократовская и христіанская.—Ихъ важность для этики будущаго.—Античное право.—Юристы-ремесленники и юристы-мыслители.—Античная политика.—Античность и оптимизмъ.

Предыдущую лекцію я закончилъ анализомъ и характеристикой того, что я назвалъ духомъ античной исторіографіи; перехожу къ духу античной *философіи*, предупреждая васъ, однако, и здѣсь, что пока мы ее разсматриваемъ не какъ таковую, а только какъ литературный типъ, параллельно съ исторіографіей.

Допустимъ на минуту, что все содержаніе философіи Платона не только невѣрно, но и нелѣпо, что оно не имѣетъ для насъ никакой цѣнности; можно ли будетъ сдать его діалоги въ архивъ? Нѣтъ; ихъ значеніе, какъ литературныхъ произведеній, независимо отъ того, что̀ является ихъ философскимъ результатомъ. То, что̀ въ нихъ болѣе всего поражаетъ мало мальски вдумчиваго читателя, это вовсе не ихъ выводы, а тотъ методъ, посредствомъ котораго таковые достигаются. Сравнимъ для ясности и здѣсь греческую философскую письменность съ тѣмъ, что ей соотвѣтствуетъ у нетронутыхъ греческой цивилизаціей народовъ, у индійцевъ, у народовъ такъ называемаго классическаго востока, у евреевъ. И тамъ вы встрѣтите очень глубокомысленныя наставленія: никто не можетъ относиться свысока къ проповѣди Будды или къ ветхозавѣтнымъ пророкамъ. Но

у грековъ есть нѣчто ими впервые введенное въ работу нашей мысли, — а именно, всюду разлитое убѣжденіе, что каждое наше положеніе постольку вѣрно, поскольку оно *доказано*. Мало того; предполагается, что эта доказанность или недоказанность — единственное, что̀ приходится имѣть въ виду мыслителю, и что эта доказанность, разъ она налицо, должна оградить его отъ всѣхъ антипатій общества. „Какъ! ты утверждаешь то-то и то-то?“ — говоритъ Сократу его собесѣдникъ, возмущенный его выводами. О, нѣтъ, отвѣчаетъ Сократъ, это утверждаю не я, а Logos, орудіемъ котораго я здѣсь являюсь. Нравится тебѣ то, что Logos доказываетъ моими устами — тѣмъ лучше; не нравится—вини не меня, а Logos'а, или еще лучше—самого себя.

А это отношеніе къ дѣлу имѣетъ своимъ послѣдствіемъ требованіе, чтобы человѣкъ былъ *убѣдимымъ и переубѣдимымъ*. Logos ставитъ намъ серьезныя, подчасъ тяжелыя условія. *Ты долженъ признать самое непріятное для тебя положеніе, разъ оно доказано; ты долженъ отказаться отъ самаго дорогого тебѣ убѣжденія, разъ оно опровергнуто*,—вотъ кодексъ чести мыслителя. Не хочешь — ты будешь бараномъ изъ стада, рабомъ подъ властью господина, а не свободнымъ гражданиномъ общины духа. А потому — опровергай, доказывай, но не жалуйся, не злословь, не приходи въ азартъ. И хорошенько присматривай за своими доказательствами и опроверженіями, чтобы они были дѣйствительно доказательны: очень часто симпатія и антипатія извращаетъ наше сужденіе, склоняя его признать доказательными самыя легкомысленныя соображенія — этого быть не должно. Недоказательное соображеніе, внушенное симпатіей, въ спорѣ — то же, что неправильный ударъ въ поединкѣ; кто къ нимъ прибѣгаетъ, тотъ нарушаетъ кодексъ чести.

Да, *переубѣдимость* — вотъ то сѣмя, которое заключаетъ въ себѣ античная философія, и только она; и это сѣмя должно взойти въ каждомъ изъ насъ, если онъ хочетъ относиться сознательно къ явленіямъ жизни, хочетъ выйти изъ мрака предразсудковъ. Къ сожалѣнію, почва для этого сѣмени у современнаго человѣка очень неблагопріятна. Мы всѣ болѣе или менѣе, въ силу наслѣдственности, волюнтаристы; интеллектуализмъ—лишь тонкій наносный слой чернозема въ складѣ нашего

ума. Насъ можно настроить и перенастроить, на насъ вліяетъ стихійнымъ образомъ среда и обстановка нашей жизни; но вѣдь все это — прямая противоположность интеллектуальной переубѣдимости.

И теперь, бесѣдуя съ вами объ этой послѣдней, я болѣе всего боюсь, какъ бы вы не перевели моихъ словъ на волюнтаристическій языкъ и не смѣшали переубѣдимости съ тѣмъ, что я позволилъ бы себѣ назвать перенастраиваемостью, этимъ вѣрнымъ признакомъ нравственной или умственной слабости. Не въ томъ важность, чтобы человѣкъ былъ въ состояніи мѣнять свои убѣжденія; это — явленіе до того обычное, что и говорить о немъ не стоитъ. Сплошь и рядомъ онъ, переходя изъ одной среды въ другую, мѣняетъ свои убѣжденія — не вдругъ, разумѣется, а исподволь; въ особенности это касается убѣжденій политическихъ. Тутъ такого рода метаморфозы происходятъ съ регулярностью, немногимъ уступающей извѣстной метаморфозѣ насѣкомыхъ: сплошь и рядомъ изъ самыхъ радикальныхъ личинокъ вылупливаются самые великолѣпные ретроградные папильоны. Надѣюсь, вы не заподозрите меня, что я подъ переубѣдимостью рекомендую подобнаго рода метаморфозу; совершенно напротивъ, она — прямой ея врагъ. Да, но не единственный; другой ея врагъ — то, что на волюнтаристическомъ языкѣ принято нарекать почетнымъ именемъ стойкости убѣжденій, между тѣмъ какъ на нашемъ интеллектуалистическомъ языкѣ имя этому качеству — косность и умственная слѣпота. Съ нашей точки зрѣнія одинаково заслуживаетъ осужденія какъ тотъ, кто отказывается отъ своихъ убѣжденій, не имѣя на это логическаго основанія, такъ и тотъ, кто при наличности этого основанія отъ нихъ не отказывается; оба они — враги и ослушники Logos'а, того «слова-разума», которое, по глубокомысленному изреченію четвертаго евангелиста, было въ самомъ началѣ бытія — и впервые объявилось въ античной философіи.

Простите, что я настаиваю на этомъ соображеніи; но оно намъ теперь ближе, чѣмъ когда-либо. Въ эту самую минуту надъ всѣми нами — и надо мною, лекторомъ, и надъ вами, моими слушателями — витаетъ Logos; то, что я вамъ говорю, разсчитано не на то, чтобы такъ или иначе васъ настроить,

а на то, чтобы васъ убѣдить. Что это задача трудная, что мои рѣчи вызовутъ много критики и неудовольствія — это я и самъ сознавалъ и вамъ заявилъ съ самаго начала: трудно убѣждать и переубѣждать тамъ, гдѣ имѣешь дѣло съ накопившимся въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ, переданнымъ средою и чуть-ли не по наслѣдственности *предубѣжденіемъ*. Но я полагаю, если для меня важно сообщить вамъ ту истину, которою я обладаю, то для васъ не менѣе важно воспринять ее... поскольку она истина. А чтобы въ этомъ убѣдиться, для этого средство одно — тотъ кодексъ чести мыслителя, о которомъ я говорилъ только-что: „ты долженъ признать самое непріятное для тебя положеніе, разъ оно доказано; ты долженъ отказаться отъ самаго дорогого для тебя убѣжденія, разъ оно опровергнуто". Между тѣмъ современный читатель и слушатель въ числѣ другихъ качествъ, которыми онъ отличается отъ античнаго, обладаетъ и слѣдующимъ: когда ему доказываешь что-нибудь, онъ пропускаетъ ходъ доказательства мимо ушей или глазъ и сосредоточиваетъ все свое вниманіе на результатѣ; нравится ему этотъ результатъ — хвала автору, хотя бы само доказательство было построено по силлогизму «чижикъ въ лодочкѣ»; не нравится ему результатъ — анаѳема. Вотъ противъ этого-то отношенія къ дѣлу я хотѣлъ бы васъ вооружить, пока еще пора, пока я еще предъ вами.

Да, еще разъ повторяю: переубѣдимость, этотъ залогъ умственной свободы и умственнаго прогресса — вотъ самое драгоцѣнное намъ наслѣдіе античной философіи, какъ литературнаго произведенія. Ея соотвѣтственная форма — діалогъ; и вотъ причина, почему Платонъ свои сочиненія написалъ въ діалогической формѣ, при чемъ убѣжденіе и переубѣжденіе происходитъ на нашихъ глазахъ.

Вы, конечно, понимаете, что я по необходимости пропускаю много сторонъ, драгоцѣнныхъ въ античности, въ античной литературѣ, въ античной философской литературѣ — я могу вамъ представить только образчики, а при ихъ выборѣ нѣкоторый субъективизмъ неизбѣженъ. Я говорю о томъ, что́ мнѣ кажется наиболѣе цѣннымъ изъ того, чему меня научила античность: другой, быть можетъ, подчеркнулъ бы другія стороны, болѣе близкія его сердцу, и былъ бы точно также

правъ. Теперь, прежде чѣмъ проститься съ античной литературой, мнѣ хотѣлось бы еще разъ указать на ея огромное культурно-*историческое* значеніе.

Если бы античность была только создательницей тѣхъ литературныхъ типовъ, которыми живемъ и мы, только плоскостью отправленія для эволюціи новѣйшей литературы, то и тогда ея значеніе было бы очень велико: вѣдь всякій вопросъ о причинѣ явленій всемірной литературы, другими словами, всякое сознательное къ ней отношеніе неизбѣжно завело бы насъ въ область античности. Но вѣдь этимъ ея значеніе не исчерпывается: античность не только дала толчокъ новѣйшимъ литературамъ, она и сопровождаетъ ихъ на всемъ пути ихъ развитія, оказывая болѣе или менѣе сильное вліяніе на нихъ. Очень вѣрно сказалъ въ свое время Монтескье: „новѣйшія сочиненія написаны для читателей, античныя—для писателей", всегда, и особенно въ лучшіе періоды всемірной литературы, античность была главной пищей поэтовъ и прозаиковъ, и только тотъ правильно пойметъ также и новѣйшую литературу, кто очень добросовѣстно изучилъ эту ея пищу. Прежде это требованіе не такъ еще сознавалось: пока главную задачу историка литературы видѣли либо въ собираніи фактовъ изъ внѣшней жизни писателей, либо въ морально-эстетическихъ разглагольствованіяхъ объ ихъ сочиненіяхъ, можно было обходиться безъ знанія античной литературы; но съ тѣхъ поръ какъ исторія литературы была поставлена на научную почву, съ тѣхъ поръ какъ мы стали ставить къ ея историку требованіе обнаружить тѣ силы, которыя придали данному литературному произведенію именно данный, а не другой характеръ— знаніе античной литературы стало непремѣнной обязанностью этого историка: какъ вы объясните возникновеніе литературнаго явленія, если вы не знаете тѣхъ силъ, которыя его произвели? Такимъ образомъ и тутъ оправдывается сказанное мною выше: важность античности стала не меньше, а больше, чѣмъ она была раньше.

Но здѣсь для насъ важно не это, а вотъ что̀. Вы не забыли той антитезы, въ которой я вижу девизъ разумнаго поборника античности въ современной жизни: «не норма, а сѣмя». Были въ исторіи всемірной литературы періоды, когда

античность считалась нормой для современности; были и другіе, когда она... быть можетъ не считалась, но дѣйствительно была сѣменемъ. Первые мы называемъ подражательными: подражали тому, что̀ понимали, понимали же не очень много, гораздо менѣе, чѣмъ мы теперь; въ результатѣ получался не классицизмъ, а псевдоклассицизмъ. Все же и эти періоды были необходимы: они вышколили новѣйшую литературу, сообщая ея типамъ и средствамъ изложенія то техническое совершенство, въ которомъ они нуждались для того, чтобы служить болѣе высокимъ цѣлямъ; къ сожалѣнію, недостатокъ времени не дозволяетъ развить вамъ этотъ въ высшей степени интересный и важный пунктъ. Но какъ бы тамъ ни было, дѣйствительно творческими періодами всемірной литературы мы считаемъ тѣ, когда античность была не столько нормой, сколько сѣменемъ... все равно, признавалась ли она таковымъ или нѣтъ. Мы справедливо ставимъ Шекспира и Гете, для которыхъ античность была сѣменемъ, выше Расина, для котораго она была нормой, не говоря уже о другихъ, болѣе рабскихъ подражателяхъ. Но вы согласитесь, что процессъ развитія сѣмени сложнѣе и прослѣдить его труднѣе, чѣмъ процессъ воспроизведенія нормы; гораздо легче обнаружить вліяніе античности на Расина, чѣмъ на Шекспира и Гете. Да, конечно; но задача не упраздняется съ установленіемъ трудности ея исполненія. Исторія литературы, какъ наука, еще только нарождается. Ее мощно двинулъ впередъ знаменитый Тэнъ своимъ требованіемъ, чтобы литература разсматривалась, какъ продуктъ общества, изъ котораго и для котораго она создавалась; не менѣе важно, однако, требованіе, чтобы, кромѣ этихъ внѣшнихъ силъ, было прослѣжено и вліяніе той внутренней силы, которая въ ней жила и живетъ, т.-е. античности. „Новѣйшія сочиненія"—повторяю слова Монтескье—„написаны для читателей, античныя—для писателей", а слѣдовательно, прибавимъ мы, и для того, кто изучаетъ этихъ писателей и судитъ о нихъ.

Оглянемся теперь немного назадъ. Въ своемъ обзорѣ античнаго міра мы начали, какъ это было естественно, съ религіи: религія привела насъ къ миѳологіи, миѳологія къ литературѣ, литература къ философіи. Мы охарактеризовали ее пока только какъ литературный типъ: переходимъ теперь къ

ея самостоятельному значенію именно какъ философіи. Здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ-либо бросается въ глаза, до какой степени греческій народъ былъ (повторяя выраженіе Вл. Соловьева) многодумомъ. Изъ обоихъ наиболѣе творческихъ въ области философіи народовъ современности, англійскаго и нѣмецкаго, первый всегда былъ склоненъ къ эмпиризму, второй къ раціонализму; про грековъ трудно сказать, которое изъ обоихъ этихъ направленій лежало ближе къ ихъ душѣ. Греція создала раціоналиста Платона, но она же и эмпирика Демокрита; въ Аристотелѣ обѣ струи соединяются, но затѣмъ опять отдѣляются одна отъ другой—направленіе Платона воскресаетъ въ стоикахъ, направленіе Демокрита въ Эпикурѣ. Эту спасительную двойственность Греція завѣщала и новому міру; отнынѣ отупляющая односторонность стала уже невозможной. Попеременно то Платонъ, то Эпикуръ оплодотворяли и оживляли новѣйшую философію. Раціонализмъ Платона соприкасается съ религіей, эмпиризмъ Эпикура—съ наукой; первый родственепъ съ идеализмомъ, второй съ матеріализмомъ; первый ведетъ къ совершенствованію человѣка какъ таковового, второй—къ его власти надъ природой. Оба направленія намъ необходимы, но самое необходимое, это—борьба между ними, та плодотворная борьба, результатомъ которой является культурный прогрессъ. Не дай Богъ, чтобы которое-нибудь изъ этихъ двухъ направленій у насъ заглохло, чтобы разумъ человѣческій забрелъ либо въ безплодную пустыню спекуляціи, либо въ грязный омутъ исключительно матеріальныхъ интересовъ; а чтобы этого не случилось, для этого античная философія должна оставаться всегда близкой нашему сердцу — именно античная философія съ ея здоровымъ универсализмомъ, одинаково обозрѣвающая своимъ яснымъ взоромъ небо и землю... Но это, пожалуй, матерія слишкомъ трудная; вы знаете уже, что мы не можемъ исчерпать своей темы—что я могу привести вамъ только образчики. Приведу таковой и для античной философіи; изъ многихъ ея сторонъ выберу одну, а именно нравственную.

Это—вопросъ всѣмъ одинаково близкій. Всякое общество живетъ нравственностью; нравственность нашего времени есть нравственность христіанская—ее признаютъ даже тѣ, которые относятся болѣе или менѣе безучастно къ религіознымъ истинамъ христіанства. Замѣчательно, однако, что первые христіане-мыслители, знакомясь съ античной философіей, были поражены ея величіемъ и чистотой; относясь къ этому явленію съ религіозностью христіанъ и съ честностью мыслителей, они придумали для него слѣдующее объясненіе: „Господь Богъ“, говорили они, „въ своемъ попеченіи о человѣческомъ родѣ, до пришествія Христа, далъ евреямъ законъ, а эллинамъ философію“. Замѣтьте это сопоставленіе: евреямъ — законъ, эллинамъ—философію. Законъ говоритъ: „ты долженъ, ты не долженъ“ — и только; философія ставитъ вездѣ вопросъ «зачѣмъ» и «для чего». Итакъ, отношеніе Творца къ обоимъ народамъ-избранникамъ было различно: евреямъ онъ приказывалъ, съ эллинами — разсуждалъ... Такой, по крайней мѣрѣ на мой взглядъ, естественный, логическій выводъ изъ приведеннаго положенія святыхъ отцевъ; не буду, однако, его развивать, не желая впасть въ ересь,—сосредоточусь на эллинахъ.

И у нихъ нравственность не съ самаго начала носила философскій характеръ; были и у нихъ законы и заповѣди, авторомъ которыхъ считали перваго учителя нравственности, воспитателя Ахилла и другихъ героевъ, Хирона. Первая: „воздавай честь Зевсу и прочимъ богамъ“; вторая: „уважай родителей“; третья: „не обижай гостя-чужестранца“ — таковы три великія заповѣди Хирона (Χείρωνος ὑποθῆκαι), нарушеніе которыхъ было смертнымъ грѣхомъ, наказуемымъ вѣчными карами на томъ свѣтѣ. Но, конечно, это было не все: цѣлое нравственное міросозерцаніе прикрывало себя этой высшей санкціей откровенія, тѣ „ѳеирородные законы“, какъ ихъ называетъ Софоклъ, „отецъ которыхъ—одинъ Олимпъ; не человѣческая природа ихъ родила, не будутъ они поэтому похоронены подъ покровомъ забвенія“. Пиндаръ, Эсхилъ, Геродотъ, Софоклъ—вотъ для насъ главные источники этихъ законовъ, этой законнической древней нравственности. Какъ же мы къ нимъ отнесемся? Мы въ Хирона и Олимпъ вѣрить не обязаны; возражая великому греческому поэту, мы скажемъ, что именно человѣческая *природа* ихъ родила,—тотъ законъ подбора, который одинаково силенъ какъ въ физическомъ, такъ и въ нравственномъ мірѣ; закономъ подбора создается, какъ безсо-

знательный результатъ вѣкового опыта поколѣній, тотъ кругъ нравственныхъ нормъ, которыя обезпечиваютъ обществу наилучшія условія для его развитія.

Конечно, разсматриваемая только съ этой точки зрѣнія, древне-греческая инстинктивная нравственность стоитъ не выше, чѣмъ инстинктивная нравственность любого другого культурнаго или дикаго племени: всѣ онѣ одинаково опредѣляются тѣмъ же непреоборимымъ закономъ подбора. То, что придаетъ ей исключительное значеніе,—это то, что греческая культура, перешедшая въ Римъ, а изъ Рима къ новымъ народамъ, есть единственная въ исторіи человѣчества культура, побѣдившая и побѣждающая, между тѣмъ какъ всѣ другія культуры, не исключая и самыхъ живучихъ (мусульманской и буддійской), суть культуры побѣжденныя или побѣждаемыя. Тутъ мы стоимъ на вполнѣ твердой біологической почвѣ: инстинктивная нравственность греческаго народа есть самая здоровая изъ всѣхъ—потому самая здоровая, что она создала единственную въ мірѣ выживающую культуру. Значитъ ли это, что она должна быть для насъ нормой? Нѣтъ, конечно; мы уже видѣли, что нормъ въ античности мы вообще искать не должны. Но если какая-нибудь инстинктивная нравственность заслуживаетъ вниманія современности, то несомнѣнно она; и это вниманіе ей досталось и достается въ полной мѣрѣ съ тѣхъ поръ, какъ ея проповѣдникомъ сталъ среди насъ Фр. Ницше...

Но я здѣсь не о ней хотѣлъ говорить, а о той сознательной, философской нравственности, которая возникла на ея почвѣ послѣ одной изъ величайшихъ реформъ, которыя переживало человѣчество въ этой области; эта реформа связана съ именемъ Сократа. Сократъ именно тѣмъ и произвелъ переворотъ въ Аѳинахъ, что по поводу каждаго нравственнаго принципа или закона ставилъ вопросъ «зачѣмъ» и «для чего». Въ этомъ отношеніи онъ, а съ нимъ и пошедшая отъ него нравственная философія, стоитъ особнякомъ; другого такого примѣра исторія человѣчества не знаетъ. Если до-сократовская инстинктивная нравственность возбуждала нашъ интересъ какъ *самая цѣнная* изъ инстинктивныхъ же нравственностей, то сократовская сознательная нравственность заслуживаетъ нашего вниманія какъ *единственная*. И Сократъ—вы это знаете—дорого поплатился

за свой починъ. Современники ужаснулись этихъ его «зачѣмъ» и «для чего», на которыя они не знали отвѣта; не зналъ на нихъ отвѣта и онъ самъ. Вы помните его грустныя слова: „они всѣ ничего не знаютъ, да и я не умнѣе ихъ; я только знаю, что ничего не знаю, а они даже этого не знаютъ". Инстинктивная нравственность перестала удовлетворять людей мыслящихъ, а новой, сознательной еще не было; аѳинское общество почувствовало себя въ положеніи людей, отвалившихъ отъ одного берега и не видящихъ другого. Не будемъ строго относиться къ ихъ протесту противъ человѣка, который отнялъ у нихъ то, чѣмъ они жили до тѣхъ поръ; но не будемъ отказывать въ удивленіи смѣлому пловцу, который рѣшительно отчалилъ отъ берега въ поискахъ новаго, лучшаго міра. На поставленные Сократомъ вопросы отвѣтили позднѣйшіе философы, особенно стоики; результатомъ ихъ отвѣтовъ была нравственная философія, создательница единственной въ мірѣ такъ называемой автономной морали, сознательно выводящей нравственный долгъ человѣка изъ его правильно понятной природы.

Но, могутъ меня спросить, на что намъ эта автономная мораль, когда у насъ есть мораль христіанская?—Во-первыхъ, я уже разъ протестовалъ противъ этого выдѣленія христіанства изъ античности, которое не имѣетъ другого основанія, кромѣ чисто внѣшняго—а именно, что античность всегда проходилась и проходится на философскомъ, а христіанство на богословскомъ факультетѣ. Какъ можно отдѣлять отъ античности культурную силу, которая зародилась и окрѣпла въ предѣлахъ Римской имперіи въ эпоху первыхъ римскихъ императоровъ и явилась отвѣтомъ на вѣковые запросы античнаго общества? Да и всякій, изучавшій исторію христіанства и христіанской морали, знаетъ, какъ эта послѣдняя питалась соками античной философіи, которая, по словамъ самихъ христіанскихъ учителей, была дана эллинамъ Господомъ еще до пришествія Христа. Но сила вовсе не въ этомъ аргументѣ; вы можете его разбить указаніемъ на то, что христіанская мораль по своему принципу отличается отъ до-сократовской и отъ сократовской: тамъ мы имѣли нравственность инстинктивную и нравственность сознательную, здѣсь же нравственность богооткровенную. Не буду спорить; поставлю только вопросъ:

желательно ли, чтобы откровеніе было единственной санкціей нравственнаго долга? Знаю, многіе склонны будутъ отвѣтить: «да». Опять не буду спорить въ принципѣ; сошлюсь только на факты.

Религіозный скептицизмъ—фактъ, и притомъ фактъ далеко не такой страшный, какимъ многіе его представляютъ; его можно даже въ извѣстныхъ предѣлахъ разсматривать, какъ явленіе біологическое. Бываетъ въ жизни человѣка возрастъ,— это именно вашъ возрастъ, господа—когда подъ вліяніемъ, съ одной стороны, могучаго прилива жизненныхъ силъ въ здоровомъ организмѣ, а съ другой — открывающагося передъ молодыми глазами все болѣе и болѣе широкаго горизонта, у его души точно крылья вырастаютъ. Онъ смотритъ взоромъ побѣдителя на тотъ просторъ, который открылся передъ нимъ, онъ чувствуетъ себя его господиномъ, если не настоящимъ, то будущимъ, и на всѣ рѣчи про стѣснительную высшую санкцію склоненъ отвѣчать; „я вѣрую въ себя и свою силу!" Позднѣе, когда вешнія воды вошли въ свое нормальное русло, онъ отрезвляется, соразмѣряетъ свои силы съ своей задачей, учится съ уваженіемъ относиться къ тѣмъ санкціямъ, которыя нѣкогда отвергалъ... Эта метаморфоза не имѣетъ ничего общаго съ той, на которую я намекнулъ раньше (стр. 92); она честна и безкорыстна, и я даже сожалѣю о томъ человѣкѣ, который „смолоду не былъ молодъ"; мнѣ вспоминаются слова Петрарки: „не приноситъ осенью плодовъ то дерево, что весной не цвѣло" (non fructificat autumno arbor, quae vere non floruit). Иногда и цѣлыя общества переживаютъ такіе періоды кипучей жизни и смѣлости мысли. Въ одинъ изъ такихъ періодовъ—періодъ Локка и Вольтера—и было открыто значеніе автономной морали школы Сократа; а на нашихъ глазахъ, въ силу такого же молодого порыва, была пріобщена къ сознанію современнаго общества и до-сократовская инстинктивная мораль, показателемъ и символомъ которой ея возродитель избралъ античнаго бога весны и приливающихъ силъ—Діониса. Такія явленія имѣютъ далеко не одно только преходящее значеніе; конечно, всякое увлеченіе проходитъ: прошло вольтерьянство, пройдетъ и ницшеанство — не пройдетъ только борьба, это единственное и необходимое средство совершенствованія.

Такая борьба предстоитъ и намъ — быть можетъ самая серьезная изъ всѣхъ, какія когда-либо волновали человѣчество. А въ такія эпохи усиленной борьбы не годится замыкаться въ предѣлы одной какой-нибудь, хотя бы даже и христіанской морали. Назрѣваютъ новыя общественныя группировки, а съ ними и новыя задачи индивидуальной и соціальной этики; для ихъ рѣшенія нельзя довольствоваться тѣми нормами, которыя мы получили въ наслѣдіе отъ отцовъ и дѣдовъ. Мы должны провѣрить ихъ право на существованіе, мы должны черезъ этотъ наносный слой ходячей морали проникнуть къ дѣйствительной нравственности, къ той, которая держится на незыблемомъ устоѣ человѣческой природы... и не просто «человѣческой» природы (въ этомъ заключалась ошибка просвѣтительной эпохи), а нашей европейской природы, корни которой лежатъ въ нашей духовной родинѣ, въ античности. И вотъ почему мы должны отъ нашей морали обратиться и къ до-христіанской, сократовской, и къ до-сократовской, инстинктивной; не для того, чтобы возсоздать ихъ, упаси Богъ,—а для того, чтобы изъ ихъ борьбы съ ходячей моралью родилось то новое, въ которомъ мы нуждаемся.

Такова потребность времени; по многимъ примѣтамъ видно, что мы идемъ навстрѣчу новому расцвѣту занятій античностью, которая будетъ и глубже понята и сильнѣе повліяетъ на людей. Фридрихъ Ницше — только одинъ примѣръ, одинъ симптомъ; огромный, хотя и медленный успѣхъ этого пророка античности—и притомъ самой античной, до-сократовской античности—ясно показываетъ намъ, въ какую сторону направлены запросы современности и гдѣ средство къ ихъ удовлетворенію. У насъ въ Россіи общество всегда было особенно чутко къ нравственнымъ вопросамъ и запросамъ; у насъ его сознаніе менѣе стѣснено традиціонными рамками, болѣе рвется на просторъ, отъ условнаго и преходящаго къ дѣйствительному, природному, вѣчному. У насъ, поэтому, и интересъ къ античности долженъ бы быть сильнѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было. И когда я слышу эту проповѣдь ненависти и пренебреженія къ античности въ нашемъ обществѣ, мнѣ кажется, что я имѣю дѣло съ какимъ-то колоссальнымъ и позорнымъ недоразумѣніемъ. Мнѣ хотѣлось бы крикнуть обществу: „Да что вы дѣлаете!

Передъ вами чаша съ самымъ искристымъ, самымъ вкуснымъ, самымъ питательнымъ напиткомъ, но края этой чаши смазаны полынью—и вы плаксиво, точно дѣти, отъ нея отворачиваетесь?"...

Довольно, однако, объ античной философіи; ея характеристика сама собою насъ привела къ соціальнымъ и государственнымъ формаціямъ въ древнемъ мірѣ, къ практикѣ и теоріи *античнаго государствовѣдѣнія*. Да, къ практикѣ и теоріи; сопоставляя эти два понятія, мы уже указываемъ то, въ чемъ состоитъ отличительная черта античной политики. Всѣ народы древняго и новаго міра жили той или другой общественной и государственной жизнью; но только античные народы мыслили, разсуждали и писали о ней, да изъ новыхъ народовъ тѣ, которыхъ этому научила античность.

Правда, одна область этой жизни у всѣхъ культурныхъ народовъ требовала сознательнаго къ себѣ отношенія—область *правовая*; чтобы регулировать отношенія между гражданами (и полугражданами) и хоть до нѣкоторой степени обуздать произволъ фактической силы, требовалось опредѣленное законодательство, состоящее изъ ряда опредѣленныхъ рецептовъ: „если кто сдѣлаетъ то-то, онъ подвергается тому-то". Такихъ законодательствъ намъ извѣстно довольно много; самое древнее изъ нихъ, вавилонское, — «кодексъ Гаммураби», — относящееся къ третьему тысячелѣтію до Р. Х., было найдено не такъ давно, и эта находка возбудила интересъ всего цивилизованнаго міра. Дѣйствительно, этотъ «кодексъ» очень интересенъ — между прочимъ и въ томъ отношеніи, что мы изъ него узнаемъ, какъ долго человѣчество жило одними ремесленными рецептами по образцу: „если кто сдѣлаетъ то-то, онъ подвергается тому-то", и сколь великъ, стало быть, подвигъ народа, который одинъ сумѣлъ отъ этихъ рецептовъ перейти къ научному правовѣдѣнію, имѣющему въ своемъ основаніи точныя опредѣленія правовыхъ понятій, а въ своемъ корпусѣ—операцію надъ ними; это—такой же подвигъ мысли, какъ и переходъ отъ знахарскихъ практикъ къ научной медицинѣ, имѣющей въ своемъ основаніи изученіе свойствъ организмовъ и веществъ. Переходъ этотъ въ области права осуществили отчасти греки, но особенно римляне; и въ этомъ заключается причина, почему римское право было, есть и будетъ воспитателемъ новѣйшей юриспруденціи.

Знаю, что это положеніе часто оспаривается... не столько, впрочемъ, юристами qua юристами (дѣлаю эту юридическую оговорку въ виду того, что и юристы бываютъ часто людьми партіи: qua люди партіи они говорятъ, разумѣется, то, что велитъ говорить партія), сколько неюристами и полуюристами. „Къ чему изучать римское право?" спрашиваютъ они: „наши понятія о бракѣ, семьѣ и т. д. другія, чѣмъ римскія; на что же могутъ намъ пригодиться нормы римскаго права?" Замѣтьте: нормы. Вездѣ одно и то же заблужденіе: норма непримѣнима—значитъ и изучать нечего. Намъ кажется смѣшнымъ анекдотическій солдатъ, который отказался рѣшить ариѳметическую задачу — „если я далъ тебѣ 5 р., а 3 р. ты послалъ женѣ, то сколько осталось?"—отказался на томъ основаніи, что никто ему 5 р. не давалъ, да и жены у него нѣтъ; но вѣдь въ сущности эти квази-юристы, разсужденіе которыхъ я привелъ только что, ничуть не умнѣе того солдата. Не нормы римскаго права намъ нужны; намъ нужны правовыя понятія, которыя съ удивительной точностью и цѣлесообразностью установилъ этотъ народъ-избранникъ Ѳемиды—всѣ эти justum и aequum, dolus и culpa, possessio и dominium, hereditas и legatum, fideicommissum, ususfructus, servitus, obligatio и масса другихъ; намъ нужно умѣніе оперировать этими понятіями, узнавать ихъ въ данныхъ правовыхъ отношеніяхъ и этимъ сводить запутанные отдѣльные случаи жизненной практики къ сравнительно простымъ формуламъ; нуженъ весь этотъ тонкій и умный юридическій анализъ, мастерами котораго были римскіе правовѣды. „Но зачѣмъ же?"—спрашиваютъ эти люди; „вѣдь эти понятія и операціи, поскольку они нужны, приняты въ современное право". А въ современномъ правѣ, переспрошу я, они перестали быть римскими? Вы замѣнили слово ususfructus словомъ «пользовладѣніе»—и воображаете, что у васъ, благодаря этой простой манипуляціи, вмѣсто римскаго права получилось русское? Вы содрали этикетъ съ амфоры благороднаго фалернскаго вина, налѣпили русскій ярлыкъ—и тѣшите себя мыслью, что пьете отечественное вино? Эта близорукая современщина

вредна уже однимъ тѣмъ, что ведетъ къ такимъ безсовѣстнымъ фальсификаціямъ и плагіатамъ.

Но вѣдь это только одна сторона дѣла. Я a priori устраняю нормативность античности и нормативный принципъ въ ея оцѣнкѣ; все же кое-гдѣ и кое въ чемъ можно у нея и въ этомъ отношеніи поучиться, и притомъ въ области римскаго права болѣе, чѣмъ въ какой-либо другой; но и это не все. Какъ бы ни относиться къ непосредственному, актуальному значенію римскаго права—то значеніе, какое оно *имѣло* для насъ, какъ источникъ нашего права и воспитатель нашего правовѣдѣнія, никоимъ образомъ у него не можетъ быть отнято: habere eripi potest, habuisse non potest, прекрасно сказалъ Сенека. Мы не можемъ изучать исторію нашего права, не изучая права римскаго; и не можемъ не изучать этой исторіи, если хотимъ сколько-нибудь сознательно относиться къ тому, чѣмъ мы живемъ. Отвѣтъ на вопросъ о смыслѣ правовыхъ институтовъ даетъ намъ ихъ возникновеніе; отвѣтъ на вопросъ объ ихъ возникновеніи—ихъ исторія, т.-е., согласно сказанному, римское право. Кто его не знаетъ, тотъ никогда не будетъ юристомъ-мыслителемъ; а такіе намъ никогда не были такъ нужны, какъ именно теперь, когда происходитъ, можно сказать, разложеніе уголовнаго права и процесса, когда мятущаяся совѣсть человѣчества въ лицѣ Толстого, Ницше, Геккеля ставитъ все новые и новые запросы правовѣдѣнію и съ мучительнымъ напряженіемъ ждетъ отвѣта на нихъ.

Но право и правовѣдѣніе—только одна сторона того, что можно назвать античной «политикой» въ античномъ смыслѣ этого слова; въ ней много другихъ—столько, что намъ нельзя помышлять даже о схематической полнотѣ. Всѣ другія государства древности имѣютъ въ своемъ основаніи либо военную идею, либо финансовую; въ одной только Греціи явилась мысль, что государство есть средство къ нравственному воспитанію и совершенствованію человѣка, что политика есть завершеніе этики. У Гомера ея еще нѣтъ—въ гомеровской общинѣ много привлекательнаго, но она дѣйствуетъ на насъ, какъ сама природа со своей грубой и матеріальной наивностью. Но вотъ Дельфы, самая крупная умственная и нравственная сила Греціи вплоть до V-го вѣка, берутъ на себя грандіозную задачу

политически воспитать Грецію въ духѣ религіи и нравственности Аполлона. Греческій народъ распадался тогда на мелкія самодовлѣющія общины въ нѣсколько тысячъ душъ каждая; эти πόλεις были въ высшей степени удобнымъ матеріаломъ для важныхъ и поучительныхъ экспериментовъ (нужно много и долго искать въ исторіи новыхъ временъ, чтобы найти нѣчто подобное,—напримѣръ Женеву въ эпоху Кальвина). Эксперименты дѣлались съ помощью различныхъ средствъ и съ перемѣннымъ успѣхомъ: въ иныхъ общинахъ Дельфамъ удалось прибрать къ рукамъ правительство (въ Спартѣ напр.), въ другихъ имъ содѣйствовали могущественныя партіи (какъ въ Аѳинахъ), въ третьихъ ихъ орудіемъ былъ вліятельный орфическій орденъ (въ южно-италійскихъ колоніяхъ); въ иныхъ они побѣдили, въ другихъ были побѣждены—для насъ всѣ эти зрѣлища одинаково интересны. Другого рода экспериментъ затѣяли въ противовѣсъ Дельфамъ аѳинскіе политики V вѣка; но созданная ими беземельная община воиновъ и чиновниковъ терпитъ крушеніе въ пелопоннесскую войну. Опытами практики пользуется теорія IV в.—Платонъ въ своемъ «Государствѣ» — но опять-таки лишь для того, чтобы поскорѣе перейти къ практикѣ.

Такъ-то Греція завѣщала намъ и въ теоретическихъ изложеніяхъ и въ практическихъ примѣненіяхъ принципы политики въ самомъ широкомъ смыслѣ слова; какимъ образомъ устроить государство такъ, чтобы обезпечить личности возможность наибольшаго нравственнаго совершенствованія? — вотъ вопросъ, проходящій красною нитью черезъ всѣ эти попытки и построенія. Это — вопросъ въ высшей степени интересный. Уже одно то, что его ставили въ этой формѣ, было громаднымъ прогрессомъ: „какимъ образомъ устроить государство такъ"... значитъ, государство не есть нѣчто стихійное; отъ насъ зависитъ устроить и перестроить его соотвѣтственно той цѣли, которую мы признаемъ за лучшую. Такъ вѣровали древніе; такъ отъ нихъ научились вѣровать и мы. Эта вѣра была одно время источникомъ крайнихъ увлеченій и заблужденій: преувеличивая (въ просвѣтительную эпоху) могущество разумной воли, люди стали думать, что съ помощью хорошо обдуманныхъ конституцій можно сразу перевоспитать народъ и

создать новую породу людей. Кровавая исторія французской революціи съ ея мертворожденными конституціями и дикимъ произволомъ научила насъ болѣе трезво относиться къ этому дѣлу и не пренебрегать тѣмъ стихійнымъ элементомъ, который заключается въ характерѣ даннаго общества; но самая сущность идеи политическаго прогресса, которую намъ завѣщала античность, этимъ затронута не была.—Это разъ; вторымъ шагомъ впередъ была концепція нравственнаго значенія государства, обусловленнаго отношеніемъ его къ личности. Въ ней даны элементы борьбы между двумя идеями, одинаково цѣнными, одинаково важными для культурнаго прогресса: идеей государственности и идеей индивидуальной свободы. Дельфы напирали на первую, подчиняя личность государству; Аѳины старались эманципировать личность, насколько это возможно безъ ущерба для силы государства — эту тенденцію аѳинской государственности ясно подчеркиваетъ Периклъ въ надгробной рѣчи у Ѳукидида. Такъ-то античность внесла въ міръ эту плодотворную политическую антитезу, антагонизмъ между соціалистическимъ и индивидуалистическимъ началами; и всегда наиболѣе сознательные поборники того и другого принципа въ новѣйшемъ обществѣ сознавали себя учениками античности и высоко цѣнили ея значеніе. Отецъ современнаго соціализма Фердинандъ Лассаль видѣлъ въ классическомъ образованіи „счастливый противовѣсъ буржуазному міровоззрѣнію" тогдашней Германіи и считалъ его „несокрушимымъ устоемъ германскаго духа"; его антиподъ, пророкъ крайняго индивидуализма Фр. Ницше, у античности заимствовалъ тѣ принципы, которые онъ такъ краснорѣчиво и такъ успѣшно проводитъ въ своей проповѣди. Оба были правы, такъ какъ оба были настолько образованы, что считали античность не нормой, а сѣменемъ современной цивилизаціи.

Но и здѣсь мы рядомъ съ огромнымъ теоретическимъ значеніемъ античной политики должны признать ея огромное историческое значеніе — причемъ я прошу васъ это послѣднее слово понимать не въ смыслѣ отчужденности отъ современной дѣйствительности, а въ смыслѣ очень близкаго отношенія къ ней. Я уже раньше сказалъ, что наше прошлое не есть прошлое въ собственномъ смыслѣ слова: оно живетъ въ

насъ и мы живемъ имъ. Изучая прошлое, мы изучаемъ нашу дѣйствительность въ томъ, что въ ней есть самаго прочнаго, самаго живучаго. Попробуйте посмотрѣть на настоящее такъ, какъ будто вы сегодня родились, безъ всякаго знанія даже о вчерашнемъ днѣ: все окружающее васъ покажется вамъ одинаково цѣннымъ, необходимымъ и вѣчнымъ, институтъ высокихъ галстуховъ или плоскихъ дамскихъ шляпокъ окажется на одной линіи съ институтомъ твердаго или мягкаго знака или буквы *ѣ*, съ институтомъ воинской повинности или суда присяжныхъ, съ институтомъ брака и дружбы. Что же поможетъ вамъ отличить тутъ преходящее отъ постояннаго, капризъ отъ потребности, нужное отъ ненужнаго? Точное знаніе человѣка? Это—наука будущаго, и даже далекаго будущаго; пока нашимъ единственнымъ руководителемъ является прошлое. И если мы, филологи, погружаемся нашими мыслями въ далекое прошлое нашей культуры, то не для того, чтобы отвлечься отъ современности, а для того, чтобы легче и лучше ее понять, чтобы отъ условнаго и преходящаго перейти къ безусловному и вѣчному... или по крайней мѣрѣ долговѣчному, чтобы имѣть возможность произвести правильную оцѣнку окружающимъ насъ явленіямъ, отличить наносную почву, которую унесетъ завтрашняя волна, отъ гранитнаго кряжа, на которомъ покоится наша культура. Ея исторія начинается для насъ тамъ, гдѣ начинается исторія Греціи... объ исторіи Востока говорить не приходится, такъ какъ неизвѣстно, поскольку исторія Греціи можетъ считаться ея продолженіемъ. Изучая это начало и сравнивая его съ современностью, мы учимся познавать тотъ путь, по которому шествуетъ человѣчество, ведомое своимъ строгимъ воспитателемъ, закономъ соціологическаго подбора.

И—какъ я уже замѣтилъ выше—изученіе этого пути даетъ намъ не одно только умственное знаніе, но и душевную бодрость и отвагу, внушаемыя отраднымъ совпаденіемъ біологической и нравственной оцѣнокъ. Дѣйствительно, только здѣсь, на этомъ огромномъ пути культурной жизни общества, эти двѣ оцѣнки совпадаютъ—на краткомъ разстояніи жизни индивидуума онѣ то сходятся, то расходятся, сбивая насъ съ толку своими комбинаціями. Мнѣ вспоминается полунасмѣшливое, полусерьезное четверостишіе одного русскаго эпиграмматиста:

Кто въ сорокъ лѣтъ не пессимистъ,
А въ пятьдесятъ не мизантропъ,
Тотъ сердцемъ, можетъ быть, и чистъ,
Но идiотомъ ляжетъ въ гробъ.

Да, идiотомъ въ родѣ Каратаева, Акима или того, котораго намъ изобразилъ Достоевскiй... Дѣйствительно, на протяженiи жизни одного поколѣнiя сплошь и рядомъ сила торжествуетъ надъ правомъ, а подлость надъ обоими; и это даже не самое худшее. Конечно, грустно видѣть столько разбиваемыхъ прекрасныхъ жизней при торжествѣ самодовольной пошлости и низости; но еще грустнѣе видѣть побитыя высокiя идеи, видѣть трупы зарѣзанной правды на столбцахъ газетъ и прочихъ органовъ общественнаго мнѣнiя. Дѣлать нечего; на протяженiи одной человѣческой жизни вы знакомитесь только съ малымъ «я» окружающаго васъ общества, а оно не очень утѣшительно; если вы хотите узнать его большое «я»,—то, которымъ управляетъ законъ соцiологическаго подбора—вы должны спуститься въ прошлое и съ самыхъ раннихъ началъ изучить путь человѣческой культуры. И тутъ вы замѣтите то, что я назвалъ выше совпаденiемъ бiологической и нравственной оцѣнки; его сущность можно выразить въ словахъ: „дурное оказывается нежизнеспобнымъ и гибнетъ; хорошее, будучи жизнеспособнымъ, выживаетъ или возрождается". Вы исполнитесь свѣтлой надежды на то таинственное будущее, куда ведетъ насъ неисповѣдимая Воля; вы одобрите въ примѣненiи къ человѣческой природѣ прекрасныя слова Николая Ленау:

Люби же природу: правдива, вѣрна,
Къ свободѣ и счастью стремится она

ЛЕКЦIЯ СЕДЬМАЯ.

Вторая антитеза: окончанiе. — Классицизмъ и античность. — Архитектура и принципъ структивной честности. — Скульптура и живопись: принципъ естественности и принципъ идеализма.—Художественная промышленность: принципъ одушевленности.—Облагораживанiе новѣйшей культуры античностью.— *Третья антитеза*: *наука объ античности*.—Ея задачи въ прошломъ, настоящемъ и будущемъ. — Возрастанiе ея интереса по мѣрѣ ея изслѣдованности. — Ея универсализмъ.

Обѣ предыдущiя лекцiи, посвященныя культурному значенiю античности, имѣли довольно разнообразное содержанiе: пришлось говорить и о религiи, и о миѳологiи, и о литературѣ, и о философiи, и о правѣ, и о политикѣ. Объединялись онѣ, помимо общей принадлежности къ области античности, еще и общимъ угломъ зрѣнiя: вездѣ я старался вамъ доказать, что античность должна быть для насъ не нормой, а сѣменемъ. Этой въ высшей степени важной оговоркой мы сразу ставимъ античность выше всѣхъ партiй, не только политическихъ, но и всякихъ другихъ; покажу вамъ на примѣрѣ, что это значитъ. Вы, быть можетъ, замѣтили, что я въ своихъ лекцiяхъ старательно избѣгалъ слова «классицизмъ»; дѣлалъ я это не потому, что это слово рѣжетъ ухо многимъ членамъ нашего общества—меня въ робости по этой части, надѣюсь, никто не упрекнетъ—а потому, что самое понятiе, которому это слово соотвѣтствуетъ, не сходится съ тѣмъ, что я считаю полезнымъ и плодотворнымъ для настоящей минуты. Подъ классицизмомъ мы разумѣемъ направленiе въ литературѣ и искусствѣ, видя-

щее въ литературѣ и искусствѣ античности (и даже не всей, а лишь выдающейся ея части) именно *норму* для подражанія: въ этомъ смыслѣ классицизмъ противополагается, съ одной стороны, романтизму, съ другой—натурализму. Направленіе это равноправно обоимъ только-что названнымъ; но именно только равноправно. Мы же ищемъ въ античности того, что одинаково можетъ пригодиться какъ классикамъ, такъ и романтикамъ и натуралистамъ—ищемъ, согласно много разъ сказанному, не нормы, а сѣмени.

Это слѣдуетъ имѣть въ виду также и въ той области античности, къ которой мы переходимъ теперь, чтобы ею закончить свой обзоръ—въ области искусства. Искусство въ данномъ случаѣ — это главнымъ образомъ архитектура, ваяніе, живопись; понятіе это, однако, простирается также и на домашнюю и прочую утварь, поскольку она носитъ художественный характеръ.

Начнемъ съ *архитектуры*.

Ея основныя данныя въ античности очень простыя — греческая колонна съ прямымъ антаблементомъ и (преимущественно) римская арка; стоитъ, однако, вдуматься въ структивную идею, которая здѣсь воплощена. Два столба и перекладина—такова первоначальная схема греческой архитектуры: тяжесть давитъ исключительно сверху внизъ—ее выдерживаетъ колонна, силы которой направлены поэтому исключительно снизу вверхъ; интересно видѣть, какъ вся колонна представляется какъ бы оживленной этой дѣйствующей снизу вверхъ силой. Но здѣсь насъ интересуетъ другое: глубокая *честность*, такъ сказать, греческой архитектуры; внѣшнее подобіе зданія цѣликомъ выражаетъ его структивную идею, вы можете выстроить греческій храмъ безо всякихъ искусственныхъ средствъ скрѣпленія, безъ цемента и желѣзныхъ закрѣпъ—и онъ будетъ держаться. Затрудненіе было только въ одномъ: при мало-мальски значительномъ промежуткѣ между колоннами трудно было найти достаточно длинныя каменныя перекладины. Для устраненія этой трудности была изобрѣтена арка, принципъ которой—клинообразное сѣченіе камней. Такимъ образомъ получилась возможность съ помощью небольшихъ по объему камней или кирпичей преодолѣвать очень

значительные промежутки между колоннами. Честной была также и эта архитектура арки (а слѣдовательно, и свода, съ куполомъ включительно): вы можете изъ клинчатыхъ кирпичей построить арку безъ цемента и искусственныхъ закрѣпъ, и эта арка будетъ не только сама держаться, но и поддерживать верхнюю часть зданія: чѣмъ болѣе будетъ ее давить эта тяжесть, тѣмъ сплоченнѣе и крѣпче будетъ сама арка.

Но, устраняя одно затрудненіе, арка внесла другое, которому римская архитектура вполнѣ удовлетворительнаго рѣшенія не нашла. При системѣ прямого антаблемента тяжесть давила, какъ мы видѣли, только сверху внизъ, въ вертикальномъ направленіи; при системѣ арокъ она давитъ также и отъ центра въ обѣ стороны, въ направленіи горизонтальномъ. Попробуйте построить арку изъ клинчатыхъ кирпичей надъ двумя колоннами — ее станетъ распирать, колонны рухнутъ. Итакъ, требовался новый архитектурный элементъ, который шелъ бы навстрѣчу также и этому горизонтальному давленію — его римская архитектура не нашла, указанное затрудненіе она скорѣе обходила, чѣмъ рѣшала. Но прямымъ продолженіемъ римской архитектуры была романская ранняго средневѣковья, прямымъ продолженіемъ романской—готическая поздняго средневѣковья; и вотъ эта послѣдняя, наконецъ, нашла вполнѣ удовлетворительный архитектурный отвѣтъ на поставленный римской аркой вопросъ. Такъ какъ тяжесть зданія давила въ двухъ направленіяхъ, вертикальномъ и горизонтальномъ, но преимущественно въ первомъ, то ея схематическимъ выраженіемъ была косая линія, діагональ того параллелограмма силъ; для преодолѣнія ея требовался, поэтому, элементъ, который равнымъ образомъ шелъ бы ей на встрѣчу не прямо снизу вверхъ, а въ косомъ направленіи, — т.-е. контрефорсъ. Этотъ контрефорсъ (послѣ несовершенныхъ попытокъ романской архитектуры) былъ принятъ въ систему архитектуры готической, какъ необходимая составная часть; она его развила и украсила, создавая и контрефорсный столбъ и контрефорсную арку, а съ его пріобщеніемъ была возстановлена та архитектурная честность, которая была слегка нарушена введеніемъ римской арки—та архитектурная честность, которая требуетъ,

чтобы внѣшнее подобіе зданія было точнымъ выраженіемъ живущей въ немъ структивной идеи.

Исторія архитектуры знаетъ только два примѣра этой абсолютной честности—стиль греческій и стиль готическій. Намъ говорятъ: эти два стиля были прямо противоположны другъ другу. Да, конечно; они относятся другъ къ другу какъ вертикаль къ горизонтали. Несомнѣнно, что *нормы* греческаго стиля были оставлены готическимъ стилемъ; но столь же несомнѣнно, что готическій стиль былъ лишь расцвѣтомъ античнаго *сѣмени*. Это сѣмя — архитектурная честность. Что̀ это значитъ—это мы увидимъ тотчасъ.

Одинъ структивный принципъ не создаетъ архитектурнаго стиля; въ таковомъ всегда болѣе или менѣе участвуетъ принципъ орнаментальный. Его вы имѣете также и въ греческомъ стилѣ; если вы спросите себя, каково тамъ его отношеніе къ структивному, то вы увидите, что это отношеніе было иллюстраціей поговорки: дѣлу время, а забавѣ часъ. Дѣло — это несеніе тяжести: этимъ дѣломъ занята прежде всего колонна и ему она отдается всецѣло; весь видъ ея строгаго, стройнаго ствола выражаетъ эту идею, для орнамента, т.-е. для забавы, у нея времени нѣтъ. Но вотъ, наконецъ, достигнутъ архитравъ. Здѣсь тяжесть и подпора, сила, давящая сверху, и сила, выдерживающая ея напоръ, какъ бы нейтрализируются; здѣсь какъ бы минута отдыха — и вотъ забава, т.-е. орнаментъ, вступаетъ въ свои права, іонійскія волюты, коринѳскіе листья обвиваютъ капитель колонны. Но и у архитрава своя работа: въ немъ лежитъ тяжесть всего верхняго антаблемента, которая давитъ его (въ дорическомъ стилѣ) посредствомъ строгихъ триглифовъ — зато прямоугольные промежутки между триглифами свободны отъ труда, и вотъ здѣсь-то — на такъ называемыхъ метопахъ — фантазія художника опять разыгрывается, метопы украшаются скульптурными изображеніями. Антаблементъ поддерживаетъ кровлю, которая выходитъ на фасадъ плоскимъ равнобедреннымъ треугольникомъ, такъ называемымъ фронтономъ; пространство внутри треугольника опять представляетъ изъ себя нейтральное поле отдыха—здѣсь, поэтому, вы опять встрѣчаете скульптурныя украшенія. Такимъ образомъ, та же архитектурная честность, которая характеризуетъ структивную

часть греческаго стиля, опредѣляетъ и ея отношенія къ части орнаментальной: роль послѣдней чисто второстепенна, она никогда не затемняетъ структивной идеи.

Напротивъ, сильнѣйшее отрицаніе этого принципа архитектурной честности представляютъ, прежде всего, восточные стили, а затѣмъ и вырожденія античнаго подъ вліяніемъ отчасти этихъ послѣднихъ. Общій имъ всѣмъ элементъ — фантастичность; подчиненіе структивнаго принципа орнаментальному, превращеніе структивныхъ элементовъ въ узоры, скрываніе структивной идеи за такими архитектурными формами, которыя сами по себѣ невозможны — вотъ особенности этихъ стилей. Возьмите особенно близкій намъ стиль византійскій, представляющій, по счастливому выраженію Щиговскаго, «Грецію въ объятіяхъ Востока»; обратите вниманіе на его изогнутую острую арку. Построенная изъ клинчатыхъ кирпичей, такая арка не только не въ состояніи что-либо поддерживать, но даже держаться сама: ея внѣшнее подобіе не соотвѣтствуетъ структивной идеѣ, она возможна только благодаря штукатуркѣ, цементу и искусственнымъ закрѣпамъ. Возьмите византійскую колонну: эта главная часть греческой архитектуры здѣсь обречена на полное бездѣйствіе, она выступаетъ гдѣ-нибудь изъ угла и входитъ въ уголъ, ничего не поддерживая, что̀ не держалось бы и такъ — другими словами, она превратилась въ чистый орнаментъ.—Возьмите арабскую архитектуру, Альгамбру съ ея сталактитовыми сводами — эти сталактитовые своды въ структивномъ отношеніи такъ же невозможны, какъ и византійская арка; опять фантазія орнаментатора съ помощью штукатурки и т. п. затаила лежащій въ основѣ его творенія структивный элементъ—римскій сводъ.— Возьмите русскій стиль и его характерную особенность, луковичный куполъ — и онъ представляетъ изъ себя структивный абсурдъ, возможный лишь благодаря искусственнымъ подпоркамъ, скрытымъ внутри купола; стало быть, то, чѣмъ онъ держится, старательно скрывается отъ взора наблюдателя, показывается же его взору то, что само по себѣ удержаться не можетъ — вы согласитесь, что это принципъ, прямо противоположный вышеозначенному принципу архитектурной честности, требующему, чтобы внѣшнее подобіе зданія соотвѣтствовало

его структивной идеѣ. Теперь у насъ русскій стиль въ модѣ, но только потому, что онъ русскій; я не могу вѣрить, чтобы его успѣхъ былъ прочнымъ. Обыкновенно въ исторіи архитектуры послѣ такого увлеченія антиструктивными формами слѣдовало возрожденіе античности съ ея трезвостью и честностью; думаю, что то же будетъ и у насъ — но не съ тѣмъ, разумѣется, чтобы намъ водворить *нормы* греческой и римской архитектуры на мѣстѣ теперешнихъ. Нѣтъ: если художники-архитекторы будущихъ поколѣній позаимствуютъ у античной архитектуры ея сѣмя, архитектурную честность, и сочетаютъ его съ формами русской орнаментики — вотъ это и будетъ ожидаемый и требуемый русскій стиль. О частностяхъ, разумѣется, догадываться преждевременно.

Сказанное относилось исключительно къ античной архитектурѣ; бросимъ бѣглый взглядъ и на прочія художества, специально на *ваяніе* и *живопись*. Въ противоположность къ архитектурѣ, эти два художества подражательны; здѣсь, помимо условій самой техники, стиль художества опредѣляется вопросами: кому или чему подражать и какъ подражать? Отвѣтомъ на эти вопросы установляется особый характеръ античнаго, т.-е. опять-таки греческаго подражательнаго искусства. Чтобы понять это, будемъ и здѣсь исходить изъ возможно элементарной, упрощенной донельзя схемы.

Представимъ себѣ, прежде всего, первобытнаго художника, который впервые, не имѣя предшественника, берется за изображеніе какого-нибудь предмета — скажемъ, человѣка. Само собою разумѣется, что получившееся при такихъ условіяхъ изображеніе будетъ носить совершенно случайный характеръ, въ зависимости отъ того, какъ смотритъ художникъ на свой объектъ, и какъ его рука повинуется его глазамъ. — Затѣмъ, представимъ себѣ, что вслѣдъ за этимъ первымъ художникомъ второй ставитъ себѣ такую же точно задачу; отношеніе этого второго художника къ первому можетъ уже быть троякимъ. Во-первыхъ, онъ его можетъ игнорировать; тогда, конечно, его изображеніе будетъ такимъ же случайнымъ, какъ и первое; представляя себѣ и въ дальнѣйшемъ такое же отношеніе преемника къ предшественнику, вы получите искусство случайное, безо всякаго опредѣленнаго стиля. Во-вторыхъ, онъ

можетъ, наоборотъ, весь подчиниться своему предшественнику, стараться воспроизводить всю его манеру: если тотъ изображалъ человѣческое туловище въ видѣ трапеціи, покоящейся на прямоугольникѣ, то и онъ прибѣгнетъ къ тому же способу; благодаря такому взгляду на дѣло мы получимъ искусство условное, съ очень строгимъ, опредѣленнымъ стилемъ, но прогрессирующее лишь въ смыслѣ все бо́льшаго и бо́льшаго подчеркиванія условныхъ элементовъ. Наконецъ, въ-третьихъ, второй художникъ можетъ раздѣлить свое вниманіе между художникомъ-предшественникомъ и изображаемымъ предметомъ; онъ тщательно изучитъ предшественника, чтобы овладѣть всей его техникой, а затѣмъ углубится въ свой объектъ, постарается отдать себѣ отчетъ въ тѣхъ несовершенствахъ, которыя были свойственны манерѣ предшественника, и сдѣлаетъ попытку ближе подойти къ природѣ, чѣмъ это могъ сдѣлать онъ. При такомъ отношеніи къ дѣлу вы получите искусство, тоже обладающее извѣстнымъ стилемъ, поскольку каждый художникъ находится въ технической зависимости отъ своего предшественника — но прогрессирующее въ смыслѣ освобожденія отъ условности и приближенія къ природѣ. — Таковы три возможныя схемы. Вы знаете, однако, что въ дѣйствительности схемы никогда не встрѣчаются въ своей отвлеченной, математической чистотѣ; съ этой оговоркой можно сказать, что первое, случайное искусство мы встрѣчаемъ у дикихъ народовъ; второе, условное искусство, у народовъ ближняго и дальняго Востока; наконецъ, третье, естественное искусство, нашли въ древности исключительно греки, а въ новое время, подъ вліяніемъ греческаго искусства, мы, народы европейской культуры. *Свобода и естественность* — такова первая, характерная черта античнаго искусства.

Что это такъ — въ этомъ убѣдиться не трудно. Специально нашъ С.-Петербургскій Эрмитажъ обладаетъ для этого прекраснымъ пособіемъ, къ сожалѣнію, совсѣмъ еще не использованнымъ; это — тѣ памятники древне-греческой живописи, которые извѣстны подъ названіемъ «расписныхъ вазъ» и занимаютъ нѣсколько большихъ залъ въ нижнемъ этажѣ. Здѣсь вы — въ отличіе отъ болѣе или менѣе случайнаго состава скульптурной галлереи — можете наблюдать полный и закончен-

ный кругъ эволюціи. Древнѣйшія изображенія человѣческаго тѣла на бурыхъ архаическихъ вазахъ стоятъ немного выше пресловутой дѣтской трапеціи на прямоугольникѣ; затѣмъ слѣдуютъ такъ называемыя чернофигурныя вазы съ гораздо уже болѣе естественными, хотя все еще очень угловатыми и условными изображеніями. Далѣе вы имѣете вазы краснофигурныя, тоже различныхъ стилей—строгаго, прекраснаго, вольнаго, при чемъ на вашихъ глазахъ одна условность за другой отпадаетъ и требованіе естественности все въ большей и большей мѣрѣ удовлетворяется. Далѣе напряженіе ослабѣваетъ, воцаряется пышность, небрежность, наступаетъ упадокъ и вырожденіе. Врядъ ли гдѣ-либо можно эту столь поучительную эволюцію прослѣдить такъ наглядно, какъ именно въ вазовомъ отдѣленіи нашего Эрмитажа; и больно видѣть, какъ это прекрасное отдѣленіе почти всегда пустуетъ, и его сокровища остаются мертвымъ капиталомъ. Помочь бѣдѣ можетъ въ значительной мѣрѣ администрація Эрмитажа; отъ нея зависитъ прійти на помощь любознательной публики и дать ей въ руки, вмѣсто теперешняго сухого и невразумительнаго каталога, другой, болѣе выдвигающій эволюціонное и художественное значеніе нашей роскошной коллекціи.

Свобода съ естественностью—одна изъ характерныхъ примѣтъ античнаго искусства; замѣчу тутъ же, что главнымъ образомъ благодаря ей оно стало воспитателемъ искусства новѣйшаго. Его возрожденіе всегда имѣло то значеніе, что, благодаря ему, художники учились опять видѣть и узнавать природу, освобождаясь отъ условностей своей эпохи; и въ этой области античность въ лучшія эпохи новѣйшаго искусства была не нормой, а сѣменемъ. Но этимъ еще не все сказано: помимо свободы и естественности, античное искусство обладаетъ еще другой чертой, тоже очень важной; эту черту мы называемъ *идеализмомъ*. Это слово требуетъ, однако, объясненія; оно далеко не такъ понятно, какъ это кажется на первый взглядъ. Идеализмъ античнаго искусства проявляется не въ томъ, что оно преимущественно изображало боговъ и богинь, а не обыкновенныхъ смертныхъ, и красоту предпочтительно передъ уродствомъ или вульгарностью — это было послѣдствіемъ внѣшнихъ условій, въ силу которыхъ кумиры

Аполлона или Геракла скорѣе находили себѣ сбытъ, чѣмъ изваянія рыбака или пьяной бабы. Нѣтъ; идеализмъ проходитъ черезъ всю область античнаго художества, не исключая и этихъ двухъ послѣднихъ сюжетовъ. Мы даже легче поймемъ и оцѣнимъ его здѣсь, чѣмъ тамъ.

Возьмемъ художника, задавшагося цѣлью изобразить рыбака; такъ какъ онъ, согласно сказанному раньше, художникъ-реалистъ, то онъ будетъ искать его, прежде всего, въ натурѣ. Но натура не даетъ ему рыбака просто или даже греческаго рыбака просто: она даетъ ему рыбака Фриниха или Комія, т.-е. фигуру, черты которой характеризуютъ ее не только какъ рыбака, но и какъ Фриниха и Комія. А между тѣмъ послѣднія интересны только для ихъ личныхъ знакомыхъ; первыя — для всѣхъ, кто вообще интересуется типомъ рыбака. И вотъ художникъ спрашиваетъ себя: что̀ въ этой совокупности примѣтъ, которыя я вижу передъ собой, характеризуетъ ихъ носителя именно какъ рыбака? въ чемъ, другими словами, сказывается идея рыбака?—и соотвѣтственно своему рѣшенію этого вопроса создаетъ свою фигуру; его цѣль — собрать по возможности всѣ примѣты, характерныя для рыбака, какъ для таковаго и по возможности устранить всѣ примѣты случайныя, характерныя только для этого, случайно ему попавшагося индивидуя. Конечно, умѣніе находить эти примѣты далось грекамъ не вдругъ; было время, когда они желая изобразить рыбака, могли изобразить только человѣка просто (или, въ лучшемъ случаѣ, вульгарнаго человѣка) и для вразумительности давали ему въ руки удочку или пойманную рыбу. Все же это умѣніе было современемъ достигнуто, и въ немъ—въ умѣніи отличать видовыя примѣты отъ родовыхъ съ одной стороны, отъ индивидуальныхъ съ другой—несомнѣнно сказывается характеръ народа-интеллектуалиста, создавшаго логику и философію вообще.

Таковъ идеализмъ античнаго искусства; его сущность, какъ видите, заключается въ требованіи, чтобы изображеніе соотвѣтствовало идеѣ воспроизводимаго предмета. Конечно, наивысшее торжество этого идеализма наблюдается въ сферѣ сверхчеловѣческой, въ сферѣ боговъ и героевъ. Тутъ грекамъ принадлежитъ уже не первое, а единственное, обособленное отъ

всѣхъ другихъ народовъ мѣсто. Многіе народы чувствовали потребность изображать своихъ боговъ, причемъ они понимали, что божественность для художника сводится къ сверхчеловѣчности; но между тѣмъ, какъ всѣ другіе народы эту сверхчеловѣчность понимали въ смыслѣ уродства — одни только греки понимали ее въ смыслѣ красоты. Сверхчеловѣческая красота — созданіе античнаго генія; у него и мы научились ее понимать и воспроизводить. Но не въ этомъ одномъ заключается воспитательная роль античнаго искусства въ разсматриваемой нами здѣсь области — это только одна изъ сторонъ античнаго идеализма, который весь намъ былъ нуженъ въ различныя эпохи развитія нашего художества и будетъ нуженъ, пока наше художество будетъ развиваться, т.-е., надѣемся, всегда. И этотъ идеализмъ нетрудно связать съ той первой чертой, подмѣченной мною въ античномъ искусствѣ — съ его жаждой естественности и свободы. Въ сущности, величайшей идеалисткой въ принятомъ нами смыслѣ является сама природа въ ея стремленіи къ выдѣленію и обособленію породъ; античный художникъ лишь предваряетъ или продолжаетъ дѣло природы, творя по тому же закону подбора, который обязателенъ также и для нея...

Но это, пожалуй, слишкомъ сложная и трудная мысль; недостатокъ времени не дозволяетъ намъ заняться ею здѣсь. Прежде, однако, чѣмъ проститься съ искусствомъ, а заодно и съ культурнымъ значеніемъ античности вообще, мнѣ хотѣлось бы указать на одну черту античной, такъ называемой, *художественной промышленности*, особенно важной и интересной для нашей эпохи, въ виду родственныхъ стремленій въ современномъ развитіи этой области человѣческаго труда.

Эта черта — *одушевленность*. Для античнаго человѣка предметы потребленія и орудія труда — не просто они сами, а воплощенія или олицетворенія дѣйствующихъ на нихъ силъ или исполняемыхъ ими функцій. Я уже сказалъ, говоря о колоннѣ, что она представлялась античному человѣку воплощеніемъ дѣйствующей снизу вверхъ и поддерживающей зданіе силы; выраженіемъ этой силы была легкая, но очень замѣтная «пучина» (ἔντασις) колонны, вслѣдствіе которой ея профиль образуетъ не прямую, а слегка выпуклую линію. То же мы можемъ про-

слѣдить и вездѣ. Возьмите античный кувшинъ (hydria). Его ставятъ, онъ какъ бы выростаетъ изъ земли, его создаютъ исходящія изъ земли силы — онъ имѣетъ поэтому форму надуваемаго снизу мыльнаго пузыря, вверху онъ шире, чѣмъ внизу. Напротивъ, гиря свѣшивается, въ ней сила дѣйствуетъ сверху внизъ — ея форма поэтому форма висящаго мѣха съ водой или пескомъ, она внизу шире, чѣмъ вверху. Возьмите кочергу; ея дѣло, такъ сказать, ковырять въ угляхъ жаровни — ея концу дается форма человѣческаго пальца. Возьмите столъ — его ножкамъ дается форма звѣриной ноги съ когтями, прочно впивающейся въ полъ. Возьмите таранъ, которымъ при осадѣ разбивали стѣны; его работа прозводила впечатлѣніе боданія — и вотъ его оконечности дается форма бараньей головы. Все это, конечно, мелочи; но въ этихъ мелочахъ отражается великая метафизическая идея — идея міровой Воли, развить которую предстояло лишь философіи послѣднихъ временъ.

А затѣмъ мой бѣглый очеркъ культурнаго значенія античности конченъ; разумѣется, я не высказалъ и десятой части того, что̀ можно было сказать по этому поводу, но вѣдь полнота изложенія и не входитъ въ мою задачу. Я хотѣлъ вамъ представить лишь образцы; если вы освоились съ основной идеей моего очерка — что античность должна быть для насъ не нормой, а сѣменемъ — то вы легко поймете и важнѣйшій выводъ изъ нея, а именно, что культурное значеніе античности не прекратится для насъ никогда, и наша съ нею связь будетъ тѣснѣе и интимнѣе съ каждымъ столѣтіемъ. Изъ этого сѣмени произошла наша современная культура; въ ней нѣтъ ни одной сколько-нибудь существенной идеи, органическое развитіе которой изъ него не могло бы быть доказано вполнѣ наглядно. Имъ мы много разъ оплодотворяли и еще будемъ оплодотворять питомники своей культуры, спасая ихъ отъ истощенія и вырожденія — въ родѣ того, какъ мы своему вырождающемуся винограду и другимъ растеніямъ приходимъ на помощь ввозомъ оригинальныхъ сѣмянъ и лозъ.

И странное дѣло! Между тѣмъ какъ каждое такое пріобщеніе античнаго сѣмени вело къ облагороженію нашей культуры и создавало безсмертныя творенія, служившія въ свою очередь образцами для потомства — пріобщеніе сѣмянъ чуже-

родныхъ намъ культуръ давало только ублюдковъ, неспособныхъ къ дальнѣйшему размноженію. Еще въ эпоху Гёте имѣли мы арабоманію, которой онъ и самъ подчинился въ своемъ «западно-восточномъ диванѣ»; затѣмъ пошла индоманія, расцвѣтомъ которой была философія Шопенгауера—не вся, къ счастью, а лишь самая неплодотворная ея часть, пессимизмъ, неорганически связанный со здоровымъ и плодотворнымъ платонизмомъ; теперь вошла въ моду японщина, облагодѣтельствовавшая насъ многими уродливостями такъ называемаго декадентскаго искусства и осужденная на безслѣдное исчезновеніе, если не считать безобиднаго и несущественнаго обогащенія нашей орнаментики. Все это — замѣчательныя явленія, подтверждающія біологическій взглядъ на исторію культуры: такъ вѣдь и животныя породы облагораживаются путемъ скрещиванія не съ другими видами, какъ бы они ни были совершенны, — такія скрещиванія производятъ лишь неспособныхъ къ размноженію ублюдковъ,—а съ выдающимися особями своего вида, съ тѣми, въ которыхъ характерныя примѣты достигли наивысшей степени совершенства.

И вотъ почему мы должны держать дверь къ античности открытой — она намъ можетъ пригодиться и теперь, и еще больше современемъ. Для этого вовсе не нужно, чтобы всѣ члены даннаго общества прошли черезъ горнило классическаго воспитанія — если кто понялъ мои первыя лекціи въ этомъ смыслѣ, то онъ ошибался. Нужно только, чтобы въ каждомъ обществѣ былъ извѣстный процентъ людей съ классическимъ образованіемъ, а среди нихъ опять небольшая сравнительно кучка людей, посвятившихъ свою жизнь изученію античности и ея приспособленію къ требованіямъ современности. Эти люди будутъ заняты, такъ сказать, добываніемъ сѣмянъ; воспринимать эти сѣмена будетъ тотъ болѣе широкій кругъ классически образованныхъ людей съ тѣмъ, чтобы мѣняться ихъ плодами съ людьми реальнаго и прикладного образованія—это и будетъ тотъ обмѣнъ культурныхъ благъ, который я имѣлъ въ виду выше (стр. 76). Какъ видите отсюда, общество нуждается не въ одной только классической гимназіи, а въ нѣсколькихъ типахъ средней школы соотвѣтственно сложности своего организма и разнородности человѣческихъ дарованій; и само собою разумѣется что я, какъ претендующій на культурность человѣкъ, ни къ одному изъ этихъ типовъ не отношусь враждебно. Вражду питаю я, и при томъ непримиримую, лишь къ той «единой школѣ», которая намъ угрожала одно время, этому мертворожденному дѣтищу педагогическаго авантюризма, подгоняющему всѣ дарованія подъ одинъ общій для всѣхъ шаблонъ.

* * *

Теперь послѣдовательность требуетъ, чтобы, развивъ вамъ двѣ части нашей программы, а именно 1) образовательное и 2) культурное значеніе античности—я перешелъ къ третьей и охарактеризовалъ вамъ ея *научное* значеніе; другими словами, выяснилъ вамъ, въ чемъ заключается сущность науки объ античности, т.-е., какъ ее принято называть, классической филологіи. Къ сожалѣнію, для этой третьей части у насъ осталось очень мало времени; утѣшаю себя мыслью, что тѣ изъ васъ, коихъ она интересуетъ болѣе или менѣе непосредственнымъ образомъ, т.-е. будущіе историки и филологи, будутъ имѣть возможность прослушать мой университетскій курсъ филологической энциклопедіи, посвященный именно этому вопросу—остальнымъ, если бы кто поинтересовался имъ, могу указать только свою статью «Филологія», помѣщенную въ Энциклопедическомъ словарѣ Брокгауза и Ефрона. Конечно, эта статья написана съ той сухостью, какая принята для помѣщаемыхъ въ словаряхъ статей; въ видѣ противовѣса этой сухости позволю себѣ здѣсь лишь бѣглую характеристику, посвященную главнымъ образомъ развитію относящейся сюда третьей изъ антитезъ, съ которыхъ я началъ свои лекціи. Эта антитеза гласила такъ: „О классической филологіи общество привыкло думать, что она—наука, вдоль и поперекъ изслѣдованная, не представляющая болѣе интересныхъ задачъ для творческой работы; знатоки же дѣла вамъ скажутъ, что теперь она интереснѣе, чѣмъ когда-либо, что вся работа предыдущихъ поколѣній была лишь подготовительной, лишь фундаментомъ, на которомъ мы только теперь начинаемъ строить настоящее зданіе нашей науки, что новыя проблемы, манящія къ изслѣдованію и рѣшенію, намъ встрѣчаются на каждомъ шагу нашего научнаго поприща“.

Дѣйствительно, первая часть этой антитезы правильно выражаетъ собой мнѣніе общества—и не одного только такъ называемаго «общества», но часто и людей, ближе стоящихъ къ дѣлу. Одинъ мой слушатель, человѣкъ способный и живой, попавшій волею судебъ въ восточную обстановку, пристрастился къ исторіи Востока и съ жаромъ неофита писалъ, что „исторія Востока гораздо интереснѣе, чѣмъ исторія Греціи, такъ какъ она гораздо менѣе изслѣдована". На меня эти строки навели раздумье: исторія Востока потому гораздо интереснѣе, что она гораздо менѣе изслѣдована; значитъ, когда она будетъ изслѣдована, она перестанетъ быть интересной? значитъ, задача изслѣдователя состоитъ въ томъ, чтобы интересныя науки превращать въ неинтересныя? Стоитъ задуматься надъ этимъ вопросомъ; въ самомъ дѣлѣ, что̀ такое для насъ наука, въ чемъ признаемъ мы ея цѣнность? — я говорю, разумѣется, не о такъ называемой прикладной наукѣ, а о чистой, часть которой составляетъ и классическая филологія. Будемъ ли мы видѣть въ наукѣ лишь огромную головоломку, на подобіе тѣхъ игрушекъ для дѣтей и взрослыхъ, задача которыхъ (извлечь кольцо изъ креста и т. д.) тѣшитъ насъ только до тѣхъ поръ, пока мы не нашли ея рѣшенія? Или же въ ней есть нѣчто другое, абсолютно цѣнное, и мы, ея представители, работаемъ не для своего только удовольствія, чтобы разогнать скуку, но и на пользу человѣчества?

Очевидно, послѣдній отвѣтъ болѣе согласуется съ общественнымъ убѣжденіемъ; иначе не для чего было бы содержать университеты, академіи, библіотеки и кормить на счетъ народа людей, единственное призваніе которыхъ—изслѣдованіе науки и рѣшеніе ея задачъ. А если наука какъ таковая интересна и цѣнна, то понятно, что ея интересъ возрастаетъ, а не уменьшается съ ея изслѣдованностью, и я имѣю полное право сказать своему слушателю: вы ошибаетесь—греческая исторія гораздо интереснѣе восточной, именно потому, что она гораздо болѣе изслѣдована. Та черная работа, результаты которой цѣнны не сами по себѣ, а потому, что они являются предположеніями или орудіями для другихъ, дѣйствительно цѣнныхъ результатовъ—эта черная работа въ классической филологіи въ значительной степени уже сдѣлана; это-то и было задачей минувшихъ поколѣній, за честное и безкорыстное рѣшеніе которой мы должны быть имъ благодарны.

Вы спросите, что это за черная работа? Отвѣчу—прежде всего *собираніе памятниковъ*. Въ филологіи памятникъ—первичный элементъ научной работы, какъ въ ариѳметикѣ число, какъ въ естественной исторіи особь, какъ въ физикѣ явленіе. Памятники классической филологіи бываютъ различныхъ родовъ: памятникомъ является, прежде всего, сама страна, бывшая театромъ исторіи классическихъ народовъ какъ въ своей внѣшней физіономіи, такъ въ своихъ геологическихъ, ботаническихъ, метеорологическихъ и другихъ условіяхъ; памятникомъ является ихъ устная традиція или обычай, дошедшій при непрерывной преемственности поколѣній до нынѣшнихъ жителей ихъ странъ; памятникомъ является непосредственное произведеніе ихъ рукъ, уцѣлѣвшее, хотя бы и въ испорченномъ видѣ, до нашихъ дней, будь это развалины зданія, или статуя, или ваза, или надпись; памятникомъ, наконецъ, является текстъ того или другого писателя, сохраненный намъ хотя бы и въ поздней, средневѣковой рукописи; мы различаемъ географическіе, этнологическіе, археологическіе и филологическіе въ тѣсномъ смыслѣ памятники. Вотъ ихъ-то собираніе составляло и составляетъ первую необходимость для плодотворной филологической работы—но не одно только собираніе: за тѣ $1\frac{1}{2}$—2 тысячелѣтія, которыя отдѣляютъ насъ отъ древняго міра, они подверглись крупнымъ измѣненіямъ (профиль береговъ и теченіе рѣкъ стали иными, народная сказка при передачѣ изъ поколѣнія въ поколѣніе была искажена, статуя или надпись уцѣлѣли въ фрагментарномъ видѣ, тексты авторовъ пострадали отъ невѣжества или неумѣстнаго остроумія переписчиковъ)—необходимо возстановить ихъ по возможности въ первоначальномъ видѣ, подвергнувъ ихъ такъ называемой *филологической критикѣ*.

Все это—черная работа; я уже сказалъ, что она составляла главную задачу предыдущихъ поколѣній, которымъ мы обязаны существующими прекрасными сборниками—историческими атласами, такъ называемыми корпусами надписей, барельефовъ, монетъ и т. д. Эти сборники даютъ намъ возможность пріятно и плодотворно работать въ области науки,

изслѣдуя и освѣщая самыя интересныя и интимныя стороны жизни древняго міра; тѣмъ не менѣе нельзя сказать, чтобы относящаяся къ собиранію памятниковъ работа была кончена — ея хватитъ еще надолго. Раскопки въ Греціи, Италіи и т. д. (между прочимъ и у насъ, въ территоріи греческихъ колоній на югѣ Россіи) не прекращались никогда, обогащая нашу сокровищницу особенно археологическими памятниками; сигнатурой послѣднихъ десятилѣтій являются неожиданныя и подчасъ прямо чудесныя находки египетскихъ папирусовъ съ текстами авторовъ, считавшихся потерянными. Такъ были найдены — трактатъ Аристотеля объ аѳинскомъ государствѣ, прелестныя бытовыя сценки Герода, рѣчи Гиперида, современника Демосѳена, оды и баллады Вакхилида, соперника Пиндара, «номосъ» Тимоѳея, и еще недавно — цѣлыя сцены изъ новой трагедіи Еврипида и ряда комедій Менандра. И, конечно это не все — вѣрные пески Египта содержатъ еще много сокровищъ, и мы съ каждымъ днемъ можемъ ждать извѣстія, что найденъ какой-нибудь новый перлъ античной литературы... Наши отцы этого чувства не знали — въ ихъ времена пробѣлы античной литературы считались чѣмъ-то окончательно и безповоротно рѣшеннымъ. Повторяю: никогда еще классическая филологія не была такъ интересна, какъ теперь.

Но, разумѣется, ея интересъ заключается не только въ томъ, что ея матеріалъ постоянно увеличивается новыми находками; главное — то, что, благодаря работѣ предыдущихъ поколѣній, мы можемъ обращаться къ нашей наукѣ съ гораздо болѣе важными вопросами, чѣмъ наши предшественники. Благодаря работѣ предыдущихъ поколѣній — да, о ней слѣдуетъ всегда вспоминать съ признательностью, такъ какъ это была очень утомительная и самоотверженная работа. Прежде всего они изслѣдовали языкъ древнихъ народовъ въ его грамматическомъ и лексическомъ составѣ такъ тщательно и полно, какъ ни одинъ языкъ въ мірѣ; результатомъ этихъ трудовъ были пространныя руководства и словари... не тѣ, разумѣется, которые извѣстны вамъ изъ гимназическаго курса, а огромные своды, матеріалъ которыхъ почерпнутъ изо всей области античныхъ литературъ; достаточно будетъ сказать, что Thesaurus linguae Graecae Стефана (т.-е. Estienne'a, французскаго фило-

лога 17 в.) въ новомъ изданіи состоитъ изъ 9 исполинскихъ томовъ in folio, а соотвѣтственный Thesaurus linguae Latinae, надъ которымъ теперь работаетъ почти вся филологическая Германія, обѣщаетъ быть еще болѣе внушительнымъ. Такъ-то мы имѣемъ возможность, изучая исторію какого-нибудь слова, проникнуть въ самую душу античности — вы вѣдь помните: языкъ есть исповѣдь народа.

Но это, быть можетъ, васъ не очень соблазнитъ; что же, будемъ довольны, что относящаяся сюда работа въ значительной мѣрѣ уже сдѣлана. Другой, тоже очень важной работой были объяснительныя изданія авторовъ — опять-таки не тѣ, которыя вы знаете, а другія, цѣлью которыхъ было связать идейной цѣпью или сѣтью всѣ памятники античной литературы между собой и съ соотвѣтствующими памятниками археологическими и другими; благодаря этой работѣ, я имѣю возможность, обладая однимъ свидѣтельствомъ, быстро отыскать всѣ остальныя — а насколько это удобство нахожденія матеріаловъ облегчаетъ научную работу, это вы легко можете себѣ представить. — Третьей работой было составленіе сухихъ, но очень содержательныхъ руководствъ по различнымъ отраслямъ филологической науки: политической исторія, исторіи литературы, миѳологіи, права, государственнаго управленія и т. д. — съ приведеніемъ всѣхъ свидѣтельствъ какъ изъ литературы, такъ и изъ надписей и прочихъ памятниковъ.

Вотъ это-то все, вмѣстѣ взятое, и образуетъ тотъ фундаментъ, о которомъ я говорилъ выше и на которомъ мы теперь только начинаемъ строить зданіе нашей науки. Конечно, и фундаментъ не вполнѣ еще готовъ; новыя находки постоянно его укрѣпляютъ новыми квадрами, и такъ будетъ еще долго; все же онъ достаточно уже крѣпокъ, чтобы вынести означенное зданіе. А что это за зданіе — это вы легко поймете, если я вамъ скажу, что у насъ еще нѣтъ исторіи античной религіи, нѣтъ даже миѳологіи въ генетическомъ развитіи; нѣтъ исторіи античной нравственности и міросозерцанія, нѣтъ исторіи умственной, общественной и даже матеріальной культуръ античныхъ народовъ, нѣтъ осмысленной исторіи античныхъ литературъ, нѣтъ исторіи экономическихъ и соціальныхъ явленій даже въ ихъ главныхъ факторахъ (исторіи землевладѣнія,

исторіи капитализма)—и такъ далѣе; если я вамъ скажу, что знаменитый Іерингъ въ послѣдніе дни своей жизни носился съ идеей исторіи римскаго права, въ которой онъ предполагалъ дать настольную книгу не только для юриста, но и для всякаго образованнаго человѣка, и эта задача такъ и осталась неисполненной...

Для всякаго образованнаго человѣка, да; наша наука дѣйствительно обращается ко всему образованному міру, безъ различія спеціальностей,—но она и состоитъ съ нимъ въ такъ называемомъ мутуализмѣ, заимствуясь изо всей области науки. Наши противники часто твердятъ намъ, что наша наука не самодовлѣюща, и считаютъ это укоризной по нашему адресу; я же думаю, что въ этихъ словахъ заключается величайшая похвала. Да, наша наука не довлѣетъ себѣ. Мы сплошь и рядомъ должны обращаться за совѣтами и за свѣдѣніями къ представителямъ другихъ наукъ, даже въ сравнительно узкомъ районѣ школьнаго чтенія авторовъ — какъ я имѣлъ случай вамъ выяснить въ четвертой лекціи; это потому, что наука о древнемъ мірѣ есть наука о *мірѣ*. Она объединяетъ всѣ науки на почвѣ явленій, точно такъ же какъ философія ихъ объединяетъ на почвѣ принциповъ. Математикъ, химикъ, даже лингвистъ можетъ весь свой вѣкъ провести взаперти, внутри тѣхъ четырехъ стѣнъ, которыя окружаютъ избранную имъ спеціальность; филологъ этого не можетъ, если только онъ хочетъ быть ученымъ, а не ремесленникомъ. А результатомъ этого постояннаго общенія съ другими науками является широкій кругозоръ, сознаніе единства общенаучнаго зданія и уваженіе къ отдѣльнымъ его частямъ...

Впрочемъ, вы это уже знаете; здѣсь я долженъ отвѣтить на другой вашъ вопросъ. Я назвалъ вамъ цѣлый рядъ задачъ, которыя предстоитъ рѣшить филологіи нашихъ дней и ближайшаго будущаго: исторію античной религіи, умственной культуры и т. д. Ну, а когда вы эти задачи рѣшите—можете вы спросить—что станете вы дѣлать?—Я думаю, когда это время наступитъ, оно само предъявитъ новые запросы, о которыхъ теперь и думать праздно; вѣдь и тѣ задачи, которыя я вамъ назвалъ, не ставились лѣтъ сто назадъ. Но одна задача всегда будетъ на насъ лежать, какъ она лежала до сихъ поръ: задача использовать сокровищницу античности сообразно съ нуждами современности, задача посредничества между нашимъ обществомъ и античностью. Не для себя вѣдь мы работаемъ и не для одной только нашей науки — послѣдняя внѣ человѣчества, которымъ и для котораго она созидается, не имѣетъ ни почвы для существованія, ни права на таковое. Мы работаемъ для васъ, для вашихъ сверстниковъ и потомковъ — однимъ словомъ, для общества.

Даже въ томъ случаѣ, спросите вы, если общество и знать не хочетъ васъ и вашей работы?—Да, господа, даже въ этомъ случаѣ. А впрочемъ, вѣрно ли это, и, поскольку вѣрно, почему и по чьей милости—объ этомъ нѣсколько словъ въ слѣдующей, послѣдней лекціи.

ЛЕКЦІЯ ВОСЬМАЯ.

Заключеніе.—Современное общество и античность.—Обманъ и недоразумѣніе.—«Античность не нужна».—«Античность трудна».—«Античность ретроградна».—Вопросъ о неудачникахъ.—Соціологическое значеніе средней школы.—Легкая школа—соціальное преступленіе.—Идеалъ школьной организаціи.—Античность, какъ орудіе прогресса.—Притча о прогрессѣ.

Наши бесѣды вернулись къ точкѣ своего отправленія. Мы начали съ установленія коренного разногласія между мнѣніемъ общества и знатоковъ дѣла относительно образовательнаго, культурнаго и научнаго значенія античности; уже тогда я далъ вамъ понять, что это мнѣніе общества, поскольку оно выражается въ сознательномъ пренебреженіи къ античности, по своей авторитетности не можетъ идти въ сравненіе съ тѣмъ безсознательнымъ уваженіемъ къ ней того же общества, въ силу котораго ея вліяніе на него сохраняется въ теченіе столькихъ вѣковъ послѣ паденія самого античнаго міра.

Тѣмъ не менѣе это сознательное пренебреженіе—положимъ, не всего современнаго общества, но все-таки значительной его части—остается фактомъ и какъ таковой требуетъ объесненія; какъ оно объясняется, это я тоже далъ вамъ понять съ первыхъ же моихъ словъ къ вамъ. „Мы можемъ", сказалъ я тогда, „анализировать смыслъ недоброжелательнаго отношенія современнаго общества къ античности, выдѣлить ту роль, которую въ немъ сыграло добросовѣстное, непроизвольное заблужденіе, отъ той, въ которой мы должны признать проявленіе сознательнаго обмана" (стр. 3). Я началъ, однако, не съ этой отрица-

тельной, а съ положительной части; я показалъ вамъ, въ чемъ состоитъ и образовательное, и культурное, и научное значеніе античности. Если Logos былъ милостивъ и къ вамъ и ко мнѣ, если дѣло убѣжденія, которое собрало насъ сюда, не потерпѣло неудачи,—то вы знаете теперь, что то мнѣніе знатоковъ, о которомъ я говорилъ выше, есть мнѣніе справедливое, и что, стало быть, несогласное съ нимъ мнѣніе значительной части современнаго общества только и можетъ быть объяснено либо недоразумѣніемъ, либо обманомъ. Все же, чтобы въ этомъ не оставалось никакого сомнѣнія, я приведу вамъ самостоятельныя и независимыя доказательства также и для этой отрицательной части моего разсужденія; съ ихъ приведеніемъ я сочту свою задачу исполненной.

„Либо обманъ, либо недоразумѣніе"... Въ сущности и то и другое одинаково противно тому чувству правды, которое въ насъ насаждаетъ изученіе античности—вы помните, что оно ставитъ къ намъ не одно, а два требованія: 1) не лги и 2) не заблуждайся—тамъ, разумѣется, гдѣ дана возможность не заблуждаться, гдѣ есть люди и данныя, направляющіе насъ на путь истины. Все же нравственная оцѣнка этихъ двухъ прегрѣшеній противъ правды различна. Бываетъ пріятно указывать заблуждающемуся правильный путь, но непріятно, очень непріятно обличать обманщиковъ. Позвольте начать съ этой второй, непріятной части нашей задачи, чтобы скорѣй сбыть ее съ рукъ.

Прежде всего слѣдуетъ помнить, что этотъ обманъ не есть первичная причина того недоброжелательства, о которомъ я говорю—напротивъ, онъ имѣетъ его своимъ предположеніемъ. Обманъ не нашелъ бы себѣ вѣры и, стало быть, не имѣлъ бы успѣха, еслибы не попадалъ въ сердца, подготовленныя къ его воспріятію; но это, разумѣется, не только не оправдываетъ его, но и не доказываетъ его безвредности. Недоразумѣніе создаетъ лишь нѣкоторый туманъ неясности, который могъ бы еще разсѣять свѣточъ правды; но дымъ сознательнаго обмана его сгущаетъ и превращаетъ, наконецъ, въ ту безпросвѣтную мглу, которая насъ душитъ и доводитъ до отчаянія. Исторія всѣхъ массовыхъ движеній полна примѣровъ этому. Дѣло начинается съ того, что какое-нибудь лицо, учрежденіе или идея

теряетъ популярность — иногда по заслугамъ, иногда нѣтъ — и тотчасъ являются добровольцы, которые, чтобы возвысить собственное вліяніе, нагромождаютъ всякія небылицы про то, что попало обществу на зубокъ; это называлось у римлянъ: crescere ex aliquo. Успѣхъ такой клеветѣ обезпеченъ: всякій вздоръ находитъ себѣ вѣру, клеветникъ дѣлается всеобщимъ любимтемъ, и горе тому неблагоразумному радѣтелю истины, который вздумалъ бы его опровергать.

Но спросите вы: гдѣ же въ данномъ случаѣ обманъ и обманщики? Отвѣчу: тамъ, гдѣ выступаютъ на арену самозванные руководители общественнаго мнѣнія, на столбцахъ газетъ и на страницахъ журналовъ, вообще въ современной публицистикѣ. — Но какъ же намъ ихъ тамъ прослѣдить? Собрать всю ложь и клевету, которая въ органахъ нашей публицистики разводится по всей Россіи? Этого мало: нужно ее уличить, нужно показать, какъ въ одномъ случаѣ она замалчиваетъ факты, въ другомъ ихъ злонамѣренно толкуетъ, въ третьемъ ихъ подтасовываетъ, передергиваетъ, измышляетъ... но, господа, гдѣ намъ теперь найти время для всего этого? А между тѣмъ, я долженъ обратить ваше вниманіе на этотъ обманъ, чтобы внушить вамъ благоразумное недовѣріе къ этимъ недобросовѣстнымъ руководителямъ вашего мнѣнія. — Къ счастью, для этого есть другой путь, болѣе краткій и не менѣе доказательный: я укажу вамъ обманъ тамъ, гдѣ вы по всѣмъ внѣшнимъ и внутреннимъ условіямъ менѣе всего могли бы его ожидать, а затѣмъ предоставлю вамъ сдѣлать соотвѣтственное заключеніе: „если съ зеленѣющимъ деревомъ это творится, то съ сухимъ что̀ будетъ?“ Вы поймете, что при такой обстановкѣ мои слова будутъ въ такой же мѣрѣ данью уваженія тому лицу, которое я вамъ назову, въ какой и упрекомъ: именно тѣмъ, что я называю его предпочтительно передъ другими, я признаю его зеленѣющимъ деревомъ. А затѣмъ позвольте прочесть вамъ то мѣсто, которое я имѣю въ виду. Вотъ оно (говорится о филологическихъ экзаменахъ):

„...Между тѣмъ знаніе всѣхъ этихъ толстыхъ курсовъ требуется отчетливое во всѣхъ мелочахъ. Идетъ, напримѣръ, рѣчь о какомъ-нибудь литературномъ памятникѣ древняго міра, и въ курсѣ лекцій отводятся двѣ-три страницы убористаго письма указаніямъ, подъ чьей редакціей въ какомъ году и гдѣ — въ Венеціи, въ Амстердамѣ, Римѣ, Парижѣ — въ теченіе двухъ тысячъ (sic) лѣтъ этотъ памятникъ издавался. Все это требуется обязательно знать. Ошибается студентъ въ годѣ изданія, или въ имени редактора, и профессоръ съ отчаяніемъ хватается за голову: „Помилуйте! Что вы говорите? Да какъ же, не зная этого, можно считать себя образованнымъ человѣкомъ?

„Мудрено ли, послѣ этого, что наша учащаяся молодежь въ общемъ страшно не развита“ и т. д.

Это мѣсто я взялъ изъ одной довольно распространенной книжки, выдержавшей въ короткое время (1903) три изданія — «Школа и жизнь» священника о. Г. С. Петрова. Что сказать о немъ?

Мнѣ думается, прежде всего, что человѣку, пишущему и печатающему книги, приличествовало бы знать, въ какомъ году... или, если авторъ такъ не любитъ точныхъ данныхъ, то въ какомъ, приблизительно, столѣтіи было изобрѣтено книгопечатаніе, и не разсказывать намъ про изданія древнихъ авторовъ съ Венеціей и Амстердамомъ, годомъ появленія и именемъ „редактора“ за двѣ тысячи лѣтъ. Но это для насъ не существенно. Рѣчь идетъ, повторяю, о филологическихъ экзаменахъ; авторъ не говоритъ, откуда онъ черпаетъ свои свѣдѣнія, но это все равно — я могу по праву утверждать, что никто здѣсь въ Петербургѣ не знаетъ этого дѣла лучше меня, такъ какъ я не только произвожу эти экзамены въ нашемъ Петербургскомъ университетѣ, но за послѣднія 10—12 лѣтъ ежегодно бывалъ предсѣдателемъ филологическихъ испытательныхъ комиссій въ какомъ-нибудь изъ провинціальныхъ университетовъ. Позвольте же вамъ заявить, на основаніи этого довольно широкаго опыта, что разсказъ о. Петрова о филологическихъ экзаменахъ — чистѣйшій вымыселъ, безо всякаго, даже внѣшняго, сходства съ истиной; такъ, какъ онъ вамъ представляетъ дѣло, никто въ Россіи не экзаменуетъ. Конечно, своды изданій древнихъ авторовъ имѣются въ такъ называемыхъ bibliothecae scriptorum — хотя, разумѣется, не за двѣ тысячи лѣтъ, а за четыреста съ небольшимъ; это для насъ, филологовъ, очень полезный справочный матеріалъ, котораго, однако, никто изъ насъ и не ду-

маетъ вбивать себѣ въ голову, а тѣмъ болѣе — требовать отъ студентовъ. Бываютъ затѣмъ, не спорю, на экзаменахъ такіе отвѣты, при которыхъ профессора съ отчаяніемъ хватаются за голову, но они никогда не касаются года или мѣста изданія автора.—А между тѣмъ, къ сожалѣнію, нельзя сказать, чтобы такія небылицы, какъ приведенная мною, — не говоря уже о ихъ нравственной предосудительности—были практически безвредны. Не такъ давно, въ мою бытность предсѣдателемъ испытательной комиссіи, одинъ изъ моихъ испытуемыхъ мнѣ жаловался, что совершенно аналогичныя розсказни заставили его потерять годъ жизни. Онъ былъ филологомъ по призванію; но записаться на историко-филологическій факультетъ не рѣшился, такъ какъ въ томъ провинціальномъ городѣ, гдѣ онъ кончилъ курсъ, ему говорили, что на этомъ факультетѣ только и дѣлаютъ, что пишутъ сочиненія по-гречески и по-латыни. Онъ поступилъ въ медики и только черезъ годъ, присмотрѣвшись къ занятіямъ на историко-филологическомъ факультетѣ и убѣдившись въ нелѣпости тѣхъ разсказовъ, могъ вернуться къ своей любимой спеціальности.—И кто знаетъ, быть можетъ, именно теперь тотъ или другой провинціальный юноша, читая въ книжкѣ о. Петрова о прелестяхъ филологическихъ экзаменовъ и не подозрѣвая обмана, даетъ зарокъ ни за что не поступать на историко-филологическій факультетъ, несмотря на свои способности и охоту къ историко-филологическимъ занятіямъ—и въ результатѣ окажется выбитымъ изъ колеи не на годъ, а на цѣлую жизнь.

Конечно, господа, вы поймете, что приведенное мною — лишь образчикъ, флакончикъ изъ того ушата клеветы, изъ котораго насъ обливаютъ въ современной публицистикѣ. Онъ интересенъ, во-первыхъ, потому, что носитъ на ярлыкѣ довольно видное и почтенное имя, а во-вторыхъ, тѣмъ, что здѣсь можно было поймать клевету, такъ сказать, съ поличнымъ. Не вездѣ это такъ же легко. Все же объ одномъ я прошу васъ помнить: когда будете читать въ газетахъ или гдѣ бы то ни было обвиненіе противъ античности въ ея образовательномъ, культурномъ или научномъ значеніи—знайте, что васъ обманываютъ; особенно это слѣдуетъ помнить тамъ, гдѣ авторъ не имѣетъ даже мужества назвать свою фамилію и трусливо прячется подъ маской анонимности или псевдонимности. Равнымъ образомъ вы, надѣюсь, поймете, что я лично ничего не имѣю противъ о. Петрова, который мнѣ самъ по себѣ гораздо болѣе симпатиченъ, чѣмъ его враги. Совершенно напротивъ: я уважаю его проповѣдническую дѣятельность и желаю ему успѣха въ ней; пусть она сѣетъ сѣмена добра и правды, пусть учитъ людей соблюдать заповѣди Господни, но пусть соблюдаетъ ихъ и самъ — всѣ, не исключая и девятой.

Оставимъ, однако, въ сторонѣ обманъ; перейдемъ къ другому, менѣе непріятному источнику нерасположенія общества къ античности, къ недоразумѣнію. Здѣсь мы должны различать античность, какъ образовательный предметъ, и античность, какъ элементъ культуры — о третьемъ, научномъ значеніи античности здѣсь говорить не приходится. Конечно, при распространенномъ въ нашемъ обществѣ и особенно въ нашей печати пустосмѣшествѣ ей достается и въ этомъ третьемъ видѣ; но если говорить серьезно, то ни одинъ мыслящій человѣкъ не оспариваетъ права на существованіе науки объ античности наравнѣ съ санскритологіей, египтологіей и другими, столь же безобидными науками.—Впрочемъ, и о второй сторонѣ можно не говорить; нашъ девизъ «не норма, а сѣмя» достаточно разъясняетъ, въ чемъ состоитъ недоразумѣніе на этотъ счетъ. Мы остановимся, поэтому, на первой сторонѣ, а именно на предубѣжденіи общества противъ школьной античности. Ей вмѣняется въ вину—и у насъ, и на Западѣ—во-первыхъ, что она ненужна, во-вторыхъ, что она трудна; къ этимъ двумъ упрекамъ, общимъ для насъ съ Европой, у насъ прибавляется третій, который составляетъ нашу національную особенность: античность, изволите видѣть, ретроградна. Сюда относятся клички: классическій обскурантизмъ, классическіе намордники и т. д. Ихъ мы прибережемъ напослѣдокъ: дѣлу — время, а забавѣ — часъ.

Къ дѣлу относится первый упрекъ: школьная античность *ненужна*. Я, конечно, привелъ его здѣсь не къ тому, чтобы его опровергать — на что нужна школьная античность, это я пытался объяснить вамъ, насколько это позволяло время, въ первыхъ четырехъ лекціяхъ. Здѣсь моя задача другая: анализировать общественное мнѣніе, показать вамъ, какъ могло и

должно было возникнуть предубѣжденіе противъ античности. Въ данномъ случаѣ дѣло совершенно ясно: при опредѣленіи цѣнности знаній непосвященный въ дѣло человѣкъ склоненъ становиться на узко-утилитарную точку зрѣнія, ставя цѣнность знаній въ зависимость отъ непосредственной ихъ примѣнимости къ жизни и ея работѣ; чѣмъ косвеннѣе эта примѣнимость, тѣмъ труднѣе будетъ ему ее оцѣнить. Возьмемъ для примѣра готовое платье — тутъ всякій дикарь пойметъ, что это вещь полезная, такъ какъ защищаетъ отъ зноя и холода. Покажите этому дикарю швейную машину — онъ руками разведетъ, не понимая, на что такая штука можетъ пригодиться; но ему можно будетъ наглядно показать, какъ съ помощью этой штуки дѣлается платье, и онъ, ничего не понимая, признаетъ ея пользу. — Но, вѣдь, эти швейныя машины въ свою очередь какъ-нибудь производятся, для чего существуютъ особые заводы; въ этихъ заводахъ при оглушительномъ шумѣ машинъ приготовляются стержни, шестерни, винты, гайки и т. д.; возьмемъ любую изъ этихъ машинъ — тутъ уже человѣкъ безъ техническаго образованія совсѣмъ въ толкъ не возьметъ, какая отъ нея можетъ быть польза. — То же самое и здѣсь. Непосредственно полезная для общества умственная работа производится умомъ — эта и есть наша швейная машина. Но вѣдь и умъ долженъ быть какъ-нибудь производимъ и приспособляемъ къ тому, чтобы полезно работать; одна изъ производящихъ его машинъ — это и есть школьная античность. Но понять это можетъ только человѣкъ, обладающій соотвѣственнымъ техническимъ знаніемъ; у кого такого нѣтъ, тотъ всегда будетъ склоненъ допустить, что ея изученіе — безполезная трата времени и труда.

И труда... да, и это слово приводитъ насъ ко второму упреку по адресу школьной античности. Тутъ недоразумѣніе заключается, разумѣется, не въ самомъ фактѣ — школьная античность *трудна*, если ее изучать добросовѣстно, объ этомъ и говорить нечего. Недоразумѣніе заключается въ выводѣ, который дѣлаютъ изъ этого факта. Она трудна, говорятъ, и поэтому долой ее; она трудна, отвѣчу я, и это лишній разъ ее рекомендуетъ. Прошу васъ, господа, отнестись къ этому пункту съ особеннымъ вниманіемъ; здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, я вынужденъ буду опираться на кодексъ чести мыслителя. Мнѣ придется васъ предостерегать отъ увлеченія однимъ очень благороднымъ и симпатичнымъ чувствомъ — именно чувствомъ гуманности. Я давно уже чувствую одно ваше возраженіе противъ всего, что я говорилъ вамъ на первыхъ лекціяхъ, — оно гласитъ такъ: „Было насъ пятьдесятъ, когда мы поступили въ первый классъ, а кончаетъ всего тридцать. Остальнымъ гимназическій курсъ оказался непосильнымъ, причемъ для большинства камнемъ преткновенія были древніе языки". Отсюда понятно ихъ ожесточеніе противъ древнихъ языковъ — ихъ, ихъ родителей и близкихъ, а также, по чувству товарищества, и ваше.

Упрекъ этотъ я могъ бы очень легко обойти. Когда въ той комиссіи по реформѣ средней школы, о которой я говорилъ выше, разбирали вопросъ о «неудачникахъ», — людьми, близко стоящими къ дѣлу, были приведены статистическія данныя для обоихъ главныхъ типовъ средней школы, причемъ процентъ неудачниковъ и въ гимназіяхъ, и въ реальныхъ училищахъ оказался тѣмъ же — именно 40%. Уже это одно доказываетъ вамъ, что въ неудачникахъ виноваты не древніе языки, а нѣчто другое, общее обоимъ типамъ средней школы; что — это я могу вамъ сказать теперь же: *законъ подбора.* Но тогда мысли собранія приняли другое направленіе; большая его часть стала органомъ общественнаго негодованія противъ школы, производящей неудачниковъ; я помню произнесенныя въ великодушномъ увлеченіи слова одного извѣстнаго своей гуманностью дѣятеля средней школы: „если школа принимаетъ сто учениковъ, она сто же учениковъ должна выпустить". Итакъ, сказалъ я себѣ, поступленіе въ школу гарантируетъ полученіе диплома; ну, а что же гарантируетъ поступленіе? Единственный возможный отвѣтъ: протекція или взятка... Но мы къ этому еще вернемся.

Я не хочу обходить упрека въ трудности, который дѣлаютъ школьной античности; я уже сказалъ, что эта трудность ее лишній разъ рекомендуетъ. Я прошу васъ сосредоточить ваше вниманіе на томъ, что я называю *соціологическимъ значеніемъ школы*; вотъ вкратцѣ его схема.

Разумѣется, организація нашего общества еще весьма не-

совершенна; одна изъ главныхъ причинъ этого несовершенства заключается въ томъ, что въ немъ все еще слишкомъ много дармоѣдовъ, т.-е. людей, способныхъ къ труду, но предпочитающихъ жить на счетъ другихъ. Мы обрекаемъ, однако, этотъ типъ на полное исчезновеніе и требуемъ, чтобы каждая копѣйка въ карманѣ обывателя была копѣйкой трудовой; согласно нашему идеалу, общество—это армія труда. Ну, а въ каждой арміи есть рядовые и офицеры, нижніе и высшіе чины; грань между ними не особенно рѣзка и въ вооруженной арміи, а въ арміи труда опредѣленной грани даже совсѣмъ нѣтъ но все же можно и должно различать и здѣсь верхъ и низъ общественной пирамиды.—Кто же такіе эти офицеры? Разумѣется, не одни только чиновники, а всякій, кто болѣе командуетъ, чѣмъ повинуется, кто служитъ обществу скорѣе умственнымъ, чѣмъ физическимъ трудомъ, и притомъ умственнымъ трудомъ большей, а не меньшей цѣнности: директора и мастера заводовъ, управляющіе коммерческими предпріятіями, землевладѣльцы или инспектора полевыхъ работъ, доктора, художники и т. д.—впрочемъ, въ различныя времена и составъ этой «элиты» общества бывалъ различенъ. Они пользуются при нормальныхъ условіяхъ и бо́льшимъ достаткомъ въ сравненіи съ рядовыми, живутъ въ чистыхъ, свѣтлыхъ квартирахъ, а не въ конурахъ, углахъ и ночлежныхъ пріютахъ.—Какъ же попадаютъ люди на эти офицерскія мѣста? Вотъ въ этомъ и заключается характерное различіе между эпохами. Всегда критеріемъ, отличающимъ кандидата въ офицеры отъ кандидата въ рядовые, былъ цензъ; только цензъ этотъ былъ въ различныя времена различенъ. Первобытнымъ цензомъ былъ вѣроятно цензъ грубой физической силы; въ культурныя эпохи мы видимъ вначалѣ цензъ происхожденія—мѣста у верхушки общественной пирамиды переходятъ по наслѣдству отъ благороднаго отца къ благородному сыну. Затѣмъ цензъ происхожденія смѣняется имущественнымъ цензомъ или скрещивается съ нимъ; въ настоящее время преобладающимъ является образовательный цензъ, и ему, очевидно, принадлежитъ будущее. Кандидаты въ офицеры арміи труда—это вы, кончающіе ученики средней школы.

Теперь, господа, мнѣ хотѣлось бы вызвать передъ вами

призракъ—призракъ грозный, внушительный, и, увы, даже черезчуръ реальный. Это—юноша вашихъ лѣтъ; только одѣтъ онъ не въ чистую тужурку, а въ грязныя, вонючія лохмотья, и на головѣ у него, вмѣсто вашей опрятной фуражки, засаленный картузъ, на лицѣ—отпечатки лишеній и пороковъ, сопутствующихъ жизни «на днѣ» общественной пирамиды. Вы представляетесь другъ другу: „я“, говорите вы, „Божьей милостью кандидатъ въ офицеры“; „а я“, отвѣчаетъ вамъ призракъ, „Божьимъ гнѣвомъ пролетарій“—и затѣмъ, вперяя въ васъ злобный взглядъ, спрашиваетъ: „а за что это ты, баринъ, попадаешь въ офицеры, а я нѣтъ?“—На этотъ вопросъ возможны два отвѣта, одинъ—очень скверный, другой—очень хорошій. Первый гласитъ такъ: „За то, что мой отецъ—человѣкъ сравнительно зажиточный, который платилъ за меня семь или восемь лѣтъ подъ рядъ въ среднюю школу и за это время давалъ мнѣ досугъ для занятій, а твой отецъ, буде таковой у тебя есть,—бѣднякъ, который кормилъ и воспитывалъ тебя на мѣдные гроши и въ то же время эксплуатировалъ твой трудъ“. Да, въ этомъ отвѣтѣ будетъ, къ сожалѣнію, большая доля правды: но, я думаю, у каждаго изъ васъ отъ него совѣсть сковырнется.—Другой отвѣтъ, безупречный, гласитъ такъ: „За то, что я преодолѣлъ такую массу умственнаго труда, какая тебѣ не по силамъ; ты только подумай—пятьдесятъ насъ поступило въ гимназію, а кончаютъ только тридцать“.

А теперь позвольте васъ спросить: съ которымъ изъ этихъ двухъ отвѣтовъ вяжется идея легкой школы, выпускающей столько же учениковъ, сколько она приняла? Ужъ, конечно, не со вторымъ, а только съ первымъ, т.-е. съ такимъ, который вы и произнести не рѣшитесь,—языкъ не повернется. Теперь представьте себѣ, что эта идея легкой школы осуществлена; надпись «трудолюбію и способностямъ» окончательно сорвана со школьныхъ дверей и замѣнена надписью: „милости просимъ—всѣмъ дипломъ обезпеченъ!“ Что будетъ послѣдствіемъ?—Да, милости просимъ! школа можетъ принять только пятьдесятъ, а желающихъ пятьсотъ... Или вы думаете, что ихъ столько не будетъ? Да вѣдь уже и теперь, когда трудность школы многихъ отпугиваетъ, желающихъ бываетъ вдвое и втрое больше, чѣмъ вакансій; что же будетъ тогда, когда легкость

курса и обезпеченность диплома послужатъ лишней приманкой? вѣдь каждый отецъ пожелаетъ видѣть сына на офицерскомъ мѣстѣ.—Нѣтъ, ужъ, конечно, не менѣе пятисотъ; какъ же выбрать изъ нихъ пятьдесятъ счастливцевъ? Одно средство—соотвѣтственно повысить школьную плату... т.-е. упрочить и узаконить имущественный цензъ, самый вредный и подлый изо всѣхъ, давъ ему въ довершеніе подлости прикрываться маской ценза образовательнаго. Другое средство—строгій вступительный экзаменъ, т.-е. перенесеніе борьбы и неудачничества изъ школьнаго возраста въ дѣтскій, причемъ, вопреки природѣ и наперекоръ разуму, за труднымъ до изнуренія дѣтствомъ послѣдуетъ легкое отрочество.—Нѣтъ, конечно; ни то, ни другое средство не годится, а будетъ примѣнено третье, тѣмъ болѣе что оно имѣетъ у насъ очень прочный историческій и бытовой фундаментъ: это средство—протекція или взятка. Это будетъ тоже своего рода подборъ, но уже не подборъ естественный, ведущій къ совершенствованію, а коррупціонный, имѣющій послѣдствіемъ вырожденіе.—Впрочемъ, долго ему торжествовать не придется: не допуститъ этого тотъ призракъ, который я уже вызывалъ передъ вами, и о существованіи котораго забывать не годится. Примѣръ 18-го вѣка во Франціи знаменателенъ: если привилегированный классъ вздумаетъ упразднить или облегчить ту сумму труда, которая одна только и оправдываетъ его привилегіи, то онъ будетъ сметенъ революціей. Ради Бога, не требуйте и не вводите легкой школы; легкая школа—это соціальное преступленіе.

И вотъ почему я, какъ это ни было больно, предостерегалъ васъ отъ увлеченія чувствомъ гуманности и состраданія къ товарищамъ-неудачникамъ; эта гуманность—близорукая, кастовая, буржуазная гуманность. Вамъ жаль тѣхъ товарищей, которые, поступивъ вмѣстѣ съ вами въ гимназію, вслѣдствіе недостатка трудолюбія или способностей не кончаютъ ее вмѣстѣ съ вами; и мнѣ ихъ жаль—но мнѣ гораздо болѣе жаль тѣхъ вашихъ сверстниковъ, которые, несмотря на свое трудолюбіе и способности, въ силу внѣшнихъ условій остались за дверьми средней школы. Ихъ неудача гораздо прискорбнѣе неудачи тѣхъ первыхъ, такъ какъ отъ нея страдаетъ само общество, межъ тѣмъ какъ отъ неудачи тѣхъ первыхъ страдаютъ только

они сами; неудача способныхъ—тормазъ прогресса; неудача неспособныхъ—орудіе прогресса.

Вотъ почему идеаломъ школьной организаціи будетъ такая постановка дѣла, при которой неудачи трудолюбивыхъ и способныхъ учениковъ будутъ невозможны, хотя бы для этого и пришлось увеличить процентъ неудачъ нерадивыхъ и неспособныхъ; этотъ идеалъ будетъ достигнутъ, какъ и вообще всякій идеалъ, дѣйствіемъ обоихъ могучихъ рычаговъ прогресса, дифференціаціи и интеграціи. Требованіе дифференціаціи—возможное разнообразіе типовъ средней школы: есть у насъ школы классическія, реальныя, профессіональныя разныхъ категорій—и прекрасно; чѣмъ больше будетъ этихъ типовъ, тѣмъ больше шансовъ, что всякій способный мальчикъ найдетъ тотъ, который будетъ соотвѣтствовать его способностямъ. Требованіе интеграціи—соединеніе всѣхъ типовъ низшихъ, среднихъ и высшихъ школъ въ одинъ организмъ, одно величественное дерево. Корнями этого дерева будутъ низшія школы, городскія и сельскія; глубоко проникая въ народъ, онѣ должны отыскивать способныхъ къ умственному труду людей и доводитъ ихъ, по мѣрѣ ихъ способностей, до ствола, вѣтвей и верхушки дерева. Такая школа будетъ истинно народной—т.-е. по мысли поэта той, „что выводитъ изъ народа столько добрыхъ...“—чего пока про нашу школу сказать еще нельзя, а про проектируемую нѣкоторыми легкую школу никогда нельзя будетъ сказать. Легкая школа—это школа для барчуковъ, какое-то нелѣпое и оскорбительное возрожденіе крѣпостного права на капиталистической подкладкѣ.

И когда мы приблизимся къ тому идеалу, который я вамъ изображаю, тогда и вопросъ о неудачникахъ получитъ свое, хотя и не вполнѣ насъ удовлетворяющее, но все же нормальное разрѣшеніе. Ты не успѣваешь въ классической школѣ? попытай счастья въ реальной. Не выносишь реальной? переходи въ классическую. Ни здѣсь, ни тамъ не находишь себѣ мѣста? выбирай профессіональную по своему вкусу. Ты въ этихъ поискахъ потеряешь годъ-два своей жизни; что дѣлать, пеняй на себя или на своихъ родителей, что они не сразу нашли ту школу, для которой ты годишься. Или, можетъ быть, такой и нѣтъ вовсе? Ты неспособенъ къ умственному труду? Пере-

ходи въ мастерскую, поступай юнгой во флотъ, вернись къ матери-землѣ; не будешь офицеромъ, будешь рядовымъ въ арміи труда. Ты и къ физическому труду неспособенъ? ты слабъ, тщедушенъ, увѣченъ — или, можетъ быть, непреодолимо вялъ и лѣнивъ? Тогда, бѣдняга... мнѣ страшно сказать, что тогда, но вы понимаете сами, какъ за меня отвѣтитъ въ этомъ случаѣ законъ подбора: „тогда — умри...“

Должны, можемъ ли мы съ этимъ закономъ мириться?

Господа, мы затронули тутъ очень важный вопросъ; между тѣмъ времени у насъ осталось мало, а намъ предстоитъ обсудить еще одинъ упрекъ по адресу античности — а именно, что она *ретроградна*. Но, быть можетъ, вы уволите меня отъ обстоятельнаго обсужденія этого пункта и отъ обязанности доказывать вамъ, что античность, этотъ источникъ всѣхъ освободительныхъ идей, которыми живетъ наша цивилизація, никакъ не можетъ быть названа ретроградной. Да я думаю, это достаточно уже доказано въ предыдущихъ моихъ лекціяхъ; много ли вы нашли въ нихъ ретрограднаго? — Но, спросите вы, какъ же могло возникнуть это мнѣніе? Прежде всего, я думаю, какой-нибудь чиновникъ, не видѣвшій свѣта изъ-за своего зеленаго стола, могъ возымѣть геніальную идею, что съ помощью перфектовъ и супиновъ можно противодѣйствовать революціоннымъ наклонностямъ общества; такъ точно, вѣдь, и въ средніе вѣка, когда право на существованіе наукъ видѣли въ ихъ религіозно-нравственномъ воздѣйствіи, ариѳметикѣ ставилось въ заслугу то, что она отвлекаетъ умы людей отъ грѣшныхъ мыслей. А затѣмъ армія суетливыхъ публицистовъ, испугавшихся за либерализмъ своихъ будущихъ читателей, стала винить за эту идею ни въ чемъ неповинную античность. Который изъ нихъ былъ умнѣе, не знаю; но правъ, пожалуй, Цицеронъ, сказавшій въ схожемъ случаѣ: „Если согласно извѣстному изреченію самый мудрый человѣкъ тотъ, кто самъ можетъ придумать, что надо, а ближе всѣхъ къ нему по мудрости тотъ, кто повинуется мудрымъ совѣтамъ другого — то въ противоположномъ качествѣ дѣло обстоитъ наоборотъ: менѣе глупъ тотъ, кто ничего путнаго придумать не можетъ, чѣмъ тотъ, кто одобряетъ придуманную другимъ нелѣпость“. А что въ данномъ случаѣ дѣйствительно рѣчь идетъ о противоположномъ мудрости

качествѣ, это вы можете заключить изъ того, что это обвиненіе античности въ ретроградствѣ раздается только у насъ въ Россіи; я думаю, если бы перфектамъ и супинамъ дѣйствительно была свойственна та чудодѣйственная консервативная сила, которую имѣетъ въ виду лубочная психологія этихъ господъ, то хитроумный западъ врядъ ли предоставилъ бы имъ честь этого открытія.

А затѣмъ позвольте сдать всю эту нелѣпость въ архивъ и вернуться къ затронутому только-что интересному и важному вопросу.

Рѣчь шла у насъ о соціологическомъ значеніи средней школы вообще и классической школы въ частности; это значеніе заключается, какъ мы видѣли, въ выдѣленіи «кандидатовъ въ офицеры арміи труда», т.-е. въ выдѣленіи способныхъ къ умственному труду изъ числа всѣхъ призванныхъ или желающихъ. Для этого школа должна быть болѣе или менѣе трудной — легкая школа предполагаетъ и легкій трудъ, а изобрѣсть таковой предоставляется тому, кто изобрѣтетъ также и прохладный огонь и теплый снѣгъ: трудъ, поскольку онъ *трудъ*, всегда будетъ *труденъ*. — На меня нападали за эту соціологическую роль, которую я, будто бы, навязываю школѣ; значитъ, спрашивали, школа по-вашему должна быть рѣшетомъ? Я ничего не имѣю противъ того, чтобы склонные къ пустосмѣшеству люди представляли себѣ мою школу хотя бы подъ символомъ рѣшета: требую, однако, чтобы они то же рѣшето возвели въ символъ также и всей жизни, всей природы. Вездѣ, гдѣ только есть жизнь, ведется борьба за нее, причемъ жизнеспособные организмы выживаютъ, нежизнеспособные вымираютъ; школа, если она хочетъ быть живой, не можетъ уклониться отъ общаго закона жизни. Но я протестую противъ мысли, что я навязываю школѣ эту роль, какъ такую, которую она должна исполнять непосредственно и сознательно. Нѣтъ, господа; эта мысль основана на непониманіи той *гетерогеніи цѣлей*, о которой я говорилъ вамъ въ первой лекціи, которая сказывается вездѣ тамъ, гдѣ дѣйствуетъ законъ подбора, и состоитъ, какъ помните, въ несоотвѣтствіи сознательной и непосредственной цѣли — цѣли безсознательной и косвенной. Сознательно и непосредственно школа должна стремиться лишь къ одному — къ

образованію своихъ питомцевъ; о другомъ ей и думать нечего. Но именно этимъ самымъ, ведя своихъ питомцевъ къ извѣстному уровню образованія и, стало быть, отпуская тѣхъ, для коихъ этотъ уровень не достижимъ—этимъ самымъ она, сама того не сознавая, служитъ и цѣлямъ подбора. И горе ей, если она, придя къ сознанію этого своего невольнаго, косвеннаго назначенія вздумаетъ отказаться отъ него и соотвѣтственно измѣнить свою прямую, образовательную цѣль: такая школа будетъ неминуемо сметена съ арены другой школой, болѣе серьезно относящейся къ своимъ обязанностямъ. Да, мы имѣемъ передъ собой рѣзкую, но несокрушимую дилемму: школа будетъ либо орудіемъ подбора, либо его жертвой.

Но что же мы, въ концѣ концовъ, будемъ дѣлать съ нашимъ неудачникомъ? Мы пробовали его пристроить въ различнаго рода школахъ, подъ конецъ и къ физическому труду—вездѣ онъ оказался неспособнымъ. Что же, подпишемъ мы суровый приговоръ ему закона подбора—приговоръ: „умри"?

Нѣтъ; нашъ законъ нуждается въ дополненіи. Конечно, на всемъ пространствѣ живого міра царствуетъ борьба за существованіе и ея послѣдствіе, выживаніе жизнеспособныхъ, естественный подборъ; въ одномъ только человѣческомъ обществѣ этотъ законъ скрещивается съ другимъ, важнымъ и могучимъ принципомъ—съ принципомъ любви. Это, конечно, не исключеніе — такого законъ подбора не допускаетъ, — а наивысшее развитіе: любовь снизошла на землю не для того, чтобы нарушить нашъ законъ, но для того, чтобы исполнить его. Законъ подбора ведетъ человѣчество къ совершенствованію; совершенствованіе же бываетъ не только физическое и умственное, но и нравственное. Какъ въ дрожащемъ съ усиливающейся быстротой стержнѣ по достиженіи извѣстнаго предѣла быстроты зарождается новая сила, и онъ начинаетъ свѣтиться, — такъ точно и въ человѣческомъ обществѣ по достиженіи извѣстной степени культурнаго прогресса возжигается нѣчто новое и чудесное—нравственный законъ, который велитъ человѣку любить своего ближняго, не толкать падающаго, чтобы самому было вольнѣе, а напротивъ, протянуть руку помощи, подѣлиться съ нимъ своимъ избыткомъ. Пусть первобытныя общества убиваютъ неспособныхъ къ физическому труду стариковъ, какъ лишнюю

обузу, повинуясь одному только закону борьбы за существованіе—мы, культурное общество, дѣлимся со своими стариками своимъ трудовымъ хлѣбомъ, потому что любимъ ихъ. И когда намъ говорятъ: „зачѣмъ вы это дѣлаете? Что̀ падаетъ, то слѣдуетъ толкать — въ видахъ достиженія еще бо̀льшаго физическаго и умственнаго совершенства; поступая иначе, вы осуждаете себя на вырожденіе!" — мы отвѣчаемъ: „нѣтъ! мы не желаемъ такого физическаго и умственнаго совершенствованія, которое окупается цѣною нравственнаго вырожденія". Такъ же поступаемъ мы и съ нашими неудачниками; мы ихъ не истребляемъ, а заботимся о нихъ. Мы строимъ больницы для неудачниковъ физической жизни — больныхъ; убѣжища для неудачниковъ умственной жизни — идіотовъ и умалишенныхъ; тюрьмы для неудачниковъ нравственной жизни—преступниковъ; мы стараемся, чтобы имъ тамъ жилось сносно. Такъ-то внутри главной части нашего общества, живущаго по трудовой системѣ, прозябаетъ болѣе или менѣе значительное число людей, не участвующихъ въ общемъ трудѣ, людей, существованіе которыхъ оправдывается и нормируется такъ называемой каритативной системой; это — обозъ арміи труда. Мы дѣлимся съ ними своимъ избыткомъ, но не болѣе: нельзя допустить, чтобы жизненные соки здоровыхъ, трудоспособныхъ организмовъ шли на неудачниковъ — тогда дѣйствительно наступило бы то вырожденіе, которымъ насъ пугаютъ. Мы должны болѣе или менѣе искусно лавировать между двумя вырожденіями—вырожденіемъ нравственнымъ при чрезмѣрно крутомъ проведеніи закона борьбы за существованіе и пренебреженіи къ закону любви, и вырожденіемъ физическимъ и умственнымъ при увлеченіи этимъ послѣднимъ закономъ.

Теперь нашъ отвѣтъ готовъ. Мы не подпишемъ того суроваго приговора „умри", который законъ подбора произнесъ нашему неудачнику; мы скажемъ ему: „ступай въ обозъ; тамъ ты получишь средства къ болѣе или менѣе сносному прозябанію — но, конечно, не болѣе". Разумѣется, отраднаго тутъ мало; что дѣлать, мы при всемъ желаніи не можемъ устранить мрачныхъ сторонъ нашей жизни. И то будетъ хорошо, если намъ удастся въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ осуществить тотъ идеалъ, о которомъ говорится здѣсь — идеалъ ра-

зумной школьной организаціи при послѣдовательномъ и полномъ проведеніи какъ дифференціаціоннаго, такъ и интеграціоннаго принциповъ, съ обезпеченіемъ всѣмъ способнымъ и трудолюбивымъ людямъ соотвѣтственнаго ихъ пригодности мѣста въ арміи труда; и это будетъ огромнымъ прогрессомъ въ сравненіи съ тѣмъ, что̀ было и что̀ есть.

Прогрессомъ, да; это слово — настоящій заключительный аккордъ въ той симфоніи мыслей и чувствъ, которую я хотѣлъ вызвать въ васъ. Прогрессъ — лозунгъ той культуры, которая коренится въ античности; къ нему сводится вся та игра идей, которыя намъ завѣщала античность, или на которыя она натолкнула насъ во время нашего полуторатысячелѣтняго симбіоза съ ней; ему же служитъ и школа, имѣющая въ своемъ центрѣ античность, не только прямо, какъ разсадникъ прогрессивныхъ идей, но и косвенно, какъ орудіе соціологическаго подбора. Долго, очень долго одинъ только Западъ былъ носителемъ прогрессивныхъ идей — тотъ западъ, который одинъ и воспринялъ античность, какъ главную движущую силу своей культуры. На Востокѣ мы имѣли и имѣемъ не то — странную жизнь, тоже культурную, но основанную на предположеніи необходимости сходства завтрашняго дня съ сегодняшнимъ и вчерашнимъ. Удивительное впечатлѣніе производитъ въ сравненіи съ вѣчно мечущейся, вѣчно безпокойной мыслью Запада это величавое спокойствіе Востока, это безсознательное убѣжденіе, что все достижимое уже достигнуто, что стремиться дальше праздно, неразумно, грѣшно. — Россія поставлена исторіей какъ разъ на грани между Западомъ и Востокомъ; здѣсь сталкиваются оба идеала. Россія — единственная изъ странъ европейской культуры, гдѣ оспаривался прогрессъ и его необходимость, оспаривался законъ подбора и его цѣль, оспаривалась трудовая система общественной организаціи, оспаривались науки и искусства; гдѣ на тревожный вопросъ „да вѣдь это ведетъ къ вырожденію, къ вымиранію!“ слѣдовалъ спокойно-величавый отвѣтъ: „Такъ что же? И будемъ вырождаться и вымирать!“ Противъ этой точки зрѣнія я безсиленъ; всѣ мои доводы въ пользу античности имѣли основаніемъ вѣру въ прогрессъ, въ его возможность и необходимость. Рѣшитесь отрицать прогрессъ — и все, что я сказалъ, будетъ опровергнуто.

Что же, начать намъ новое разсужденіе на новую, всеобъемлющую тему? Нѣтъ; надо когда-нибудь и перестать. Всякая мысль, будучи додумана до конца, поднимаетъ вереницу новыхъ мыслей; если то же самое произойдетъ и здѣсь, съ вами, то это будетъ только хорошо для васъ. Я уже приглашалъ васъ видѣть въ античности не норму, а сѣмя; само собою разумѣется, что я и для своихъ лекцій объ античности не могу требовать бо̀льшаго. Пусть и онѣ будутъ сѣменемъ мысли для васъ; надѣюсь, когда-нибудь, если и не сейчасъ, это сѣмя взойдетъ и дастъ плоды... быть можетъ, вы тогда уже забудете о томъ, что было предметомъ нашихъ бесѣдъ, вы будете радоваться взошедшему житу, будете считать его своей полной собственностью — и вы будете правы: то, что человѣкъ въ себѣ переработалъ, изъ себя выработалъ, составляетъ его неотъемлемую собственность, другой умственной собственности и не бываетъ. — И все же мнѣ не хотѣлось бы оборвать свои лекціи на вопросительномъ знакѣ; но такъ какъ вы утомились, да и я утомился, то я послѣдую примѣру моего любимца Платона и заключу разсужденіе на затронутую только что тему въ рамку «миѳа» — т.-е., по-нашему, притчи. Итакъ, вотъ вамъ, на прощаніе и на добрую память, моя притча о прогрессѣ.

Когда совершилось грѣхопаденіе ангеловъ, и дерзновенный замыселъ понесъ заслуженную кару, то двое изъ падшихъ — то были Оріенцій и Окциденцій, — будучи менѣе виновны, были признаны достойными пощады. Они не были отвержены навѣки; имъ было дозволено искупить свой грѣхъ тяжелымъ подвигомъ съ тѣмъ, чтобы по его исполненіи вернуться въ небесную обитель. Подвигъ же состоялъ въ томъ, чтобы пройти пѣшкомъ, съ посохомъ въ рукѣ, путь во много милліоновъ миль. Когда этотъ приговоръ былъ имъ объявленъ, то старшій изъ нихъ, Оріенцій, взмолился къ Творцу и сказалъ: „Господи, окажи мнѣ еще одну милость: дай, чтобы мой путь былъ прямъ и ровенъ, чтобы никакія горы и долы не затрудняли меня, и чтобы я видѣлъ передъ собою конечную цѣль, къ которой направляюсь!“ — „Твоя просьба будетъ исполнена“, сказалъ ему Творецъ; затѣмъ, обратясь къ другому, спросилъ его: „А ты, Окциденцій, ничего не желаешь?“ Тотъ отвѣтилъ: „Нѣтъ, ни-

чего". Съ тѣмъ ихъ и отпустили. Тутъ мракъ забытья ихъ окуталъ; когда они пришли въ себя, они очутились каждый на томъ мѣстѣ, съ котораго имъ слѣдовало начать свое странствіе.

Оріенцій всталъ и оглянулся: недалеко отъ него лежалъ посохъ, кругомъ тянулась, точно сонное море, необозримая, плоская и гладкая равнина, надъ ней — голубое небо, безпредѣльное и однообразно-безоблачное; только въ одномъ мѣстѣ, далеко, на самомъ краю горизонта, свѣтилась бѣлая заря. Онъ понялъ, что это и есть то мѣсто, куда ему должно направлять свои шаги; схватилъ посохъ, пошелъ впередъ, пространствовалъ день-другой, затѣмъ опять оглянулся кругомъ — ему показалось, что разстояніе, отдѣлявшее его отъ его цѣли, не уменьшилось ни на шагъ, что онъ все еще стоитъ на томъ же мѣстѣ, что его окружаетъ все та же необозримая равнина, что и раньше. „Нѣтъ", сказалъ онъ уныло, „этого разстоянія мнѣ ввѣкъ не пройти". Съ этими словами онъ бросилъ посохъ, опустился безнадежно на землю и заснулъ. Заснулъ онъ надолго — вплоть до нашихъ дней.

Въ одно время со старшимъ братомъ проснулся и Окциденцій. Всталъ, оглянулся — за нимъ море, передъ нимъ оврагъ, за оврагомъ лѣсокъ, за лѣскомъ холмикъ, на холмикѣ точно бѣлая заря горитъ. „Только то!" воскликнулъ онъ весело, „да тамъ я до вечера буду!" Схватилъ лежавшій у его ногъ посохъ, отправился въ путь; дѣйствительно, вершины холмика онъ достигъ еще до вечера, но тамъ онъ увидѣлъ, что ошибался. Это ему только издали такъ показалось, что заря горитъ на холмикѣ, на самомъ же дѣлѣ на немъ ничего не было, кромѣ нѣсколькихъ яблонь, плодами которыхъ онъ утолилъ голодъ и жажду; а по ту сторону былъ спускъ, внизу текла рѣчка, за рѣчкой подымалась горка, а на горкѣ сіяла все та же бѣлая заря. „Ну, что же", сказалъ Окциденцій, „отдохну, а затѣмъ въ путь; дня черезъ два буду тамъ, и тогда — прямо въ рай". Опять разсчетъ оказался вѣрнымъ, только рая онъ опять не нашелъ: за горкой была новая, широкая долина, за долиной болѣе высокая гора, вершину которой вѣнчало сіяніе знакомой зари. Конечно, нашъ странникъ почувствовалъ нѣкоторую досаду, но не надолго: гора неотразимо манила къ себѣ, тамъ-то ужъ навѣрно были ворота въ рай. И такъ все дальше и дальше, день за днемъ, недѣля за недѣлей, мѣсяцъ за мѣсяцемъ, годъ за годомъ, вѣкъ за вѣкомъ; надежда смѣняется разочарованіемъ, изъ разочарованія выростаетъ новая надежда. Онъ шествуетъ и понынѣ; овраги, рѣки, скалы, непроходимыя болота затрудняютъ его путь; много разъ онъ заблуждался, теряя путеводное сіяніе, совершалъ обходы, возвращался назадъ, пока ему не удавалось вновь примѣтить отблеска вожделѣнной зари. И теперь онъ бодро, со своимъ вѣрнымъ посохомъ въ рукѣ, взбирается на высокую гору; имя ей — «соціальный вопросъ». Гора крутая и утесистая, много ему приходится преодолѣвать промоинъ и чащъ, отвѣсныхъ стѣнъ и пропастей, но онъ не отчаивается: онъ видитъ передъ собою сіяніе зари и твердо увѣренъ, что стоитъ ему добраться до вершины — и ворота рая откроются передъ нимъ.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

Вильгельмъ Вундтъ и психологія языка.

(1901).

I.

Вундтъ какъ ученый.— Психоматеріалисты и физіоматеріалисты.—Принципъ актуальности и принципъ самобытности психической причинности.—Народная психологія, какъ продолженіе психологіи индивидуальной.—Возникновеніе и программа народной психологіи: Лацарусъ и Штейнталь.—Критика этой программы: Пауль.—Реабилитація народной психологіи.—Ея области: языкъ, религіи, нравы.

Условія индивидуальной научной работы, если ставить къ ней одновременно требованія и самостоятельности и цѣльности, въ настоящее время менѣе благопріятны, чѣмъ когда-либо. Матеріальное обогащеніе сокровищницы знаній съ одной стороны, развитіе методовъ изслѣдованія съ другой—все это повело къ спеціализаціи ученаго труда, той роковой спеціализаціи, которая насъ душитъ, но освободиться отъ которой мы не въ состояніи, если не желаемъ жертвовать своею самостоятельностью, а съ нею и своими правами собственности на облюбованный нами клочокъ научной территоріи. Какъ городскіе обыватели нашихъ дней, вмѣсто домовъ, въ которыхъ жили ихъ предки, вынуждены ютиться въ квартирахъ и квартиркахъ огромныхъ каменныхъ сооруженій, точно такъ же и дѣятели науки средней руки работаютъ каждый въ своей болѣе или менѣе узкой спеціальности, часто даже не зная жильцовъ смежныхъ квартиръ общаго научнаго зданія.

Съ этимъ положеніемъ дѣлъ приходится мириться — оно неизбѣжно; а разъ примирившись, можно утѣшать себя мыслью

о его неоспоримой пользѣ для науки вообще и, слѣдовательно, для человѣчества, и сверхъ того — если мы оптимисты — устраивать себѣ по мѣрѣ своихъ силъ свое «счастіе въ уголкѣ». Но чѣмъ болѣе человѣческая натура склонна къ этому послѣднему исходу, тѣмъ прекраснѣе и величественнѣе представляется намъ зрѣлище тѣхъ немногихъ «непримиримыхъ» избранниковъ науки, которые, нигдѣ не жертвуя своей творческой самобытностью, силою своей мысли сумѣли восторжествовать надъ специализаціей; ихъ творенія производятъ впечатлѣніе барскихъ хоромъ между каменными муравейниками обывателей средней руки.

Къ этимъ избранникамъ принадлежитъ и Лейпцигскій профессоръ Вильгельмъ Вундтъ; изъ философовъ нашего времени онъ и Гербертъ Спенсеръ — единственные, которые, задавшись идеей цѣльной, объединяющей всѣ науки философской системы, сумѣли или почти что сумѣли довести свою задачу до конца. Конечно, это „почти что“ звучитъ угрожающей ноткой, когда рѣчь идетъ о семидесятилѣтнемъ старцѣ: между тѣмъ какъ зданіе «синтетической философіи» достроено, въ системѣ Вундта не хватаетъ еще нѣсколькихъ существенныхъ частей. Все же его поразительное трудолюбіе позволяетъ намъ надѣяться, что и онъ не оставитъ своего творенія неоконченнымъ; а съ другой стороны не слѣдуетъ забывать, что уже и теперь трудъ жизни Вундта, благодаря завершенію столькихъ капитальныхъ отдѣловъ, представляетъ изъ себя довольно опредѣленную научную величину, а съ выпускомъ въ свѣтъ перваго тома его «народной психологіи», имѣющаго содержаніемъ „языкъ“, начата постройкой и послѣдняя часть, долженствующая увѣнчать все зданіе.

Этотъ трудъ о языкѣ, появившійся всего нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, [1]) и подалъ поводъ къ настоящей статьѣ. Но такъ какъ самый терминъ «народная психологія» представляется спорнымъ, и не сразу понятно, какое отношеніе наука о языкѣ можетъ имѣть къ философіи, то будетъ не лишне начать съ характеристики общей системы Вундта.

[1]) Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwickelungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte von Wilhelm Wundt. Erster Band: die Sprache. Leipzig. Engelmann 1900. (2-е изд. 1904) въ двухъ частяхъ: 627+644 стр.)

Я только что сопоставилъ Вундта со Спенсеромъ; это сопоставленіе оправдывается также и тѣмъ, что и Вундтъ, подобно Спенсеру, кладетъ опытъ въ основу познанія. Этимъ онъ существенно отличается отъ традиціоннаго въ его отечествѣ пути философскаго мышленія; все же было бы несправедливо видѣть въ этомъ основномъ его направленіи уступку англійской философіи: оно было естественнымъ послѣдствіемъ развитія, съ одной стороны, Вундта, какъ ученаго, а съ другой — тѣхъ наукъ, съ изученія которыхъ онъ началъ свою научную карьеру. Онъ былъ первоначально медикомъ; изъ его учителей наибольшее вліяніе оказалъ на него знаменитый берлинскій біологъ Іоганъ Мюллеръ, во всеобъемлющемъ умѣ котораго впервые блеснула мысль о распространеніи физіологическаго, экспериментальнаго метода изслѣдованія также и на психическія явленія. Конечно, это распространеніе коснулось прежде всего смежной съ физіологіей области психологіи — теоріи ощущеній. Мысль эта стала рѣшающей для всей дальнѣйшей научной дѣятельности Вундта: развивая ее послѣдовательно, онъ сталъ основателемъ *экспериментальной психологіи*. Эта область — центральная въ его умственной территоріи. Правда, онъ не ограничился изслѣдованіями психологическаго характера — всѣмъ извѣстна его обширная трехтомная «логика», небезызвѣстна и его «этика», а также и его метафизическая теорія, вошедшая въ составъ его «системы» философіи. Но для всѣхъ этихъ трудовъ психологія была точкой отправленія, она же наложила на нихъ свою печать: какъ въ логикѣ главнымъ предметомъ вниманія Вундта былъ субъективный процессъ мышленія, такъ точно и его метафизика была плодомъ его размышленій о психологической причинности въ ея соотношеніи съ физической; что же касается его этики, то изученіе *совершающагося* въ области психики само собою наводило на размышленіе о допустимости или недопустимости, рядомъ съ нимъ, также и *долженствующаго совершаться*, вопросъ, рзрѣшенный Вундтомъ въ положительную сторону.

Итакъ, психологія — центральная область въ философіи Вундта; какъ психологъ, онъ занимаетъ среднее мѣсто между матеріалистами обѣихъ крайнихъ категорій — психоматеріалистами и физіоматеріалистами, какъ мы ихъ можемъ назвать.

Первые видятъ въ психологіи науку, изучающую функціи единаго, хотя и невещественнаго субъекта, души — подобно тому, какъ физіологія изучаетъ функціи тѣла; по мнѣнію Вундта, напротивъ, душа, какъ объектъ психологіи, сводится къ связи явленій сознанія, и параллелизмъ между психологіей и физіологіей страдаетъ неполнотой: между тѣмъ какъ физіологія имѣетъ дѣло и съ функціями, и съ ихъ субстратомъ (и поэтому основана на обоихъ принципахъ *субстанціальности и актуальности*) — психологія имѣетъ своимъ объектомъ однѣ только функціи, своей основой — одинъ только принципъ актуальности. — Вторые, напротивъ, отказываются признать психическую причинность рядомъ съ физической. По ихъ мнѣнію психическія явленія — не что иное, какъ отраженія явленій физіологическихъ, неразрывно связанныя съ этими послѣдними *и поэтому* не связанныя другъ съ другомъ — иначе пришлось бы признать двойную обусловленность психическихъ явленій, что невозможно. Въ отличіе отъ нихъ Вундтъ признаетъ самобытность психической причинности рядомъ съ физіологической. — Нетрудно убѣдиться, что въ обоихъ случаяхъ Вундтъ имѣетъ какъ будто здравый смыслъ противъ себя; „невозможность функцій безъ субстрата", „невозможность двойной обусловленности" — это возраженія, сразу подсказываемыя разсудкомъ, и Вундту нерѣдко приходилось ихъ выслушивать изъ устъ своихъ противниковъ того и другого лагеря. Но онъ остался вѣренъ тому методу, который онъ первый сознательно и послѣдовательно ввелъ въ психологическую науку — методу экспериментальному, не допуская раціонализма въ подвластной опыту области. Опытъ въ психологіи обнаруживаетъ только явленія, только функціи, а не какой бы то ни было субстратъ таковыхъ; тотъ же опытъ доказываетъ и существованіе психической причинности, какъ таковой, хотя, и въ извѣстной связи съ причинностью физіологической. Съ этимъ приходится считаться; если же эти результаты противорѣчатъ тому, что мы называемъ здравымъ смысломъ, то примиренія слѣдуетъ искать въ той области философіи, которая одинаково властвуетъ и надъ психологіей и надъ всѣми науками внѣшняго міра — въ метафизикѣ.

Этими двумя положеніями Вундтъ проложилъ себѣ дорогу

къ *народной психологіи*, какъ къ продолженію и дополненію психологіи *индивидуальной*; можно смѣло сказать, что только съ его точки зрѣнія «народная психологія», какъ наука, оказывается возможной. Но для того, чтобы обосновать это положеніе, мы должны сначала спросить себя, чѣмъ была народная психологія во мнѣніи тѣхъ, которымъ эта область знанія обязана своимъ происхожденіемъ и развитіемъ.

Это были, какъ извѣстно — Лацарусъ и Штейнталь; въ первомъ томѣ издаваемаго ими журнала «Zeitschrift für Völkerpsychologie» они начертали обширную програму своей новой науки. Согласно общему опредѣленію этого понятія, «народная психологія» должна относиться къ отдѣльнымъ народамъ и къ человѣчеству въ его совокупности такъ же, какъ психологія, обыкновенно такъ называемая, относится къ отдѣльному человѣку; она распадается поэтому на двѣ отдѣльныя науки: во-первыхъ, на науку объ условіяхъ духовной жизни общества, во-вторыхъ, на науку объ особенностяхъ духовнаго характера отдѣльныхъ народовъ. — Журналъ обоихъ только что названныхъ ученыхъ быстро пріобрѣлъ симпатіи ученаго міра и занялъ прочное положеніе въ наукѣ; со всѣмъ тѣмъ нельзя было не признать, что его программа грѣшила отсутствіемъ выдержанности. Въ критикахъ, поэтому, недостатка не было. образцомъ этихъ критикъ можетъ служить хорошо извѣстное и у насъ сочиненіе мюнхенскаго германиста Пауля «Principien der Sprachwissenschaft». Пауль указываетъ прежде всего на принципіальную разнородность обѣихъ наукъ, которыя Лацарусъ и Штейнталь соединяютъ подъ общимъ именемъ народной психологіи; дѣйствительно, если дѣлить науки на науки о законахъ («номологическія») и науки о явленіяхъ («феноменологическія») то окажется, что изъ обѣихъ частей народной психологіи первая относится къ первому, а вторая ко второму разряду. Это бы еще не бѣда; хуже то, что ни та, ни другая не можетъ быть поставлена въ разумное отношеніе къ индивидуальной психологіи. О второй это доказать не трудно: „характеристика отдѣльныхъ народовъ, — говоритъ Пауль, — можетъ соотвѣтствовать только характеристикѣ отдѣльныхъ индивидуевъ, а эту послѣднюю не принято называть психологіей". Это — безусловно справедливо: съ этимъ согласенъ и Вундтъ. „Специ-

альная психологія народовъ въ *этомъ* смыслѣ,—говоритъ онъ въ своемъ новомъ сочиненіи (I, 3),—пытается создать для этнологическихъ типовъ то же, что общая характерологія (лучше этологія) для индивидуальныхъ разновидностей духовной природы человѣка"—и замѣчаетъ вполнѣ основательно, что эту науку слѣдуетъ вернуть этнологіи, къ которой она относится, какъ часть къ цѣлому. Итакъ, остается только первая часть опредѣленія Лацаруса и Штейнталя—«наука объ условіяхъ (лучше: законахъ) духовной жизни общества»; но и ея критика не пощадила. Основатели народной психологіи подолгу распространялись о „духѣ совокупности (въ абсолютномъ смыслѣ), отличномъ отъ духа всѣхъ составляющихъ эту совокупность индивидуевъ", о „духѣ народа, какъ источникѣ всѣхъ явленій, которыя входятъ въ народную психологію" и т. д. Противъ этого возражали и понынѣ возражаютъ очень многіе; „это значитъ,—говоритъ Пауль,—затемнять настоящую суть явленій олицетвореніемъ цѣлаго ряда абстракцій. Всѣ психологическія явленія совершаются исключительно въ душѣ индивидуевъ; ни народный духъ, ни его элементы не имѣютъ конкретнаго бытія. Устранимъ, поэтому, всѣ эти абстракціи"! Съ ихъ устраненіемъ устраняется, по мнѣнію Пауля и многихъ другихъ, и самое понятіе «народная психологія»; но съ этимъ послѣднимъ результатомъ Вундтъ не согласенъ — и читатель тотчасъ увидитъ, что именно та точка зрѣнія, на которой онъ стоитъ въ индивидуальной психологіи, дозволяетъ ему отстаивать и понятіе народной психологіи, какъ таковой.

Противники народной психологіи оспариваютъ ея родство съ индивидуальной психологіей на томъ основаніи, что «народная душа», функціями которой могли бы быть народнопсихологическія явленія, не существуетъ, что она не болѣе какъ абстракція, ипостась, миѳъ. Это возраженіе допустимо только со стороны психоматеріалистовъ, признающихъ, какъ мы видѣли, особый субстрактъ душевныхъ явленій въ индивидуальной психологіи; но именно противъ этой точки зрѣнія и возстаетъ Вундтъ. „Очевидно, говоритъ онъ (I, 8), что авторы приведенныхъ возраженій сами не свободны отъ той миѳологической формы мышленія, которая, какъ они воображаютъ, скрывается за словомъ «народная душа». Понятіе

«душа» и у нихъ такъ неразрывно связано съ представленіемъ о матеріальномъ, надѣленномъ особымъ тѣломъ существѣ, что они считаютъ непозволительнымъ его употребленіе въ такомъ значеніи, которое исключаетъ эту связь; между тѣмъ для эмпирической психологіи душа никогда не можетъ быть чѣмъ-либо инымъ, кромѣ непосредственно данной связи психическихъ явленій"... Само собою разумѣется, что и народная психологія можетъ пользоваться понятіемъ «душа» только въ этомъ эмпирическомъ значеніи, и ясно, что въ этомъ смыслѣ понятіе «народная душа» имѣетъ такое же реальное значеніе какого для себя требуетъ «индивидуальная душа». Такимъ образомъ, опредѣленнымъ въ спорѣ съ психоматеріалистами понятіемъ «душа» спасено существованіе народной психологіи; точно также самобытность психологической причинности, оспариваемая физіоматеріалистами, гарантируетъ ей независимость ея научныхъ методовъ—и дѣйствительно Вундту не разъ приходилось въ своей народной психологіи и доказывать эту самобытность, и ссылаться на нее (особенно блестяще по вопросу о происхожденіи словъ I 491 сл., см. ниже, гл. 7).

Итакъ, народная психологія доказала свое право на существованіе, какъ наука; теперь требуется намѣтить вопросы, которые входятъ въ ея область, и заодно опредѣлить ея отношеніе къ индивидуальной психологіи. Обѣ эти задачи находятся въ связи одна съ другой. Въ качествѣ *народной* психологіи наша наука должна обнимать тѣ психологическія явленія, которыя представляются результатами совмѣстнаго существованія и взаимодѣйствія людей; но въ то же время она не можетъ захватывать тѣхъ областей, въ которыхъ сказывается преобладающее вліяніе личностей. Вотъ почему литература, искусство и т. д. остаются за рубежомъ народной психологіи, продолжая, однако, оставаться «областями примѣненія» (Anwendungsgebiete) психологіи вообще. За вычетомъ этихъ областей мы получаемъ слѣдующіе три естественныхъ и неотъемлемыхъ объекта народной психологіи: *языкъ*, *миѳъ* (съ началами религіи) и *нравы*. Эта тройственность не случайна: Вундтъ усматриваетъ органическую связь между намѣченными имъ областями народной психологіи и тремя категоріями, на которыя онъ, подобно Канту, раздѣляетъ явленія индивидуальной психологіи; эти три

категоріи—*ощущенія* (какъ первичные элементы представленій), *чувства* (какъ первичные элементы аффектовъ) и *волевые акты*. Есть несомнѣнная связь между представленіями и языкомъ—ихъ лучшимъ выраженіемъ; между аффектами и первобытной религіей, внушенной удивленіемъ, страхомъ, любовью; между волей и нравами, этимъ продуктомъ коллективной воли народа. Все же эта связь не столь исключительна, чтобы давать намъ право выводить напр. языкъ только изъ ощущеній и представленій—самъ Вундтъ въ объясненіи явленій языка въ достаточной мѣрѣ прибѣгаетъ къ содѣйствію и чувствъ, и воли, и нѣтъ сомнѣнія, что и при толкованіи миѳологіи и нравовъ, которое будетъ содержаніемъ дальнѣйшихъ томовъ капитальнаго труда, будетъ избѣгнута всякая доктринерская односторонность. Но объ этомъ говорить преждевременно; пока предъ нами только два объемистыхъ тома, посвященные психологіи языка. На нихъ мы и постараемся сосредоточиться.

II.

Вопросъ о языкѣ.—Философія языка и грамматика.—Вильгельмъ Гумбольдтъ и эволюціонный принципъ.—Біологическая теорія.—Ея критика.—Психологическая теорія.—Лингвисты-психологи и психологи-лингвисты.—Вундтъ, какъ психологъ-лингвистъ.—Возможность дальнѣйшаго прогресса.—Народно-психологическая точка зрѣнія въ противоположность къ индивидуально-психологической.

Вопросъ о языкѣ принадлежитъ къ самымъ стариннымъ проблемамъ, надъ разрѣшеніемъ которыхъ трудится человѣческій умъ. Родоначальники нашей науки, философы и ученые древней Греціи, отвели ему одно изъ первыхъ мѣстъ среди предметовъ общечеловѣческаго интереса; при этомъ они,—въ силу своей замѣчательной способности строить свои научные мосты заразъ съ обоихъ концовъ, метафизическаго и эмпирическаго,—занялись и ипотезами о происхожденіи языка какъ таковаго, и сортировкой словъ и оборотовъ въ своемъ родномъ греческомъ языкѣ. Усилія перваго разряда дали въ результатѣ величавую, хотя и туманную «философію языка», усилія второго—смиренную и сухую, но зато вполнѣ конкретную греческую грамматику, передавшую современемъ свой схематизмъ

латинской, а черезъ нее—и грамматикамъ новыхъ языковъ. При этомъ заслуживаетъ особаго вниманія устойчивость, обнаруженная обѣими частями лингвистической науки въ теченіе тысячелѣтій: какъ грамматическія категоріи Діонисія Ѳракійца—тѣ же, которымъ учатъ въ школѣ и нашихъ дѣтей, точно такъ же и древнегреческая постановка вопроса о происхожденіи языка—естественномъ или условномъ, physei или thesei—оставалась неизмѣнной вплоть до истекшаго XIX вѣка. Итакъ, съ одной стороны спекуляціи о возникновеніи языка, таившемся во геракѣ тысячелѣтій; съ другой,—каталогизація явленій развитыхъ языковъ—вотъ въ чемъ состояла наука о языкѣ въ ея высшей и низшей формѣ.

Впервые Вильгельмъ Гумбольдтъ понялъ, что между началомъ и концомъ стоитъ середина, и что въ этой серединѣ заключается, пожалуй, самая интересная проблема лингвистической науки; имъ впервые *эволюціонный принципъ* былъ примѣненъ къ объясненію явленій въ области языка, задолго до его перенесенія въ область біологическихъ наукъ. Начавшееся вскорѣ послѣ того быстрое развитіе сравнительнаго языкознанія дало этому принципу новую богатую пищу; а когда къ началу шестидесятыхъ годовъ эволюціонизмъ завоевалъ всю область естественной исторіи, то біологическая теорія развитія языка, въ лицѣ своего главнаго представителя Шлейхера, заняла прочное и, казалось, непоколебимое положеніе въ наукѣ. Согласно этой теоріи и языкъ какъ цѣлое и каждое его слово разсматривались какъ реально существующіе, самобытно развивающіеся организмы, законы развитія которыхъ надлежало опредѣлить; опредѣлялись же они на основаніи матеріала, доставляемаго самой лингвистикой, которая была, такимъ образомъ, самодовлѣющей наукой. Мы всѣ, люди нынѣ подвизающагося поколѣнія, выросли подъ болѣе или менѣе сознаваемымъ вліяніемъ этой теоріи; вслѣдствіе этой субъективной причины, но еще болѣе вслѣдствіе своей связи съ господствующимъ въ біологическихъ наукахъ теченіемъ, она кажется намъ вполнѣ естественной, и многіе даже не подозрѣваютъ, чтобы противъ нея возможны были возраженія.

А между тѣмъ эти возраженія не только возможны—они таковы, что, разъ услышавъ о нихъ, человѣкъ удивляется, какъ

это они ему самому не пришли въ голову. Возможно ли, въ самомъ дѣлѣ, сравнивать языкъ или слово съ организмомъ? Вѣдь организмъ—реально и независимо отъ насъ существующій предметъ, между тѣмъ какъ слово—порожденіе секунды, прекращающее свое существованіе, какъ только улеглись звуковыя волны, въ движеніи которыхъ состояла вся его жизнь. То, что біологическая теорія называла жизнью слова, есть собственно постоянное и многократное его *воспроизведеніе* говорящими; законы той жизни сводятся, поэтому, къ законамъ этого воспроизведенія; это законы отчасти физіологическіе, отчасти психологическіе. Эта точка зрѣнія возобладала къ концу семидесятыхъ годовъ; она господствуетъ и понынѣ въ т. наз. неограмматической школы. А такъ какъ изъ обѣихъ категорій законовъ рѣчи, физіологической и психологической, вторая естественно получила перевѣсъ надъ первой—физіологическія условія произношенія словъ уже вслѣдствіе своего относительнаго постоянства не могли содѣйствовать объясненію *развитія* языка—то новая теорія лингвистики, въ противоположность къ старой, біологической, носитъ названіе *теоріи психологической*. Подъ ея господствомъ лингвистика перестала быть самодовлѣющей наукой; ея представители—Бругманъ, Остгофъ, Пауль и др.—сплошь и рядомъ обращаются къ содѣйствію психологіи для объясненія явленій языка; чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе лингвистика превращается въ удѣлъ психологіи. И это произошло—на что слѣдуетъ обратить вниманіе—безъ всякихъ маломальски активныхъ завоевательныхъ попытокъ со стороны психологіи; сама лингвистическая наука въ силу внутреннихъ условій своего развитія обращалась къ психологіи съ предложеніемъ владѣть ею. До сихъ поръ психологія туго откликалась на ея предложенія; сами лингвисты должны были, чтобы оставаться хозяевами своей науки, запасаться необходимыми психологическими свѣдѣніями, что было въ сущности, въ виду разрозненности и неустойчивости возникающихъ психологическихъ теорій, и нелегкимъ и рискованнымъ дѣломъ.

При такихъ условіяхъ значеніе новаго труда Вундта станетъ еще очевиднѣе: въ его лицѣ впервые психологія и притомъ психологія экспериментальная, т.-е. самая прочная и богатая надеждами психологическая система, пошла навстрѣчу

лингвистикѣ. Важна тутъ однако не столько сама мысль, какъ она ни существенна, сколько способъ ея исполненія. Кто знаетъ Вундта, тотъ заранѣе будетъ увѣренъ, что каждая строка его труда окажется написанной въ сознаніи той огромной отвѣтственности, которая въ глазахъ добросовѣстныхъ людей является неотъемлемой спутницей огромнаго авторитета. Позволимъ себѣ въ третій разъ сопоставить Вундта со Спенсеромъ. Я ничуть не намѣренъ умалять ни капитальныхъ заслугъ, ни исполинскаго трудолюбія этого послѣдняго; но лингвисты знаютъ, какъ легкомысленно онъ воспользовался явленіями языка, чтобы въ нихъ прослѣдить свои принципы дифференціаціи и интеграціи. Ничего подобнаго нельзя сказать про Вундта. Его разсужденія покоятся на самомъ широкомъ и прочномъ лингвистическомъ базисѣ; можно съ увѣренностью сказать, что многіе, называющіе себя линвистами, не обладаютъ и десятой долей тѣхъ знаній, которыя сосредоточены въ его трудѣ о языкѣ. А каковъ этотъ базисъ—это станетъ ясно, если вспомнить, что Вундтъ въ силу самаго характера своей задачи не могъ ограничиться одной какой-нибудь группой языковъ; его матеріалы заимствованы не только изъ индоевропейскихъ и семитскихъ языковъ, не только изъ языковъ ближняго и дальняго Востока—имъ привлечены всѣ говоры африканскихъ, американскихъ и полинезійскихъ дикарей, поскольку они могли иллюстрировать ту или другую психологически важную сторону образованія или измѣненія словъ. И притомъ эти матеріалы заимствованы не только изъ болѣе или менѣе удобныхъ сводовъ, вродѣ извѣстныхъ руководствъ Бругмана или Фридриха Мюллера—авторомъ изученъ цѣлый длинный рядъ монографій по тѣмъ или другимъ языкамъ, сами имена которыхъ не каждому лингвисту извѣстны; мало того, въ особенно интересныхъ случаяхъ онъ обращался съ запросами къ миссіонерамъ, прося ихъ изслѣдовать на мѣстѣ какое-нибудь явленіе въ языкѣ ихъ чернокожей паствы. Я не распространяюсь здѣсь о логической выдержанности труда, о замѣчательной силѣ мысли, господствующей надъ огромнымъ матеріаломъ и облегчающей этимъ чтеніе объемистой (и, скажемъ между скобокъ, довольно-таки сухо написанной) книги: эти качества и такъ уже извѣстны всѣмъ, кто только имѣетъ понятіе о томъ, что такое Вундтъ. Въ ре-

зультатѣ получилось сочиненіе, при изученіи котораго читатель проникается и уваженіемъ, и прямо благоговѣніемъ къ автору: здѣсь, чувствуется ему, достигнутъ предѣлъ человѣческой энергіи въ области научнаго труда.

При такихъ условіяхъ и задача критика мѣняется; не можетъ быть и рѣчи о томъ, чтобы подмѣчать какія-нибудь частичныя погрѣшности новой книги. Конечно, безъ такихъ дѣло обойтись не могло: Бругманъ, которому авторъ далъ прочесть свой трудъ въ листахъ, указалъ ему рядъ мелкихъ погрѣшностей, что̀ и было имъ принято къ свѣдѣнію; кое-что и я подмѣтилъ по своей наукѣ, да и любой специалистъ можетъ въ томъ или другомъ усумниться; но только говорить объ этомъ не приходится, если не желаешь подражать сапожнику предъ картиной Апелла. Точно такъ же было бы безцѣльно пускаться въ критическую оцѣнку психологической системы Вундта; само собою разумѣется, что эта система та же, что и въ «основаніяхъ физіологической психологіи», и въ «руководствѣ психологіи», такъ что критика, умѣстная быть можетъ въ эпоху появленія этихъ двухъ трудовъ, оказалась бы запоздалой теперь. Нѣтъ, критикъ такихъ первостатейныхъ сочиненій, какъ это, долженъ уподобиться человѣку, котораго искусный и опытный пловецъ повезъ черезъ невѣдомое море въ архипелагъ нетронутыхъ человѣческой стопой острововъ: онъ опишетъ увидѣнное имъ на пути, но опишетъ также и открывшійся ему съ послѣдняго, предѣльнаго пункта горизонтъ. Такъ и я намѣренъ поступить въ настоящей статьѣ. Съ послѣдняго достигнутаго Вундтомъ пункта мнѣ открылся новый горизонтъ пониманія лингвистическихъ явленій. Быть можетъ, другіе объявятъ его воздушнымъ маревомъ; разсудитъ насъ будущее, пока же я опишу то, что̀ видѣлъ.

Думаю даже, въ видахъ ясности, именно съ этого описанія и начать. Дѣло въ томъ, что Вундтъ, строго отличающій народную психологію отъ индивидуальной и относящій явленія языка къ первой изъ нихъ, на самомъ дѣлѣ въ ихъ объясненіи нигдѣ дальше индивидуальной психологіи не пошелъ. Съ точки зрѣнія психолога-эксперименталиста такое отношеніе къ дѣлу вполнѣ понятно: только въ области индивидуальной психологіи возможенъ экспериментъ, народная психологія его не

допускаетъ. Въ результатѣ выходитъ, что объясненія *наличности* явленій языка у Вундта сводятся къ объясненію ихъ *возникновенія*: возникновеніе, дѣйствительно, подвержено законамъ одной только индивидуальной психологіи. На самомъ же дѣлѣ одного только возникновенія лингвистическихъ фактовъ недостаточно для образованія языка; подъ языкомъ мы разумѣемъ совокупность лингвистическихъ явленій не только возникшихъ гдѣ-либо внутри опредѣленной среды, но и *удержавшихся* внутри ея. А между тѣмъ условія утвержденія какого-нибудь явленія въ области языка не совпадаютъ съ условіями его возникновенія: принципъ цѣлесообразности, недопустимый во второмъ случаѣ (какъ это много разъ въ полемикѣ съ цѣлымъ рядомъ крупныхъ лингвистовъ доказываетъ Вундтъ), вполнѣ допустимъ въ первомъ. Теперь вспомнимъ, что утвержденіе лингвистическаго явленія, какъ результатъ коллективной воли совокупности, составляетъ непосредственный предметъ народной психологіи — и мы въ правѣ будемъ сказать, что принципъ цѣлесообразности имѣетъ свое законное мѣсто въ лингвистикѣ, какъ отдѣлѣ именно народной психологіи. Возраженіе, что со введеніемъ этого принципа воскрешается устарѣвшее телеологическое толкованіе языка неосновательно: то толкованіе было ошибочно тѣмъ, что вводило принципъ цѣлесообразности въ самый актъ возникновенія, чѣмъ и впадало въ противорѣчіе съ законами индивидуальной психологіи.—Ограничиваюсь пока общей формулировкой, открывающей, думается мнѣ, возможность прогресса психологіи языка въ томъ самомъ направленіи, по которому ее повелъ Вундтъ; для болѣе основательнаго ея поясненія необходимъ фактическій матеріалъ, который мы и получимъ, слѣдуя за нашимъ авторомъ по нелегкому пути его изысканій.

III.

Содержаніе труда Вундта о языкѣ.—Выразительныя движенія.—Анализъ полнаго комплекса выразительныхъ движеній: движенія внутреннія, мимическія и пантомимическія.—Анализъ аффекта: чувства и представленія—Классификація чувствъ.—Чувства количественныя и качественныя.—Параллелизмъ составныхъ частей аффектовъ и выразительныхъ движеній.—Вопросъ о возникновеніи выразительныхъ движеній.—Физіологическая теорія Спенсера и Дарвина.—Психофизическая теорія Вундта.—Сопутствующія движенія.—Ощущеніе выразительнаго движенія и его роль въ усиленіи и замѣнѣ первичнаго аффекта.

Вотъ, прежде всего, перечень девяти главъ, на которыя распадается трудъ Вундта: 1. Выразительныя движенія; 2. Языкъ жестовъ; 3. Выразительные звуки; 4. Измѣненіе звуковъ; 5. Образованіе словъ; 6. Форма словъ; 7. Соединеніе словъ; 8. Измѣненіе значенія; 9. Происхожденіе языка. Въ послѣдней изъ нихъ читатель безъ труда узнаетъ прежнюю «философію языка». Въ четвертой по восьмой нашли себѣ обработку вопросы современной науки о языкѣ, выросшей изъ древней грамматики; авторъ, повидимому, сознательно избѣгалъ извѣстныхъ изъ грамматическихъ руководствъ и поэтому нѣсколько истрепавшихся терминовъ, иначе онъ смѣло могъ бы своей четвертой главѣ дать названіе «фонетики», шестой—«морфологіи», седьмой—«синтаксиса» и восьмой «семантики» (или семасіологіи). Что же касается первыхъ трехъ, то ихъ прибавилъ психологъ-лингвистъ; въ нихъ доказана и развита главная идея Вундта, та идея, которая и во всемъ дальнѣйшемъ трудѣ сдѣлала возможнымъ новое освѣщеніе послѣдовательно нарождающихся вопросовъ. Охотно вѣримъ, что другія главы стоили автору болѣе усиленнаго труда; но первыя три—самыя оригинальныя; онѣ заслуживаютъ особаго вниманія съ нашей стороны.

Терминъ «выразительныя движенія», не совсѣмъ изящно передающій нѣмецкое Ausdrucksbewegungen, долженъ быть понимаемъ въ самомъ широкомъ значеніи; подъ нимъ мы разумѣемъ всѣ измѣненія нормальнаго состоянія тѣла, въ которыхъ себѣ находитъ «выраженіе» какой-нибудь аффектъ. Представимъ себѣ человѣка, одержимаго аффектомъ—гнѣвомъ, напримѣръ: его пульсъ бьется, онъ дышитъ порывисто, его глаза широко

раскрыты, мускулы губъ судорожно сжимаются, руки угрожающе подняты, точно онъ хочетъ поразить вызвавшаго его гнѣвъ противника, и т. д.—всѣ эти явленія мы будемъ называть «выразительными движеніями» въ принятомъ нами смыслѣ. Присматриваясь ближе къ этому довольно сложному комплексу, мы различимъ въ немъ три отдѣльныхъ группы. Во-первыхъ, движенія *внутреннія*, т.-е. измѣненія въ органахъ дыханія и кровообращенія; во-вторыхъ, движенія *мимическія*, производимыя мускулами лица; наконецъ, движенія *пантомимическія*, органами которыхъ служатъ главнымъ образомъ руки, но въ извѣстной степени также и ноги и прочее тѣло. Конечно, внутреннія движенія тоже отражаются на лицѣ человѣка: вслѣдствіе прилива крови къ головѣ лицо краснѣетъ, глаза наливаются кровью, на лбу выступаетъ «жила гнѣва»; тѣмъ не менѣе эти движенія строго отличаются отъ мимическихъ, въ которыхъ участвуютъ только мускулы лица, отличаются между прочимъ и гораздо меньшей своей произвольностью.

И весь этотъ сложный комплексъ движеній вызванъ однимъ только аффектомъ—въ данномъ случаѣ, гнѣвомъ. Понять это нетрудно—дѣло въ томъ, что и аффекты представляютъ изъ себя довольно сложное психологическое цѣлое. Анализъ аффекта даетъ, прежде всего, двѣ разрозненныя группы элементовъ—группу *чувствъ* и группу *представленій*. Займемся сначала первыми.

Читателю уже извѣстно, что психологія отличаетъ чувства отъ ощущеній. Капля сиропу, попадая на вашъ языкъ, вызываетъ прежде всего ощущеніе—ощущеніе сладости; это ощущеніе сопровождается чувствомъ—чувствомъ удовольствія. Ощущеніе какъ таковое безразлично; его цѣнность зависитъ отъ сопровождающаго его чувства, которое можетъ измѣняться независимо отъ измѣненія ощущенія. Пусть за первой каплей сиропа послѣдуетъ вторая, третья, десятая и т. д.—сладость останется сладостью, но удовольствіе современемъ перейдетъ въ неудовольствіе. Удовольствіе и неудовольствіе образуютъ оба полюса въ извѣстномъ измѣреніи чувствъ. Вундтъ признаетъ еще двѣ группы: группу возбуждающихъ и удручающихъ чувствъ съ одной стороны, напрягающихъ и разрѣшающихъ съ другой; вмѣстѣ взятыя эти три группы образуютъ три измѣренія въ области чувствъ.

Все же эти три измѣренія неравностепенны. Двѣ изъ названныхъ группъ опредѣляютъ *качество* испытываемаго сложнаго чувства: это послѣднее будетъ пріятнымъ или непріятнымъ чувствомъ напряженія, пріятнымъ или непріятнымъ чувствомъ разрѣшенія—сравните радостное ожиданіе, счастье, страхъ, горе. Напротивъ, возбужденіе или удрученіе опредѣляетъ собою не качество, а *силу* или степень чувства. Мать встрѣчаетъ любимаго сына—чѣмъ долѣе она его ждала, чѣмъ болѣе она его любитъ, тѣмъ сильнѣе будетъ ея радость; при ожиданіи и встрѣчѣ, она будетъ, съ большимъ или меньшимъ возбужденіемъ, испытывать чувство пріятнаго напряженія и разрѣшенія. Но пусть это будетъ сынъ, котораго она считала умершимъ, пусть онъ предстанетъ передъ нею внезапно — она упадетъ въ обморокъ, она, быть можетъ, тутъ же испуститъ духъ. „Радость ее убила", — скажутъ люди, „возбуждающій аффектъ, достигши своего крайняго предѣла, перешелъ въ удручающій", скажетъ психологъ. И такъ со всѣми аффектами; всегда возбужденность, по достиженіи извѣстной степени роста, переходитъ въ удрученность, могущую, въ извѣстныхъ случаяхъ, повести къ полному прекращенію жизни. Одного убиваетъ радость, другого—страхъ, третьяго—отчаяніе.

Итакъ, въ чувственной сторонѣ аффекта мы различаемъ количественныя и качественныя чувства; но, кромѣ чувствъ, аффектъ всегда сопровождается и извѣстными *представленіями*. Эти представленія—продолжающіяся или воспроизводимыя ощущенія факта, вызвавшаго аффектъ, будь это человѣкъ, или вещь, или событіе, а равно и факта, могущаго быть его послѣдствіемъ; его сознаніемъ поддерживается самый аффектъ, съ его исчезновеніемъ и самый аффектъ долженъ улечься, какъ волненіе моря послѣ прекращенія вѣтра.

Теперь, если мы эти три части аффекта—количественныя чувства, качественныя чувства и представленія—сравнимъ съ тремя категоріями движеній, въ которыхъ выражается аффектъ, то мы найдемъ, что эти двѣ тріады вполнѣ соотвѣтствуютъ одна другой: количественныя чувства находятъ себѣ выраженіе во внутреннихъ движеніяхъ, качественныя — въ мимическихъ, наконецъ, представленія—въ пантомимическихъ. При каждомъ аффектѣ возбужденіе выражается выступленіемъ краски на лицѣ, учащеннымъ біеніемъ пульса, усиленнымъ дыханіемъ, удрученіе — блѣдностью, замедленіемъ или пріостановленіемъ пульса и дыханія. По однимъ этимъ симптомамъ нельзя узнать, какимъ именно аффектомъ одержимъ человѣкъ; для этого слѣдуетъ взглянуть на его лицо, которое съ этой точки зрѣнія правильно названо зеркаломъ души. Тутъ каждому аффекту соотвѣтствуетъ особое движеніе мускуловъ, особое «выраженіе» лица, по которому мы безошибочно узнаемъ, веселъ ли человѣкъ, или счастливъ, или озабоченъ, или разгнѣванъ, или огорченъ. Съ нѣсколько меньшей опредѣленностью и преслѣдующее человѣка въ минуту аффекта представленіе найдетъ выраженіе въ движеніи тѣла, особенно рукъ: если мать при мысли о радостномъ свиданіи съ сыномъ радостно простираетъ руки, точно готовясь прижать его къ сердцу, если разгнѣванный человѣкъ поднимаетъ кулакъ, точно собираясь поразить кого-то, если мучимая совѣстью леди Макбетъ инстинктивно и механически умываетъ свои руки—то мы по этимъ движеніямъ догадываемся о представленіяхъ, которыми сопровождаются эти аффекты. Конечно, эти движенія мало опредѣленны; но не забудемъ, что ихъ авторы вовсе не имѣютъ намѣренія *сообщить* намъ свои представленія. Пусть у нихъ явится это намѣреніе—и, слѣдуя по намѣченному природой пути, они достигнутъ гораздо большей опредѣленности. Такимъ образомъ изъ непроизвольныхъ «выразительныхъ движеній» развился произвольный и сознательный «языкъ жестовъ»; но прежде чѣмъ прослѣдить это развитіе, мы должны разъяснить нѣкоторые вопросы, относящіеся къ выразительнымъ движеніямъ, какъ къ таковымъ.

Мы до сихъ поръ обозрѣвали одни факты, не входя въ обсужденіе причинъ; но наука не только описываетъ и классифицируетъ, она и объясняетъ. Откуда взялись выразительныя движенія? И почему именно внутреннія соотвѣтствуютъ количественнымъ чувствамъ, именно мимическія—качественнымъ именно пантомимическія—представленіямъ?

Первый вопросъ заводитъ насъ въ самую спорную область психологіи—въ ту, гдѣ антагонизмъ между физіоматеріалистами и психоматеріалистами особенно силенъ. Что касается первыхъ, то по Г. Спенсеру вся психологическая жизнь сосредоточена

въ нервной системѣ; аффектъ—это токъ, исходящій отъ центра и распространяемый въ видѣ «разсѣяннаго возбужденія» по тѣлу; понятно, что именно самые тонкіе мускулы,—а таковы мускулы лица—прежде всего охватываются этимъ токомъ, чѣмъ и объясняется преобладающая роль мимическихъ движеній. Съ другой стороны среди множества случайныхъ движеній, вызванныхъ аффектомъ, должны были оказаться и такія, которыя доставляли аффекту удовлетвореніе (напр. среди движеній гнѣвнаго возбужденія—движенія, разрушающія предметъ гнѣва); эти «полезныя движенія» стали поэтому, чѣмъ далѣе тѣмъ болѣе, ассоціироваться съ самими аффектами. Продолжая разсужденіе Спенсера, Дарвинъ, путемъ его комбинаціи со своимъ принципомъ естественнаго подбора, выработалъ, для объясненія выразительныхъ движеній теорію «цѣлесообразно ассоцированныхъ привычекъ». — Что касается Вундта, то онъ, признавая огромную заслугу особенно Дарвина въ области наблюденія фактовъ и полемизируя противъ нѣкоторыхъ увлеченій особенно Спенсера (по части «легкихъ мускуловъ»), указываетъ однако на то, что въ сущности ни тотъ, ни другой не обходятся безъ психологіи. Итакъ, принципъ выразительныхъ движеній—принципъ не чисто-физіологическій (и подавно, разумѣется, не чисто-психологическій) а психофизическій; въ началѣ развитія стоитъ не механическое (автоматическое), но и не произвольное движеніе, а посредствующее между обоими движеніе инстинктивное (Triebbewegung), давшее современемъ и произвольное (путемъ развитія сознательности), и автоматическое (путемъ механизаціи, т.-е. выключенія такъ называемыхъ высшихъ нервныхъ центровъ).

Удовлетворено ли наше любопытство этимъ объясненіемъ? Я думаю, врядъ ли многимъ понравится эта психофизическая монада, сидящая на начальной ступени эволюціонной лѣстницы; большинство признаетъ полнымъ только такое объясненіе, которое сумѣетъ вывести психическія явленія цѣликомъ изъ физическихъ путемъ какого-нибудь «хемотропизма» въ духѣ Геккеля и его единомышленниковъ. Вундтъ, однако, ни на шагъ не идетъ навстрѣчу этому стремленію; какъ строгій и добросовѣстный мыслитель, онъ ясно сознаетъ, что всякое объясненіе, выводящее психическій міръ изъ физическаго, въ

скрытомъ видѣ допускаетъ чудо въ числѣ звеньевъ эволюціоннаго процесса, болѣе или менѣе удачно маскируя его. „Объяснить, какъ возникли первоначальные инстинкты, другими словами, какъ произошли ощущенія и чувства одушевленныхъ существъ—это, какъ и вообще выясненіе первоначальныхъ элементовъ опыта, выходитъ за предѣлы нашего изслѣдованія. Основные психическіе факты мы должны предполагать данными точно такъ же, какъ и существованіе первичныхъ элементовъ матеріальнаго міра, обнаруживаемые анализомъ элементовъ природы“ (I, 36).

Съ эимъ признаніемъ отпадаетъ надобность объясненія такихъ элементарныхъ выразительныхъ движеній, какъ «внутреннія», служащія мѣриломъ только интенсивности аффекта безъ всякой качественной дифференціаціи; другое дѣло—движенія мимическія и пантомимическія. Но для полнаго ихъ пониманія требуется выясненіе одного различія внутри одной изъ трехъ категорій движеній вообще — а именно движеній автоматическихъ. Эта категорія распадается на два подъотдѣла: движенія рефлекторныя и движенія *сопутствующія*. Первыя вызываются непосредственнымъ раздраженіемъ сенсорныхъ нервовъ; вторыя, напротивъ, въ силу т. наз. координаціи движеній — автоматически сопровождаютъ какое-нибудь другое движеніе, которое въ свою очередь можетъ принадлежать къ любой изъ трехъ категорій. Теорія сопутствующихъ движеній (Mitbewegungen) играетъ большую роль въ излагаемой нами психологіи языка, и намъ еще придется къ ней вернуться; здѣсь ея важность заключается въ томъ, что она даетъ намъ возможность разложить весь комплексъ выразительныхъ движеній, соотвѣтствующихъ какому-нибудь чувству или представленію, на движеніе центральное, непосредственно его выражающее, и цѣлый рядъ движеній сопутствующихъ, вызванныхъ центральнымъ. Представимъ себѣ выраженіе лица человѣка, отвѣдавшаго какой-нибудь вкусной пищи: въ его центрѣ мы найдемъ движеніе мускуловъ, имѣющее цѣлью подолѣе удержать и пошире распространить пріятное раздраженіе вкусовыхъ нервовъ, а кругомъ—цѣлый рядъ сопутствующихъ движеній мускуловъ лица, вслѣдствіе котораго все лицо получаетъ выраженіе, которое мы въ силу ассоціаціи называемъ

выраженіемъ удовольствія. Представимъ себѣ, наоборотъ, раздраженіе непріятное — движенія непосредственно заинтересованныхъ мускуловъ будутъ имѣть цѣлью его ограниченіе и скорѣйшее прекращеніе, а сопровождающія ихъ движенія прочихъ мускуловъ придадутъ лицу выраженіе болѣе или менѣе сильнаго отвращенія. И въ этомъ заключается причина, почему именно мимическія движенія являются выраженіями качественныхъ чувствъ: мускулы—органы этихъ движеній—находятся въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ органами вкуса и обонянія, зрѣнія и слуха, отъ нихъ зависитъ усилить или ослабить раздраженіе.—Такой же анализъ можетъ быть произведенъ, разумѣется, и въ области пантомимическихъ движеній, органы которыхъ, какъ наиболѣе близкіе къ внѣшнему міру, были наиболѣе приспособлены къ тому, чтобы служить выразителями представленій—какъ мы это увидимъ тотчасъ.

Еще одинъ пунктъ требуетъ разъясненія, какъ одинъ изъ элементовъ дальнѣйшихъ построеній. Выразительныя движенія не только выражаютъ аффектъ—они также усиливаютъ его и могутъ даже въ извѣстныхъ случаяхъ его породить. Дѣло въ томъ, что всякое движеніе соединено съ ощущеніемъ; если какое-нибудь движеніе служитъ обыкновенно выраженіемъ опредѣленнаго чувства, то, въ силу ассоціаціи, это чувство вызывается также и ощущеніемъ самаго движенія. Мы можемъ, такимъ образомъ, различать первичныя и производныя чувства: первичное чувство вызываетъ движеніе, ощущеніе котораго въ свою очередь вызываетъ производное чувство, однородное съ первичнымъ и поэтому усиливающее его. Но можетъ выйти и такъ: человѣкъ безъ первичнаго чувства произвольно продѣлываетъ движеніе, служащее обыкновенно его выраженіемъ; ощущеніе этого движенія рождаетъ, въ силу ассоціаціи, производное чувство, которое отнынѣ занимаетъ мѣсто отсутствующаго первичнаго чувства. Напомню читателю извѣстную сцену—расправу съ Верещагинымъ («Война и миръ» III, 25). „Руби,—прошепталъ офицеръ драгунамъ, и одинъ изъ солдатъ вдругъ *съ исказившимся отъ злобы лицомъ* ударилъ Верещагина тупымъ палашомъ по головѣ". Чѣмъ была вызвана эта злоба? Верещагинъ ничего солдату не сдѣлалъ. Нѣтъ; но солдатъ по чужому приказанію произвелъ движеніе, служащее обыкновенно выраженіемъ злобы, и это движеніе породило въ немъ, въ видѣ производнаго аффекта, ту злобу, которая исказила его лицо.

Таковы психофизическія основанія теоріи выразительныхъ движеній.

IV.

Языкъ жестовъ.—Его происхожденіе изъ выразительныхъ движеній.—Классификація жестовъ.—Грамматическія категоріи въ языкѣ жестовъ.—Вспомогательные жесты.—Синтаксисъ жестовъ.—Психологическая теорія Вундта.—Ея критика.—Двойной источникъ языка жестовъ.

Къ выразительнымъ движеніямъ непосредственно примыкаетъ *языкъ жестовъ*. Принципіальная разница между той и другой категоріей заключается въ томъ, что языкъ жестовъ имѣетъ своею цѣлью *сообщеніе* какого-нибудь факта другому человѣку, между тѣмъ какъ въ выразительныхъ движеніяхъ эта цѣль совершенно отсутствуетъ. Одинокій человѣкъ будетъ производить въ совершенствѣ всѣ разновидности выразительныхъ движеній, но языка жестовъ онъ знать не будетъ.

Это различіе имѣетъ послѣдствіемъ и другія. Когда человѣкъ находится въ состояніи аффекта, онъ не испытываетъ желанія сообщить что-либо другимъ; наоборотъ появленіе этого желанія предполагаетъ прекращеніе или ослабленіе самого аффекта, какъ комплекса чувствъ. Вотъ почему чувственный элементъ, преобладающій въ выразительныхъ движеніяхъ, отступаетъ на задній планъ въ языкѣ жестовъ. Здѣсь главное— представленія, которыя сообщаются въ состояніи либо отсутствія, либо слабости аффекта; въ языкѣ жестовъ поэтому внутреннія движенія не играютъ никакой роли, мимическія — чисто вспомогательную, между тѣмъ какъ первое мѣсто принадлежитъ движеніямъ *пантомимическимъ*. какъ выразителямъ именно представленій. Но при всей важности происшедшаго измѣненія смысла и перемѣщенія центра тяжести, языкъ жестовъ, какъ было сказано только что, примыкаетъ къ выразительнымъ движеніямъ: разъ возникло желаніе сообщить другому человѣку какое-нибудь представленіе, самымъ естественнымъ

было прибѣгнуть къ тому самому жесту, который въ состояніи аффекта служитъ его выраженіемъ.

Всматриваясь въ выразительныя движенія пантомимическаго характера, мы замѣтимъ, что они распадаются на двѣ категоріи. Если вызвавшее аффектъ явленіе налицо, человѣкъ невольно простираетъ къ нему руку: это движеніе *указательное*. Если его налицо нѣтъ, онъ также невольно воспроизводитъ путемъ жестикуляціи его или свое представляемое отношеніе къ нему: это—движеніе *подражательное*. Тѣ же двѣ категоріи мы находимъ и въ языкѣ жестовъ; только, благодаря его значительно большей сознательности, обусловливаемой его цѣлью, категорія подражательныхъ жестовъ получила въ немъ гораздо болѣе широкое развитіе—такое широкое, что самый терминъ «подражательныя движенія» оказывается слишкомъ узкимъ и его приходится замѣнить терминомъ «движеніе изобразительное» или правильнѣе «жестъ изобразительный». Изобразительные жесты по своему внѣшнему виду распадаются на *графическіе* и *пластическіе*: желая на языкѣ жестовъ передать представленіе «домъ», я могу или нарисовать пальцемъ въ воздухѣ главные контуры дома, или сложить ладони рукъ подъ острымъ угломъ, изображая подобіе кровли; первое будетъ *графическимъ*, второе *пластическимъ* жестомъ. Съ точки же зрѣнія смысла изобразительные жесты раздѣляются на три категоріи—жесты *уподобительные*, *соозначительные* и *символическіе*. Примѣръ первой категоріи: желая изобразить домъ, я рисую его контуры въ воздухѣ. Примѣръ второй категоріи: чтобы передать представленіе «оселъ», я изображаю (графически или пластически, все равно) ослиную голову съ ея характерными ушами; этотъ жестъ будетъ «соозначать» представленіе «оселъ». Примѣръ третьей категоріи: чтобы передать понятіе «ложь», я провожу пальцемъ *косую* линію отъ рта внизъ налѣво. Отсюда видно, что одинъ и тотъ же жестъ можетъ, смотря по обстановкѣ, быть и уподобительнымъ и соозначительнымъ, и символическимъ; такъ, пантомимическое изображеніе ослиной головы будетъ уподобительнымъ жестомъ для понятія «ослиная голова», соозначительнымъ для понятія «оселъ» и символическимъ для понятія «дуракъ» или «глупость». Рядомъ съ богатымъ классомъ изобразительныхъ жестовъ *указательные* не отличаются обиліемъ значеній: за ними осталось только обозначеніе участвующихъ въ бесѣдѣ лицъ и обозначеніе мѣста и времени.

Другими словами: указательные жесты соотвѣтствуютъ тому, что въ языкѣ выражается мѣстоименіями (и мѣстоименными нарѣчіями); въ противоположность къ нимъ изобразительные соотвѣтствуютъ всѣмъ словамъ, выражающимъ опредѣленныя понятія, т.-е. существительнымъ, прилагательнымъ и глаголамъ. Возможно ли еще болѣе точное разграниченіе этихъ категорій? A priori могло бы показаться, что пластическіе жесты, какъ устойчивые, должны соотвѣтствовать наименованіямъ предметовъ, графическіе—наименованіямъ дѣйствій; и дѣйствительно, нѣкоторый параллелизмъ тутъ наблюдается. Сплошь и рядомъ пластическій жестъ получаетъ значеніе глагола путемъ присоединенія къ нему жеста графическаго; такъ сложенная на подобіе стакана рука означаетъ уподобительно «стаканъ» и соозначительно «вода», но, если сдѣлать ею нѣсколько движеній по направленію ко рту, то получится значеніе «пить». Интересно обозначеніе прилагательныхъ. Прикосновеніе къ зубу можетъ выражать понятіе «зубъ», но также и понятіе «бѣлый» или «твердый». Если требуется понятіе «бѣлый», то говорящій сопровождаетъ свой жестъ выпучиваньемъ глазъ, давая этимъ понять, что онъ имѣетъ въ виду зрительное впечатлѣніе; если «твердый», то нужно ударить нѣсколько разъ ногтемъ о зубъ, чѣмъ подчеркивается осязательность впечатлѣнія. Такъ-то въ многихъ случаяхъ такіе «вспомогательные жесты» переводятъ главные жесты изъ рубрики существительныхъ въ рубрики прилагательныхъ и глаголовъ; они то, по мнѣнію Вундта, составляютъ формальный элементъ въ языкѣ жестовъ (I, 189). Эта ихъ роль, однако, чисто случайная: мы встрѣчаемъ вспомогательные жесты и въ совершенно другомъ значеніи. Такъ, чтобы выразить понятіе «сонъ» или «спать», надо, закрывъ глаза, склонить голову на руку; но если при этомъ сдѣлать другой рукой указательный жестъ по направленію къ землѣ, то получится смыслъ «смерть» (или «умереть» или «мертвый»). Отсюда видно, что вспомогательные жесты имѣютъ не столько грамматически-формальный, сколько синонимически опредѣлительный характеръ: они употребляются

исключительно съ практической цѣлью во избѣжаніе недоразумѣній.—Можно даже идти дальше и оспаривать вообще формальный характеръ вспомогательныхъ жестовъ. Развѣ между «вода» и «пить» разница только формальная? Нѣтъ, исключительно формальными мы можемъ признать только такія различія, какъ между «плавать» и «плаваніе», «красный», «краснота» и «краснѣть»—а эти различія въ языкѣ жестовъ никогда не соблюдаются. А если такъ, то правильнѣе будетъ сказать, что языкъ жестовъ грамматики—по крайней мѣрѣ ея этимологической части—не знаетъ.

Но зато онъ знаетъ, повидимому, синтаксисъ. Я долженъ упомянуть, что Вундтъ изучилъ языкъ жестовъ въ его самыхъ различныхъ видахъ—и какъ интернаціональный языкъ американскихъ дикарей, и какъ языкъ глухонѣмыхъ, и какъ условное средство обмѣна мыслей у монаховъ-молчальниковъ, и наконецъ, какъ средство оживленія рѣчи у народовъ классической древности, существующее и понынѣ, въ качествѣ пережитка, у неаполитанцевъ. Такъ вотъ во всѣхъ этихъ разновидностяхъ наблюдается опредѣленный синтаксисъ; части простого предложенія (другихъ языкъ жестовъ не знаетъ) располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ: подлежащее—опредѣленіе—дополненіе—сказуемое. Другими словами, соблюдаются слѣдующія три правила: 1) подлежащее предшествуетъ сказуемому 2) опредѣляемое предшествуетъ опредѣленію, 3) дополненіе предшествуетъ сказуемому. Эти три правила сводятся въ свою очередь къ слѣдующему: непосредственно представимое понятіе предшествуетъ тому, которое само по себѣ непредставимо. Мы говоримъ: „бѣлый человѣкъ строитъ домъ", соблюдая только первое изъ трехъ названныхъ правилъ; на языкѣ жестовъ слѣдуетъ сказать такъ: „человѣкъ бѣлый—домъ строитъ". Почему? Потому что понятія «человѣкъ» и «домъ» представимы непосредственно; напротивъ, понятія «бѣлый» и «строить» непредставимы безъ своихъ субстратовъ, бѣлаго предмета съ одной стороны и строящаго и строимаго—съ другой.

Остановимся на этомъ явленіи; здѣсь впервые сталкиваются оба принципа, о которыхъ я говорилъ во второй главѣ—тотъ, который послѣдовательно проводится Вундтомъ въ его разсужденіяхъ, и тотъ, который, по моему мнѣнію, обусловливаетъ

возможность дальнѣйшаго прогресса въ наукѣ о языкѣ. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, объяснить возникновеніе этого синтаксиса въ языкѣ жестовъ? Выражаясь точнѣе: соотвѣтствуетъ ли онъ интересамъ говорящаго или того, съ кѣмъ говорятъ? Представленія, говоритъ Вундтъ, сообщаются въ порядкѣ своей временной и мѣстной зависимости. Не трудно, однако, убѣдиться, что это нѣсколько туманное опредѣленіе ничего не объясняетъ. Я вижу человѣческій образъ; подойдя ближе, я убѣждаюсь, что это—человѣкъ бѣлый, а не индѣецъ. Прекрасно; въ данномъ случаѣ распорядокъ «человѣкъ бѣлый» будетъ оправданъ. Но чаще я вижу прежде всего что-то бѣлое, и только подойдя ближе, убѣждаюсь, что это—овца, а не камень. Мало того—это даже нормальный порядокъ воспріятія ощущеній: вѣдь по примѣтамъ же узнается предметъ, а не независимо отъ нихъ. Но это не все, и даже не главное; можно сказать, что, подчеркивая порядокъ воспріятія ощущеній, Вундтъ впадаетъ въ противорѣчіе съ однимъ изъ главныхъ положеній своей собственной психологіи языка. Согласно этому положенію психологической единицей рѣчи является единое, но сложное представленіе, соотвѣтствующее предложенію; дѣятельность говорящаго по отношенію къ этому представленію—аналитическая: онъ расчленяетъ его на его составныя части, выражая каждую въ формѣ одного слова. Въ противоположность къ нему дѣятельность слушающаго (или, въ нашемъ случаѣ, смотрящаго) синтетическая: онъ долженъ изъ сообщенныхъ составныхъ частей воспроизвести сложное представленіе. Теперь спросимъ себя, въ чьихъ интересахъ постоянный распорядокъ «человѣкъ бѣлый» и т. д.? Говорящаго? Нѣтъ; такъ какъ въ его умѣ существуетъ цѣльное представленіе, то для него порядокъ частей безразличенъ. Мало того—самъ Вундтъ считаетъ въ другомъ мѣстѣ (II, 354) наиболѣе естественнымъ, съ точки зрѣнія говорящаго, тотъ порядокъ, который возможенъ въ однихъ только классическихъ языкахъ (напр. magna dis immortalibus habenda est gratia), при которомъ подлежащее и начинаетъ, и оканчиваетъ предложеніе, прекрасно выражая этимъ единство и цѣльность сложнаго представленія; согласно этому порядокъ „бѣлый строитъ домъ человѣкъ" болѣе всего соотвѣтствовалъ бы интересамъ говорящаго. Если же

соблюдается правило, чтобы самопредставимое понятіе предшествовало несамопредставимому, то ясно, что при этомъ соблюдаются интересы не говорящаго, а смотрящаго. Если я, передавая вамъ привезенную въ ящикѣ посуду, постоянно соблюдаю такой порядокъ, чтобы передать миску раньше крышки, блюдечко раньше чашки — то ясно, что я имѣю въ виду ваши удобства; дѣйствительно, при иномъ порядкѣ вамъ въ ожиданіи миски некуда было бы дѣвать крышку.

Къ тому же результату приводитъ насъ анализъ вспомогательныхъ жестовъ, о которыхъ рѣчь была выше — особенно тотъ фактъ, что они обыкновенно слѣдуютъ за главными. Мы уже видѣли, что они употребляются въ случаѣ многозначительности главнаго жеста, во избѣжаніе недоразумѣній; но своимъ происхожденіемъ они очевидно обязаны не могущему возникнуть, а уже возникшему недоразумѣнію. По выраженію лица собесѣдника говорящій замѣчалъ, что его жестъ не былъ понятъ; онъ быстро прибавлялъ вспомогательный жестъ, которымъ опредѣлялось и пояснялось значеніе перваго — вотъ почему вспомогательный жестъ не предшествуетъ главному, а слѣдуетъ за нимъ.

Итакъ, языкъ жестовъ будетъ для насъ понятенъ только тогда, когда мы признаемъ его двойное происхожденіе и при его объясненіи будемъ примѣнять двойной принципъ, психологическій и логическій. Съ *психологической* стороны языкъ жестовъ соприкасается, какъ мы видѣли, съ выразительными жестами пантомимическаго характера: указательные жесты непосредственно примыкаютъ къ указательнымъ движеніямъ, уподобительные жесты развились изъ изобразительныхъ движеній, а изъ уподобительныхъ произошли въ свою очередь, путемъ естественной ассоціаціи по смежности и по сходству, жесты соозначительные и символическіе. Но съ признаніемъ *логической* стороны вводится принципъ цѣлесообразности: къ объясненію «потому что» присоединяется и объясненіе «для того, чтобы». Конечно, если мы спросимъ себя, какъ эта цѣлесообразность возникла, то возможно, что и здѣсь дѣйствовалъ извѣстный подборъ: того, кто соблюдалъ правила порядка рѣчи, легче понимали, чѣмъ того, кто его не соблюдалъ; онъ считался лучшимъ ораторомъ и этимъ самымъ вызывалъ подражаніе. И здѣсь, такимъ образомъ, логическій принципъ сводится къ психологическому; только его область уже не индивидуальная психологія, а та, которая имѣетъ своимъ содержаніемъ душевныя явленія, обусловленныя взаимодѣйствіемъ индивидуя и среды, т.-е. согласно принятой терминологіи, психологія народная.

V.

Языкъ звуковъ и языкъ жестовъ.—Выразительные звуки у звѣрей.—Модуляція тона и артикуляція звука.—Языкъ дѣтей: крикъ, лепетъ, языкъ-эхо, сознательная рѣчь.—Выразительные звуки въ развитой рѣчи: междометія, звукоподражанія, звуковые образы, звуковыя метафоры. — Ихъ общій знаменатель: звуковой жестъ.—Критика этой теоріи.—Чувства и представленія въ языкѣ.—Сопутствующія движенія, какъ источникъ языка представленій.—Сравнительная древность языка жестовъ и языка звуковъ.

Подобно языку жестовъ и языкъ звуковъ примыкаетъ къ выразительнымъ движеніямъ. Въ самомъ дѣлѣ, если разложить на ихъ составныя части тѣ звуки, изъ которыхъ состоятъ наши слова, то мы получимъ два элемента: модуляцію *тона* и артикуляцію *звука* [1]). Модуляція тона производится стремительнымъ проходомъ воздуха черезъ гортань, приводящимъ въ сотрясеніе голосовыя связки; ее слѣдуетъ, поэтому, причислить къ внутреннимъ движеніямъ. Артикуляція звука производится мускулами лица и рта, главнымъ образомъ языкомъ; она, такимъ образомъ, принадлежитъ къ мимическимъ движеніямъ. Итакъ, языкъ звуковъ, — прямой коррелатъ къ языку жестовъ; какъ послѣдній развился изъ пантомимическихъ движеній, такъ точно языкъ имѣетъ своимъ источникамъ движенія внутреннія и мимическія. Между тѣмъ мы видѣли (гл. 3), что пантомимическія движенія служатъ выраженіемъ представленій, такъ же какъ внутреннія и мимическія—чувствъ; отсюда слѣдуетъ, что первоначально въ основѣ языка жестовъ лежатъ представленія, въ

[1]) Подобно многимъ терминамъ нашей рѣчи слово «звукъ» грѣшитъ неопредѣленностью: оно то употребляется въ смыслѣ акустическаго явленія, выражаемаго оптически *нотой* (=нѣм. Klang), то — въ смыслѣ акустическаго явленія, выражаемаго оптически *буквой* (=нѣм. Laut). Въ настоящей статьѣ его употребленіе ограничено вторымъ значеніемъ, въ первомъ же оно замѣняется словомъ «тонъ».

основѣ языка звуковъ — чувства. — Я долженъ замѣтить, что этого параллелизма самъ Вундтъ не проводитъ; но онъ — естественный выводъ изъ его теоріи, и выводъ, думается мнѣ, не безынтересный и не маловажный.

Это, пока, теорія; область опыта имѣемъ мы вездѣ тамъ, гдѣ звуки языка сохраняютъ значеніе выразительныхъ звуковъ. Сюда принадлежатъ, во-первыхъ, явленія въ жизни звѣрей и первобытнаго человѣка; во-вторыхъ, языкъ младенцевъ; наконецъ, въ третьихъ, и нѣкоторыя явленія развитой рѣчи.

Ближе всего къ природѣ стоимъ мы, конечно, въ первой изъ названныхъ трехъ областей; выразительные звуки звѣрей, однако, представляютъ изъ себя довольно разнообразную смѣсь акустическихъ явленій, въ которой мы можемъ различать три категоріи, соотвѣтствующія тремъ ступенямъ развитія. На первой ступени животное знаетъ только тонъ, какъ выраженіе интенсивности аффекта; а такъ какъ самые сильные аффекты — аффекты неудовольствія, то въ началѣ эволюціонной цѣпи мы имѣемъ *крикъ* — крикъ боли и крикъ ярости. На второй ступени находятъ себѣ выраженіе и умѣренные аффекты въ смыслѣ и удовольствія и неудовольствія; къ интенсивнымъ движеніямъ присоединяются и качественные, вслѣдствіе чего тонъ оттѣняется артикуляціей звука; а такъ какъ умѣренные аффекты продолжительнѣе острыхъ, то и ихъ выраженіе — вслѣдствіе протяжности или повторенія — занимаетъ больше времени. Сюда относятся крики большинства домашнихъ животныхъ, какъ четвероногихъ, такъ и птицъ. Наконецъ, третья ступень характеризуется тѣмъ, что на ней развиваются двѣ различныя группы выразительныхъ звуковъ: одна для интенсивныхъ, другая для умѣренныхъ аффектовъ, при чемъ эта послѣдняя допускаетъ значительное разнообразіе и по отношенію къ отдѣльнымъ аффектамъ и по отношенію къ отдѣльнымъ индивидуумамъ. Сюда принадлежатъ собаки, обезьяны и особенно пѣвчія птицы.

Такимъ образомъ, артикуляція звука по своему происхожденію позднѣе простого тона и его модуляціи. Въ жизни человѣка оба эти выраженія чувствъ пошли своей дорогой; изъ модуляціи тона развилось пѣніе, изъ артикуляціи звука — языкъ (при чемъ мы въ обоихъ случаяхъ, разумѣется, имѣетъ въ виду лишь *преобладаніе* одного элемента надъ другимъ). Это, конечно, пока только теоретическая конструкція; вопросъ о происхожденіи пѣнія у человѣка еще не разрѣшенъ. Загадкой былъ онъ и для Дарвина, который долженъ былъ прибѣгнуть къ гипотезѣ о начальной роли пѣнія, какъ средства любовнаго состязанія, по аналогіи съ соотвѣтствующими явленіями въ жизни пѣвчихъ птицъ. Вундтъ считаетъ эту гипотезу неправдоподобной, ссылаясь на отсутствіе полового различія въ приспособленности къ пѣнію у людей; самъ онъ присоединяется къ мнѣнію Бюхера о преобладающей роли работы въ развитіи пѣнія [1]). Но это не такъ важно; главное — это артикуляція звука, породившая языкъ. Согласно сказанному выше, она первоначально выражала только *чувства*, а именно ихъ качества въ противоположность къ тону, выражавшему ихъ интенсивность; между тѣмъ несомнѣнно, что въ человѣческой рѣчи она выражаетъ именно *представленія*, тогда какъ выразителемъ чувствъ во всемъ ихъ объемѣ является «голосъ», т.-е. модуляція тона. Какъ произошла эта перемѣна, превратившая простые «выразительные звуки» въ настоящій языкъ? На этотъ вопросъ первая область — какъ это и понятно — отвѣта не даетъ.

Обратимся ко второй — къ языку дѣтей. Извѣстно, какія надежды возлагались многими на его изслѣдованіе: полагали, что онъ дастъ намъ возможность воочію, такъ сказать, прослѣдить возникновеніе языка; какъ ребенокъ мало-по-малу усваиваетъ языкъ, переходя отъ крика къ лепету, отъ лепета къ членораздѣльной и осмысленной рѣчи, такъ точно и родъ человѣческій произвелъ свой языкъ. Когда же былъ открытъ Геккелемъ знаменитый «біогенетическій законъ», то всѣ сомнѣнія, казалось, должны были исчезнуть: «онтогенія» рѣчи въ устахъ любого младенца была объявлена вѣрнымъ, хотя и сокращеннымъ воспроизведеніемъ ея «филогеніи» во всѣхъ первобытныхъ эпохахъ развитія человѣческаго рода. Вундтъ относится очень скептически ко всѣмъ этимъ увлеченіямъ. Вполнѣ резонно подчеркиваетъ онъ громадную принципіальную разницу, заключающуюся въ томъ, что ребенокъ усваиваетъ готовую уже рѣчь, преподносимую ему старшими, между тѣмъ какъ человѣчеству приходилось постепенно вырабатывать несу-

[1]) Сравни мою статью «Рабочая пѣсенка» (Изъ жизни идей т. I).

ществовавшій раньше языкъ. А между тѣмъ, ясно, что психологическіе процессы въ томъ и другомъ случаѣ совершенно различны. Вначалѣ мы, дѣйствительно, и у ребенка имѣемъ «крикъ», какъ выраженіе интенсивныхъ, исключительно непріятныхъ чувствъ, голода или боли—тутъ онтогенія совпадаетъ съ филогеніей и, пожалуй, еще немного далѣе. Спустя нѣкоторое время ребенокъ начинаетъ (какъ говорятъ наши няньки) «гулить», т.-е. выражать также и веселое настроеніе рядомъ сначала слабо, затѣмъ все опредѣленнѣе артикулированныхъ звуковъ. Тутъ-то и видно, что выразительные звуки параллельны мимическимъ движеніямъ: «гуленье» ребенка является настоящей акустической улыбкой. Затѣмъ сама артикуляція дѣлается предметомъ игры: ребенокъ тѣшитъ себя повтореніемъ ряда слоговъ, не связывая съ ними, однако, никакого представленія. Этотъ періодъ очень важенъ, какъ подготовительный періодъ къ усвоенію языка: имъ создаются правильныя ассоціаціи между осязательнымъ ощущеніемъ звуковой артикуляціи и слуховымъ ощущеніемъ соотвѣтствующаго звука. По достаточномъ упражненіи въ этой простой ассоціаціи является возможнымъ такъ наз. «языкъ-эхо»: ребенокъ воспроизводитъ, не соединяя съ нимъ никакого предметнаго представленія, услышанное отъ матери слово, пользуясь средствами своего собственнаго репертуара слоговъ;—мать: „Саша"; дитя: „Сяся". При этомъ происходитъ двойная ассоціація: 1) слуховое ощущеніе «Саша» вызываетъ схожее слуховое же ощущеніе «Сяся» (ассимиляціонная ассоціація); 2) слуховое ощущеніе «Сяся» вызываетъ осязательное ощущеніе артикуляціи этого слова (компликаціонная ассоціація). И вотъ, наконецъ, по достаточномъ упражненіи въ языкѣ-эхо, является вторженіе представленія въ слово: благодаря повтореннымъ указаніямъ матери ребенокъ начинаетъ соединять со словомъ «Сяся» представленіе о своемъ старшемъ братцѣ. Къ обѣимъ ассоціаціямъ языка-эхо присоединяется третья (компликаціонная): ассоціація оптическаго ощущенія фигуры мальчика, именуемаго Сашей [1]). Такова

[1]) Въ этомъ разсужденіи я нѣсколько развилъ и дополнилъ мысль Вундта, который въ языкѣ-эхо признаетъ только простую, а не двойную ассоціацію.

онтогенія рѣчи; ясно, что мы въ филогеніи, пользуясь ея схематизмомъ, дальше «гуленья» не пойдемъ.

Противъ этого яснаго анализа ни якобы изобрѣтаемыя дѣтьми слова, ни такъ называемый дѣтскій языкъ ничего не доказываютъ. Что касается первыхъ, то Вундтъ — располагающій богатымъ сводомъ какъ чужихъ, такъ и собственныхъ наблюденій—совершенно оспариваетъ самый феноменъ изобрѣтенія дѣтьми словъ; всѣ приводимые примѣры оказываются, при болѣе тщательномъ изслѣдованіи, явленіями языка-эхо, по случайной ассоціаціи невпопадъ примѣненными. (Примѣръ: ребенокъ называетъ свою любимую игрушку, огромное деревянное яйцо краснаго цвѣта, «Сяся»; причина: когда ему впервые представляли Сашу, на послѣднемъ была красная блуза). Дѣтскій же языкъ—изобрѣтеніе не дѣтей, а взрослыхъ, которые съ цѣлью облегченія усвоенія рѣчи, выключаютъ одну изъ трехъ названныхъ ассоціацій—либо ассимиляціонную (тѣмъ, что пользуются дѣтскимъ же репертуаромъ словъ, напр. «пруà» — «гулять»), либо вторую, компликаціонную (тѣмъ, что замѣняютъ оптическое ощущеніе слуховымъ, напр. «му»—«корова»).

Итакъ, языкъ дѣтей не выясняетъ спорнаго вопроса; обратимся къ третьей области—къ развитой рѣчи, и посмотримъ, не содержитъ ли она элементовъ, указывающихъ на родство языка съ выразительными звуками. Тутъ первыми нами припоминаются такъ наз. «природные звуки», среди которыхъ первое мѣсто занимаютъ междометія, эти пережитки первобытнаго «крика» въ развитой рѣчи; но ихъ число слишкомъ ограничено и ихъ роль въ словообразованіи («охъ»—«охать») совершенно ничтожна. Но къ природнымъ звукамъ примыкаютъ «звукоподражанія» различныхъ родовъ («куковать», «громъ», «шарахнуть», «тароторить» и т. д.), рубрика которыхъ такъ легко увеличивается путемъ новообразованій, а къ нимъ опять—интересная группа словъ, которыя Вундтъ называетъ «звуковыми образами» (Lautbilder). Подъ ними онъ разумѣетъ такія слова, которыя — какъ нѣмецкія tummeln, torkeln, wimmeln и др.—выражаютъ не слуховыя, а зрительныя или другія представленія, но выражаетъ ихъ такъ, что мы чувствуемъ нѣкоторое сходство между самимъ акустическимъ подборомъ звуковъ и соотвѣтствующимъ представленіемъ; по-русски сюда

можно бы отнести такія слова, какъ «байбакъ», «балаболка», «каракули», «тилиснуть», «схлиздить» и т. д., большею частью нелитературныя и тоже умножимыя ad libitum. По мнѣнію Вундта звукоподражанія и звуковые образы составляютъ вмѣстѣ взятые одну категорію и по отношенію къ ней онъ развиваетъ особую оригинальную и любопытную теорію.

Мы уже знаемъ, въ чемъ состоитъ ощущеніе артикуляціи произносимаго слова, отличное отъ его слухового впечатлѣнія: вся важность для ребенка его безсмысленнаго лепета состоитъ въ томъ, что онъ даетъ ему затвердить ассоціацію между слуховымъ и артикуляціоннымъ ощущеніемъ одного и того же комплекса звуковъ, а на непосредственности этой ассоціаціи основывается способность гортани воспроизводить услышанное нами слово. Эта способность такъ окрѣпла, что мы при представленіи о словѣ совсѣмъ не думаемъ о его артикуляціи; а между тѣмъ она — непосредственный результатъ иннерваціи моторныхъ нервовъ, звуковая же физіономія слова является лишь послѣдствіемъ его артикуляціи. Это артикуляціонное движеніе языка и губъ принадлежитъ несомнѣнно къ движеніямъ мимическимъ; какъ изъ мимическихъ движеній вообще развивается мимическій жестъ, такъ спеціально изъ артикуляціонныхъ движеній развивается *звуковой жестъ*. Теперь намъ легко будетъ привести къ одному знаменателю и звукоподражанія и звуковые образы: всѣ они принадлежатъ къ подражаніямъ, но органомъ подражанія будетъ не непосредственно звукъ, а «уподобительный» звуковой жестъ.

Съ принятіемъ этой теоріи область выразительныхъ звуковъ и ихъ потомства въ языкѣ значительно расширяется; еще болѣе расширяется она съ пріобщеніемъ родственныхъ явленій, которыя Вундтъ называетъ «звуковыми метафорами». Подъ ними онъ разумѣетъ такія отношенія внутри пары или группы словъ, которыя могутъ быть объяснены уподобительнымъ измѣненіемъ звукового жеста. Сюда относятся такіе коррелаты, какъ «крякнуть» и «крикнуть», но не въ нихъ сила: есть интереснѣе. Давно было замѣчено, что въ громадномъ большинствѣ языковъ имена «отецъ» и «мать» образуютъ коррелаты, при чемъ твердому, эксплозивному звуку въ имени отца (t, p и родственные) соотвѣтствуетъ мягкій, носовой звукъ въ имени матери (n, m).

Такого же рода уподобительное измѣненіе звукового жеста наблюдается въ мѣстныхъ нарѣчіяхъ близкаго и далекаго разстоянія: «тутъ» и «тамъ» и т. д.; сюда же относятся и измѣненія гласныхъ въ связи съ измѣненіемъ вида глаголовъ, наблюдаемое особенно въ еврейскомъ языкѣ, но также и въ индоевропейскихъ: ср. греческое eleipon, elipon, русское «оставлялъ», «оставилъ» (первое — для продолжающагося, второе — для однократнаго дѣйствія). А при такихъ условіяхъ наша область становится очень значительной; является возможность представить себѣ языкъ (или рядъ языковъ), состоящій исключительно изъ звуковыхъ образовъ или звуковыхъ метафоръ, которыя будутъ соотвѣтствовать уподобительнымъ и символическимъ жестамъ развитаго выше оптическаго языка; происхожденіе же изъ этого языка (или этихъ языковъ) тѣхъ, которые намъ извѣстны, станетъ понятнымъ, если принять во вниманіе условія *измѣненія звуковъ*, о которыхъ говорится далѣе — условія, кореннымъ образомъ извратившія первоначальныя слова и затемнившія ихъ первоначально ясный психологическій характеръ.

Такова теорія Вундта; развивъ ее, какъ мнѣ кажется, достаточнымъ образомъ, я считаю позволительнымъ подѣлиться съ читателемъ и тѣми сомнѣніями, которыя она возбуждаетъ во мнѣ.

Два возможныхъ возраженія намѣтилъ самъ авторъ: они заключаются, во-первыхъ, въ сравнительной новизнѣ тѣхъ образованій, которыя онъ относитъ къ звукоподражаніямъ и звуковымъ образамъ, и, во-вторыхъ, въ ихъ сравнительной малочисленности. Первое возраженіе значенія не имѣетъ; пусть слова вродѣ «шарахнуть,» «тилиснуть» принадлежатъ къ новѣйшимъ наслоеніямъ языка, въ иныхъ случаяхъ даже къ плодамъ личнаго творчества, не получившимъ общественной санкціи—все же условія, создающія ихъ теперь, существовали всегда и всегда приводили къ созиданію этого рода словъ, которыя, измѣняясь въ своемъ звуковомъ составѣ, теряли со временемъ свой характеръ звукоподражаній и образовъ и вызывали этимъ появленіе новыхъ болѣе характерныхъ словъ; съ другой стороны, именно новизна нашихъ образованій, эта непосредственная ихъ близость къ нашей душѣ и даетъ намъ

возможность прослѣдить психологическій процессъ, призвавшій ихъ къ жизни—мы уже видѣли, что психологическая теорія, въ противоположность къ біологической, особенно дорожитъ явленіями живыхъ, въ полномъ смыслѣ слова, языковъ. То же приблизительно можно отвѣтить и на второе возраженіе: малочисленность образованій, въ которыхъ чувствуется связь между звуковымъ составомъ и представленіемъ, тоже легко объясняется, если принять во вниманіе дѣйствіе измѣненія звуковъ. Возьмемъ коралловую вѣтвь: какъ незначителенъ объемъ ея живыхъ кончиковъ въ отношеніи къ окаменѣлому ея корпусу! Между тѣмъ именно эти живые кончики и объясняютъ намъ ея происхожденіе. А съ другой стороны, „слѣдуетъ принять во вниманіе, что мы другихъ мотивовъ соотвѣтствія между звуковымъ составомъ и значеніемъ, которые дозволяли бы намъ уразумѣть этотъ составъ, какъ непосредственно понятное выраженіе представленія, — совсѣмъ не знаемъ. Совершенно же произвольная или случайная ассоціація между звукомъ и значеніемъ могла бы быть признана хотя и возможнымъ, но уже никакъ не естественнымъ и соотвѣтствующимъ выраженію опредѣленнаго душевнаго явленія отношеніемъ“ (I, 344).

Не думаю, однако, чтобы орудія критики были исчерпаны обоими приведенными авторомъ возраженіями. Прежде всего онъ, думается мнѣ, врядъ-ли многихъ убѣдитъ въ томъ, что въ звукоподражаніяхъ средствомъ подражанія является не звукъ, а артикуляціонное движеніе. Когда въ 1848 году группа друзей рѣшила основать въ Берлинѣ антиправительственный юмористическій журналъ, выборъ подходящаго названія причинилъ имъ немало затрудненій. Въ самый разгаръ спора объ этомъ изъ сосѣдней комнаты послышался грохотъ разбиваемой посуды; этотъ грохотъ вызвалъ у одного изъ друзей совершенно инстинктивное восклицаніе «Kladderadatsch», каковое и было принято какъ названіе новаго журнала съ его «разрушительными» тенденціями. Что же должны мы допустить: что ощущеніе грохота вызвало у нашего берлинца непосредственное представленіе соотвѣтствующаго ему приблизительно звукового комплекса, каковой и былъ тотчасъ воспроизведенъ въ силу давно затверженной ассоціаціи между слуховымъ и артикуляціоннымъ ощущеніемъ, — или, согласно Вундту, что

услышанный грохотъ вызвалъ прежде всего представленіе о падающей и разбивающейся посудѣ, это послѣднее — «уподобительный жестъ» въ видѣ болтающагося между верхней и нижней челюстью языка, каковой жестъ и произвелъ слово Kladderadatsch? Мнѣ кажется, звукоподражанія должны быть отдѣлены отъ звуковыхъ образовъ и отнесены къ явленіямъ языка-эхо, о которомъ рѣчь была выше: слово Kladderadatsch относится къ дѣйствительному грохоту разбивающейся посуды точно такъ же, какъ младенческое «Сяся» къ настоящему «Саша», — въ обоихъ случаяхъ мы имѣемъ стремленіе передать услышанный звукъ съ помощью несовершеннаго звукового аппарата говорящаго лица.

Остаются звуковые образы и родственныя имъ звуковыя метафоры; по отношенію къ нимъ теорія Вундта нуждается, какъ мнѣ кажется, только въ одной—правда, довольно существенной—поправкѣ. Какъ видно изъ приведенной выше фразы, Вундтъ при ихъ объясненіи исходитъ изъ *представленій*, результатомъ которыхъ является слово. Это объясненіе не вяжется однако съ его собственнымъ анализомъ выразительныхъ движеній, согласно которому мимическія движенія—а къ нимъ принадлежатъ и звуковые жесты—выражаютъ непосредственно не представленія, а *чувства*. Правда, Вундтъ не забываетъ и о возможной роли чувствъ въ возникновеніи звуковыхъ метафоръ (I, 340), но только этихъ послѣднихъ и только вскользь; послѣдовательность требовала, чтобы чувства были исходной точкой при объясненіи интересующихъ насъ явленій. „Какъ тилисну (ее) по горлу ножомъ“, говоритъ у Достоевскаго каторжникъ (Зап. изъ М. д., II, гл. 4); есть ли сходство между артикуляціоннымъ движеніемъ слова «тилиснуть» и движеніемъ скользящаго по человѣческому тѣлу и врѣзывающагося въ него ножа? Нѣтъ; но за то это артикуляціонное движеніе какъ нельзя лучше соотвѣтствуетъ тому положенію лицевыхъ мускуловъ, которое инстинктивно вызывается особымъ чувствомъ нервной боли, испытываемой нами при представленіи о скользящемъ по кожѣ (а не вонзаемомъ въ тѣло) ножѣ: губы судорожно вытягиваются, горло щемитъ, зубы стиснуты — только и есть возможность произнести гласный *и* и языковыя согласныя *т*, *л*, *с*, при чемъ въ выборѣ именно ихъ, а не гром-

кихъ *д, р, з* сказался и нѣкоторый звукоподражательный элементъ. То же касается и другихъ звуковыхъ образовъ: всѣ они непосредственно родственны не съ представленіями, которыя они вызываютъ, а съ чувствами, которыя въ насъ возбуждаютъ эти представленія; мы тогда ихъ признаемъ удачными, когда они гармонируютъ со всей мимикой лица, выражающей эти чувства, и своимъ звуковымъ составомъ способствуютъ (именно только *способствуютъ* — бо́льшаго мы требовать не можемъ) появленію той же мимики и у слушающа́го, а съ нею — согласно сказанному въ третьей главѣ—и усиленію самаго чувства. Итакъ, мы можемъ согласиться съ теоріей Вундта, поскольку она беретъ за точку отправленія не акустическое впечатлѣніе слова, а произведшее его артикуляціонное движеніе; но мы отвергнемъ его гипотезу «уподобительныхъ звуковыхъ жестовъ», какъ неправильно вносящую пантомимическіе термины въ область чистой мимики, и опредѣлимъ «звуковые образы» какъ „слова, артикуляція которыхъ соотвѣтствуетъ общей мимикѣ лица, выражающей вызываемое ими чувство“.

И эта область простирается гораздо шире, чѣмъ это кажется на первый взглядъ. Читатель не забылъ о «сопутствующихъ движеніяхъ», играющихъ такую роль въ общей мимикѣ и пантомимикѣ человѣческаго тѣла: сплошь и рядомъ мимическія движенія понятны только какъ сопутствующія пантомимическимъ, въ каковомъ случаѣ они выражаютъ уже не чувства, а представленія. Здѣсь, дѣйствительно, можетъ быть рѣчь о предложенномъ Спенсеромъ «разсѣянномъ возбужденіи», слѣдующемъ за иннерваціей непосредственно заинтересованныхъ органовъ и охватывающемъ прежде всего самые подвижные мускулы. Что артикуляціонные мускулы не отстаютъ отъ другихъ—ясно само собой; вспомнимъ ради иллюстраціи о переписывающемъ Акакіи Акакіевичѣ, какъ онъ „и подсмѣивалъ, и подмигивалъ, и помогалъ губами“. Положимъ, у него это движеніе не производитъ словъ — его работа нѣмая. Но въ иныхъ случаяхъ именно работа можетъ вызвать громкую артикуляцію и, слѣдовательно, появленіе «словъ-междометій» и «словъ-сигналовъ», какъ ихъ называетъ Бюхеръ. Мы знаемъ уже, что Вундтъ сочувственно относится къ теоріи Бюхера; тѣмъ естественнѣе было вспомнить о его «словахъ-сигналахъ» и отвести имъ мѣсто рядомъ съ «звуковыми образами» въ изслѣдованіи о выразительныхъ звукахъ. Но и слова-сигналы не исчерпываютъ всего матеріала: основываясь на теоріи сопутствующихъ движеній, мы должны признать, что всякій пантомимическій жестъ сопровождается тѣмъ или другимъ измѣненіемъ въ положеніи артикуляціонныхъ мускуловъ, различнымъ у различныхъ человѣческихъ расъ и даже индивидуевъ — и стало быть способствуетъ возникновенію того или другого слова. Это — результатъ очень важный: онъ объясняетъ намъ *проникновеніе представленій* изъ языка жестовъ въ языкъ словъ. Понятно, что родство возникшаго такимъ образомъ слова съ вызвавшимъ его косвенно представленіемъ будетъ совершенно неуловимо, тѣмъ не менѣе мы будемъ имѣть дѣло не со „случайной или произвольной ассоціаціей“, а съ вполнѣ естественной и неизбѣжной.

Вмѣстѣ съ тѣмъ нашъ результатъ поможетъ намъ отвѣтить на другой вопросъ, вскользъ только затронутый Вундтомъ въ его второй главѣ (I, 131 и сл.) и оставленный имъ безъ отвѣта—вопросъ о временномъ отношеніи языка жестовъ къ языку звуковъ. Согласно сказанному, этотъ вопросъ сводится къ другому вопросу—о сравнительномъ пріоритетѣ чувствъ и представленій; а такъ какъ внутри развитія человѣческаго рода о пріоритетѣ той или другой области душевныхъ явленій не можетъ быть и рѣчи, то придется признать, что оба соотвѣтствующихъ имъ языка съ самаго начала существовали рядомъ, звуки—для выраженія и сообщенія чувствъ, жесты — для представленій. Но вопросъ получаетъ другой характеръ, если ограничить его областью представленій, если предложить его въ такой формѣ: который изъ двухъ языковъ, языкъ жестовъ или языкъ звуковъ, былъ первоначальнымъ выразителемъ представленій? Тутъ отвѣтъ не можетъ быть сомнительнымъ: первенство безспорно принадлежитъ языку жестовъ. Въ жестѣ было непосредственно выражено представленіе; звукъ, какъ невольное порожденіе сопутствующихъ движеній, былъ вначалѣ лишь малозамѣтной придачей къ жесту. Но, по мѣрѣ развитія артикуляціи, его значеніе стало расти: представленіе въ силу ассоціаціи стало переходить отъ жеста къ слову, пока они не помѣнялись ролями: жестъ сталъ маловажной прида-

чей къ слову. Со временемъ онъ отпалъ совершенно: *слово убило жестъ*. На нашихъ глазахъ совершается эволюція обратнаго характера: какъ раньше акустическій образъ представленія, слово, вытѣснилъ оптическій, такъ теперь онъ въ свою очередь уступаетъ свое мѣсто оптическому знаку, письму. Письмо чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе вторгается въ область слова; ужъ теперь самыя важныя событія въ политической и культурной исторіи производятся не произносимой, а письменной рѣчью: *письмо убиваетъ слово*. Оптика вновь завоевываетъ отнятую у нея акустикой область; нетрудно, однако, понять, что этимъ она насъ не приближаетъ къ природѣ, а еще болѣе удаляетъ отъ нея.

VI.

Предложеніе, какъ психологическая единица рѣчи.—Его опредѣленіе.—Психологическій процессъ его возникновенія. Послѣдовательное раздвоеніе, какъ апперцепціонный элементъ предложенія.—Ассоціаціонный элементъ предложенія.—Замкнутыя и открытыя структуры.—Естественный и условный порядокъ частей предложенія.—Причина возникновенія условнаго порядка.—Выраженіе единства основного представленія.—Свобода въ языкахъ, какъ критерій ихъ цѣнности.—Особое положеніе славянскихъ языковъ.

Какъ уже было сказано выше, четвертая по восьмую главы труда Вундта посвящены вопросамъ, входящимъ въ составъ научной грамматики: фонетикѣ, словообразованію, морфологіи, синтаксису, семантикѣ; повидимому, этимъ сознаніемъ внушенъ и порядокъ самаго изложенія. Дѣйствительно, этотъ порядокъ приблизительно тотъ, въ которомъ названные отдѣлы слѣдуютъ другъ за другомъ въ грамматическихъ руководствахъ. Для *психолога-лингвиста* былъ бы естественъ другой порядокъ: мы видѣли уже, что психологической единицей рѣчи должно считаться не слово—и подавно не звукъ,—а предложеніе; съ него поэтому было бы правильнѣе начать. Результатами анализа предложенія явились бы прежде всего слова, разборъ которыхъ въ ихъ корневомъ, морфологическомъ и семантическомъ составѣ далъ бы тему для слѣдующихъ трехъ главъ; для послѣдней остались бы послѣдніе элементы анализа, звуки и ихъ измѣненія. Другими словами, нынѣшнія 4—8 главы Вундта должны бы были слѣдовать одна за другой вотъ въ какомъ порядкѣ: 7, 5, 6, 8, 4; въ его естественности мы еще болѣе убѣждаемся при чтеніи—дѣйствительно, глава о звукахъ предполагаетъ извѣстнымъ составъ словъ, глава о словахъ—анализъ предложенія. Конечно, въ такомъ объемистомъ сочиненіи, какъ наше, въ которомъ каждая глава образуетъ какъ бы отдѣльное самодовлѣющее цѣлое, неудобство ея помѣщенія мало даетъ себя чувствовать; но именно поэтому мы въ своей краткой характеристикѣ не можемъ послѣдовать примѣру автора и должны держаться психологически-раціональнаго порядка. Итакъ, мы начнемъ съ предложенія.

Что такое предложеніе? Этотъ вопросъ ближайшимъ образомъ интересуетъ грамматику, которая рѣшаетъ его отчасти своими силами, отчасти прибѣгая къ помощи логики и психологіи—если только она не предпочитаетъ оставить его безъ рѣшенія, вслѣдствіе чего получается то, что Вундтъ не безъ ироніи называетъ „отрицательнымъ синтаксисомъ“. Съ точки зрѣнія чистой грамматики предложеніе есть „соединеніе словъ, подчиненныхъ общему сказуемому въ видѣ законченной глагольной формы“ (при чемъ для языковъ, вродѣ русскаго, пришлось бы прибавить „или именной“) съ точки зрѣнія логики—„соединеніе словъ, являющихся выраженіемъ мысли; съ точки зрѣнія психологіи—„выраженное въ словахъ соединеніе представленій“. Въ нашихъ школьныхъ граматикахъ преобладаетъ логическое опредѣленіе—и это вполнѣ разумно, такъ какъ въ школѣ языкъ долженъ быть не столько предметомъ познанія, сколько орудіемъ образованія; но сочиненіе, имѣющее предметомъ психологію языка, должно брать за исходную точку психологическое опредѣленіе.—Да, конечно, но только не то, которое мы привели Понятіе «соединеніе представленій» прямо противоположно дѣйствительному психологическому процессу, результатомъ котораго является предложеніе. Оно заставляетъ насъ предполагать, что «соединенныя представленія» до соединенія существовали въ сознаніи порознь; а между тѣмъ дѣло обстоитъ какъ разъ наоборотъ. Когда я говорю „крестьянинъ коситъ траву“—мой слушатель, конечно, долженъ путемъ соединенія этихъ трехъ единичныхъ представленій составить себѣ картину, которую я имѣю въ виду; но въ моемъ сознаніи—все равно, вижу ли я косящаго крестьянина, или вызываю его образъ

въ своей памяти—эта картина существуетъ одновременно. Итакъ, въ чемъ же состоитъ психологическій процессъ въ моемъ сознаніи? Прежде всего отдѣльныя, но одновременныя ощущенія—зеленая трава, пестрые цвѣты, человѣкъ, коса, солнце, небо, облака и т. д.—складываются въ общую картину; при этомъ воля не участвуетъ, это актъ ассоціаціонный. Затѣмъ я рамкой вниманія выдѣляю изъ этой общей картины ту, которая меня интересуетъ—косящаго крестьянина: это уже актъ волевой, такъ наз. апперцепціи. Затѣмъ я путемъ анализа разлагаю это совокупное представленіе на его три составныя части; этотъ анализъ, разумѣется, тоже апперцепціонный актъ. Законченъ ли этимъ психологическій процессъ? Нѣтъ: иначе я бы сказалъ „крестьянинъ косить трава", а не „коситъ траву". Итакъ, четвертымъ актомъ будетъ установленіе отношенія между тѣми частичными представленіями, которыя обнаружены анализомъ. А затѣмъ, путемъ послѣдовательныхъ компликаціонныхъ ассоціацій, представленіе понятія вызоветъ представленіе слова, представленіе слова—представленіе его артикуляціи, и психологическій процессъ перейдетъ въ физіологическій.

Итакъ, еще разъ: что такое предложеніе? Мы отвѣтимъ по Вундту (II, 240) „выраженное средствами языка произвольное расчлененіе совокупнаго представленія на его составныя части, поставленныя въ логическое отношеніе другъ къ другу", причемъ слово „произвольное" придется принимать, разумѣется, не въ нравственномъ, а въ психологическомъ значеніи. Дѣйствительно, по мнѣнію Вундта, этотъ анализъ характеризуетъ человѣческое сознаніе въ противоположность къ сознанію животныхъ; въ сравненіи съ нимъ даже членораздѣльная рѣчь составляетъ пріобрѣтеніе второстепеннаго характера.

Опредѣливъ понятіе предложенія, Вундтъ переходитъ къ отдѣльнымъ его разновидностямъ; онъ различаетъ восклицательныя, изъявительныя, вопросительныя предложенія съ ихъ подраздѣленіями, обсуждаетъ затѣмъ составныя части каждаго предложенія, при чемъ нѣкоторыя изъ нихъ, именно мѣстоименія и нарѣчія, служатъ поводомъ къ переходу отъ простого къ сложному предложенію, отъ координаціи къ субординаціи. Все это дѣлается, разумѣется, не съ грамматической, а съ психологической точки зрѣнія; все же мы въ эти частности пускаться не будемъ, а прослѣдимъ въ ея происхожденіи и развитіи одну любопытную мысль, въ которой Вундтъ усматриваетъ важный критерій для психологіи культурной рѣчи въ противоположность къ первобытной.

Апперцепціонные акты, какъ совершающіеся съ участіемъ вниманія, могутъ быть только послѣдовательны, а не одновременны; анализъ совокупнаго представленія, поэтому, тоже придется разбить на послѣдовательные акты, каждый изъ которыхъ будетъ *раздвоеніемъ* предшествующаго сложнаго представленія. Такъ во взятомъ выше примѣрѣ совокупная картина разбивается прежде всего на двѣ составныя части, центральную личность и ея дѣйствіе: „крестьянинъ—коситъ"; затѣмъ дѣйствіе—на его актъ и его предметъ: „коситъ—траву"; затѣмъ если это нужно подчеркнуть—на актъ и орудіе „коситъ—косой"; наконецъ, каждое изъ названныхъ частичныхъ представленій—на самый предметъ и его свойство: „молодой—крестьянинъ", „быстро—коситъ", „зеленую—траву", „острой—косой". Нетрудно, однако, убѣдиться, что этотъ послѣдній анализъ существенно отличается отъ первыхъ: насколько первые непосредственно вытекали изъ основного представленія и не допускали ни измѣненія, ни прибавленія, настолько послѣдній воленъ и неопредѣленъ. Я не скажу, напримѣръ, „крестьянинъ и баринъ", „коситъ и поетъ", или „траву и камышъ"—если барина, пѣнія и камыша не было въ основномъ представленіи; но я свободно, ничуть не измѣняя этого представленія, могу разнообразить данныя послѣдняго анализа: „молодой и сильный крестьянинъ", „быстро и размашисто коситъ", „зеленую, сочную траву", „острой, желѣзной косой". Или вотъ еще проба: двое лицъ, видѣвшія одновременно картину, о которой идетъ рѣчь, вполнѣ согласно передадутъ представленія перваго разряда, но подберутъ каждый по-своему тѣ, которыя относятся ко второму разряду.

На этомъ различіи Вундтъ строитъ свою теорію *замкнутыхъ* и *открытыхъ структуръ*. Замкнутыя структуры, получающіяся путемъ послѣдовательныхъ раздвоеній совокупнаго представленія, являются результатомъ апперцепціи: наоборотъ, открытыя—продуктъ вольной ассоціаціи. Первыя заключены въ основномъ представленіи, вторыя рождаются сами собою во время

произношенія основного предложенія, будучи вызваны той или другой его частью, вокругъ которой они и «кристаллизуются». „Грамматически замкнутыя структуры соотвѣтствуютъ предикативнымъ, открытыя—аттрибутивнымъ конструкціямъ; преобладаніе тѣхъ или другихъ обусловливаетъ характеръ рѣчи. Въ первобытныхъ языкахъ господствуетъ ассоціація, а слѣдовательно—открытыя структуры, аттрибутивныя предложенія: видѣнія нескончаемой вереницей чередуются на узкомъ полѣ сознанія говорящаго, одно вызываетъ другое, другое—третье и т. д. У насъ вполнѣ ассоціаціонная рѣчь—явленіе патологическое, признакъ крайняго аффекта или помѣшательства; но ея преобладаніе, умѣло сдерживаемое апперцепціей, даетъ поэтическій слогъ. Напротивъ, чѣмъ болѣе расширяется поле сознанія у человѣка, тѣмъ болѣе въ его рѣчи господствуетъ апперцепція; увеличивается способность анализировать сложныя представленія, является потребность во все большемъ и большемъ числѣ выраженій подчиненности, возникаетъ, другими словами, періодизація рѣчи. Выше всѣхъ языковъ въ мірѣ стоятъ въ этомъ отношеніи оба языка античности, греческій и латинскій; въ нихъ интеллектъ нашелъ себѣ самое совершенное орудіе.

Не могу долѣе останавливаться на этой интересной теоріи; мнѣ она кажется столь же новой, сколько и важной, и я думаю, что рано или поздно она станетъ краеугольнымъ камнемъ въ каждой психологіи стиля, развитіе которой—какъ это замѣчаетъ и нашъ авторъ,—лежало внѣ предѣловъ его задачи. Но рядомъ съ господствомъ открытой или замкнутой структуры, еще другой, однородный критерій помогаетъ намъ разобраться въ разнообразіи языковъ и стилей; это *порядокъ частей предложенія*.

Части предложенія—это, согласно грамматикѣ, подлежащее, сказуемое, и т. д. Грамматика выработала эти термины при помощи логики, благодаря естественному отожествленію грамматическаго предложенія съ логическимъ сужденіемъ—говорю „естественному“, такъ какъ оно состоялось на почвѣ избранныхъ языковъ интеллекта, греческаго и латинскаго. Психологія ихъ признать не можетъ; для нея каждая пара представленій, получившихся при каждомъ раздвоеніи, будетъ состоять изъ одного господствующаго и одного отступающаго. Господствующее первое привлекаетъ наше вниманіе; естественно, что оно первымъ ищетъ себѣ выраженія въ рѣчи. Если бы наше сознаніе было «пунктуально узкимъ», то всѣ эти представленія вылились бы въ рѣчи въ порядкѣ своего старшинства; но въ томъ-то и дѣло, что оно не пунктуально узкое. Рядомъ съ частичными представленіями существуетъ и совокупное—про того, у кого оно исчезло, мы говоримъ, что онъ «потерялъ нить». Это совокупное представленіе тоже требуетъ себѣ выраженія, какъ таковое; выраженіемъ его единства служитъ раздѣленіе господствующаго представленія между началомъ и концомъ предложенія: *magna* dis immortalibus habenda est *gratia*. Опять одни только древніе языки удовлетворяютъ обоимъ требованіямъ развитого и расширеннаго сознанія. Что касается остальныхъ, то они болѣе или менѣе всѣ пожертвовали выраженіемъ единства основного представленія; но многіе пожертвовали также и психологическимъ порядкомъ частей предложенія, этимъ чуднымъ ритмомъ рѣчи, такъ естественно и вѣрно передающимъ волненіе возбужденнаго сознанія: состоялась такъ наз. *стабилизація* порядка словъ—ее мы имѣемъ въ нѣмецкомъ языкѣ, во французскомъ, во многихъ другихъ. Какъ объяснить это странное антипсихологическое явленіе?

Вундтъ, говоря правду, не объясняетъ его вовсе. Случайныя, неопредѣлимыя условія дали перевѣсъ одному какому-нибудь порядку словъ; остальное—дѣло ассоціаціи, естественно предпочитающей наиболѣе проторенную тропу. Но даже если оставить въ сторонѣ недостаточность этого объясненія—оно имѣетъ основаніемъ предположеніе, что вольный порядокъ словъ первоначаленъ въ сравненіи съ постояннымъ; правильно ли это? Въ классическихъ языкахъ мы имѣемъ вольный порядокъ, въ санскритскомъ—постоянный; что же, нужно предположить, что классическіе языки представляютъ въ этомъ отношеніи болѣе древнюю ступень развитія? Пусть такъ; но Вундтъ забываетъ, что постоянный порядокъ имѣется также въ языкѣ жестовъ, а между тѣмъ мы видѣли, что въ дѣлѣ передачи представленій языкъ жестовъ древнѣе языка словъ. Итакъ, понятія «естественный» и «первоначальный» въ данномъ случаѣ не совпадаютъ: постоянный порядокъ, будучи условнымъ, все-таки первоначальнѣе вольнаго. Какъ это объяснить?

На основаніи сказаннаго выше объясненіе затрудненій не представляетъ. Стремленіе выразить въ рѣчи какъ единство совокупнаго представленія, такъ и естественный порядокъ частичныхъ существовало всегда, но пока въ языкѣ — языкѣ жестовъ — недоставало формальнаго элемента, ему противодѣйствовало стремленіе быть понятнымъ. Языкъ жестовъ не можетъ выразить различія между „отецъ сына убилъ“ и „отца сынъ убилъ“: устраните обязательность условнаго порядка словъ — „отецъ сынъ убить“ въ первомъ, „сынъ отецъ убить“ во второмъ случаѣ — и съ нимъ будетъ устранена всякая возможность выяснить, кто кого убилъ. Когда возникъ языкъ словъ, онъ тоже долгое время былъ (какъ нынѣ языки дальняго востока и другіе) лишенъ формальнаго элемента; понятно, что условный порядокъ словъ сталъ обязателенъ и для него. Но вотъ, наконецъ, явился формальный элементъ; съ нимъ явилась возможность дать волю стремленію къ естественности рѣчи, не жертвуя ея понятностью. Почему только классическіе народы ею воспользовались? Очевидно по той же причинѣ, почему они одни также въ другихъ областяхъ умственности открыли свободу и естественность. Это — вопросъ темный, затрогивающій не одну только психологію языка; но зато ясно, что ослабленіе и потеря формальнаго элемента должны были повести также къ потерѣ вольнаго порядка словъ. Вундтъ оживленно полемизируетъ съ этимъ послѣднимъ объясненіемъ, вносящимъ телеологію въ лингвистическія явленія; мы уже знакомы съ этой его исключительностью, да и ниже еще придется имѣть съ нею дѣло.

Неохотно разстаюсь съ этой темой; на мой взглядъ такое одухотвореніе психологіей лингвистическихъ явленій, которыя многимъ казались чѣмъ-то сухимъ и мертвымъ — положительно красивое зрѣлище. Учившіеся по-латыни знаютъ, что такое «гипербатъ»; сочетанія въ родѣ вышеприведеннаго magna dis immortalibus habenda est gratia подводятся грамматиками подъ понятіе гипербата — и дѣло съ концомъ. Теперь мы знаемъ, какъ объяснить это явленіе: „гипербатъ — выраженіе въ рѣчи единства совокупнаго представленія“. — Древніе риторы не могли этого выяснить — для этого ихъ психологическая теорія была недостаточно развита; они инстинктивно чувствовали важность отмѣченнаго явленія и отвели ему мѣсто среди «изяществъ» рѣчи. Позднѣйшія времена за ними слѣпо послѣдовали вплоть до XIX вѣка, который, гордый своею сознательностью, презрительно отвергъ сухую и непонятную риторическую рухлядь. Отвергнуть непонятное — это одинъ исходъ, не всегда лучшій; предпочтительнѣе — понять его. Современная психологія языка даетъ намъ къ этому средства; можно теперь же предсказать, что съ помощью этихъ средствъ вся древняя риторика, раздавленная подъ бременемъ незаслуженнаго презрѣнія, будетъ возстановлена въ своихъ правахъ, но въ то же время, перенесенная на психологическую почву, превратится въ науку положительную, интересную и важную.

Еще позволю себѣ нѣсколько словъ относительно славянскихъ языковъ. Изо всѣхъ языковъ цивилизованной Европы только они обладаютъ полной свободой въ чередованіи словъ — предложеніе „отецъ убилъ сына“ по-французски можетъ быть выражено только на одинъ ладъ, по-нѣмецки на два или, если прибѣгнуть къ мѣстоименію es, на четыре, только въ славянскихъ языкахъ, какъ и въ обоихъ классическихъ, возможны всѣ шесть; несомнѣнно, что эта свобода стоитъ въ связи съ богатствомъ формальнаго элемента, которымъ славянскіе языки превосходятъ всѣ остальные. Но вмѣстѣ съ этимъ богатствомъ дана возможность полной психологической свободы языка, дана возможность выразить также и единство совокупныхъ и господствующихъ представленій; и мы дѣйствительно встрѣчаемъ ее въ польскомъ, но не въ русскомъ языкѣ. Откуда такое различіе? Оттого, что польская рѣчь выросла и развилась подъ постояннымъ вліяніемъ латинской; это вліяніе въ данномъ случаѣ не внесло въ нее чуждыхъ элементовъ, а заставило только открыть и примѣнить свои врожденныя способности. Надъ этимъ стоитъ призадуматься.

VII.

Слово, какъ результатъ анализа предложенія. — Физіоматеріалистическая теорія говоренія; ея недостатки.—Психологическая теорія.—Психологическій составъ слова.—Неравныя ассоціаціи элементовъ слова и ихъ роль въ процессѣ говоренія.—Основные и формальные элементы слова.—Значеніе формальныхъ элементовъ.—«Безформенные языки».—Отношенія, выражаемыя формальными элементами.—Основные элементы, какъ носители смысла словъ. — Отношеніе значенія къ звуковому составу словъ. — Психологическіе факторы измѣненія смысла: перемѣна господствующей примѣты и новыя ассоціаціи. — Критика теоріи Вундта. — Метонимическія и метафорическія измѣненія. — Измѣненія общія и частичныя.—Психологія метафоры.

Какъ совокупному представленію соотвѣтствуетъ предложеніе, такъ частичному соотвѣтствуетъ *слово*; какъ частичныя представленія возникаютъ въ нашемъ сознаніи путемъ расчлененія совокупнаго, такъ точно и слово получается путемъ расчлененія предложенія. Это, пока, конечно, только психологическій процессъ на почвѣ нашей обыденной рѣчи; вопросъ о возникновеніи словъ такъ просто не рѣшается. Но мы заранѣе будемъ расположены отдать предпочтеніе такому объясненію историческаго процесса возникновенія словъ, которое будетъ соотвѣтствовать психологическому процессу ихъ ежедневнаго возникновенія въ нашемъ сознаніи. Такое объясненіе можно найти; слѣдуетъ только пріобщить результаты нашей предъидущей главы къ тому, что было установлено въ пятой. Тамъ мы видѣли, какимъ образомъ представленія нашли себѣ выраженіе въ языкѣ звуковъ; теперь мы должны прибавить, что эти представленія были совокупными представленіями—что и понятно—и что, слѣдовательно, соотвѣтствующіе имъ комплексы звуковъ были предложеніями, а не отдѣльными словами. Они могли быть очень разнообразны; все же сознаніе подобія совокупныхъ представленій, обусловленнаго участіемъ однихъ и тѣхъ же частичныхъ представленій, должно было чисто ассоціаціоннымъ путемъ повести и къ уподобленію ихъ звуковыхъ выраженій; а дальнѣйшимъ послѣдствіемъ было то, что схожіе звуковые элементы стали сознаваться какъ выраженія частичныхъ представленій, т.-е. какъ «слова» въ нашемъ смыслѣ.— Я не поручусь, что Вундтъ именно такъ представляетъ себѣ

процессъ возникновенія словъ—онъ его нигдѣ не выясняетъ,— но полагаю, что данное объясненіе болѣе всего соотвѣтствуетъ его теоріи (см. I, 565).

Полученное такимъ образомъ слово представляетъ изъ себя несомнѣнно психофизическое явленіе — правда, несомнѣнно только по теоріи Вундта, которую онъ энергично и, думается мнѣ, побѣдоносно отстаиваетъ отъ нападеній физіоматеріалистовъ, допускающихъ одну только физіологическую причинность. Главной опорой физіоматеріалистовъ былъ открытый Брока словомоторный центръ въ одной извилинѣ головного мозга, повреждeніе котораго лишало человѣка возможности говорить («афазія»), оставляя ему однако способность мыслить, слышать, помнить и писать слова—тѣмъ болѣе, когда это открытіе было дополнено открытіемъ соотвѣтственнаго сензорнаго (акустическаго) центра, обусловливающаго способность слышать и запоминать услышанное. Остальное было уже дѣломъ гипотезы; стали допускать также существованіе особыхъ сенсорно-оптическаго и моторно-графическаго центровъ, пораженіе которыхъ вредно отзывается на способности читать и писать, а также и центра понятій, благодаря которому мы мыслимъ; клѣтки мозга обратились въ склады представленій — однимъ словомъ, пресловутая френологія Галла возникла въ новомъ видѣ. Вотъ противъ этой-то френологіи и ратуетъ Вундтъ; ничуть не оспаривая несомнѣнной физіологической обусловленности говоренія, онъ настаиваетъ, однако, на вліяніи также и чисто психологическихъ условій. Дѣйствительно, физіологическая теорія сама по себѣ недостаточна: во-первыхъ, она не объясняетъ нѣкоторыхъ особыхъ, относящихся сюда патологическихъ явленій и, съ другой стороны, ведетъ къ конструкціи такихъ, которыя никогда не встрѣчаются; а, во-вторыхъ, въ этихъ явленіяхъ наблюдаются такія чисто психологическія детали, которыхъ ни одна физіологическая теорія не можетъ даже попытаться объяснить, не впадая въ абсурдъ. Такъ было замѣчено, что при неполной амнесіи (т.-е. неспособности помнить слова) сначала исчезаютъ имена собственныя, затѣмъ существительныя конкретныя и долѣе всѣхъ держатся отвлеченныя; что-жъ, неужели мы должны допустить, что представленія распредѣлены въ нашихъ клѣткахъ по грамматическимъ категоріямъ,

и что онѣ поражаются неизмѣнно въ одномъ и томъ же порядкѣ?

Напротивъ, всѣ трудности исчезаютъ, если отнестись къ словамъ также и съ психологической точки зрѣнія. Что же представляетъ изъ себя слово, психологически разсуждая?

Оно представляетъ довольно сложное явленіе. Возьмемъ любое слово — «дерево», напримѣръ; для насъ съ вами это слово «дерево» слагается изъ шести отдѣльныхъ психическихъ элементовъ: 1) *зрительнаго* представленія настоящаго дерева съ его стволомъ, вѣтвями и листвой; 2) того особаго чувства пріятной свѣжести, которымъ сопровождается это представленіе; 3) *слухового* представленія произнесеннаго слова «дерево» какъ комплекса *звуковъ* д, е, р, е и т. д.; 4) *моторнаго* представленія артикуляціи этого слова мускулами *рта*; 5) *зрительнаго* представленія написаннаго или напечатаннаго слова «дерево» въ составѣ его *буквъ* д, е, р и т. д.; 6) *моторнаго* представленія изображенія этого слова мускулами *руки*.—Говорю „для насъ съ вами", т.-е. для всѣхъ нормальныхъ грамотныхъ людей; но кромѣ того у каждаго изъ насъ могутъ быть и побочные элементы, связанные съ представленіемъ нашего слова. Такъ, если я подъ деревомъ простился съ дорогимъ человѣкомъ, то представленіе этого прощанія можетъ возникнуть самопроизвольно при представленіи самого дерева, оттѣняя и сопровождающее его чувство чувствомъ грусти.

Теперь мы должны имѣть въ виду, что всѣ эти элементы связаны между собою ассоціаціями, но—и это очень важно— не одинаковой силы. Такъ, № 5 естественно вызываетъ № 1, для этого онъ, вѣдь, и существуетъ, — но не наоборотъ: не всегда я могу прочесть слово «дерево», не думая при этомъ о дѣйствительномъ деревѣ, но, наоборотъ, отлично могу представить себѣ дерево, не думая при томъ, какъ соотвѣтственное слово пишется. Мало того: сравнительное значеніе обоихъ главныхъ элементовъ этого комплекса—№ 1 и 3—не одинаково для различныхъ словъ; такъ, если у меня есть братъ Владиміръ, то въ моемъ воображеніи будетъ господствовать элементъ № 1, т.-е. онъ самъ въ составѣ своихъ физическихъ и психическихъ особенностей; я буду представлять его себѣ, какъ личность, въ большинствѣ случаевъ и не думая о томъ,

что его зовутъ Владиміромъ. Иначе обстоитъ дѣло со словомъ «дерево»: тутъ очень часто представленіе слова можетъ замѣнить представленіе самаго предмета. Что же касается такихъ словъ, какъ «справедливость», то вслѣдствіе различнаго вида подходящихъ подъ это понятіе дѣйствій представленіе слова получаетъ полное господство надъ представленіемъ самой вещи. Итакъ, въ процессѣ молчаливаго мышленія, всегда предшествующаго процессу говоренія и могущему происходить независимо отъ него, представленіе слова «Владиміръ» будетъ отсутствовать вовсе, будучи замѣщено представленіемъ человѣка, этимъ именемъ нареченнаго; представленіе слова «дерево» будетъ встрѣчаться вперемежку съ представленіемъ предмета; представленіе же слова «справедливость» будетъ возникать всякій разъ, когда мнѣ понадобится соотвѣтствующе понятіе. Другими словами: представленіе слова «справедливость», какъ необходимое, окажется лучше всего затверженнымъ, вслѣдъ за нимъ представленіе слова «дерево» и хуже всего — представленіе слова «Владиміръ». Вотъ почему лица, страдающія прогрессирующей амнесіей, начинаютъ съ того, что Владиміра зовутъ Василіемъ, Дмитріемъ или „какъ тамъ тебя", продолжаютъ тѣмъ, что дерево называютъ шестомъ, тычинкой или „тѣмъ, что растетъ", и до самаго конца удерживаютъ въ своей памяти справедливость и однородныя съ нею слова.

Точно такъ же теорія неравныхъ ассоціацій слова помогаетъ намъ объяснить и другія патологическія поврежденія способности словопредставленія; ими мы, однако, заниматься не будемъ и перейдемъ къ другимъ вопросамъ, входящимъ въ область психологіи слова. Тотъ же процессъ, который ведетъ къ расчлененію предложенія на слова, распространяется также и на слова и ведетъ къ установленію въ нихъ двоякаго рода элементовъ—*основныхъ* и *формальныхъ*. Такъ, въ фразѣ „крестьянинъ коситъ траву" мы легко сознаемъ, что самое представленіе кошенія какъ такового ассоціируется только съ частью *кос-*, между тѣмъ какъ часть *-итъ* опредѣляетъ только отношеніе этого дѣйствія къ крестьянину, какъ его подлежащему. Итакъ, *кос-* будетъ основнымъ, а *-итъ*—формальнымъ элементомъ слова *коситъ*; различіе это — совершенно другое, чѣмъ извѣстное изъ грамматики различіе понятій корень, суффиксъ,

основа, окончаніе и т. д.; послѣднія принадлежатъ къ области грамматики и психологіи не интересуютъ. Психологія не касается того, что для сознанія неощутимо; пусть тысячу разъ корнемъ слова «память» будетъ *теп*—для сознанія этотъ корень неощутимъ и психологія съ нимъ не считается. — Разсмотримъ же по порядку—сначала формальные, а затѣмъ основные элементы словъ.

Роль формальныхъ элементовъ двоякая; они опредѣляютъ взаимное отношеніе словъ въ предложеніи, но они же обусловливаютъ и грамматическую категорію каждаго отдѣльнаго слова. *Коса*, *косы; косой*, *косая*; *коситъ*, *косятъ*—только формальные элементы даютъ намъ право относить первую пару словъ къ существительнымъ, вторую къ прилагательнымъ, третью къ глаголамъ. Теперь спрашивается, какъ быть съ тѣми языками, которые не знаютъ формальнаго элемента. Можно ли будетъ сказать про нихъ, что они обладаютъ существительными, прилагательными, глаголами? Полагаю, что нѣтъ; въ нихъ будутъ, конечно, обозначенія предметовъ, качествъ, состояній, но что эти логическія категоріи не совпадаютъ съ грамматическими, видно изъ такихъ примѣровъ, какъ «толщина», «синѣть», «движеніе» и т. д. Съ этой точки зрѣнія и споръ о томъ, какой элементъ языка древнѣе, имя или глаголъ, теряетъ значительную долю своего интереса; Вундтъ, въ противоположность къ старымъ лингвистамъ, рѣшаетъ его въ пользу имени, но его главное доказательство — что предметъ самопредставимъ, состояніе же нѣтъ — мало убѣдительно. Наименованія вызываются интересомъ, который окружающіе предметы имѣютъ для человѣка, ихъ службой его потребностямъ; первоначальныя потребности — ѣсть, пить — прежде всего должны были вызвать наименованія; а соотвѣтствовали ли эти наименованія нашимъ глаголамъ или именамъ (пища, питье)—этого намъ не рѣшить. Подобно философу Анаксимандру и я бы поставилъ въ началѣ развитія словъ то неопредѣленное apeiron, изъ котораго со временемъ развились стихіи языка.

На этомъ основаніи старые лингвисты и называли такіе языки «безформенными» (formlos); Вундтъ не допускаетъ такого обозначенія, указывая на то, что взаимное отношеніе словъ въ предложеніи, не опредѣляемое отсутствующимъ формальнымъ элементомъ, передается установленнымъ порядкомъ словъ. Съ этой точки зрѣнія онъ различаетъ «внѣшнюю» и «внутреннюю» форму; но врядъ ли эта терминологія удачна: сочетаніе «внутренняя форма» звучитъ противорѣчіемъ. Правильнѣе было бы, оставляя терминъ «безформенный» въ силѣ, говорить о (жалкихъ и недостаточныхъ) суррогатахъ формальнаго элемента въ тѣхъ языкахъ, которымъ нашъ авторъ приписываетъ «внутреннюю форму». Но это не такъ важно; сосредоточимся на формальномъ элементѣ и на тѣхъ языкахъ, которые имъ обладаютъ. Какого рода отношенія выражаетъ онъ?

Ихъ много: родъ, число, падежъ, степень, залогъ и т. д. И Вундтъ добросовѣстно ихъ разбираетъ одно за другимъ. Разборъ этотъ ведется на обширномъ лингвистическомъ основаніи: привлекаются языки, имѣющіе вмѣсто родовъ категоріи сравнительной цѣнности, языки, имѣющіе вмѣсто обоихъ нашихъ чиселъ еще не только двойственное, но и тройственное, языки, имѣющіе безъ малаго сотню падежей и добрую дюжину залоговъ и т. д. Понятно, что всѣ эти различія даютъ богатый матеріалъ для психологическихъ объясненій; все же мы за авторомъ въ эти дебри не послѣдуемъ. Ограничимся интереснымъ результатомъ, что первыми въ области глаголовъ возникаютъ залоги (съ видами включительно), вторыми по времени—наклоненія и послѣдними — времена; другими словами, первой появляется потребность выразить внѣшнюю окраску представляемаго дѣйствія, второй — его отношеніе къ говорящему, и послѣдней—его пріуроченье къ той или другой временной ступени.

Переходимъ къ основному элементу. Онъ—носитель представленія, того «значенія», которое мы приписываемъ слову. Въ какомъ отношеніи однако находится значеніе къ своему носителю?

Возьмемъ, чтобы выяснить себѣ этотъ вопросъ, возможно конкретный и прозрачный случай. Передъ моими глазами мелькнула птичка, возбудившая мое вниманіе яркимъ цвѣтомъ своихъ перьевъ; ей готово имя—синица. Что же, въ сущности произошло? Въ нашей птичкѣ много различныхъ примѣтъ, какъ постоянныхъ (такой-то клювъ, такія-то ножки и т. д.), такъ и перемѣнныхъ (она то порхаетъ, то летаетъ, то ще-

бечетъ, то ловитъ мушекъ и т. д.), но поводомъ къ наименованію послужила только одна изъ нихъ; почему? Потому что въ данную минуту эта примѣта была «господствующей». Это обстоятельство находится въ связи съ двумя свойствами нашей умственной природы, которыя Вундтъ называетъ «единствомъ» апперцепціи и ея «узостью». Въ силу единства апперцепціи выдѣленный рамкой вниманія предметъ всегда ощущается какъ нѣчто цѣльное и единое, требующее единаго наименованія; въ силу ея узости изо всѣхъ примѣтъ предмета только одна дѣлается непосредственнымъ объектомъ вниманія, почему наименованіе и дается исключительно по ней. Если теперь обозначить постоянныя свойства предмета буквой A, а перемѣнныя буквой X, то формула $A+X$ будетъ обозначеніемъ всего предмета, какъ единаго объекта нашей апперцепціи; но его наименованіе не ассоціируется непосредственно съ $A+X$, а съ господствующей примѣтой *d*, которая у синицы принадлежитъ къ постояннымъ: формулой наименованія (n) будетъ $nd\ (A+X)$, причемъ скобки означаютъ, что совокупность прочихъ примѣтъ отступаетъ въ сознаніи передъ господствующей.— Но разъ наименованіе дано—оно относится безразлично ко всѣмъ примѣтамъ птицы; я говорю о клювѣ синицы, объ остовѣ синицы, о пѣніи синицы, совершенно не думая о ея синемъ цвѣтѣ. Господствующая примѣта d (синій цвѣтъ) отходитъ въ число прочихъ примѣтъ $A+X$ и съ ними стушевывается, а вмѣсто нея выдѣляется каждый разъ новая господствующая примѣта d_1 (клювъ), d_2 (остовъ), d_3 (голосъ) Теперь ясно, что каждая изъ этихъ новыхъ господствующихъ примѣтъ можетъ подать поводъ къ новой ассоціаціи; и дѣйствительно, мы въ настоящее время обнимаемъ общимъ наименованіемъ синицы многихъ птицъ, имѣющихъ съ первоначальной синицей («лазоревкой») общее построеніе тѣла, но не цвѣтъ; мало того, синицей преимущественно мы называемъ черноголовку (какъ самую распространенную), на которой нѣтъ ни одного синяго пера. Это доказываетъ, что первоначальная господствующая примѣта d окончательно отошла въ группу примѣтъ $A+X$ и затерялась въ ней, между тѣмъ какъ изъ этой группы выдвинулась новая примѣта d_1, которая стала господствующей и дала поводъ къ новымъ ассоціаціямъ.

Вотъ, стало быть, двойная психологическая основа измѣненія значенія словъ: измѣненіе господствующей примѣты и вызванная имъ новая ассоціація. А разъ это такъ, то въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ рождаются вопросы: 1) чѣмъ вызвано измѣненіе господствующей примѣты? 2) каковъ характеръ новой ассоціаціи? Смотря по различнымъ отвѣтамъ на эти вопросы, получаются различные процессы измѣненія значенія словъ; но прежде чѣмъ представить ихъ читателю, я долженъ указать на одинъ—какъ мнѣ думается—ошибочный элементъ въ построеніи Вундта, которому мы слѣдовали до сихъ поръ.

Вундтъ дѣлитъ процессъ измѣненія смысла словъ на двѣ крупныя категоріи—измѣненія общія и частичныя; примѣромъ онъ беретъ два родственныя по значенію слова, pecunia и moneta. Первое, по своему первоначальному значенію—«скотъ»; а такъ какъ въ первобытномъ обществѣ скотъ служилъ орудіемъ обмѣна, каковая роль впослѣдствіи перешла къ деньгамъ, то и самое слово *pecunia* со временемъ стало обозначать «деньги». Такой постепенный переходъ значенія словъ, вызванный измѣненіемъ культурныхъ условій, Вундтъ называетъ «общимъ измѣненіемъ смысла» (regulärer Bedeutungswandel). Напротивъ, слово moneta было первоначально эпитетомъ богини Юноны («Внушительница», отъ moneo); затѣмъ оно стало обозначать монетный дворъ, находившійся въ Римѣ у храма этой богини, и, наконецъ—монету. Такой внезапный, какъ онъ думаетъ, переходъ значенія, вызванный случайными мѣстными условіями, Вундтъ называетъ «измѣненіемъ частичнымъ» (singulärer Bedeutungswandel). Мнѣ кажется, однако, что разница заключается здѣсь не въ условіяхъ, а самомъ способѣ этого измѣненія. Въ pecunia этотъ способъ такой же какъ и въ «синица»: вмѣсто (неизвѣстнаго намъ) первоначальнаго господствующаго представленія d, стало выдвигаться другое d_1 («орудіе обмѣна»), въ силу чего pecunia стало означать всякое орудіе обмѣна, м. пр. деньги, и затѣмъ — только деньги. Въ moneta мы, напротивъ, не имѣемъ никакого измѣненія господствующаго представленія; здѣсь дѣйствовала не ассоціація по сходству (т. е. по общности господствующей примѣты), а по смежности: монетный дворъ находился *рядомъ* съ храмомъ Монеты и поэтому унаслѣдовалъ ея

названіе. Такія измѣненія я предложилъ бы выдѣлить въ особый классъ и назвать *метонимическими*, въ противоположность къ занимавшимъ насъ до сихъ поръ *метафорическимъ*. Возьмемъ другой, болѣе родственный намъ и болѣе выразительный примѣръ—слово *борода*. Его первоначальное значеніе, какъ показываютъ другіе индоевропейскіе языки (Bart, barba)—то, въ которомъ мы его употребляемъ нынѣ: волосы, покрывающіе нижнюю часть лица. По-нѣмецки оно обозначаетъ также и плоскую часть ключа («бородку»), очевидно въ силу ассоціаціи по сходству и метафорическаго перехода: новое господствующее представленіе — плоскій наростъ на закругленномъ предметѣ. Но въ польскомъ языкѣ broda употребляется также въ значеніи «подбородокъ» — тутъ произошла ассоціація по смежности и метонимическое измѣненіе значенія.

Возвращаясь къ метафорическимъ измѣненіямъ, мы, дѣйствительно, можемъ найти въ нихъ категорію общаго и категорію частичнаго перехода смысла, и эти категоріи будутъ соотвѣтствовать тѣмъ категоріямъ общаго и частичнаго измѣненія звука, о которыхъ рѣчь будетъ въ слѣдующей главѣ; какъ тамъ, такъ и здѣсь измѣненія общаго характера происходятъ независимо, измѣненія частичнаго характера—подъ вліяніемъ какихъ-нибудь другихъ предметовъ или словъ. Законъ, обусловливающій общія измѣненія, гласитъ такъ: съ теченіемъ времени болѣе яркія примѣты, какъ господствующія, уступаютъ свое мѣсто болѣе существеннымъ. Такъ въ нашемъ первомъ примѣрѣ — синицѣ — мѣсто первоначальной яркой примѣты, синяго цвѣта, заняла болѣе существенная, построеніе тѣла; такъ въ понятіи «государство» представленіе государя смѣнилось представленіемъ политической самостоятельности; такъ въ понятіи «деревня» подавшая поводъ къ этому наименованію примѣта стушевалась передъ болѣе существенной, крестьянской общины; въ силу всѣхъ этихъ переходовъ мы называемъ черноголовку синицей, Францію—государствомъ, Ватерлоо — деревней, хотя они подъ первоначальное значеніе этихъ наименованій вовсе не подходятъ.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ причина измѣненія находится въ самихъ измѣняющихъ свое значеніе словахъ независимо

отъ какихъ бы то ни было постороннихъ предметовъ или словъ; въ совершенно другомъ положеніи оказываются *частичныя* измѣненія. Они происходятъ подъ вліяніемъ постороннихъ представленій; эти представленія, въ свою очередь, могутъ либо находиться въ томъ же предложеніи, либо не находиться въ немъ. Въ первомъ случаѣ мы имѣемъ дѣйствіе вблизи, во второмъ — дѣйствіе издали; такъ какъ по гречески слово «близко» гласитъ anchi, а слово «далеко» têle то мы измѣненія первой категоріи будемъ называть анхипатическими, а второй—телепатическими. Возьмемъ сопоставленія «государство и провинціи», «государство и личность», «государство и церковь»—нѣтъ сомнѣній, что мы въ каждомъ случаѣ связываемъ со словомъ «государство» другое господствующее представленіе. Но вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ эти частичныя представленія заключаются въ общемъ понятіи «государство» и лишь выдѣляются изъ него путемъ анализа; такъ-то въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ анхипатическое дѣйствіе ведетъ къ *суженію* понятія. Теперь представимъ себѣ, что въ силу какихъ-нибудь условій одно изъ перечисленныхъ сопоставленій получитъ перевѣсъ надъ остальными — результатомъ будетъ окончательное суженіе понятія. Телепатическое дѣйствіе мы наблюдаемъ въ тѣхъ случаяхъ, когда или нововозникшій предметъ требуетъ себѣ наименованія, или какое-нибудь слово дѣлается неупотребительнымъ: результатъ въ обоихъ случаяхъ одинъ и тотъ же, какое-нибудь родственное слово «переносится» на нововозникшій или оставшійся безъ наименованія предметъ. Возьмемъ и здѣсь примѣры. Съ изобрѣтеніемъ ключей отдѣльныя ихъ части потребовали себѣ наименованій; такъ возникло слово Bart («бородка») для обозначенія части ключа. Слово „ходить“ по латыни гласило ire; со временемъ эта форма стала неупотребительной, ее замѣнилъ родственный глаголъ ambulare (собств. «ходить кругомъ», «гулять»), который и перешелъ во французскій языкъ, (amblare—aller). Психологически дѣло объясняется тѣмъ, что въ словахъ Bart и amblare первоначальное господствующее значеніе стушевалось и уступило мѣсто другому, болѣе общему; но эта уступка произошла подъ вліяніемъ не естественнаго ихъ развитія, а постороннихъ представленій, требовавшихъ включенія въ нихъ.

Включеніе это было однако актомъ синтетическимъ, и результатомъ телепатическихъ воздѣйствій оказалось *расширеніе* первоначальнаго понятія.

Вотъ какъ я бы отвѣтилъ на первый изъ поставленныхъ выше вопросовъ—на вопросъ о причинѣ, вызывающей измѣненіе господствующей примѣты; этотъ отвѣтъ существенно отличается отъ даннаго Вундтомъ, но онъ покоится на его изслѣдованіяхъ и, думается мнѣ, совершенно въ духѣ его теоріи. Что касается второго вопроса, вопроса о характерѣ новыхъ ассоціацій, совершающихся послѣ измѣненія господствующей примѣты, то на него вполнѣ исчерпывающимъ образомъ отвѣтилъ самъ Вундтъ (II, 487 сл.). Онъ различаетъ ассоціаціи представленій и ассоціаціи чувствъ; первыя въ свою очередь распадаются на ассимиляціи, т.-е. ассоціаціи внутри той же области представленій (зрительной, напримѣръ), и на компликаціи, т.-е. ассоціаціи между различными областями представленій (зрительной и слуховой, напримѣръ). Такъ «ножка стола» будетъ ассимиляціонной ассоціаціей, такъ какъ и нога человѣка и ножка стола относятся къ одной и той же зрительной области; «теплые цвѣта»—компликаціонная ассоціація, вызванная общимъ представленіемъ солнечныхъ лучей, въ ихъ оптическомъ и теплородномъ дѣйствіи; наконецъ, «розовыя мечты», «сѣрая дѣйствительность», «черная печаль» и т. д.— ассоціаціи чувствъ. Особенно заслуживаютъ вниманія эти послѣднія ассоціаціи и ихъ обработка Вундтомъ: ими объясняются психологически и оправдываются нѣкоторыя явленія въ новѣйшей (т. наз. декадентской) поэзіи, хотя, разумѣется, не то чрезмѣрное увлеченіе ими, которое дискредитировало ее.

Я здѣсь намѣтилъ только главныя рубрики въ классификаціи Вундта; въ частности, а также въ психологическій разборъ каждой изъ нихъ, произведенный имъ съ обычной тщательностью, я входить не буду. Но не могу оставить безъ вниманія одинъ вопросъ общеинтереснаго характера, пространно обсужденный Вундтомъ и рѣшенный имъ, какъ мнѣ кажется, не вполнѣ правильно.

Извѣстно, какую роль въ образованіи языка старинная лингвистика приписывала *метафорѣ*; согласно нѣкоторымъ, весь нашъ языкъ представляетъ изъ себя «словарь поблекшихъ

метафоръ». При такомъ широкомъ пониманіи слово «метафора» теряетъ всякую цѣнность для насъ; попытки его ограниченія заслуживаютъ, поэтому, всякаго одобренія. Критеріемъ такого ограниченія является, по Вундту, сознательность говорящаго; если нѣтъ сознательности, то нѣтъ и метафоры. „Когда мы говоримъ о *ножкахъ стола*, называемъ нужду *горькой*, печаль *тяжелой* и т. д., то мы сознаемъ эти слова не какъ переносныя, а какъ адэкватныя наименованія самихъ предметовъ и настроеній, и нѣтъ причины допускать, что дѣло обстояло иначе, когда всѣ эти выраженія возникали. И тогда ножки стола принимались за дѣйствительныя ноги“ и т. д. (II, 553). Итакъ, одно—общее измѣненіе значенія, другое — метафора; первое имѣетъ своимъ психологическимъ основаніемъ одновременную (simultane), вторая — послѣдовательную (successive) ассоціацію.

Я отчасти уже опровергъ это разсужденіе Вундта тѣмъ, что перевелъ его по-русски; дѣйствительно, уже одно то, что die Füsse des Tisches у насъ называются не ногами, а ножками стола (ср. схожія употребленія словъ ручка, бородка, очко, рыльце, корешокъ и т. д.), доказываетъ, что первый, употребившій это слово, сознавалъ разницу между ними и настоящими ногами. Но вообще я не думаю, чтобы различіе симультанной и сукцессивной ассоціаціи имѣло какую-нибудь цѣнность въ нашей области. Конечно, психологическое значеніе симультанной ассоціаціи неоспоримо, и Вундтъ, установившій это понятіе путемъ т. наз. тахистоскопическихъ опытовъ (ср. I, 525, гдѣ приводятся преинтересныя заключенія на основаніи необнародованнаго еще матеріала), имѣетъ право настаивать на немъ; но спеціально въ нашемъ случаѣ оно врядъ ли можетъ сослужить какую-нибудь службу. Сущность симультанной ассоціаціи состоитъ въ томъ, что новое представленіе при самомъ своемъ возникновеніи ассоціируется съ элементами нашихъ воспоминаній; если же оно успѣло проникнуть въ наше сознаніе, и мы лишь затѣмъ находимъ сходство между нимъ и другимъ представленіемъ, сохранившимся въ нашей памяти, то это будетъ сукцессивная ассоціація. Теперь нетрудно убѣдиться, что въ языкѣ не могло сохраниться никакихъ слѣдовъ того или другого возникновенія. Возьмемъ

любую метафору, хотя бы изъ Гл. Успенскаго («Богъ грѣхамъ терпитъ», сцена драки), „вышибай, ребята, изъ купчины днище!“ — очевидно, слово «днище» употреблено здѣсь не въ обычномъ значеніи; какъ это объяснить? Если парень былъ родомъ изъ деревни, промышляющей рыболовствомъ, то болѣе чѣмъ вѣроятно, что при первомъ взглядѣ на объемистый животъ купца у него возникло представленіе опрокинутой лодки; такимъ образомъ мы имѣемъ ассоціацію симультанную. Но возможно, что это представленіе вовсе не было у него привычнымъ, и что только желаніе найти игривое уподобленіе его ему подсказало; тогда ассоціація была сукцессивной. И такъ вездѣ: данное тропическое выраженіе у одного будетъ результатомъ симультанной ассоціаціи, у другого — сукцессивной, у третьяго — ни той, ни другой, а повтореніемъ слышаннаго отъ другихъ оборота. А если такъ, то ясно, что характеръ процесса ассоціаціи критеріемъ служить не можетъ, а только характеръ ассоціаціи какъ таковой (по сходству или по смежности, путемъ ассимиляціи или компликаціи и т. д.).

Итакъ, спросятъ, нѣтъ никакой разницы между метафорой и простымъ переходомъ значенія? Нѣтъ, есть; но критеріемъ долженъ служить характеръ умственнаго процесса не у автора даннаго оборота, а у насъ самихъ, которыми языкъ живетъ и поддерживается. Для насъ «днище» въ значеніи «животъ» — выраженіе метафорическое, такъ какъ оно вызываетъ у насъ болѣе или менѣе ясно представленіе опрокинутой лодки или бочки; это — слово-аккордъ. Напротивъ, слово «животъ» никакого другого представленія, кромѣ именно этого, не вызываетъ, это — слово-тонъ; только исторія языка указываетъ намъ, что и оно получило свое настоящее значеніе путемъ измѣненія смысла. И опять мы коснулись коренной односторонности метода Вундта — его стремленія объяснять всѣ явленія языка психологическимъ анализомъ умственнаго процесса при ихъ *возникновеніи*, оставляя въ сторонѣ тотъ другой, не менѣе важный процессъ, благодаря которому эти явленія въ языкѣ *удержались*, другими словами, его индивидуально-психологической, а не народно-психологической точки зрѣнія. Но и здѣсь мы только подчеркиваемъ эту особенность, предоставляя себѣ вернуться къ ней въ заключительной главѣ.

VIII.

Звукъ, какъ послѣдній элементъ рѣчи. — Психологія измѣненія звуковъ. — Просторъ нормальной артикуляціи. — Ассоціація звуковъ, какъ причина ихъ измѣненія. — Классификація измѣненій звуковъ. — Измѣненія общія и частичныя. — Недостатки метода экспериментальной психологіи. — Необходимость дополненія теоріи Вундта.

И вотъ, наконецъ, мы дошли до послѣднихъ элементовъ рѣчи — *звуковъ*. Отъ ихъ подбора зависитъ внѣшняя физіономія, такъ сказать, языка; они прежде всего обращаютъ на себя наше вниманіе, когда мы начинаемъ знакомиться съ чужой рѣчью; всякое измѣненіе внѣшняго облика языка, совершающееся въ теченіе столѣтій его жизни, есть прежде всего измѣненіе его звукового состава. Чѣмъ же вызывается оно? Какъ объяснить психологически феноменъ измѣненія звуковъ?

И здѣсь народная психологія прибѣгаетъ къ помощи психологіи индивидуальной; она имѣетъ полное основаніе это дѣлать, такъ какъ всѣ факты, утвердившіеся въ языкѣ совокупности, возникали въ психофизическомъ естествѣ индивидуевъ. А разъ на сцену является индивидуй — экспериментъ вступаетъ въ свои права. Что же обнаруживаетъ экспериментъ относительно измѣненій въ звуковомъ составѣ словъ, происходящихъ при ихъ воспроизведеніи индивидуемъ?

Его результаты довольно любопытны. Прежде всего оказываются маленькія, чуть замѣтныя колебанія въ произношеніи звуковъ, объяснимыя тѣмъ, что всякая нормальная артикуляція допускаетъ для говорящаго нѣкоторый просторъ. Одинъ говоритъ *дверь*, *первый*, *любовь*, другой *дьверь*, *перьвый*, *любовь*, при чемъ между этими двумя крайними артикуляціями звуковъ *д*, *р*, *в* встрѣчается масса посредствующихъ оттѣнковъ, неуловимыхъ для уха, установленіе которыхъ было бы возможно только при помощи особыхъ микрометрическихъ измѣреній. Но кромѣ этого простора нормальной артикуляціи экспериментъ обнаруживаетъ также крупныя несоотвѣтствія, принадлежащія къ области «аберраціонныхъ явленій»; эти звуковыя аберраціи съ нѣкоторыхъ поръ обратили на себя вниманіе какъ медиковъ (Куссмауля, напр.), такъ и психологовъ и лингвистовъ, которые раздѣлили ихъ на три категоріи: дислаліи (неволь-

наго затрудненія артикуляціи, напр. заиканія), параляліи (вставки, пропуска или перемѣщенія звуковъ, напр., «сосредроточенный», «баушка», «фершалъ», или „знакд лицомое, а гдѣ васъ помнилъ, не увижу", какъ говоритъ у Лѣскова пьяный Препотенскій) и ономатомиксіи (путанія словъ, напр. «протомонетъ» — прошу замѣтить, что рѣчь идетъ объ *индивидуальныхъ* аберраціяхъ). Психологически всѣ эти явленія сводятся къ одному — къ ассоціаціи звуковъ.

Таковы данныя индивидуальной психологіи. Разсмотримъ теперь данныя народной психологіи, т.-е. звуковыя измѣненія въ собственно такъ называемыхъ языкахъ; а затѣмъ умѣстно будетъ поставить вопросъ, насколько послѣднія могутъ быть объяснены при помощи первыхъ. Конечно, никто не потребуетъ отъ психолога, чтобы онъ исчерпалъ весь безконечный лингвистическій матеріалъ сюда относящійся — для него достаточно отмѣтить важнѣйшіе типы звуковыхъ измѣненій; главное — это психологическіе законы ими управляющіе.

Первые два типа, на которые распадаются звуковыя измѣненія — это измѣненія *общія* (I) и *частичныя* (II). Подъ общими мы разумѣемъ тѣ, которымъ подверглись всѣ однородные звуки даннаго языка, независимо отъ ихъ отношенія къ другимъ звукамъ: сюда относится исчезновеніе въ большинствѣ индоевропейскихъ языковъ такъ называемыхъ mediae aspiratae (т.-е. bh, dh, gh), законъ Гримма о «передвиженіи звуковъ» въ германскихъ языкахъ (ср. измѣненія *b* и *d* въ слѣдующихъ прогрессіяхъ: лат. lub-ricus, гот. sliupan, нѣм. schlüpfen, лат. duo, англ. two, нѣм. zwei), а равно и явленія славянскаго полногласія и краткогласія. Сложнѣе явленія частичныя, т.-е. измѣненія однихъ звуковъ подъ вліяніемъ другихъ: такъ, напр., ясно, что въ *плету*, *плести* переходъ звука *т* въ *с* состоялся подъ вліяніемъ слѣдующаго *т* — гдѣ его нѣтъ, тамъ онъ остается неизмѣненнымъ (плетень, плетка и т. д.). Такимъ образомъ мы въ относящихся сюда явленіяхъ должны различать два рода звуковъ — звукъ оказывающій вліяніе и звукъ претерпѣвающій его — «индуцирующій» и «индуцируемый», по терминологіи Вундта; въ нашемъ случаѣ первое, коренное *т* будетъ индуцируемымъ, второе — индуцирующимъ звукомъ. Теперь возможны два случая.

(II A) Во-первыхъ, оба звука, индуцируемый и индуцирующій, могутъ принадлежать къ одному и тому же слову, какъ это было во взятомъ нами примѣрѣ; получается «дѣйствіе вблизи», которое Вундтъ называетъ Contactwirkung, мы же опять будемъ называть «анхипатическимъ». При этомъ дѣйствіе можетъ заключаться въ уподобленіи различныхъ звуковъ (тверское *рдный* вм. *родной*) или наоборотъ въ расподобленіи одинаковыхъ (*плести* вмѣсто *плетти*). Въ обоихъ случаяхъ индуцирующій звукъ можетъ или предшествовать индуцируемому или слѣдовать за нимъ; такъ греческое *ор-та* («глазъ») дало въ аттическомъ говорѣ *отта*, но въ эолійскомъ *орра*. Комбинируя эти возможности, мы получаемъ четыре разновидности анхипатическаго дѣйствія: прогрессивную и регрессивную ассимиляцію, прогрессивную и регрессивную диссимиляцію. Замѣтимъ тутъ же, что регрессивныя дѣйствія значительно преобладаютъ надъ прогрессивными.

(II B) Во-вторыхъ, индуцирующій и индуцируемый звуки могутъ принадлежать къ различнымъ словамъ; получается «дѣйствіе издали», которое Вундтъ называетъ Fernewirkung, мы же будемъ называть «телепатическимъ». Такъ, чтобы сразу взять примѣръ, ясно, что въ солдатскомъ *потонный мостъ* (вм. понтонный) исчезновеніе звука *н* вызвано не слѣдующимъ *т* — этотъ звукъ всегда сохраняетъ, а не разрушаетъ предшествующій носовой — а смутно мелькнувшимъ въ сознаніи говорящаго глаголомъ *потонуть*. Индуцирующее слово можетъ возникнуть въ сознаніи или благодаря формальному родству съ индуцируемымъ, или благодаря реальному; въ первомъ случаѣ оно произведетъ дѣйствіе только на формальные элементы индуцируемаго слова, но во второмъ также и на основные. Такимъ образомъ, вся категорія телепатическихъ дѣйствій будетъ состоять изъ трехъ типовъ уподобленій (несомнѣнныхъ расподобленій при данныхъ условіяхъ не бываетъ).

(II B_1) Первый типъ: уподобленія грамматическія. Мы спрягаемъ: *дамъ*, *дадутъ*, *дано*: въ народѣ существуетъ вмѣсто *дано* форма *дадено*, очевидно подъ вліяніемъ удвоенія въ *дадутъ*. Мы склоняемъ *тѣло*, *тѣла́* (мн. ч.), въ старину склоняли *тѣло*, *тѣлеса*; какъ же *тѣлеса* перешли въ *тѣла*? Очевидно подъ вліяніемъ словъ въ родѣ *дѣло*, которое и въ старину давало

дѣла; здѣсь измѣненіе состоялось въ силу пропорціи *дѣло: дѣла, = тѣло: x*. Какъ видитъ читатель, оба случая не одинаковы: въ первомъ индуцирующее слово *дадутъ* принадлежитъ къ тому же глаголу, какъ и индуцируемое *дадено*, во второмъ индуцирующее *дѣлá*—форма другого, хотя и грамматически однороднаго существительнаго, чѣмъ индуцируемое *тѣла*; въ первомъ мы имѣемъ внутреннее, во второмъ—внѣшнее грамматическое уподобленіе [1]).

(II B_2) Второй типъ: уподобленія реальныя съ воздѣйствіемъ на формальные элементы слова. Индуцирующее слово возникаетъ въ сознаніи вслѣдствіе своего реальнаго родства (по сходству смысла или же по контрасту), съ индуцируемымъ и оказываетъ вліяніе на его окончаніе (или суффиксъ). Это типъ довольно рѣдкій; такъ въ простонародномъ *обужа* (= обувь) фонетически неправильное *жа* возникло несомнѣнно по аналогіи со словомъ *одежа*, схожимъ съ нимъ по смыслу.

(II B_3) Третій типъ: уподобленія реальныя съ воздѣйствіемъ на основные элементы слова. Это многочисленная категорія т. наз. народныхъ этимологій; сюда относится приведенный выше *потонный мостъ* и *Облаканскія горы*, *долбица умноженія* и *мелкоскопъ* и т. д.

Таковъ въ самыхъ общихъ и грубыхъ чертахъ схематизмъ звуковыхъ измѣненій; посмотримъ теперь, согласно намѣченной выше программѣ, насколько подведенныя подъ него явленія языка могутъ быть объяснены результатами экспериментальной, т.-е. индивидуальной, психологіи. Одна рубрика всецѣло ими покрывается; это—послѣдняя изъ разсмотрѣнныхъ нами, рубрика народныхъ этимологій (II B_3), вполнѣ соотвѣтствующая указаннымъ выше явленіямъ ономатомиксіи. Но это вмѣстѣ съ тѣмъ самая прозрачная и наименѣе цѣнная для лингвиста рубрика; что же касается остальныхъ, то съ ними затрудненій гораздо больше.

[1]) Самъ Вундтъ, однако, правильно замѣчаетъ, что разграничить оба случая нельзя, что при внутреннемъ уподобленіи часто и внѣшнее можетъ сыграть вспомогательную роль и наоборотъ. Такъ мы въ первомъ случаѣ можемъ сказать, что на образованіе формы *дадено* не осталась безъ вліянія пропорція *найдутъ: найдено,=дадутъ: x*, и во второмъ случаѣ, что сходство съ именительнымъ единственнаго числа *тѣло* посодѣйствовало упроченію множественнаго числа *тѣлá*.

Прежде всего ясно, что явленія общаго измѣненія звуковъ находятся въ связи съ удостовѣреннымъ индивидуальной психологіей просторомъ нормальной артикуляціи: звуки *d*, *t*, *z*, произносятся однимъ и тѣмъ же органомъ; мы можемъ себѣ представить безконечное множество посредствующихъ звуковъ между ними, а стало быть при посредствѣ множества поколѣній и вполнѣ незамѣтный переходъ отъ одного къ другому. Все же одинаковое *направленіе* этого перехода остается необъясненнымъ; что могло быть его причиной? Географическія условія? На нихъ указывали многіе; но можно безъ труда доказать призрачность этой теоріи, какъ ведущей къ непримиримымъ противорѣчіямъ. Или смѣшеніе народовъ, вліяніе чужой расы? Но опытъ доказываетъ, что именно звуковой составъ языка менѣе всего поддается чужому вліянію. Вундтъ склоненъ признать культурныя условія причиной общихъ звуковыхъ измѣненій; дѣйствительно, прямо или косвенно они только и могли быть ихъ причиной. Но спеціальныя примѣненія этого принципа—такъ явленія Гриммова «передвиженія звуковъ» онъ старается объяснить постепенно усиливающейся быстротой артикуляціи—врядъ ли многимъ покажутся убѣдительными; въ главной своей части загадка осталась загадкой, и приводимому Вундтомъ психологическому принципу еще рано присуждать побѣду надъ физіологическимъ.

А между тѣмъ осталась еще огромная категорія анхипатическихъ и телепатическихъ дѣйствій, обнимающая громадное большинство всѣхъ измѣненій въ языкахъ; нетрудно убѣдиться, что для ихъ объясненія вышеприведенныя данныя экспериментальной психологіи—явленія дислаліи и параллаліи—никакого значенія имѣть не могутъ. Тѣ явленія сплошь и рядомъ наблюдаются при исключительной, ненормальной обстановкѣ: или говорящій самъ—ненормальный человѣкъ (заика и т. п.), или ему приходится воспроизводить мудреныя или иностранныя слова, затрудняющія ассоціацію между смысломъ и формой, или, наконецъ, замѣченное явленіе — единичное, котораго и самъ говорящій уже не повторитъ; напротивъ, языкъ созидается и воспроизводится людьми нормальными, переходя отъ

одного поколѣнія къ другому при самыхъ удобныхъ условіяхъ усвоенія и укрѣпляется въ своихъ носителяхъ путемъ многократнаго воспроизведенія. Да и самъ Вундтъ, повидимому, не очень дорожитъ дислаліей и паралаліей; онъ только полемизируетъ противъ всякаго телеологическаго объясненія (въ смыслѣ «стремленія къ удобопроизносимости» или «стремленія къ сохраненію характерныхъ примѣтъ)» и настаиваетъ на необходимости исключающаго всякую сознательность психологическаго обоснованія. При такихъ условіяхъ единственнымъ орудіемъ объясненія остается *ассоціація*; ею и пользуется Вундтъ въ самыхъ широкихъ размѣрахъ. Присмотримся къ его разсужденіямъ.

Одна рубрика, дѣйствительно, прямо напрашивается на такое объясненіе; это рубрика телепатическихъ дѣйствій (II, B). Она во всѣ времена, лишь только было признано ея существованіе, объяснялась именно путемъ ассоціаціи, и Вундтъ вноситъ только одну небольшую поправку — правда, психологически довольно существенную—въ ходячій методъ (I, 458 сл). Ходячій методъ сводитъ телепатическое дѣйствіе къ «послѣдовательной ассоціаціи словъ»: сначала въ моемъ воображеніи возникаетъ имѣющее быть произнесеннымъ *тѣлеса* какъ множественное къ *тѣло*; оно по грамматическому сходству вызываетъ параллельную группу *дѣла дѣло*, послѣдствіемъ чего является новообразованіе *тѣла*. Это представленіе неправильно: если бы у меня *тѣлеса* ассоціировалось съ *дѣла*, то я произнесъ бы не *тѣла*, а *дѣла*; слѣдовательно, ассоціація происходитъ не между словами, а только между элементами, участвующими въ индукціи; а эти элементы въ обособленномъ видѣ не существуютъ. Индуцирующимъ является, такимъ образомъ, не *тѣла* и даже не *ла*, а оставшаяся во мнѣ—вслѣдствіе многократнаго произношенія множественнаго числа отъ словъ типа *дѣло*: *дѣла*—«диспозиція» образовать множественное число словъ на—*о* прямо на—*а*. Итакъ, мы имѣемъ не послѣдовательную (сукцессивную) ассоціацію словъ, а «одновременную» (симультанную) ассоціацію элементовъ таковыхъ.

Не такъ легко подчиняются принципу ассоціаціи анхипатическія дѣйствія. Только одна ихъ группа уже съ давнихъ сравнительно поръ подъ нее подводилась—т. наз. регрессивныя ассимиляціи; дѣйствительно, артикуляція каждаго звука возникаетъ въ нашемъ представленіи прежде, чѣмъ она производится соотвѣтствующимъ органомъ рѣчи: такимъ образомъ въ *родной*, *родненькій* артикуляція звука *д*, производимая при одновременномъ существованіи въ представленіи артикуляціи слѣдующаго *н*, ассоціируется съ ней и даетъ въ результатѣ *ронной*, *ронненькій* тверскихъ крестьянъ. Конечно, причиной этой ассоціаціи является фонетическое родство обоихъ звуковъ *д*, и *н*; при *грибной*, напр., она была бы невозможна. Итакъ, регрессивная ассимиляція сводится къ одновременной ассоціаціи—это признавалось уже Штейнталемъ; но что же сказать объ остальныхъ анхипатическихъ дѣйствіяхъ? Прогрессивную ассимиляцію, напр., Штейнталь объяснялъ не психологически, а физіологически; органы рѣчи, произнесшіе одинъ звукъ, остаются по инерціи въ томъ же положеніи и при произнесеніи слѣдующаго, послѣдствіемъ чего является одинаковое произношеніе также и его: изъ *орта* эолiецъ дѣлаетъ *орра*. По Вундту нѣтъ надобности и здѣсь измѣнять психологическому принципу: артикуляція звука продолжаетъ существовать въ нашемъ представленіи и послѣ его произнесенія и можетъ поэтому, ассоціироваться со слѣдующимъ произносимымъ звукомъ. Пусть такъ; но что же мы будемъ дѣлать съ диссимиляціей? „Точно такъ же,—говоритъ нашъ авторъ (I, 433),—и диссимиляція заставляетъ предполагать аналогичныя психологическія условія; ихъ дѣйствіе отличается только тѣмъ, что оно происходитъ не въ уподобляющемъ, а въ дифференцирующемъ смыслѣ". Но вѣдь въ этомъ вся суть; на мой взглядъ явленія диссимиляціи Вундту такъ и не удалось объяснить. Это не значитъ, разумѣется, что его теорія неправильна; это значитъ только, что она нуждается въ дополненіи. Дополнить же ее слѣдуетъ—и тутъ я опять возвращаюсь къ затронутому въ началѣ моего изложенія коренному вопросу — при помощи того принципа, который я назвалъ «народно-психологическимъ».

IX.

Индивидуально-психологическая и народно-психологическая точка зрѣнія въ лингвистикѣ.—Принципъ соціологическаго подбора.—«Стремленіе къ ясности» и «стремленіе къ удобству».—Полемика Вундта.—Полная постановка вопроса: вопросъ о возникновеніи и вопросъ о сохраненіи.—Дуалистическая теорія, какъ синтезъ біологической и психологической.—Табель цѣнности языковъ.—Лингвистика и біологическія науки.—Заключеніе.

Само собою разумѣется, что этотъ принципъ, какъ таковой, не могъ ускользнуть отъ вниманія такого тщательнаго изслѣдователя, какъ Вундтъ. „Всѣ явленія, — говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ (I, 361),—относящіяся къ области народно-психологическаго наблюденія, показываютъ намъ индивидуя въ постоянномъ взаимодѣйствіи со средой; это относится естественно и къ измѣненію звуковъ. Здѣсь, какъ и вездѣ, всякое уклоненіе отъ нормы должно было возникнуть прежде всего у какихъ-нибудь индивидуевъ; но *общее* значеніе такое уклоненіе могло получить лишь въ томъ случаѣ, если ему шли навстрѣчу благопріятныя условія, которымъ были подчинены также и другіе члены лингвистической общины“. Еще яснѣе выражается онъ стр. 391; тутъ онъ говоритъ объ „особыхъ соціологическихъ условіяхъ, которыя заключаютъ тѣ уклоненія въ извѣстные предѣлы и доставляютъ преимущество нѣкоторымъ. На первомъ планѣ тутъ стоитъ выключеніе слишкомъ сильныхъ отклоненій отъ даннаго состоянія языка — законъ, имѣющій общее значеніе для отношенія индивидуальныхъ измѣненій къ соотвѣтствующимъ генерическимъ, который мы можемъ назвать коротко *принципомъ соціологическаго подбора*. Благодаря этому подбору особенно первые два рода общихъ ошибокъ въ произношеніи, вставка и пропускъ звуковъ, въ своемъ распространеніи стѣснены предѣлами, внутри которыхъ они въ то же время обусловливаютъ физіологическое облегченіе артикуляціи“. Вотъ это и есть тотъ горизонтъ, который открывается читателю Вундта съ предѣльнаго пункта его изложенія; этотъ принципъ соціологическаго подбора, которому здѣсь приписывается такое значеніе въ образованіи языка, нигдѣ далѣе у автора не встрѣчается; зато встрѣчается очень часто полемика съ лингвистами, методъ которыхъ сводится въ сущности къ примѣненію этого прин-

ципа. Старая школа лингвистовъ — Г. Курціусъ, Шлейхеръ, Максъ Мюллеръ и др. — при объясненіи лингвистическихъ явленій прибѣгали главнымъ образомъ къ двумъ мотивамъ: 1) предполагаемому стремленію къ удобству и 2) стремленію къ сохраненію характерныхъ звуковъ. Такъ, напр., странное на первый взглядъ несоотвѣтствіе *веду*: *вести* — *иду*: *итти* они объяснили бы дѣйствіемъ обоихъ этихъ мотивовъ: въ *веду*: *вести* сказался мотивъ удобства, такъ какъ *вести* несомнѣнно легче для произношенія, чѣмъ *ведти* или даже *ветти*, а въ *иду*: *итти* — мотивъ сохраненія характерныхъ звуковъ, такъ какъ при *исти* устранился бы именно характерный для глагола *иду* эксплозивный звукъ. Приблизительно тѣ же два мотива имѣетъ въ виду и извѣстный синологъ Габеленцъ, когда онъ говоритъ, что языкъ движется по діагонали между обоими принципами ясности и удобства — вѣдь принципъ ясности и ведетъ къ сохраненію характерныхъ для даннаго слова звуковъ. Вотъ противъ этихъ то «телеологическихъ» теорій полемизируетъ Вундтъ; онъ отрицаетъ, чтобы принципъ ясности и удобства, вообще какой бы то ни было принципъ, заключающій въ себѣ намекъ на цѣлесообразность, могъ быть мотивомъ, имѣвшимъ вліяніе на образованіе языка; въ этой роли онъ допускаетъ только психологическіе или психофизическіе мотивы, дѣйствующіе независимо отъ какого-нибудь сознанія цѣли. Это стремленіе проходитъ красной нитью черезъ всю книгу: мы его отмѣчали попутно должнымъ образомъ и указывали на пробѣлы, получающіеся отъ односторонняго его проведенія. Теперь постараемся дать полную постановку вопроса, со включеніемъ тѣхъ элементовъ, которые оказались необходимыми при послѣдовательномъ разборѣ теоріи нашего автора.

Прежде всего остается въ силѣ фактъ, что всякое лингвистическое явленіе возникло у нѣкоторыхъ индивидуевъ и должно быть объяснено при помощи законовъ индивидуальной психологіи, какъ это и дѣлаетъ Вундтъ. Но это объясненіе не будетъ еще объясненіемъ лингвистическаго явленія какъ таковаго, т.-е. какъ явленія, *вошедшаго въ составъ языка*. Дѣйствительно, чтобы ограничиться областью звуковъ, руководящіе ихъ психологическіе и психофизическіе принципы до того растяжимы, что нельзя указать ни одного не только дѣйствительнаго, но

даже мыслимаго явленія, котораго бы они не объяснили. Уже одинъ «просторъ нормальной артикуляціи» выясняетъ очень многое; не хватаетъ его—къ нашимъ услугамъ неизмѣримая область ассоціацій, съ помощью которыхъ изъ всего можно сдѣлать все. Итакъ, ясно, что наша теорія недостаточна; да она и не объясняетъ того, что собственно требуетъ объясненія. Когда я спрашиваю, какимъ образомъ изъ *плет-ти* получается *плес-ти*—отвѣтъ «благодаря простору нормальной артикуляціи» меня вовсе не удовлетворяетъ. Я вовсе не хочу знать, какимъ образомъ эта форма получилась у тѣхъ индивидуевъ, которые впервые ее употребили—какъ принадлежность этихъ индивидуевъ она равноправна съ *плети*, *плетти*, *тлепи*, *тепли*, *квеки* и т. п. единичными образованіями, которыя и теперь можно слышать отъ дѣтей или лицъ, у которыхъ языкъ заплетается—нѣтъ, я хочу знать, какимъ образомъ она *удержалась* въ языкѣ и стала для меня обязательной.

А разъ вопросъ поставленъ такъ—точка зрѣнія мѣняется. Изъ души автора даннаго слова я долженъ перенестись въ души тѣхъ, которые его отъ него переняли, т.-е. отдали ему предпочтеніе передъ приведенными выше варіантами. Именно „отдали предпочтеніе"; значитъ, происходилъ выборъ, всѣ прочія формы были послѣдовательно забракованы, только одна принята. На какомъ основаніи? Чѣмъ *плести* для воспроизводящаго лучше *тлепи* и прочихъ? Тѣмъ, что она для него понятна; вѣдь всѣ приведенныя искаженія понятны только для говорящаго, у котораго они вызваны существовавшимъ раньше представленіемъ, а не для слушающаго, которому они должны передать искомое представленіе. Итакъ, здѣсь «соціологическій подборъ» руководился «мотивомъ ясности»; но почему же, всетаки, вышло не *плетти*, а *плести*? Потому что мотивъ ясности скрещивался съ «мотивомъ удобства». Просторъ нормальной артикуляціи допускалъ цѣлый рядъ формъ, посредствующихъ между *плетти* и *плести*; окончательное торжество послѣдней формы имѣло своей причиной несомнѣнно ея сравнительно наибольшую удобопроизносимость.

Итакъ, по отношенію къ каждому лингвистическому явленію вопросъ объ его происхожденіи распадается на два вопроса, именно:

I. Какимъ образомъ это явленіе могло *возникнуть*?

(Отвѣтъ: по причинамъ *индивидуально*-психологическаго или психофизическаго характера, сводящимся

1) къ простору нормальной артикуляціи, или

2) къ ассоціаціи съ такимъ-то другимъ психологическимъ явленіемъ.)

II. Какимъ образомъ могло оно *удержаться*, т.-е. быть воспроизведеннымъ?

(Отвѣтъ: благодаря принципу *соціологическаго подбора*, обусловленнаго

1) мотивомъ ясности, или

2) мотивомъ удобства.)

Конечно, предложенная схема, какъ она ни проста и убѣдительна по существу, допускаетъ придирки по отношенію къ выбраннымъ терминамъ. Правильно ли противопоставлять индивидуально-психологическіе мотивы соціологическимъ? Вѣдь и воспроизведеніе лингвистическихъ явленій въ сущности дѣло индивидуевъ, и оно, стало быть, подчинено законамъ индивидуально-психологическаго характера. Но, во-первыхъ, такое возраженіе, совершенно устраняющее самое понятіе народной психологіи, со стороны Вундта и раздѣляющихъ его принципы ученыхъ невозможно; а, во-вторыхъ, даже со стороны отрицающихъ народную психологію лингвистовъ оно сводится къ протесту противъ употребленія словъ, не затрогивая сущности дѣла. Какъ бы мы ни выражались—всегда условія воспроизведенія лингвистическаго явленія будутъ существенно отличаться отъ условій его первичнаго произведенія.

Стоитъ, однако, бросить взглядъ на послѣдствія установленнаго здѣсь дуализма въ этіологіи лингвистическихъ явленій. Мы видѣли выше, что біологическая теорія должна была въ лингвистикѣ уступить свое мѣсто теоріи психологической, которая теперь въ ней царствуетъ единовластно. Если высказанныя мною соображенія правильны, то этому единовластью близится конецъ; мѣсто исключительно психологической теоріи должна занять теорія дуалистическая, опирающаяся съ одинаковой силой и на психологическій, и на біологическій корни. Принципъ соціологическаго подбора—несомнѣнно біологическій принципъ: съ его принятіемъ біологія отвоевываетъ обратно

часть той области, которая раньше принадлежала ей вся. Представленія «языкъ-растеніе», „слово-растеніе», усердно изгоняемыя лингвистами-психологами, снова получаютъ право научнаго гражданства; а съ ними водворяется обратно и та разумная стройность, которой лингвистическія руководства и сочиненія старой школы—говоря правду—такъ выгодно отличались отъ большинства новыхъ. Но это еще не все.

Вліяніе среды имѣетъ воспитывающее вліяніе и на индивидуевъ, производя на нихъ извѣстное ассимиляціонное дѣйствіе. Въ нашей области это ведетъ къ тому, что такія словообразованія, которыя въ случаѣ своего возникновенія подверглись бы неминуемому забракованію путемъ соціологическаго подбора, возникаютъ все въ меньшемъ и меньшемъ числѣ. Творческая сила индивидуевъ, не расточаемая на нежизнеспособные продукты, энергичнѣе дѣйствуетъ въ соотвѣтствующемъ народному духу направленіи, языкъ развивается. Развитіе совершается параллельно съ развитіемъ самой народной души; языкъ дѣлается зерцаломъ этой послѣдней, раздѣляя ея цѣнность. И вотъ *принципъ цѣнности*, несуществующій въ начальныхъ грубыхъ стадіяхъ языка, требуетъ себѣ признанія на дальнѣйшихъ ступеняхъ его развитія. Въ этомъ признаніи ему отказывала психологическая теорія,—что̀ было съ ея стороны вполнѣ послѣдовательно; но оно стало опять возможнымъ на почвѣ дуалистической теоріи, какъ было возможно въ біологическую эпоху. Орудіями примѣненія нашего принципа будутъ тѣ же мотивы ясности и удобства, только въ своемъ развитомъ, усовершенствованномъ видѣ: изъ мотива ясности могутъ развиться мотивы сенсуалистической наглядности, интеллектуалистической разумности и эмоціоналистической силы; изъ мотива удобства естественно развивается мотивъ красоты. Отсюда видно, что языки съ точки зрѣнія цѣнности не могутъ быть распредѣлены въ линейномъ порядкѣ, начиная наименѣе и кончая наиболѣе цѣнными: одинъ языкъ можетъ оказаться наиболѣе цѣннымъ съ сенсуалистической, другой съ интеллектуалистической точки зрѣнія. Но за то станетъ ясно, какой языкъ для какого народа можетъ быть,такъ сказать, дополнительнымъ: такъ, если мой родной языкъ стоитъ особенно высоко какъ языкъ сенсуалистическій, или эмоціоналистическій, то въ интересахъ своего самоусовершенствованія я сочту наиболѣе цѣннымъ для себя усвоеніе преимущественно интеллектуалистическаго языка, и т. д. Все это должно опять стать задачей будущаго, какъ было задачей прошлаго.

И все же, повторяю, дуалистическая теорія, именно какъ таковая, не будетъ повтореніемъ біологической; она будетъ возведена одинаково на работахъ какъ лингвистовъ-психологовъ, такъ и лингвистовъ-біологовъ. Это будетъ, равнымъ образомъ, не то, что мы видѣли въ эпоху перехода отъ старой школы къ новой, когда иныя явленія объяснялись при помощи біологической, другія—при помощи психологической теоріи; нашъ дуализмъ предполагаетъ одинаковое примѣненіе обѣихъ теорій къ каждому лингвистическому явленію, какъ это показываетъ вышеприведенная схема вопросовъ. И именно вслѣдствіе того, что она допускаетъ этотъ дуализмъ, какъ сочетаніе двухъ одинаково намъ доступныхъ принциповъ объясненія, лингвистика обѣщаетъ сдѣлаться самой цѣнной изъ всѣхъ наукъ, связанныхъ между собою нитью общей біологической причинности. Въ самомъ дѣлѣ, обратитесь къ любой изъ частныхъ біологическихъ наукъ—вездѣ вы встрѣтите только второй изъ вышеприведенныхъ принциповъ объясненія, принципъ подбора, что же касается перваго, тѣхъ интимныхъ психологическихъ принциповъ, которые въ области языка объясняютъ возникновеніе явленій и которые, при всей кажущейся произвольности и причудливости своихъ результатовъ, такъ близки намъ — близки потому, что они познаются той же самой душей, которая ими руководится—то имъ ничто въ области біологическихъ наукъ не соотвѣтствуетъ. Не соотвѣтствуетъ и не можетъ соотвѣтствовать: мы можемъ познать силу, создавшую лингвистическія явленія, такъ какъ эта сила—въ насъ самихъ, но какъ назвать ту силу, которая создала явленія внѣшняго міра, подчиненныя закону біологическаго подбора?.. „Эономъ", отвѣчалъ нѣкогда Гераклитъ.—А что такое Эонъ? — „Шаловливое дитя, играющее въ шашки", объяснялъ философъ-провидецъ полусказочной старины.

Художественная проза и ея судьба.

(1898).

I.

Теперь у насъ не принято придавать особое значенiе вопросамъ, касающимся художественности прозаическаго изложенiя. Съ тѣхъ поръ, какъ Мольеровскiй буржуа сдѣлалъ открытiе, что и онъ умѣетъ faire de la prose, и притомъ такъ, что никакiя ухищренiя его учителя не въ состоянiи исправить ее хотя бы на iоту,—убѣжденiе въ безполезности выработки прозаическаго стиля стало распространяться все шире и шире. Ему пришло на помощь неогуманистическое движенiе конца минувшаго вѣка, съ его культомъ естественности и пренебрежительнымъ отношенiемъ ко всему искусственному: всѣмъ извѣстны и памятны пламенныя слова объ этомъ молодого Гёте въ первыхъ сценахъ «Фауста». У насъ же дуновенiе неогуманизма попало на твердую еще кору (псевдо-) классицизма, не успѣвшую размякнуть и растаять подъ лучами «просвѣщенiя», какъ это было повсемѣстно въ западной Европѣ. Его дѣйствiе было, поэтому, прямо разрушительно: нигдѣ, какъ у насъ, поворотъ не былъ такъ крутъ, нигдѣ кумиры отцовъ не были сожжены такъ быстро и истреблены такъ безслѣдно, какъ среди нашей интеллигенцiи, отважной въ сознанiи своей молодой силы и совсѣмъ почти не отягченной бременемъ традицiи. Это не значитъ, чтобы художественная проза на практикѣ подверглась загону: совершенно напротивъ,—именно теперь начинается ея расцвѣтъ, такъ какъ только къ этому времени взошли брошенныя отцами сѣ-

мена формальной красоты, а совершенное, подъ влiянiемъ неогуманистическихъ идей, возвращенiе къ природѣ дало возможность надѣлить прекрасную форму достойнымъ содержанiемъ. Нѣтъ, непосредственно пострадала не практика, а теорiя: можно было и даже слѣдовало писать хорошо, т.-е. художественно, но не слѣдовало давать себѣ и другимъ отчетъ въ этой художественности, не слѣдовало сознательно къ ней стремиться путемъ ученiя, упражненiя и подражанiя; всѣ попытки въ этомъ направленiи пахли риторикой, а риторика—это самая квинтъэссенцiя псевдо-классицизма, это самый уродливый изъ благополучно сожженныхъ и истребленныхъ кумировъ. Недавно только у насъ возникъ союзъ среди интеллигенцiи, цѣли котораго по своей природѣ близки къ затронутому здѣсь вопросу; этому союзу можно бы было пожелать всякаго благополучiя, еслибы въ его программѣ не красовалась на главномъ мѣстѣ въ высшей степени странная задача—содѣйствовать словомъ и дѣломъ (и, повидимому, дѣйствительно «словомъ и дѣломъ») изгнанiю изъ русской рѣчи иностранныхъ словъ. Къ чести славянскаго гостепрiимства слѣдуетъ сказать, что эта мысль сама по себѣ не внутренняго производства: она—порожденiе ультра-нацiоналистическаго убожества, появившагося у нашихъ сосѣдей въ качествѣ оборотной стороны вычеканенной въ 1870 г. медали. Все же ея проникновенiе къ намъ доказываетъ, до какой степени намъ трудно соединиться для одной только созидательной, а не разрушительной работы подъ великодушнымъ лозунгомъ Парини: Viva la libertà—e morte a nessuno.

А между тѣмъ сговориться относительно «художественной прозы», оставаясь въ то же время вѣрными завѣтамъ неогуманизма,—для насъ гораздо легче, чѣмъ для народовъ западной Европы: самый генiй русскаго языка приходитъ намъ тутъ на помощь. Нельзя произнести слова Kunst, l'art, не ощущая того особаго, не для всѣхъ прiятнаго привкуса, который эти слова получили вслѣдствiе своего этимологическаго родства съ künstlich, artificiel, и не ставя ихъ этимъ въ противоположность къ великой богинѣ неогуманистовъ—Природѣ; никто не бываетъ вполнѣ свободенъ отъ предубѣжденiй, заключающихся въ самой философiи родной рѣчи, и внимательный русскiй читатель съумѣетъ найти у нѣмецкихъ и французскихъ мысли-

телей не мало невольныхъ софизмовъ, основанныхъ на мнимомъ антагонизмѣ понятій Kunst und Natur, l'art et la nature. У насъ этой опасности не существуетъ; одно—искусственность, другое—художественность, и если намъ трудно смотрѣть пристально на Kunstprosa такъ, чтобы, зажмуривъ глаза, не увидѣть, какъ особаго рода дополнительный цвѣтъ къ ней, призрака Naturprosa, то слова: «художественная проза» никакихъ неудобствъ въ этомъ направленіи не представляютъ.

Сговориться, повторяю, можно; пути для этого два—теоретическій и историческій. Для перваго время, кажется, еще не наступило. Метафизическая эстетика потеряла кредитъ; мы справедливо отказываемъ въ довѣріи методу, доказывающему необходимость эстетическихъ постулатовъ съ такою же точно убѣдительностью, съ какой онъ нѣкогда доказывалъ необходимость семипланетной системы. Въ наше время только *эмпирическая* эстетика можетъ разсчитывать на интересъ образованныхъ людей, притомъ, какъ это и понятно, основанная на *экспериментѣ* эстетика—въ большей мѣрѣ, чѣмъ основанная на простомъ *наблюденіи*. Но именно экспериментальная эстетика представляется еще пока невозможной; пока не будетъ достроено зданіе экспериментальной психологіи, она представляетъ изъ себя не науку, а лишь пустопорожнее мѣсто, отдаваемое подъ построеніе науки. Возможна лишь эстетика, основанная на наблюденіи; а такая будетъ по преимуществу носить историческій характеръ, такъ какъ сводъ наблюденій за жизнью минувшихъ поколѣній—это и есть то, что̀ мы называемъ исторіей. Исторія развитія художественной прозы покажетъ намъ, имѣетъ ли она право на существованіе, и если да, то въ какой степени.

Понятно, что историки словесности не оставляютъ безъ вниманія этой области своей науки; но одинъ изъ самыхъ значительныхъ шаговъ впередъ въ этомъ направленіи былъ сдѣланъ недавно нѣмецкимъ филологомъ Эд. Норденомъ въ его книгѣ: Die antike Kunstprosa, vom VI Jahrhundert v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance (Leipzig, 1898) [1]. Дѣйствительно, развитіе новѣйшей прозы отъ Бальзака Старшаго, приблизительно, представлялось намъ и раньше въ довольно ясномъ свѣтѣ; гораздо темнѣе была предшествовавшая эпоха, обнимавшая болѣе двухъ тысячъ лѣтъ. Ей-то и посвящено названное только-что объемистое двутомное сочиненіе. Пользуясь чрезвычайно богатымъ матеріаломъ, собраннымъ имъ съ замѣчательнымъ трудолюбіемъ, авторъ во многихъ мѣстахъ влилъ свѣтъ и смыслъ въ скрытую до него связь литературно-историческихъ явленій. Читая его (а было это, скажу между скобокъ, дѣломъ не легкимъ, такъ какъ ученѣйшая книга Нордена соединяетъ въ себѣ всѣ достоинства, кромѣ одного—удобочитаемости) и углубляясь въ приведенный авторомъ матеріалъ, я чувствовалъ, какъ ощущавшіеся мною раньше въ исторіи развитія прозы пробѣлы сами собою заполнялись, узлы распутывались; продолжая думать надъ затронутыми авторомъ вопросами, для которыхъ онъ зачастую давалъ одинъ только сырой матеріалъ, безъ выводовъ, безъ надлежащаго освѣщенія культурно-историческими соображеніями,—я получилъ, въ концѣ концовъ, стройный очеркъ развитія художественной прозы, которымъ и хочу подѣлиться съ читателями въ нижеслѣдующихъ главахъ.

[1] Появилась вторымъ, неизмѣненнымъ изданіемъ (съ дополненіемъ) въ 1909 г.

II.

Античность—общая колыбель нашихъ культурныхъ силъ—была, разумѣется, также и колыбелью художественной прозы. Время ея зарожденія—понимая это слово съ необходимыми, во избѣжаніе нелѣпости, ограниченіями—извѣстно намъ съ рѣдкою въ подобныхъ случаяхъ опредѣленностью: это былъ 427-ой годъ до Р. Х. По случаю одной изъ безчисленныхъ кантональныхъ войнъ, волновавшихъ древне-греческій міръ во все время его существованія, былъ отправленъ въ Аѳины своимъ роднымъ городомъ извѣстный софистъ Горгій просить помощи противъ неугомонныхъ сосѣдей. Въ народномъ собраніи онъ произнесъ рѣчь о необходимости заключенія союза и привелъ ею въ восторгъ своихъ впечатлительныхъ слушателей; союзъ былъ заключенъ—правда, это не важно, такъ какъ изъ него все равно ничего не вышло, но важно было то, что рѣчь Горгія вызвала сильнѣйшее, долго не унимавшееся броженіе, результатомъ котораго была именно художественная проза.

Что̀ же произошло? Чѣмъ это такъ плѣнилъ Горгій свою аудиторію? Проще всего было бы обратиться къ самой рѣчи софиста; но такъ какъ она не сохранена, то ее долженъ замѣнить разсказъ нашего свидѣтеля. Свидѣтель этотъ говоритъ вотъ что̀: „Онъ (Горгій) поразилъ аѳинянъ своеобразностью своихъ ораторскихъ пріемовъ, такъ какъ они сами были хорошо одарены природой и любили краснорѣчіе: онъ впервые пустилъ въ ходъ особыя искусныя фигуры рѣчи, антитезы, исоколы, созвучія, риторическія риѳмы (homoeoteleuta) и еще нѣкоторыя въ томъ же родѣ, которыя тогда, вслѣдствіе своей необычайности, нашли благодарныхъ слушателей, но теперь считаются мелочными, и—вслѣдствіе того, что ими пользовались не въ мѣру—кажутся смѣшными". Повидимому, выгодно для памяти Горгія, что его рѣчь не сохранена; если такъ о ней судитъ нашъ свидѣтель—его землякъ, къ слову сказать,—историкъ Діодоръ Сицилійскій, то насъ и подавно постигло бы разочарованіе. Но мы здѣсь не наслажденія ищемъ, а пониманія: послѣ ясныхъ и опредѣленныхъ словъ Діодора разсказанный имъ фактъ представляется намъ еще менѣе понятнымъ, чѣмъ прежде, когда мы могли приписать рѣчи Горгія какія угодно достоинства.

Нѣтъ, она просто была «фигуральна», и въ этомъ заключалась причина ея успѣха. Фигуры же, если прибавить къ нимъ тропы, составляютъ заповѣдную рухлядь риторики, которая въ свою очередь неразрывно связана съ псевдо-классицизмомъ, а псевдо-классицизмъ прямо противоположенъ природѣ, которая въ области слова совпадаетъ съ народностью. При такомъ положеніи дѣла тотъ фактъ, что Горгій фигуральностью своей рѣчи плѣнилъ именно народъ,—представляется сущимъ парадоксомъ. Очевидно, тутъ что-то не такъ; но что̀ именно? При столкновеніи факта съ мнѣніемъ долженъ торжествовать фактъ—это ясно; ошибка заключается въ мнѣніи, въ томъ сцѣпленіи понятій, которое мы начали словомъ «фигуральность», а кончили словомъ «народность». Правда ли, что эти два понятія несовмѣстимы? Самое полное, самое яркое выраженіе народности въ области слова—это народная пѣсня: беремъ для провѣрки народную пѣсню—и на первомъ мѣстѣ встрѣчаемъ въ ней фигуральность:

Було-бъ тоби, ой ты моя маты,
Тихъ бривъ не даваты;
Було-бъ тоби, ой ты моя маты,
Счастье-долю даты!

Въ этой краткой строфѣ мы имѣемъ (если не считать созвучія) всѣ фигуры, которыя Діодоръ находилъ у Горгія, и кромѣ нихъ еще нѣсколько другихъ, и всѣ онѣ естественны; мы чувствуемъ, что не ихъ наличность, а ихъ отсутствіе было бы противно природѣ. Пѣвецъ сознаетъ себя несчастнымъ; это основное чувство той пѣсенки, чувство слишкомъ неопредѣленное пока, такъ сказать непластичное, чтобы вылиться сразу въ опредѣленную мысль. И вотъ, духъ его ищетъ опоры и находитъ ее въ контрастѣ между своей несчастной долей и физической красотой, единственномъ и увы, безполезномъ наслѣдіи матери. Да, *контрастъ*; это—самая естественная, самая законная форма, которую только можетъ найти чувство, стремящееся воплотиться въ мысли. Мысль же въ свою очередь стремится воплотиться въ словахъ: выраженіе въ словахъ контраста—это и есть то, что̀ мы называемъ антитезой. Такъ-то и получается главная, коренная «фигура» пѣсенки; всѣ остальныя служатъ лишь къ тому, чтобы сдѣлать ее ярче, выразительнѣе. Сюда относится равномѣрность обоихъ членовъ антитезы—это и есть то, что̀ Діодоръ разумѣетъ подъ «исоколомъ», затѣмъ, повтореніе тѣхъ же словъ въ началѣ обоихъ членовъ («анафора», здѣсь особенно развитая); затѣмъ, одинаковое окончаніе обоихъ членовъ, такъ называемая риторическая риѳма [1]). Теорія слова, та разумная и интересная наука будущаго, которая, выросши изъ экспериментальной психологіи, замѣнитъ современемъ нашу обветшалую риторику, съумѣетъ доказать, что добрая часть изъ такъ называемыхъ фигуръ и троповъ, надъ которыми теперь принято смѣяться, является самымъ естественнымъ и законнымъ выраженіемъ нашихъ аффектовъ, остальныя же имѣютъ интеллектуальное основаніе, какъ средство сдѣлать нашу рѣчь болѣе понятной и болѣе легкой для запо-

[1]) Риторическія риѳмы—одинаковыя окончанія одинаковыхъ флексій (напр., дать—брать); напротивъ, поэтическія риѳмы—одинаковыя окончанія различныхъ флексій (напр., дать—мать). Послѣднія считаются неизящными въ прозѣ, первыя—въ поэзіи.

минанія; слѣдовательно, не фигуральная, а та сѣрая и безцвѣтная рѣчь, которую теперь незаслуженно называютъ «дѣльной» и «серьезной», должна считаться противоестественной и неосмысленной.

Такимъ образомъ, указанный выше узелъ благополучно распутывается, но зато мы получаемъ другое, не менѣе значительное затрудненіе. Выходитъ, что рѣчь сицилійскаго софиста со всей своей фигуральностью была вполнѣ естественна; а между тѣмъ намъ говорятъ, что онъ поразилъ свою аудиторію именно *необычайностью* своихъ ораторскихъ пріемовъ. Какъ же это согласовать? Неужели придется допустить, что до Горгія естественность рѣчи была въ загонѣ? Дѣйствительно, это—единственный исходъ; при болѣе близкомъ ознакомленіи съ дѣломъ онъ потеряетъ свою странность. Необходимо, замѣчу, отнестись съ особеннымъ вниманіемъ къ этому пункту; здѣсь сталкиваются, взаимно оттѣняя другъ друга, понятія: «естественность», «художественность» и «искусственность»; здѣсь находится ключъ къ выясненію самаго термина: «художественная проза».

Аффектъ самъ по себѣ—явленіе, въ области сознанія, доступное одному лишь самонаблюденію; чужому наблюденію доступны только *выраженія* аффектовъ въ движеніяхъ и словахъ. Изъ этихъ выраженій мы одни называемъ естественными, другія—дѣланными, искусственными, неестественными; чѣмъ руководимся мы, давая имъ то или другое наименованіе? Скажутъ: наблюденіемъ. Да; но только отчасти. Человѣкъ, получившій внезапно горестное извѣстіе, опредѣленнымъ образомъ хватается руками за голову; человѣкъ, поставленный въ тупикъ, опредѣленнымъ образомъ разводитъ руками;—эти движенія кажутся намъ естественными выраженіями соотвѣтствующихъ аффектовъ. А между тѣмъ, наблюденіе въ девяти случаяхъ изъ десяти не подтвердитъ этого предположенія: многіе, при всей живости аффекта, совершенно воздержатся отъ всякаго крупнаго движенія—что дѣлать! неудобство нашей одежды мало-по-малу отучаетъ насъ отъ жестикуляціи; другіе исполнятъ его, смотря по своему тѣлосложенію или темпераменту, слишкомъ рѣзко или слишкомъ неуклюже, слишкомъ вяло или слишкомъ торопливо, и этимъ разрушатъ впечатлѣніе естественности. Очевидно, одного наблюденія мало: мы руководимся, кромѣ него, еще другимъ актомъ, неизмѣнно въ большей или меньшей степени сопровождающимъ всякое наблюденіе—*абстракціей*. Съ помощью ея, мы—часто безсознательно—устраняемъ вліяніе случайностей тѣлосложенія или темперамента, исправляемъ недостатки, дополняемъ невыдержанное или недосказанное, отбрасываемъ преувеличенное и излишнее—и такимъ образомъ, изъ массы болѣе или менѣе неудачныхъ выраженій извлекаемъ выраженіе удачное, чистое, идеальное. Его мы въ дѣйствительности можемъ встрѣтить рѣдко, можемъ и не встрѣтить никогда; какъ бы то ни было—человѣкъ, который (въ силу ли природнаго дарованія, или сознательной рефлексіи—это все равно; мы этого непосредственно знать не можемъ, а потому и не разбираемъ),—человѣкъ, повторяю, который осуществитъ на дѣлѣ это удачное чистое, идеальное выраженіе, будетъ для насъ художникомъ въ его области. Художественность, такимъ образомъ, есть та же естественность, но естественность полученная путемъ абстракціи изъ ряда единичныхъ, въ одинаковой степени конкретно-естественныхъ случаевъ.

Это—первый пунктъ; и мнѣ кажется, что уже онъ даетъ намъ возможность понять указанное выше явленіе. Придется только допустить, что именно Горгій былъ такимъ художникомъ, и что онъ плѣнилъ аѳинянъ именно тѣмъ, что возвелъ въ степень художественности знакомую имъ до тѣхъ поръ лишь по неполнымъ своимъ осуществленіямъ естественность. Но это еще не все; есть и второй пунктъ, и онъ едва ли не важнѣе перваго.

Данное только-что опредѣленіе правильно выражаетъ *качественное* различіе между художественностью, какъ отвлеченной естественностью, и естественностью конкретной; мы можемъ, однако, установить и другое различіе—различіе *количественное*. Каждый нормальный человѣкъ бываетъ одаренъ умѣреннымъ огнемъ чувства, способнымъ объять умѣренную задачу въ области чисто личныхъ, житейскихъ отношеній; возложите на него болѣе значительную задачу—и этотъ огонь ослабнетъ, и вмѣсто пламени получится дымъ и чадъ. Тотъ самый человѣкъ, который художественно изобразитъ простое чувство или событіе въ формѣ коротенькой пѣсни или разсказа, не съумѣетъ спра-

виться съ болѣе сложной задачей: польются однообразныя, скучныя фразы; скачки и недомолвки съ одной стороны, повторенія и водянистость—съ другой, путаница—вездѣ. Вотъ почему мы имѣемъ прекрасныя народныя пѣсни и сказки, но нѣтъ и не можетъ быть ни народнаго эпоса (это окончательно установлено), ни народной драмы, ни народнаго романа. А между тѣмъ, жизнь ставитъ свои задачи: человѣку приходится въ рѣчи отстаивать свои притязанія передъ судомъ, приходится, если онъ гражданинъ свободной общины, въ рѣчи же развивать свои мысли о необходимыхъ для ея блага мѣропріятіяхъ. Такъ, мы знаемъ, что въ древнѣйшемъ аѳинскомъ судѣ, ареопагѣ, было запрещено сторонамъ всякое воздѣйствіе на судей путемъ «аффектовъ», другими словами, всякое поползновеніе на художественность рѣчи. Этотъ запретъ, безъ сомнѣнія, лишь освятилъ то, что въ старину само собою разумѣлось: тогда говорили сухо не потому, чтобы не хотѣли или не должны были, а потому, что не умѣли говорить иначе.

Нуженъ былъ огонь гораздо большій, чѣмъ тотъ, который природа вложила въ грудь обыкновеннаго человѣка, для того, чтобы создать рѣчь высокаго стиля, рѣчь судебную, рѣчь политическую, историческое повѣствованіе, философское разсужденіе; если Горгій дѣйствительно съумѣлъ впервые это сдѣлать, то онъ былъ по истинѣ великимъ художникомъ прозы. Разсказъ о немъ при этихъ условіяхъ вдвойнѣ понятенъ; онъ поразилъ слушателей своимъ новшествомъ, такъ какъ имъ до сутѣхъ поръ съ политической трибуны преподносились лишь сухія, безъискусныя рѣчи; и въ то же время онъ ихъ увлекъ, такъ какъ въ его ораторскихъ пріемахъ они сразу признали тѣ самыя средства, которыя ихъ плѣняли въ болѣе близкой ихъ сердцу сферѣ личныхъ отношеній,—рисунокъ былъ тотъ же, только масштабъ былъ увеличенъ до грандіознаго. Какъ же это ему удалось,—допуская, что это ему дѣйствительно удалось? Не иначе, какъ и всякое увеличеніе масштаба,—путемъ аналогіи. Художественная проза должна быть проникнута аффектомъ, выраженіемъ котораго является, какъ мы видѣли, *фигуральность*; передачей выраженія передается и выражаемое, т.-е. аффектъ. Такая проза должна быть *образна*, такъ какъ образъ непосредственнѣе воспринимается духомъ и глубже за-

печатлѣвается, чѣмъ то отвлеченное представленіе или отношеніе, символомъ котораго онъ служитъ. Она должна отличаться старательнымъ *подборомъ словъ*, если она разсчитана на то, чтобы долѣе оставаться въ памяти слушателей: мы охотно пропускаемъ мимо ушей то или другое неловкое выраженіе въ обыденномъ разсказѣ, довольствуясь уловленною мыслью, но любимъ углубляться въ тѣ остатки художественной рѣчи, которые память намъ воспроизводитъ, и бываемъ благодарны автору за скрытыя красоты его языка. Она должна отличаться архитектурной *стройностью* въ своемъ дѣленіи и въ соотношеніи своихъ частей: при сложности матеріи слушатель легко потеряетъ нить и перестанетъ понимать насъ, если мы всѣми силами не позаботимся о сохраненіи перспективы во всѣхъ направленіяхъ. Она—и это стоитъ въ связи съ только-что затронутымъ требованіемъ—должна быть старательно *періодизована*, такъ какъ вслѣдствіе сложности взаимнаго тяготѣнія частей и частицъ темы, періодъ—этотъ живой организмъ съ его столь опредѣленно выраженнымъ подчиненіемъ второстепенныхъ мыслей главнымъ—является необходимой крупной единицей разсужденія, безъ которой построеніе доказательства, или повѣствованія было бы такъ же затруднено, какъ сложныя алгебраическія вычисленія безъ заключенныхъ въ скобки полиномовъ. Она, наконецъ, должна быть *ритмична*; ударенія, опусканія голоса и паузы должны быть разставлены такъ, чтобы ни голосъ говорящаго, ни ухо слушающаго отъ этого не страдали. Не трудно убѣдиться, что всѣ эти шесть элементовъ художественной прозы, хотя и въ гораздо меньшемъ масштабѣ, даны уже народной словесностью; первый художникъ прозы (прошу позволенія пока считаться съ этой миѳической личностью) извлекъ ихъ оттуда, возвелъ на болѣе высокую ступень и, путемъ аналогіи, приспособилъ къ своей сравнительно болѣе трудной задачѣ.

Итакъ, наблюденіе, абстракція, аналогія—вотъ три силы, съ помощью которыхъ создается художественная проза. Ясно, однако, что послѣдняя изъ нихъ, по способу своего дѣйствія, существенно отличается отъ первыхъ; вопросъ о *сознательности*, оставленный нами прежде въ состояніи безразличнаго равновѣсія, здѣсь безъ всякаго колебанія долженъ быть рѣшенъ утвердительно. Описанныя только-что шесть дѣйствій худож-

ника прозы высшаго стиля немыслимы безъ глубокой и сильной рефлексіи. Народная пѣсня или сказка можетъ быть актомъ безсознательнаго творчества; но рѣчь, повѣствованіе, разсужденіе—постольку сознательны, поскольку и художественны.

Вотъ тѣ два соображенія, на основаніи которыхъ намъ дѣлается вполнѣ понятнымъ разсказъ о Горгіи и дѣйствіи его краснорѣчія на его „хорошо одаренныхъ природой и расположенныхъ къ рѣчамъ" слушателей,—допуская, что онъ дѣйствительно былъ тѣмъ истиннымъ художникомъ прозы, какимъ мы, ради удобства, его до сихъ поръ считали. Но въ томъ-то и дѣло, что все извѣстное намъ о немъ заставляетъ насъ видѣть въ немъ не *волшебника, а кудесника* рѣчи; и прежде чѣмъ продолжать нашъ историческій очеркъ, мы должны нѣсколько остановиться на этомъ третьемъ и послѣднемъ предварительномъ пунктѣ.

Художественная рѣчь должна быть проникнута аффектомъ; художественная рѣчь должна быть сознательна. Согласуемы ли эти два требованія? Повидимому, нѣтъ; мы привыкли разумѣть подъ аффектомъ непосредственное, предшествующее сознательности и, слѣдовательно, безсознательное движеніе души. Дѣйствительно, указанная антиномія вызвала много споровъ въ ту эпоху, когда занятія человѣческой рѣчью и ея теоріей не считались еще «пустяками», т.-е. въ эпоху древности; тогда же она и была благополучно разрѣшена. Рѣшеніе мы, своими словами, можемъ формулировать такъ: вдохновителемъ художественной рѣчи долженъ быть не первичный, а *сознательно воспроизведенный аффектъ*. Въ возможности такого сознательнаго воспроизведенія аффекта никто сомнѣваться не станетъ, кромѣ тѣхъ, которые никогда за собой не наблюдали. Отъ меня зависитъ дать моей фантазіи такое направленіе, чтобы передо мной воскресали, при самомъ яркомъ освѣщеніи, всѣ подробности когда-то поразившаго меня событія. При этомъ воскресаетъ и самый аффектъ; я чувствую физическіе его симптомы: и учащенное серцебіеніе, и приливъ крови къ лицу, и все прочее; но въ то же время сознательность не прерывается, умъ продолжаетъ работать, память запоминаетъ слова и обороты, которые мнѣ подсказываетъ гнѣвъ, и сочиненная при такихъ условіяхъ рѣчь будетъ въ то же время и проникнута

аффектомъ, и сознательна. Таковъ исходъ изъ указанной антиноміи; это—исходъ единственный. Но—и тутъ мы приближаемся къ роковому пункту—онъ же содержитъ въ себѣ и величайшую для художника рѣчи опасность. Очень узка межа, отдѣляющая сознательное воспроизведеніе дѣйствительнаго аффекта отъ того, что у насъ называютъ «самовзвинчиваніемъ», и требуется не мало такта и выдержки для того, чтобы ея не переходить. Самовзвинчиваніе можетъ быть качественнымъ или количественнымъ, смотря по тому, вносимъ ли мы аффектъ туда, гдѣ ему съ точки зрѣнія нормальнаго человѣка быть не должно, или раздуваемъ умѣренный и здоровый аффектъ до крайнихъ и болѣзненныхъ размѣровъ; въ обоихъ случаяхъ теряется естественность рѣчи, а слѣдовательно и ея художественность; мы имѣемъ передъ собой прозу не художественную, а *искусственную*.

Разумѣется, искусственность заключается не въ одномъ этомъ: она можетъ касаться каждаго изъ вышеозначенныхъ шести элементовъ художественной прозы. Все же этотъ пунктъ самый существенный: остальное—болѣе и менѣе касается внѣшности, здѣсь же зараза проникаетъ въ самое сердце рѣчи. При этомъ надобно твердо помнить два факта. Первый—къ указанному самовзвинчиванію болѣе всего бываютъ склонны люди молодые, одаренные впечатлительнымъ сердцемъ и пылкой фантазіей. Второй—у здоровыхъ людей эта склонность проходитъ съ годами, не оставляя дурныхъ слѣдовъ на правдивости характера человѣка и давая въ результатѣ немаловажную прибыль—быстрый полетъ мысли и гибкость языка.

Судя по всему, что намъ извѣстно, Горгій, отецъ греческой художественной прозы, самъ говорилъ и писалъ не художественной, а именно искусственной прозой. Правда, та его рѣчь, которая произвела сильный переворотъ въ аѳинскомъ краснорѣчіи, намъ не сохранена; за то сохранены другія, болѣе мелкія, и онѣ вполнѣ подтверждаютъ сужденіе серьезныхъ писателей древности, упрекавшихъ его въ «манерности» (kakozêlia). Объ этой манерности переводъ можетъ дать лишь очень неполное представленіе, уже потому, что онъ не въ состояніи передать той особой, свойственной однимъ только древнимъ языкамъ, ритмичности, разсчитанной на очень своеобраз-

ное, пѣвучее произношеніе; все же будетъ небезполезно привести хоть одинъ образчикъ,—заключительную фразу изъ рѣчи въ честь павшихъ въ бою воиновъ. Перечисливъ ихъ достоинства, ораторъ заключаетъ: „Свидѣтелями этого они воздвигли трофеи надъ врагами, Зевсу на украшеніе, себѣ же на прославленіе; они не были незнакомы ни съ дарованной имъ отъ природы доблестью, ни съ дозволенной отъ закона любовью, ни съ браннымъ споромъ, ни съ яснымъ миромъ, были благочестивы передъ богами своей праведностью и почтительны передъ родителями своей преданностью, справедливы передъ согражданами своей скромностью и честны передъ друзьями своей вѣрностью; вотъ почему, когда они погибли, любовь къ нимъ не погибла съ ними, а, безсмертная въ безплотныхъ тѣлахъ, она и теперь живетъ надъ неживущими“. Прошу читателя, не долго останавливаясь на содержаніи, вникнуть немного въ построеніе этой фразы, въ ея строго проведенную антитетичность: эти попарно соединенные члены, состоящіе изъ одинаковаго числа словъ (isokôlon), при чемъ симметричность подчеркивается и риторическими риѳмами въ окончаніи каждаго члена (homoeoteleuta), и тѣмъ, что стоящія на соотвѣтствующихъ мѣстахъ слова по возможности состоятъ изъ равнаго числа слоговъ,—эти члены, повторяю, сами собою напрашиваются на приподнятое и въ то же время модулированное произношеніе и поэтому очень ощутительны для слуха. Они-то, главнымъ образомъ и сдѣлали имя Горгія популярнымъ среди тогдашнихъ аѳинянъ; аѳиняне, какъ „люди, прекрасно одаренные отъ природы и друзья рѣчи“—такъ ихъ аттестуетъ Діодоръ—стали пламенными поклонниками искусственной рѣчи сицилійскаго софиста. Гладкія антитезы («бритыя», какъ ихъ насмѣшливо называла тогдашняя комедія) стали необходимой приправой всякаго претендующаго на бонтонность стиля: онѣ проникаютъ и въ политическое, и въ судебное краснорѣчіе, и въ серьезную исторію, и въ еще болѣе серьезную философію, и даже въ трагедію; только суровыя ступени ареопага остаются по прежнему недоступными для всякой попытки дать искусству мѣсто въ области правосудія. И насъ не удивляетъ этотъ молодой энтузіазмъ самаго даровитаго изъ всѣхъ народовъ въ мірѣ: онъ иллюстрируетъ собою *первый* изъ обоихъ законовъ, касающихся соотношенія между искусственной и художественной рѣчью. Иллюстрацію же ко *второму* дала дальнѣйшая судьба художественной прозы на греческой почвѣ.

III.

Нашъ краткій очеркъ не можетъ касаться всѣхъ подробностей процесса, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь; интересуясь однѣми лишь руководящими идеями, мы поневолѣ оставляемъ въ сторонѣ болѣе или менѣе случайныя ихъ пертурбаціи, какую бы важность онѣ ни имѣли въ глазахъ историка словесности. Мы обошли молчаніемъ предшественниковъ Горгія, хотя для всякаго ясно, что такое крупное направленіе, какъ введенное имъ краснорѣчіе, не могло возникнуть внезапно и безъ подготовительныхъ явленій; равнымъ образомъ мы поневолѣ выставили Горгія единственнымъ установителемъ искусства прозы въ Аѳинахъ, между тѣмъ какъ на дѣлѣ это было иначе. Въ этой неточности большой бѣды нѣтъ: пусть не всѣ шесть элементовъ художественной прозы восходятъ къ Горгію, пусть его славу, если только слава тутъ есть, съ нимъ раздѣляютъ его сверстники, имена которыхъ извѣстны спеціалистамъ, — если сама древность видѣла въ немъ начало и воплощеніе всего направленія, о которомъ мы говоримъ, то и намъ это можетъ быть дозволено.

Самъ Горгій былъ въ Аѳинахъ довольно рѣдкимъ гостемъ; но его направленіе свило себѣ тамъ довольно прочное гнѣздо. Вся молодежь была на его сторонѣ и толпилась вокругъ него въ тѣ дни, когда онъ навѣщалъ ея родину. Она-то и не давала поблекнуть его славѣ; всякій разъ, когда изъ устъ боготворимаго учителя вылетала какая-нибудь мѣткая антитеза или смѣлая метафора, — когда онъ, говоря о персидскомъ царѣ, построившемъ для своего пѣшаго войска мостъ черезъ Геллеспонтъ и прорывшемъ для кораблей каналъ черезъ Аѳонъ, отчеканивалъ фразу, что этотъ царь *велъ сухопутную войну на морѣ и морскую на материкѣ*; или когда онъ, говоря о коршунахъ, называлъ ихъ *живыми могилами людей*—она неистово ему хлопала, и онъ могъ быть увѣренъ, что его фраза обойдетъ всю аѳинскую интеллигенцію и долго не будетъ забыта... Оно

въ дѣйствительности такъ и вышло: оба только-что приведенныя выраженія Горгія нашли себѣ многочисленныхъ подражателей чуть ли не въ каждомъ столѣтіи позднѣйшей греко-римской литературы, а *живыя могилы* даже пережили ее и перешли къ Шекспиру, который отвелъ имъ очень эффектное мѣсто въ одномъ монологѣ своего Макбета. Правда, то была молодежь: что касается старшихъ, то объ ихъ настроеніи мы можемъ судить по пренебрежительному отношенію ареопага къ новому роду краснорѣчія, равно какъ и по насмѣшкамъ комедіи, этого всегдашняго вѣрнаго органа староаѳинской партіи. Съ однимъ, впрочемъ, трудно было не согласиться: пусть рѣчь Горгія искусственна, дѣланна, неискрення, пусть его муза—блудница (какъ ее позднѣе не разъ называли), и слова ея—пустой звонъ бубенчиковъ, все же его техника была громадна, и эта *техническая* сторона его краснорѣчія могла имѣть большое воспитательное значеніе. Сколько въ народѣ истиннаго, горячаго чувства, способнаго, кажется, двинуть горы,—но его носителю не дано средство выразить его, приходится безпомощно его заглушать въ своей груди! А тутъ предлагаютъ самое средство, предлагаютъ форму, алчущую содержанія; неужели отказаться народу отъ этого дара? И вотъ чѣмъ дальше, тѣмъ больше вкореняется убѣжденіе, что Горгіеву краснорѣчію мѣсто въ *школѣ*, что будетъ очень недурно, если подростающая молодежь научится, благодаря его техникѣ, легко и изящно пользоваться словомъ, если она изъѣздитъ вдоль и поперекъ всю область мысли на полозьяхъ его антитезъ; современемъ жизнь возьметъ свое, и когда послѣ легковѣснаго хвороста школьныхъ темъ дѣло дойдетъ до солиднаго дерева дѣйствительности, то и бурное, трескучее и искрометное пламя краснорѣчія само собой прекратится и дастъ тихій, ровный и надежный жаръ. Были ли правы поборники этого оптимистическаго взгляда на риторику? У нихъ были и противники, сильные если не количествомъ, то качествомъ—не забудемъ, что къ нимъ принадлежалъ Сократъ,—и они съ тревогой указывали на соблазнъ, заключающійся въ неограниченной власти надъ словомъ; устоитъ ли неокрѣпшій еще въ добрѣ умъ юноши, когда ему дадутъ въ руки средство, одинаково пригодное для дурныхъ, какъ и для хорошихъ цѣлей? Вы предлагаете ему

форму, алчущую содержанія, не спрашивая его о томъ, какимъ содержаніемъ ему угодно будетъ ее наполнить; а что, если это будетъ содержаніе дурное, опасное для свободы и добрыхъ нравовъ родины? На это, однако, оптимисты отвѣчали: „Это—другое дѣло! Вѣдь вы заботитесь же о развитіи физическихъ силъ своихъ сыновей, обучаете ихъ и борьбѣ, и кулачному бою—но вѣдь и тутъ учитель передаетъ имъ только технику, не спрашивая ихъ, какой цѣли они посвятятъ пріобрѣтенныя ими ловкость и силу. А что, если это будетъ дурная цѣль, если обученный боксу юноша воспользуется своимъ умѣньемъ для того, чтобы прибить отца и мать? Вы вѣдь не будете пенять на учителя гимнастики и на его искусство, а сочтете виновными самихъ себя, за то, что не дали своему сыну болѣе нравственнаго направленія. То же самое и здѣсь“.

Таковъ былъ отвѣтъ приверженцевъ новой школьной дисциплины, съ которыми мы можемъ согласиться тѣмъ смѣлѣе, что насъ здѣсь интересуетъ только эстетическая, а не нравственная сторона вопроса. «Софистическое» краснорѣчіе основалось въ школѣ и завоевало себѣ въ ней даже первое мѣсто; начиная съ эпохи Горгія, оно было тѣмъ родникомъ, который орошалъ ниву аѳинскаго, а вскорѣ и обще-греческаго слова на всемъ ея протяженіи. И смотря по большему или меньшему обилію орошающей влаги, возникаютъ—ниже приподнятой «школьной» витіеватости съ ея дѣланнымъ паѳосомъ, но выше ползучей гражданской рѣчи съ ея отсутствіемъ всякаго аффекта—различныя направленія художественной—и на этотъ разъ дѣйствительно художественной—прозы. Въ V-мъ вѣкѣ до Р. Х., видѣвшемъ расцвѣтъ поэзіи, идеалъ прозы достигнутъ еще не былъ. Правда, мы встрѣчаемъ въ немъ могучую личность историка Ѳукидида; но Ѳукидидъ интересенъ для насъ именно тѣмъ, что онъ, какъ художникъ стиля, олицетворяетъ собой борьбу, броженіе, а не спокойное обладаніе достигнутымъ идеаломъ. То онъ подчиняется манерѣ Горгія,—и мы встрѣчаемъ у него такія же выточенныя фразы, какъ приведенныя выше изъ надгробной рѣчи послѣдняго; то у него мелькаетъ мысль, что частичнымъ нарушеніемъ симметріи можно сильнѣе оттѣнить понятія, чѣмъ черезчуръ строгою уравновѣшенностью членовъ предложенія. Онъ сознаетъ, что греческій языкъ, съ его оби-

лiемъ союзовъ, съ его множествомъ причастныхъ и другихъ конструкцiй, такъ и напрашивается на стройную перiодизацiю; но его попытки въ этомъ направленiи еще несовершенны, его перiоды зачастую лишены перспективы, и даже древнiе сознавали, что въ нихъ разбираться не легко. Конечно, его очень любили, и онъ въ высокой степени стóитъ этой любви и понынѣ: нѣтъ писателя, болѣе приспособленнаго къ такому, такъ сказать, перемежающемуся чтенiю, при которомъ читатель, прочитавъ нѣсколько фразъ, останавливается и невольно задумывается—а мы справедливо ставимъ въ счетъ своимъ собесѣдникамъ тѣ хорошiя мысли, на которыя они насъ наводятъ. И если мы говоримъ, что стиль Ѳукидида тяжелъ, то мы должны помнить, что онъ тяжелъ отъ бремени *мысли*.

Къ тому же, это—историкъ; стиль же долженъ былъ выработаться прежде всего въ области краснорѣчiя, такъ какъ только въ ней бываетъ на лицо требуемое разнообразiе сюжетовъ при единствѣ темы; только здѣсь творчество является полнымъ, обнимая и сочиненiе и произнесенiе, только здѣсь, наконецъ, при взаимодѣйствiи между говорящимъ и его слушателями, дѣлается возможнымъ контроль ораторской техники при помощи живой дѣйствительности. И вотъ, при умѣренномъ еще орошенiи нивы слова родникомъ софистической техники, расцвѣтаетъ первый скромный цвѣтокъ аттическаго краснорѣчiя—*строгiй* стиль оратора Лисiя. Этотъ стиль немногимъ, повидимому, отличался отъ того, который былъ допускаемъ передъ судомъ ареопага; мы находимъ въ немъ всѣ элементы художественной рѣчи, но находимъ ихъ въ сравнительно слабой мѣрѣ: ораторъ больше сремится къ отчетливости рисунка, чѣмъ къ яркости колорита. Чтобы избѣгнуть пышности, онъ не даетъ разгорѣться аффекту; чтобы избѣгнуть темноты, онъ не строитъ сложныхъ перiодовъ. Старательно приспособивъ свою задачу къ своимъ силамъ, онъ справился съ нею вполнѣ и достигъ въ своемъ родѣ совершенства, какъ достигли его и родственные ему по направленiю итальянскiе художники XV вѣка, предшественники Рафаэля, цѣломудренная красота которыхъ насъ плѣняетъ до тѣхъ поръ, пока мы не вспомнимъ о «станцахъ» Ватикана и о сивиллахъ сикстинской капеллы. Въ обоихъ случаяхъ, однако, искусство двинулось впередъ, къ другимъ

идеямъ, достиженiе которыхъ стало возможнымъ лишь при усиленномъ дѣйствiи того родника, который, въ обоихъ случаяхъ, орошалъ обработываемую художникомъ ниву—при усиленномъ дѣйствiи школы.

Представителемъ школы краснорѣчiя въ Аѳинахъ IV вѣка былъ Исократъ; его имя не можетъ быть пропущено ни въ одномъ очеркѣ развитiя художественной прозы. Онъ былъ ученикомъ Горгiя и у него позаимствовалъ технику рѣчи. Будучи природнымъ аѳиняниномъ, онъ имѣлъ полное право принимать непосредственное участiе въ политической жизни своей родины, но физическiй недостатокъ не позволялъ ему выступать публично ораторомъ, и онъ посвятилъ себя школѣ. Все же его краснорѣчiе стояло ближе къ жизни и было менѣе искусственнымъ, чѣмъ краснорѣчiе его учителя; онъ отказался отъ многихъ внѣшнихъ средствъ, которыми такъ любилъ пользоваться Горгiй, зато—и въ этомъ его главная заслуга передъ потомствомъ—онъ сосредоточилъ свое вниманiе на перiодизацiи. Лишь благодаря его трудамъ въ этомъ направленiи, греческiй языкъ выказалъ все свое богатство, все разнообразiе своихъ конструкцiй; обдуманно группируя второстепенные элементы рѣчи вокругъ главныхъ, онъ создалъ для своихъ слушателей цѣлыя вереницы перiодовъ, легкихъ, просторныхъ и ясныхъ отъ одного края до другого, подобно колоннадамъ тѣхъ портиковъ, которые окружали площадь ихъ родного города. Теперь только было создано орудiе, котораго недоставало строгому стилю Лисiя и его современниковъ; форма рѣчи достигла своего совершенства и нуждалась только въ содержанiи для того, чтобы осуществить новый идеалъ красоты. Содержанiе это было недалеко, его могла дать политическая жизнь аѳинянъ, всѣми силами старавшихся тогда возстановить свое утерянное главенство среди греческихъ государствъ; но не Исократу, представителю школы, было дано совершить требуемое слiянiе искусства и жизни. Это было дѣломъ послѣднихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ лучшихъ изъ политическихъ ораторовъ свободныхъ Аѳинъ—Демосѳена и Эсхина. Намъ, конечно, трудно становиться на точку зрѣнiя чистаго искусства по отношенiю къ людямъ, игравшимъ столь важную и столь роковую роль въ исторiи гибели своей родины; тѣмъ не менѣе такое огра-

ниченіе горизонта здѣсь необходимо. Для историка художественной прозы, Демосѳенъ и Эсхинъ, эти два непримиримыхъ врага, стоятъ рядомъ,—первый, какъ представитель *сильнаго*, второй—какъ представитель *красиваго* стиля въ искусствѣ рѣчи, и сравненіе съ Діоскурами итальянской живописи напрашивается само собой.

Аѳины никогда не могли оправиться отъ удара, нанесеннаго имъ Филиппомъ; никакая призрачная самостоятельность не могла дать имъ политической жизни, а стало быть и ихъ краснорѣчію—того содержанія, которымъ были такъ богаты оба предыдущихъ столѣтія. Объ остальныхъ греческихъ государствахъ и говорить нечего; таковъ уже былъ характеръ античныхъ народовъ, что только политическая независимость и республиканское равноправіе могли служить надежной, живительной атмосферой для талантовъ. Особенно же это касается художественной прозы: ея главнымъ органомъ была живая рѣчь, рѣчь оратора, свободно говорящаго передъ свободными согражданами въ народномъ собраніи, или въ засѣданіи суда; она была поэтому неразрывно связана съ политическою жизнью, въ которой примѣнялось и провѣрялось пріобрѣтенное въ школѣ умѣнье.

Теперь жизнь отошла, а школа осталась. Что было дѣлать ученику, усердно изучившему подъ руководствомъ своего учителя техническую сторону краснорѣчія, основательно овладѣвшему этой «формой, алчущей содержанія», но не находившему въ жизни содержанія для нея? Если онъ не хотѣлъ замолкнуть—а къ этому эллины теперь уже были неспособны—ему оставалось только одно:—продолжать въ жизни то, что онъ дѣлалъ въ школѣ, сосредоточиться на формѣ, выработать ее до виртуозности, а затѣмъ—собирать вокругъ себя аудиторію досужихъ людей не для того, чтобы передать имъ какое-нибудь серьезное поученіе или вынудить у нихъ то или другое рѣшеніе, а только для того, чтобы служить предметомъ ихъ восторженнаго удивленія. Такъ оно и случилось. Параллелью и тутъ можетъ служить исторія живописи, маниеризмъ XVII вѣка, но пожалуй еще лучше—вслѣдствіе своей бо̀льшей близости къ намъ—развитіе инструментальной музыки послѣ Шумана и Шопена. Въ этихъ двухъ геніяхъ инструментальная музыка

досказала то, что она имѣла сказать нашей душѣ: отнынѣ она обращается къ нашему уху. Виртуозы выступаютъ публично, въ концертахъ, и стараются поразить насъ своей техникой; и мы идемъ слушать ихъ, не справившись даже предварительно, что они будутъ намъ играть—до такой степени намъ стало безразлично содержаніе. Попробуйте сказать, что вамъ содержательная вещь стараго репертуара въ исполненіи даже какой-нибудь почтенной посредственности интереснѣе, чѣмъ виртуозно-исполненная современная дребедень—и васъ сочтутъ выходцемъ съ другой планеты. Быть можетъ, это и хорошо; быть можетъ, это увлеченіе техникой — необходимое условіе для какого-нибудь возрожденія музыки, которое намъ готовитъ двадцатый вѣкъ; во всякомъ случаѣ, переживаемый нами нынѣ періодъ музыкальной риторики поможетъ читателю разобраться въ совершенно аналогичномъ риторическомъ краснорѣчіи, распространившемся по всей Греціи въ III вѣкѣ до Р. Х.

Краснорѣчіе это мы называемъ *азіанизмомъ*; названіе это было ему дано потому, что его представители были бо̀льшею частью родомъ изъ Малой Азіи. Характеризовать его нѣтъ надобности послѣ того, что было сказано выше; читатель уже знаетъ, что имѣетъ здѣсь дѣло не съ художественной, а съ искусственной прозой. Впрочемъ, уже древніе различали въ немъ не одинъ, а два различныхъ стиля; слѣдуя ихъ указаніямъ,—а мы вынуждены это сдѣлать, такъ какъ ни одинъ изъ представителей азіанизма намъ не сохраненъ—и мы можемъ назвать одинъ изъ нихъ *игривымъ*, а другой *пышнымъ* стилемъ. Игривый стиль тѣсно примыкаетъ къ манерѣ Горгія: тѣ же краткіе члены, состоящіе изъ двухъ или трехъ словъ, съ очень замѣтнымъ ритмомъ. Пышный стиль, напротивъ, примыкаетъ къ Исократу; онъ отдаетъ предпочтеніе длиннымъ, сложнымъ періодамъ. Общимъ признакомъ ихъ была безсодержательность и фальшивый паѳосъ, одинаково свойственный и слащавой граціи перваго, и ходульной высокопарности второго стиля; все же, если сравнивать между собой обѣ манеры въ отношеніи ихъ воспитательнаго значенія, то предпочтеніе придется отдать второму. Пышный стиль былъ хорошъ хотя бы тѣмъ, что сохранилъ всѣ выработанныя предыдущими поколѣніями техническія пре-

имущества, между тѣмъ какъ игривый носилъ на себѣ явные признаки вырожденія.

Задавшись цѣлью прослѣдить главное теченіе исторіи греческой художественной прозы, мы по неволѣ, какъ было замѣчено выше, должны оставить въ сторонѣ ея побочные каналы. Но одинъ изъ нихъ заслуживаетъ хоть краткаго упоминовенія. Политическая жизнь, постепенно умиравшая на греческомъ материкѣ, сохранилась, однако, на островѣ Родосѣ; родосская республика крѣпла и развивалась и пріобрѣла впослѣдствіи могущество, напоминающее нѣсколько могущество Венеціи въ средніе вѣка. Здѣсь, стало быть, было открыто убѣжище художественному краснорѣчію; и дѣйствительно, мы знаемъ, что Эсхинъ, послѣ своего паденія въ Аѳинахъ, перешелъ туда и сталъ тамъ учителемъ родосской молодежи, которая, такимъ образомъ, познакомилась съ его «красивымъ» стилемъ. Много объ его послѣдователяхъ говорить не приходится; но необходимо помнить, что пока азіанизмъ торжествуетъ во всемъ греческомъ мірѣ, художественное краснорѣчіе красиваго стиля продолжаетъ существовать въ Родосѣ.

Реакція противъ азіанизма наступила въ I-мъ вѣкѣ; ея возникновеніе находится въ связи съ успѣхами греческой филологіи. Долгое время греческая муза беззаботно творила, счастливая въ сознаніи богатства своей творческой силы; теперь же эта сила стала убывать, и муза озабоченно оглядывается назадъ, чтобы собрать тѣ дары, которые она раньше легкомысленно расточала повсюду. Основываются библіотеки, начинается изученіе сокровищъ, стекавшихся въ ихъ широкія хранилища. Изученіе коснулось, что́ и понятно, прежде всего поэтическихъ памятниковъ, какъ наиболѣе трудныхъ и цѣнныхъ; но вскорѣ очередь дошла и до прозаиковъ. Прошло нѣсколько десятилѣтій, и старательное изученіе вызвало потребность подражанія. Въ этомъ ясно формулированномъ требованіи,—а именно, чтобы позднѣйшая проза признала образцомъ для себя художественную прозу давнопрошедшихъ временъ, — заключалась означенная реакція противъ азіанизма, который только теперь получилъ эту презрительную кличку; а такъ какъ образцами были объявлены — и относительно этого не могло быть колебанія — аттическіе писатели IV вѣка, то и

новое направленіе было названо *аттицизмомъ*. Его возникновеніе имѣло рѣшающее вліяніе на дальнѣйшую судьбу греческой прозы: *все ея развитіе было обусловлено борьбою аттицизма съ азіанизмомъ*.

Которая же изъ этихъ двухъ борющихся сторонъ болѣе заслуживаетъ симпатій? На первый взглядъ, отвѣтъ не представляется сомнительнымъ. Съ одной стороны — стиль строгій, стиль сильный, стиль красивый, съ другой—выборъ между двумя болѣзненными манерами, игривой и пышной; съ одной стороны—художественность, основанная на естественности, съ другой—искусственность. Все же, при болѣе близкомъ ознакомленіи съ характеромъ новаго направленія, симпатіи къ нему должны сильно охлаждаться. Причины такого охлажденія три.

Первая—принципіальнаго характера и стоитъ въ ближайщей связи съ самой идеей прогресса. Есть два предразсудка, которые, будучи противоположны другъ другу, одинаково гибельно вліяютъ на умственный прогрессъ: одинъ состоитъ въ томъ, что идеалъ прошлаго объявляется чѣмъ-то отжившимъ и несовмѣстимымъ съ живою дѣятельностью, требующею будто бы, для своего благополучія возможно скораго и полнаго отреченія отъ него; другой—въ томъ, что этотъ идеалъ объявляется, наоборотъ, нормой, въ рамкѣ котораго должна укладываться дѣйствительность. Среднее между этими предразсудками мѣсто занимаетъ истина, гласящая, что идеалъ прошлаго не долженъ быть забытъ, что онъ долженъ вліять на современную намъ дѣйствительность, *но не какъ норма, а лишь какъ сѣмя*, для того, чтобы ей оплодотворяться имъ. Древности, въ лицѣ ея лучшихъ представителей, эта истина не была безъизвѣстна; но именно аттицисты ея не знали. Ихъ лозунгомъ было *подражаніе*: вы будете—думали они—тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ болѣе съумѣете приблизиться къ великимъ образцамъ прошлаго. Но только приблизиться; что же касается того, чтобы достигнуть ихъ, то объ этомъ и думать было нечего, это было совершенно невозможно, — и въ этомъ отношеніи они были, разумѣется, правы. Итакъ, первымъ недостаткомъ новаго направленія было то, что оно заранѣе дѣлало невозможной всякую оригинальность въ области художественной прозы.

Второй недостатокъ носилъ на себѣ болѣе практическій

характеръ. Однимъ изъ важнѣйшихъ элементовъ художественной прозы былъ, какъ мы видѣли, подборъ словъ, — оно и понятно. Художникъ прозы долженъ отдавать себѣ отчетъ въ характерѣ употребляемыхъ имъ словъ, въ ихъ вѣсѣ и, если можно такъ выразиться, въ ихъ тембрѣ, т.-е. въ характерѣ возбуждаемыхъ ими побочныхъ представленій и чувствъ. Эти побочныя представленія въ умѣ чуткаго слушателя невольно сливаются съ главнымъ; у художника рѣчи — что слово, то аккордъ, и слѣдуетъ заботиться о томъ, чтобы аккордъ этотъ не звучалъ диссонансомъ. Съ этой точки зрѣнія забота о старательномъ подборѣ словъ вполнѣ разумна; трудно подъискать и въ воспитательномъ отношеніи болѣе развивающее упражненіе. Но не такъ отнеслись къ этому вопросу аттицисты. Въ ихъ глазахъ важно было прежде всего, чтобы не допускалось въ художественную рѣчь ни одно слово, которое не могло бы быть узаконено ссылкой на аттическіе образцы. Чтобы понять всю стѣснительность этого запрета, нужно припомнить, что между этими образцами и современностью аттицистовъ лежалъ промежутокъ въ три столѣтія, во время которыхъ аттическій языкъ успѣлъ сдѣлаться обще-греческимъ, а греческій — міровымъ. Понятно, что языкъ этотъ не могъ не измѣниться самымъ существеннымъ образомъ: тотъ говоръ, который въ IV-мъ вѣкѣ былъ еще живымъ, теперь сталъ книжнымъ. Но вотъ онъ подвергается серьезному, усиленному изученію; создаются словари, въ которыхъ аттическія слова сопоставляются съ соотвѣтствующими имъ по значенію «эллинскими», т.-е. общегреческими; появляются виртуозы памяти, видящіе свою гордость въ томъ, чтобъ экспромтомъ отвѣчать на заданный имъ вопросъ, встрѣчается ли данное слово у аттическаго писателя, и если да, то гдѣ именно. Нѣтъ спора, что въ этомъ была и своя хорошая сторона. Аттическій языкъ обладалъ многими достоинствами, которыхъ общегреческій не сохранилъ; онъ былъ самобытнѣе, поэтичнѣе, глубокомысленнѣе, въ немъ геній эллинской рѣчи слышался яснѣе и внятнѣе. Все это вполнѣ оправдывало бы его старательное изученіе, но аттицисты этимъ не удовольствовались; они воздвигли произвольную стѣну между художественной прозой своихъ послѣдователей и языкомъ живой дѣйствительности, и этимъ осудили

первую на вѣчное прозябаніе въ холодномъ полумракѣ искусственности.

Третій недостатокъ обусловливался самимъ реакціоннымъ характеромъ аттицизма. Разъ азіанизмъ былъ преданъ анаѳемѣ— было дано, вмѣстѣ съ тѣмъ, и мѣрило для сравнительной оцѣнки самихъ образцовыхъ писателей,—мѣрило простое и радикальное: они были тѣмъ лучше и тѣмъ образцовѣе, чѣмъ менѣе они были похожи на азіанцевъ и наоборотъ — Съ этой точки зрѣнія Эсхинъ и даже Демосѳенъ казались не совсѣмъ благонадежными; наиболѣе восторгались строгимъ стилемъ Лисія, и особаго рода иронія судьбы заключалась въ томъ, что этотъ человѣкъ, не бывшій даже по происхожденію аѳиняниномъ, былъ объявленъ прямымъ воплощеніемъ духа аттической рѣчи. Конечно, эти «прерафаэлиты» аттицизма, если можно такъ выразиться, составляли крайнее крыло партіи; ядро ея образовали люди разумные, умѣренные, находившіе хорошимъ все, что носило печать аттическаго духа, и по общему характеру своему аттицизмъ, если допускать иллюстрацію изъ исторіи живописи, можетъ быть скорѣе всего сопоставленъ съ болонской школой Карраччи и прочихъ эклектиковъ; какъ эта послѣдняя, вооружаясь противъ манерности своего вѣка, рекомендовала старательное изученіе великихъ мастеровъ Возрожденія, такъ и аттицизмъ съ его призывомъ къ подражанію ораторамъ IV-го вѣка былъ протестомъ противъ излишествъ азіанизма, грозившаго изгнать правдивость и серьезность изъ греческой прозы.

IV.

Азіанизмъ и аттицизмъ были охарактеризованы нами въ предыдущей главѣ сами по себѣ, съ точки зрѣнія того значенія, которое они имѣли для своей среды и своего времени. Но не въ этомъ ихъ единственное значеніе: разгаръ борьбы этихъ двухъ направленій совпалъ съ тѣмъ временемъ, когда грубый до тѣхъ поръ, но сильный и жаждущій образованія Римъ сталъ все ближе и ближе знакомиться съ греческимъ духовнымъ міромъ и готовиться къ своей памятной роли посредника между древней и новой цивилизаціей. Уже въ пер-

вомъ столѣтіи до Р. Х. Римъ, по словамъ одного изъ главныхъ представителей аттицизма, Діонисія Галикарнасскаго, *заставлялъ всѣ города обращать на него свои взоры*; каково бы ни было, само по себѣ, то или другое направленіе въ тогдашней Греціи, его міровое значеніе зависѣло отъ вліянія, которое оно способно было оказать на тогдашній Римъ.

При этомъ слѣдуетъ прежде всего сознаться, что матеріальныя преимущества были на сторонѣ азіанизма. Онъ былъ на цѣлыхъ два столѣтія старше; знакомство Рима съ Греціей началось въ эпоху пуническихъ войнъ, когда аттицизма еще на свѣтѣ не было. Такимъ образомъ, азіанизмъ могъ пользоваться всѣми выгодами, которыя даетъ инерція; но главное было то, что азіанизмъ былъ силенъ техникой, а аттицизмъ—образцами. Техника—это сводъ правилъ, выработанныхъ съ замѣчательной тщательностью многими поколѣніями юристовъ, философовъ и риторовъ; о ней было написано много томовъ, но она же, упрощенная до крайности для потребностей школы, удобно умѣщалась въ небольшой брошюркѣ, которую можно было безъ особаго труда перевести и на другой языкъ. Напротивъ, образцы—это Лисій, Демосѳенъ, Эсхинъ, перевести которыхъ по-латыни было нелегко, да и безполезно, такъ какъ они при этомъ переводѣ потеряли бы тотъ свой ароматъ, которымъ болѣе всего дорожили аттицисты. Другими словами: азіанизмъ былъ возможенъ и въ переводѣ на латинскій языкъ; аттицизмъ былъ прикрѣпленъ къ землѣ, къ родной ему почвѣ греческаго языка.

Казалось бы, что при этихъ условіяхъ побѣда азіанизма въ Римѣ была обезпечена; тѣмъ не менѣе вышло иначе, хотя и не такъ скоро.

Тутъ впервые вступаетъ въ силу то, что мы можемъ теперь назвать *западной* точкой зрѣнія на способъ усвоенія чужой культуры. Дѣйствительно, культура—мы говоримъ здѣсь о культурѣ умственной—есть прежде всего содержаніе и интересуетъ насъ именно какъ таковое; но, будучи содержаніемъ, она тѣмъ не менѣе болѣе или менѣе тѣсно связана съ формой, въ которую она влита въ данную минуту. Во взглядахъ на важность этой *связи* и усматривается разница между востокомъ и западомъ. Западъ проникнутъ уваженіемъ къ ней; ему нужно содержаніе вмѣстѣ съ формой, т.-е. съ языкомъ того народа, отъ

котораго онъ получаетъ культуру. Востокъ же говоритъ своему народу-учителю:—дай мнѣ содержаніе, переливъ его предварительно въ мою форму, а свою оставь себѣ—она мнѣ не нужна.

Римъ потребовалъ содержанія вмѣстѣ съ формой, и случилось это слѣдующимъ образомъ.

Въ началѣ идея культурнаго воздѣйствія Греціи на Римъ встрѣтила въ этомъ послѣднемъ столько же сопротивленія, сколько и сочувствія: Сципіоны съ жадностью воспринимали сѣмена греческой цивилизаціи, но зато вождь староримской партіи, Катонъ Старшій, брезгливо ея чуждался и ничего хорошаго отъ ея прививки къ Риму не ожидалъ.—„*Дай только этому народу передать намъ свою литературу*,—говорилъ онъ пророчески своему сыну,—*и онъ въ корень насъ растлитъ*". Природа и исторія надѣлили самобытный языкъ Рима неподражаемой силой и выразительностью, чѣмъ и приспособили его на всѣ времена быть языкомъ девизовъ и эпиграфовъ; эти качества, столь ярко сказывающіяся въ языкѣ законовъ XII таблицъ, выступали еще ярче при сравненіи съ рѣчью словоохотливой Греціи. Контрастъ былъ поразителенъ; греческіе толмачи должны были прибѣгать къ цѣлымъ предложеніямъ для передачи того, что Катонъ выражалъ однимъ словомъ; „*это происходитъ оттого*,—гордо пояснялъ онъ,—*что у насъ слова вытекаютъ изъ сердца, а у васъ—изъ устъ*". Но время брало свое, и время было живое; великія дѣла рѣшались въ сенатѣ и въ народномъ собраніи, и рѣшались при помощи краснорѣчія. Можно было обойтись безъ теоретическихъ разсужденій тамъ, гдѣ ежедневный опытъ указывалъ вѣрный путь; а какого рода былъ этотъ опытъ—видно изъ того, что подъ-конецъ самъ Катонъ сталъ учиться по-гречески и слѣдовать въ своихъ рѣчахъ указаніямъ греческой техники. Этимъ онъ достигъ того, что съ его имени начинаетси исторія римскаго краснорѣчія, какъ и римской художественной прозы вообще; понятно, однако, что здѣсь слово «художественность» должно быть понимаемо въ очень условномъ смыслѣ. Его рѣчи—намъ отъ нихъ сохранилось довольно много отрывковъ—представляютъ изъ себя замѣчательную смѣсь зрѣлаго и дѣльнаго содержанія съ ученической формой. Такъ (чтобы дать представленіе о послѣдней) онъ основательно затвердилъ правило, что понятіе выигрываетъ въ силѣ,

если его передать не однимъ, а двумя (или тремя) родственными по содержанію словами; но онъ примѣняетъ его иногда слѣдующимъ образомъ: „я знаю, что у большинства людей, подъ вліяніемъ счастья, успѣха и благополучія, духъ окрыляется и ихъ гордость и высокомѣріе увеличивается и ростетъ“...

Все же Катономъ староримская плотина была окончательно прорвана; греческое краснорѣчіе вливается въ столицу міра — и на первыхъ порахъ именно краснорѣчіе азіанское. Конечно, въ Римѣ республиканской эпохи азіанизмъ не могъ быть той чисто-технической виртуозностью, какою онъ былъ въ тогдашней Греціи: сама жизнь наполняла его содержаніемъ. Мы знаемъ, что знаменитый Гай Гракхъ имѣлъ учителемъ азіанца, и сохранившіеся отрывки его рѣчей вполнѣ доказываютъ азіанскій характеръ его краснорѣчія; все же несчастный трибунъ, въ моментъ разрушенія всѣхъ надеждъ его жизни, такъ взываетъ ко измѣняющему ему народу: „Куда мнѣ обратиться, гдѣ искать убѣжища? Въ Капитоліи? Онъ обагренъ кровью моего брата. Или дома? Чтобы видѣть въ слезахъ и горѣ мою несчастную мать?“ Въ этомъ воззваніи пріобрѣтенная долгимъ навыкомъ техника участвовала въ такой же мѣрѣ, какъ и истинное чувство.

Но Гай Гракхъ еще учился у грека — это значитъ, что онъ, предварительно овладѣвъ греческимъ языкомъ въ совершенствѣ, долгое время, параллельно съ изученіемъ теоріи, упражнялся подъ руководствомъ своего учителя въ «декламаціяхъ», т.-е. школьныхъ рѣчахъ на вымышленныя темы. Ту же школу прошелъ и глава слѣдующаго поколѣнія римскихъ ораторовъ, Крассъ. Школа эта, несмотря на азіанскую закваску, была серьезна и плодотворна; разъ ознакомившись основательно съ греческимъ языкомъ, молодой ораторъ открывалъ себѣ доступъ и къ греческой литературѣ, въ которой онъ находилъ, и помимо образцовъ краснорѣчія, массу образовательнаго матеріала. Такъ, мы знаемъ о Крассѣ, что онъ, вышедши изъ азіанской школы, тѣмъ не менѣе былъ однимъ изъ образованнѣйшихъ людей своего времени и, что̀ еще важнѣе, признавалъ и проповѣдовалъ необходимость общаго образованія также и для оратора. Но уже при его жизни доступъ къ краснорѣчію былъ римлянамъ значительно облегченъ. Мы видѣли, что сила азіанизма

заключалась именно въ легкости, съ которой онъ могъ быть перелитъ въ языкъ другого народа; при все увеличивающемся спросѣ на краснорѣчіе въ Римѣ было бы удивительно, если бы онъ этой своей силой не воспользовался. Греческіе отпущенники (т.-е. первоначально рабы греческаго происхожденія, въ совершенствѣ изучившіе латинскій языкъ въ домѣ своихъ римскихъ господъ, а затѣмъ отпущенные ими на волю), были естественными посредниками между греческимъ и римскимъ культурнымъ міромъ; и вотъ въ Римѣ возникаетъ и, при благосклонномъ къ нему отношеніи публики, все увеличивается классъ такъ-называемыхъ латинскихъ риторовъ. Они учили по-латыни и могли, поэтому, принимать всякаго; въ основаніе своего обученія они клали тощій учебникъ, переведенный ими съ греческаго; тамъ ученики находили правила риторической техники и примѣры къ нимъ — послѣдніе, впрочемъ, иногда были сочинены самими учителями, что̀ и заявлялось тогда съ подобающимъ апломбомъ. Такъ явилось «содержаніе безъ формы», ученіе безъ создавшаго его языка; въ виду чисто техническаго характера этого содержанія, его можно, съ другой точки зрѣнія, назвать также формой безъ содержанія; но мы здѣсь говоримъ не о томъ. Это содержаніе безъ формы предлагалось Риму на самыхъ сходныхъ условіяхъ; можно ли было ожидать, что онъ его отвергнетъ?

И все-таки онъ его отвергъ — отвергъ эдиктомъ своихъ цензоровъ 91 года, однимъ изъ которыхъ былъ вышеназванный ораторъ Крассъ. Эдиктъ этотъ столь своеобразенъ и интересенъ, что его не лишне будетъ привести полностью; вотъ онъ: „*Намъ докладываютъ, что появились распространители новаго рода образованія, созывающіе молодежь къ себѣ въ школу; они называютъ себя латинскими риторами и держатъ у себя молодежь по цѣлымъ днямъ. Наши предки указали и предметы обученія для своихъ дѣтей, и школы, какія имъ слѣдуетъ посѣщать; эти нововведенія, противныя нашимъ обычаямъ и завѣтамъ предковъ, не заслуживаютъ одобренія и представляются неправильными. Поэтому мы сочли нужнымъ объявить наше мнѣніе и содержателямъ этихъ школъ, и ихъ посѣтителямъ — именно что мы этого дѣла не одобряемъ*“... Не подлежитъ сомнѣнію, что Крассомъ и его коллегой руководили отчасти и

соображенія политическаго характера. Краснорѣчіе было политической силой; прикрѣпляя ее къ греческому языку, они отнимали ее у демократовъ, или во всякомъ случаѣ сосредоточивали въ рукахъ аристократической партіи. Но все, что мы знаемъ о Крассѣ и его взглядахъ на образованіе, доказываетъ намъ, что на первомъ планѣ у него стояли именно вышеуказанныя мысли: «латинскіе риторы» были невѣждами и воспитывали невѣждъ; только дѣйствительно образованному человѣку можно было безъ опасеній ввѣрить оружіе краснорѣчія, и только знаніе греческаго языка открывало доступъ къ образованію. Такъ объясняется это едва ли не единственное въ своемъ родѣ событіе: въ 91 г. Римъ закрылъ у себя всѣ латинскія школы краснорѣчія, оставляя однѣ только греческія. Пришлось воспитанникамъ латинскихъ школъ искать себѣ другихъ учителей; это было очень важно, такъ какъ въ ихъ числѣ былъ и Цицеронъ.

Этимъ былъ положенъ предѣлъ исключительному вліянію азіанизма; но самъ онъ не былъ еще свергнутъ, его только стало убывать. Нѣкоторое время онъ, однако, держался; подобно Крассу и его ближайшій преемникъ, «царь судовъ», Гортензій, былъ азіанцемъ; азіанцемъ былъ еще и Цицеронъ въ началѣ своей судебной дѣятельности. Повидимому, онъ имѣлъ охоту остаться таковымъ, когда онъ, послѣ первыхъ шаговъ въ Римѣ, отправился въ Грецію кончать свое высшее образованіе: главной цѣлью его поѣздки была Малая Азія; главные учителя, лекціи которыхъ онъ посѣщалъ, были наиболѣе знаменитые представители азіанизма того времени. Но онъ навѣстилъ также и сосѣдній съ Азіей Родосъ; а тамъ, какъ мы видѣли выше, еще существовало, одинаково свободное и отъ азіанской манерности, и отъ аттической сухости, живое продолженіе «красиваго» стиля Эсхина, носившее названіе «родосскаго стиля» Къ нему-то и пристрастился Цицеронъ; когда онъ вернулся въ Римъ, онъ, по собственному признанію, былъ другимъ человѣкомъ. Школа азіанизма, при всѣхъ своихъ излишествахъ, не осталась, впрочемъ, безъ хорошаго вліянія на него: согласно развитому выше закону, эта усиленная умственная школа доставила ему быстрый полетъ мысли и замѣчательную гибкость языка; но его идеалами были отнынѣ великіе аѳинскіе мастера IV вѣка, особенно послѣдніе по времени изъ нихъ, давно примиренные между собою враги, Демосѳенъ и Эсхинъ. Ихъ онъ старательно изучалъ, но не такъ, какъ ихъ изучали аттицисты; они были для него не нормой, а сѣменемъ, которымъ онъ оплодотворялъ свой духъ, чтобъ создать *художественную прозу латинской рѣчи*.

Отнынѣ азіанизмъ умолкаетъ въ Римѣ на цѣлое столѣтіе; царствуетъ въ лицѣ Цицерона «красивый» стиль. Аттицизмъ почуствовалъ, что эта эволюція ему на руку, и въ свою очередь пустилъ корни въ Римѣ. Разумѣется, это былъ пока аттицизмъ умѣренный; главное отличіе крайняго аттицизма, отвращеніе ко всѣмъ не-аттическимъ словамъ, не имѣло смысла для людей, которымъ предстояло говорить не по-гречески, а по-латыни. Все же и въ этой умѣренной формѣ онъ довольно рѣзко отличался не только отъ азіанизма,—объ этомъ и говорить нечего,—но и отъ воплощеннаго въ цицероновскомъ краснорѣчіи идеала. Здѣсь сѣмя, тамъ норма; къ тому же—въ силу реакціоннаго характера аттицизма, о которомъ была рѣчь выше,—нормой были объявлены не современные, а ранніе писатели IV-го вѣка, не Демосѳенъ съ Эсхиномъ, а Лисій съ его строгимъ стилемъ; нашлись даже оригиналы, вздумавшіе подражать Ѳукидиду. Борьба съ аттицистами,—къ которымъ принадлежали, напримѣръ, Цезарь и Брутъ,—заняла послѣдніе годы жизни Цицерона, поскольку они были посвящены литературѣ. Когда его не стало, аттицизмъ почувствовалъ себя побѣдителемъ въ Римѣ и гордо заявилъ устами своего главнаго теоретика, Діонисія Галикарнасскаго, свое удовольствіе по поводу окончательнаго изгнанія азіанской «блудницы».

Его торжество, однако, было преждевременнымъ; азіанизмъ не замедлилъ появиться вновь, и все дальнѣйшее развитіе греко-римской художественной прозы состоялось подъ вліяніемъ борьбы обоихъ направленій, азіанизма и аттицизма. Дѣйствительно, результатомъ умственной жизни Рима въ I в. до Р. Х., однимъ изъ симптомовъ которой былъ вышеупомянутый эдиктъ Красса, было полное проникновеніе эллинизма въ римскій духовный міръ: греческій и латинскій языки стали оба національными языками римской имперіи. Постараемся вкратцѣ охарактеризовать дальнѣйшее развитіе художественной прозы обѣихъ литературъ, поскольку оно обусловливалось борьбой вышеназванныхъ направленій.

Съ установленіемъ монархическаго принципа краснорѣчіе перестало быть двигательной силой въ Римѣ; для художественной прозы наступили условія, совершенно аналогичныя съ тѣми, которыя мы встрѣчаемъ въ Греціи послѣ Александра Великаго. Неудивительно, поэтому, что и послѣдствія здѣсь и тамъ были одинаковы: когда трибуна потеряла свое руководящее значеніе, ея мѣсто заняла школа и книга. Школа въ Греціи породила азіанизмъ, книга — аттицизмъ; и школу, и книгу мы находимъ въ Римѣ. Школа была современною, книга—старинною, и представители школьнаго краснорѣчія охотно называли себя «новыми» (неотеристами), а представители книжнаго краснорѣчія—«старыми» (архаистами).

Школа была одинаковою въ обѣихъ половинахъ римской имперіи; правда, въ западной много говорили по-латыни (запретъ, наложенный Крассомъ на латинскую риторическую школу, давно уже былъ снятъ), но это разницы не составляло, такъ какъ духъ былъ одинаковъ. Другое дѣло—книга; въ эпоху Цицерона римскіе архаисты, подобно греческимъ, старались подражать (хотя, разумѣется, на латинскомъ языкѣ) аттическимъ писателемъ IV вѣка, почему мы и имѣемъ полное право называть и ихъ аттицистами; но къ эпохѣ имперіи у римлянъ была уже своя старинная литература, греческіе образцы можно было замѣнить латинскими. Такъ изъ римскаго аттицизма развивается родственное національное направленіе, къ которому терминъ «аттицизмъ» уже не подходитъ; мы имъ, поэтому, болѣе пользоваться не будемъ и замѣнимъ его терминомъ «классицизмъ», распространяя послѣдній также и на греческій аттицизмъ, къ которому онъ одинаково подходитъ. Займемся прежде всего судьбой греко-римскаго классицизма.

Судьба его несложна; разъ подражаніе было объявлено правиломъ, весь вопросъ состоялъ въ томъ, кому подражать; и съ обѣихъ точекъ зрѣнія мы встрѣчаемъ классицистовъ крайнихъ и классицистовъ умѣренныхъ. Первые подражали не просто стариннымъ писателямъ, а наиболѣе раннимъ между ними, и подражали имъ рабски; они не признавали образцовыми ни Демосѳена, ни Цицерона, а старались воскресить еще болѣе древнюю старину, Лисія и Катона, старательно избѣгая словъ, которыхъ не было у нихъ, и, съ другой стороны, вводя въ

литературу по возможности всѣ встрѣчающіяся у нихъ слова, даже совершенно отжившія и никому непонятныя. Этотъ крайній классицизмъ—архаизмъ—былъ по временамъ въ модѣ, но именно только въ модѣ; будучи лишенъ всѣхъ жизненныхъ элементовъ, онъ ничего жизнеспособнаго въ литературу не внесъ. Другое дѣло—классицисты умѣренные, родоначальникомъ которыхъ былъ на римской почвѣ знаменитый Квинтиліанъ; дѣлая разумныя уступки современности, особенно въ области языка, они были настоящими представителями классической художественной прозы въ обѣихъ литературахъ. Но именно вслѣдствіе этихъ уступокъ они не очень рѣзко отличаются отъ умѣренныхъ второго, азіанскаго направленія; такъ одинъ изъ самыхъ симпатичныхъ представителей римской прозы II вѣка, Плиній Младшій, самъ съ гордостью называетъ себя подражателемъ Цицерона, какимъ онъ и долженъ былъ быть, имѣя учителемъ Квинтиліана; но въ то же время онъ насмѣшливо отзывался о „благонамѣренныхъ“ (euzêloi), т.-е. классицистахъ строгаго толка, и въ своей прозѣ часто отдаетъ азіанизмомъ. На римской почвѣ такая неопредѣленность была тѣмъ скорѣе возможна, что главный образецъ умѣренныхъ классицистовъ, Цицеронъ, самъ въ молодости былъ азіанцемъ, да и позднѣе, какъ это и естественно, не могъ вполнѣ отрѣшиться отъ своей азіанской закваски; строже можно провести грань на греческой почвѣ. И справедливость требуетъ признать, что самые серьезные греческіе писатели императорской эпохи принадлежатъ именно къ лагерю умѣренныхъ классицистовъ—Плутархъ, Арріанъ, Кассій Діонъ; только Лукіанъ колеблется между обоими лагерями, какъ это и подобало его неустойчивому и легкому, хотя и блестящему таланту. Они съ честью поддерживали знамя аттицизма, пока не передали его въ руки христіанскихъ писателей—какъ мы это увидимъ ниже.

Все же для насъ интереснѣе, какъ историко-литературный симптомъ, *азіанская* муза. Отъ нанесеннаго ей въ I-мъ вѣкѣ до Р. Х. пораженія она скоро оправилась; императорская эпоха была второй эпохой расцвѣта азіанизма. И надобно сознаться: этотъ второй успѣхъ не былъ вполнѣ незаслуженнымъ; если азіанская муза плѣнила публику, то потому, что она дѣйствительно была плѣнительна. Разумѣется, мы должны и тутъ оста-

вить въ сторонѣ крайнихъ представителей партіи, ораторовъ, пѣвшихъ и плясавшихъ на амвонѣ и потерявшихъ всякую способность отличать дѣйствительность отъ своихъ фантазій. „Зачѣмъ ты такъ мрачно на меня смотришь, Северъ?“—взывалъ однажды, въ роли защитника, слишкомъ быстро перенесенный въ зданіе суда питомецъ риторической школы; „и не думалъ“,—преспокойно отвѣчалъ ему тотъ,—„а впрочемъ, если у тебя въ тетрадкѣ такъ стоитъ, изволь“,—и при дружномъ хохотѣ публики онъ взглянулъ на него со всей свирѣпостью, на какую только былъ способенъ. Объ этихъ фанатикахъ азіанизма говорить не стоитъ; ограничимся тѣми, которые наложили свою печать на свое время—и не на свое только время.

«Азіанскихъ» стилей, какъ мы видѣли, было два: игривый и пышный; второй, съ его торжественными періодами, рекомендовался для панегириковъ, изъ которыхъ мы его и знаемъ. Интереснѣе первый. Со временъ Горгія онъ замѣчательно возросъ и окрѣпъ; не прошла для него безслѣдно и философія, хотя азіанизмъ въ принципѣ ея и чуждался; изъ ребяческихъ иногда антитезъ и исоколовъ сицилійскаго софиста и первыхъ азіанцевъ выросла блестящая и не всегда поддѣльная жемчужина стиля—«сентенція». Сентенція—я нарочно оставляю это непереводимое слово—не должна была быть непремѣнно общаго содержанія; требовалось, чтобы она своей краткостью, мѣткостью и неожиданностью (славились breves vibrantesque sententiae) поражала слушателя. „Человѣкъ этотъ ничѣмъ не грѣшитъ—развѣ только тѣмъ, что онъ ничѣмъ не грѣшитъ“; жестокій рабовладѣлецъ изъ отпущенниковъ „слишкомъ мало, или, правильнѣе, слишкомъ хорошо помнитъ, что онъ самъ былъ рабомъ“. Въ «сентенціи» старались умѣстить какъ можно болѣе содержанія, употребляя при этомъ какъ можно менѣе словъ; вслѣдствіе этого именно лучшія сентенціи непереводимы; не угодно ли передать по-русски: portum ignoranti nullus ventus suus и т. п. Въ настоящее время мастеръ сентенціи—Фр. Нитцше; такіе его обороты, какъ: ja, ich habe die Ehe gebrochen; aber zuerst brach die Ehe mich; или einst zog ich diesen Schluss; nun aber zieht er mich—скорѣе всего могутъ дать читателю представленіе о томъ, чѣмъ была сентенція азіанскаго краснорѣчія.

Другимъ средствомъ была такъ-называемая «экфраза», т.-е. описаніе какой-нибудь мѣстности, картины, красавицы и т. д. Тутъ главнымъ была гармонія между тономъ описанія и описываемымъ предметомъ. И этотъ элементъ имѣлъ передъ собой широкую будущность: тѣ описанія природы, которыя такъ плѣняютъ насъ у Тургенева, происходятъ по прямой линіи отъ экфразъ азіанской риторики. Всѣхъ прочихъ ея уловокъ я перечислять не буду: замѣчу только, что сама постановка темы была разсчитана на то, чтобы сильнѣйшимъ образомъ вліять на фантазію. Объ этомъ нѣсколько словъ.

Чѣмъ было для художественной прозы дѣйствительное краснорѣчіе, политическое и судебное, тѣмъ было для искусственной прозы азіанизма краснорѣчіе фиктивное: ораторъ переносился въ вымышленную обстановку, проникался особенностями своего фантастическаго положенія, и по этому поводу произносилъ мнимо-совѣщательную или мнимо-судебную рѣчь. Обстановка выбиралась, разумѣется, самая благодарная, т.-е. самая эффектная, самая богатая всякаго рода конфликтами. Послѣ гибельнаго отступленія аѳинскаго войска изъ-подъ Сиракузъ, раненый, неспособный продолжать путь солдатъ молитъ полководца, чтобъ онъ прикончилъ его: *„ради бога, Никій, ради бога, отецъ мой! Такъ да увидишь ты Аѳины“!* (послѣдняя сентенція въ подлинникѣ вразумительнѣе). Безрукій богатырь, убѣдившись въ измѣнѣ своей жены, требуетъ отъ сына ея смерти, и хочетъ отречься отъ него, когда онъ отказываетъ ему; сынъ защищается. Все это напоминаетъ сцену изъ «Les Misérables» В. Гюго, гдѣ герой, бывшій каторжникъ, а потомъ всѣми уважаемый мэръ, размышляетъ о томъ, не слѣдуетъ ли ему, разрушая все свое счастье и счастье многихъ другихъ, раскрыть окружающую его тайну, когда за совершонное имъ когда-то преступленіе другой попадаетъ на скамью подсудимыхъ; или—изъ «Le coupable» Фр. Коппе—сцену, гдѣ прокуроръ отецъ долженъ произнести обвинительную рѣчь противъ подсудимаго, въ которомъ онъ узналъ своего сына. Все это—настоящіе цвѣтки азіанскаго краснорѣчія II вѣка по Р. Х.

Дѣйствительно, азіанизмъ—и въ этомъ едва ли не наибольшая его заслуга—породилъ *романъ*; всѣ греческіе и латинскіе романисты были азіанцами. А нашъ современный романъ, какъ

онъ ни измѣнился въ смыслѣ художественности и серьезности,— прямой потомокъ древне-греческаго; родословная можетъ безъ труда быть возстановлена во всѣхъ подробностяхъ. Да и измѣнился онъ только за послѣднее полстолѣтія.

Вотъ каковъ былъ общій характеръ азіанизма императорской эпохи. Его внѣшняя судьба тоже была разнообразнѣе, чѣмъ судьба классицизма. Въ первомъ вѣкѣ по Р. Х. онъ даетъ римской литературѣ богатыря въ лицѣ Сенеки-философа, неподражаемаго мастера сентенціи; къ концу вѣка его нѣсколько оттѣсняетъ Квинтиліанъ, что не помѣшало ему, однако, имѣть сильнѣйшее вліяніе на обоихъ учениковъ послѣдняго, Плинія Младшаго и особенно Тацита. Во второмъ вѣкѣ онъ снова отступаетъ, на этотъ разъ передъ архаистами эпохи Антониновъ, но въ третьемъ—онъ опять овладѣваетъ римской литературой: появляется такъ-называемая африканская латынь, съ ея главнымъ представителемъ Апулеемъ. Африканская латынь—это вырожденіе азіанизма на римской почвѣ, второе дѣтство азіанской прозы; опять появляются попарно соединенные члены съ риторическими риѳмами и равнымъ количествомъ словъ и даже слоговъ; но всѣ эти красоты нагромождаются безъ всякаго чувства мѣры, съ какимъ-то ребяческимъ пристрастіемъ ко всему фокусному и уродливому. „*Женщина сварливая, спесивая, хмельная, бездѣльная, бойкая, стойкая, въ гнусныхъ стяжаніяхъ жадная, на подлыя затраты повадная*“, и далѣе, и далѣе, страница за страницей, все въ томъ же стилѣ. Африканская латынь была, однако, ясно оформленнымъ, а потому и импонирующимъ явленіемъ; Апулей—послѣдняя оригинальная личность въ языческой римской литературѣ, и его вліяніе на дальнѣйшее развитіе прозы было не совсѣмъ незначительнымъ.

V.

Главнымъ результатомъ развитія античной прозы за описанныя въ предыдущихъ главахъ эпохи было раздѣляемое всѣми одинаковое убѣжденіе, что писать какъ случится— нельзя; что во всякомъ писательствѣ необходимъ стиль, выборъ котораго зависитъ отчасти отъ замышляемаго произведенія,

отчасти отъ личныхъ наклонностей автора; еслибы Мольеровскій буржуа жилъ въ то время—онъ быстро разочаровался бы въ своемъ умѣньѣ faire de la prose. Возникло это убѣжденіе въ Греціи; но такъ велико было обаяніе выдержаннаго стиля, что оно покорило Римъ, и выработанныя греками для грековъ правила были приспособлены къ римской рѣчи: одно и то же выраженіе аффектовъ, одна и та же періодизація, одинъ и тотъ же ритмъ были признаны законными для обоихъ языковъ. Можно ли было сомнѣваться въ естественности художественной прозы, если она, разъ возникши, не только не встрѣтила никакихъ сопротивленій со стороны того народа, среди котораго она возникла, но и подчинила себѣ рѣчь другого, чуждаго народа? И все-таки, это первое испытаніе не было еще рѣшающимъ. Теперь предстояло второе, гораздо болѣе серьезное, со стороны новой культурной силы—*христіанства*.

Могло ли христіанство признать за художественной прозой какую-либо важность? Могло ли оно считать желательнымъ или даже допустимымъ обученіе ея законамъ своихъ молодыхъ послѣдователей? На первый взглядъ, никакой другой отвѣтъ, кромѣ отрицательнаго, не представляется возможнымъ. Противъ нея говорилъ, прежде всего, самый яркій и самый обязательный для христіанина *примѣръ*—языкъ священныхъ книгъ Новаго Завѣта. Но при этомъ необходимо отказаться отъ того мнѣнія, которое каждый составилъ себѣ объ ихъ стилѣ по новѣйшимъ переводамъ,—конечно, болѣе или менѣе литературнымъ: подлинникъ въ этомъ отношеніи носитъ совершенно другой характеръ. Появившись среди простого народа и даже по происхожденію негреческаго, онъ былъ написанъ языкомъ, который образованными людьми той эпохи, будь они азіанцы или классицисты, не могъ быть признанъ, не только литературнымъ, но даже и строго грамотнымъ: множество неправильныхъ, съ точки зрѣнія грамматики, формъ; множество неупотребительныхъ, съ точки зрѣнія лексикографіи, словъ; введеніе недопустимыхъ, съ точки зрѣнія пуризма, латинскихъ и арамейскихъ выраженій — это по части языка; крайняя бѣдность періодизаціи, отсутствіе всякой диспозиціи, скачки и недомолвки, полная неритмичность — это по части стиля. И что же? Эта книга, при всемъ томъ, побѣждаетъ міръ, завое-

ываетъ недоступныя для Платона и Цицерона сердца; каково же, послѣ этого, значеніе художественной прозы?

Языкъ священныхъ книгъ давалъ примѣръ ясный и, казалось бы, обязательный для христіанина. Но кромѣ того у него было и не менѣе ясное и недвусмысленное указаніе въ словахъ: „*не заботьтесь, какъ или что сказать, ибо въ тотъ часъ дано вамъ будетъ, что сказать; ибо не вы будете говорить, но духъ Отца вашего будетъ говорить въ васъ*“ (Ев. отъ Матѳ., гл. X 19). Не подлежитъ, поэтому, сомнѣнію, что съ чисто христіанской точки зрѣнія художественная проза была въ теоріи осуждена. Она была бы осуждена и въ дѣйствительности, еслибы не тотъ фактъ, что греческіе и римскіе отцы церкви были только одной половиной своего естества христіанами, другой же половиной—греками и римлянами, а потому, оставаясь подъ вліяніемъ вѣковой традиціи, чувствовали такое стихійное влеченіе къ художественной обработкѣ стиля, что никакія преграды противъ него устоять не могли. Пришлось пойти на компромиссы, чтобы совмѣстить несовмѣстимое, спасти художественность рѣчи, не переставая быть вѣрными примѣру и завѣтамъ Учителя. Для этого открывались три пути—и отцы церкви воспользовались всѣми тремя.

Первый былъ самымъ радикальнымъ. — „Напрасно язычники кичатся художественностью своихъ книгъ и воображаютъ, что наши книги ея лишены; наша художественность столь же несомнѣнна, только она другого рода, чѣмъ та, къ которой привыкли они“. Эта странная на первый взглядъ теорія была подготовлена уже Амвросіемъ Медіоланскимъ, у котораго мы читаемъ (посл. VIII) слѣдующія интересныя слова: „*Большинство людей отрицаетъ, что наши писатели писали согласно искусству* (secundum artem—т.-е. сознательно-художественно); *и мы не споримъ: дѣйствительно, они писали не согласно искусству, а согласно благодати* (secundum gratiam—т.-е. безсознательно-художественно), *которая выше всякаго искусства; они писали то, что ихъ заставлялъ писать Духъ. Все же тѣ, которые писали объ искусствѣ* (т.-е. о теоріи прозы), *нашли его въ ихъ сочиненіяхъ, и такимъ образомъ создали руководства и учебники искусства*“. Амвросій разумѣетъ здѣсь, конечно, книги Ветхаго Завѣта, согласно своей излюбленной идеѣ, что вся эллинская мудрость потекла изъ еврейской. Его ученикъ, великій Августинъ, привелъ эту теорію въ систему въ двухъ объемистыхъ сочиненіяхъ, изъ которыхъ одно (De doctrina Christiana) намъ сохранено, другое, еще болѣе спеціальное (De modis locutionum)—не уцѣлѣло. Въ первомъ — онъ желаетъ „*отвѣтить неучамъ, которые считаютъ себя въ правѣ пренебрежительно относиться къ нашимъ писателямъ, не потому, чтобы у нихъ не было той художественности рѣчи* (eloquentia), *которой эти люди не въ мѣру преданы, а потому, что они не выставляютъ ея на показъ*“, — и въ доказательство того онъ анализируетъ не только мѣста изъ Ветхаго Завѣта, но и періоды ап. Павла. Во второмъ же — онъ, по свидѣтельству Кассіодора, развилъ и „*фигуры языческой рѣчи, и много другихъ оборотовъ, свойственныхъ одному только Писанію и не перешедшихъ въ языческую прозу, озабочиваясь, какъ бы читатели не были смущены непривычнымъ для нихъ способомъ изложенія; въ то же время нашъ незабвенный учитель хотѣлъ доказать, что общепризнанные обороты, т.-е. грамматическія и риторическія фигуры, потекли изъ Писанія, и что въ немъ все-таки осталось много такого, чему до сихъ поръ никто изъ язычниковъ подражать не сумѣлъ*“. Съ такимъ взглядомъ на стиль Писанія Августинъ, понятно, не счелъ нужнымъ обуздывать стремленія къ художественности формы, которое было привито ему самымъ основательнымъ и неизгладимымъ образомъ въ риторической школѣ; онъ даже написалъ руководство риторики для христіанъ. А при авторитетѣ, которымъ онъ пользовался въ западной церкви, его починъ имѣлъ рѣшающее значеніе.

Теорія Амвросія и Августина сослужила свою службу въ дѣлѣ спасенія художественности рѣчи; но съ точки зрѣнія теоретической истины она не выдерживаетъ критики. Гораздо серьезнѣе былъ въ этомъ отношеніи *второй* компромиссъ: онъ состоялъ въ слѣдующемъ. Прежде всего, простота и безъискусственность Писанія, и главнымъ образомъ Новаго Завѣта, не оспаривались; напротивъ, въ виду блистательныхъ побѣдъ христіанства, именно эта безъискусственность могла служить доказательствомъ его божественности. Если бы,—говоритъ Оригенъ, возражая противъ обвиненія Кельса, что Евангеліе на-

писано языкомъ рыбаковъ, — еслибы ученики Господа пользовались діалектическими и риторическими уловками эллиновъ— можно бы было подумать, что Іисусъ выступаетъ основателемъ новой школы философовъ. Но нѣтъ—они говорили прямо отъ сердца, какъ имъ внушалъ Духъ: тутъ люди удивленно спрашивали другъ друга: откуда у этихъ людей эта сила убѣжденія? это вѣдь не та, которой обладаютъ всѣ другіе. И потому они стали думать, что ихъ устами говоритъ высшее существо". Того же мнѣнія Златоустъ, Өеодоритъ, Исидоръ Пелусійскій на востокѣ, Арновій, Лактанцій, Іеронимъ на западѣ. Но—и здѣсь былъ рѣшающій пунктъ — отсюда не выводили заключенія, что стиль первыхъ учителей христіанства былъ обязателенъ и для ихъ послѣдователей. Тотъ же Исидоръ Пелусійскій, который съ такимъ жаромъ отстаивалъ безъискусственность языка апостоловъ, не колеблется принять краснорѣчіе въ число слугъ истины (посл. V). „У божественной мудрости,—говоритъ онъ, — языкъ низмененъ, мысль же паритъ въ небесахъ; а у той другой—изложеніе блестящее, но содержаніе низкое. Итакъ, еслибы кто могъ у одной позаимствовать мысль, а у другой изложеніе, мы по праву назвали бы его мудрѣйшимъ; краснорѣчіе можетъ быть орудіемъ надземной мудрости, если оно будетъ повиноваться ей, какъ тѣло—душѣ, или лира — пѣснѣ сопровождающаго себя на ней, объясняя ея небесныя мысли, но никакихъ нововведеній не внося отъ себя; если же оно пожелало бы превратить это отношеніе въ противоположное, еслибы оно, долженствующее быть рабомъ, сочло себя способнымъ быть вождемъ, правильнѣе—тираномъ мысли, тогда оно было бы достойнымъ изгнанія". Еще недвусмысленнѣе выразился Григорій Богословъ: отвѣчая, въ качествѣ константинопольскаго епископа, на упреки противника, что онъ, вмѣсто того, чтобы слѣдовать примѣру евангельскихъ «рыбаковъ», вноситъ въ церковь эллинскую риторику, — онъ сказалъ: „я послѣдовалъ бы примѣру рыбаковъ, если бы имѣлъ силу творить чудеса подобно имъ; но такъ какъ моя единственная сила заключается въ моей рѣчи, то я ее и посвящаю службѣ доброму дѣлу".

То же твердили на западѣ Иларій Пиктавійскій, ученикъ восточныхъ богослововъ, Павлинъ Ноланскій и другіе; они

требовали, чтобы искусство слога, столь долго служившее приманкой въ рукахъ лживой мудрости, теперь содѣйствовало распространенію истины.

Съ этимъ вторымъ компромиссомъ можно легче всего примириться; онъ менѣе перваго грѣшитъ натяжкой, и въ немъ, въ то же время, сказывается несомнѣнное стремленіе сознательно выяснить себѣ свое отношеніе къ самому орудію христіанской пропаганды. Въ не менѣе интересномъ *третьемъ* компромиссѣ замѣтно отсутствіе не столько искренности и доброй воли, сколько именно сознательности. Безъискусственность языка Писанія и первыхъ христіанскихъ учителей открыто признавалась, такъ же, какъ и во второмъ компромиссѣ. Обязательность этого примѣра, въ противоположность къ послѣднему, тоже признавалась. „Мы,—пишетъ Василій Великій учителю краснорѣчія, Ливанію,—„стоимъ на сторонѣ Моисея, Иліи и подобныхъ имъ блаженныхъ мужей, которые говорили намъ о своихъ дѣяніяхъ на варварскомъ языкѣ; такъ же, какъ онъ, говоримъ и мы, держась смысла истиннаго, но слога неученаго. Вѣдь если мы и научились чему-либо у васъ, то мы успѣли это позабыть". Равнымъ образомъ, Сульпицій Северъ, приступая къ описанію жизни св. Мартина, проситъ читателей извинить его, „если ихъ уши будутъ оскорблены неправильностью языка, такъ какъ царство Божіе — не въ краснорѣчіи, а въ вѣрѣ; надо помнить, что спасеніе было возвѣщено міру не ораторами, а рыбаками". Въ теоріи, такимъ образомъ, послѣдовательность соблюдена вполнѣ; но на практикѣ тѣ же писатели отказываются отъ своихъ собственныхъ обязательствъ. И Василій Великій, и Сульпицій Северъ въ своихъ сочиненіяхъ явно стремятся къ красотѣ и художественности слога: Северъ среди римлянъ заслужилъ почетное имя христіанскаго Саллюстія, Василій же былъ среди грековъ рядомъ со Златоустомъ самымъ могучимъ христіанскимъ витіей. Такъ-то, вопреки всѣмъ выводамъ теоріи, природа предъявляла свои права: греки и римляне могли принять христіанство, но новая религія не могла заставить ихъ забыть о своемъ происхожденіи.

Результатомъ всей этой борьбы было *полное торжество художественной прозы* во всей древнехристіанской словесности,

какъ греческой, такъ и римской. Но мы видѣли, что развитіе художественной прозы въ императорскую эпоху обусловливалось борьбой двухъ ея направленій, классицизма и азіанизма; которое же изъ нихъ наложило свою печать на художественную прозу христіанской литературы?

Прежде всего ясно, что мы не можемъ ожидать отъ христіанскихъ писателей никакихъ теоретическихъ указаній на этотъ счетъ. Уже сама защита художественной прозы стала у нихъ возможной лишь благодаря сдѣлкѣ съ собственной совѣстью; нельзя было требовать, чтобы проповѣдники небесной мудрости вступали еще между собой въ препирательства относительно превосходства того или другого стиля. *Открытая борьба*, поэтому, *на христіанской почвѣ прекращается*—но именно только открытая борьба, съ полемическими рѣчами и статьями съ той и другой стороны; а впрочемъ оба направленія продолжаютъ существовать и тихо вербуютъ себѣ сторонниковъ среди представителей молодой христіанской литературы.

И надобно сознаться, что положеніе азіанизма было опять несравненно выгоднѣе. Не слѣдуетъ, при этомъ, смущаться выраженіями: «игривый стиль» и «пышный стиль», предложенными мною выше для обѣихъ манеръ этого направленія, считая первый несовмѣстимымъ со святостью, а второй—съ простотой и цѣломудріемъ евангельскихъ истинъ; термины эти имѣли въ виду только форму и могли уживаться со всякимъ содержаніемъ. Рѣшающимъ было и здѣсь то обстоятельство, что азіанизмъ былъ силенъ техникой, классицизмъ—образцами. Христіанство же могло разрѣшить своимъ адептамъ изученіе техники рѣчи — ея правила никакого отношенія къ той или другой религіи не имѣли, а примѣры можно было подобрать либо безразличные, либо даже христіанскіе; но могло ли оно такъ же благодушно отнестись къ чтенію языческихъ *образцовъ*, насквозь пропитанныхъ ненавистной «лживой мудростью»? Конечно, эти образцы читались,—надо же было откуда-нибудь почерпнуть образованіе,—и христіанскіе учители смотрѣли на это снисходительно; но отъ простого чтенія еще далеко до того любовнаго изученія, при которомъ человѣкъ усвоиваетъ сознательно стиль, а незамѣтно—и манеру мыслить своего образца. Отсюда слѣдуетъ, что азіанизмъ скорѣе могъ разсчитывать на снисхожденіе въ христіанской средѣ, чѣмъ классицизмъ. Этотъ ясный выводъ теоріи вполнѣ подтверждается практикой.

Что касается, прежде всего, греческой христіанской литературы, то надо сознаться, что крайнихъ азіанцевъ мы находимъ только среди еретиковъ; христіанство дѣйствовало смягчающе на форму изложенія и игриваго краснорѣчія не допускало. Азіанизмъ мы встрѣчаемъ только въ его умѣренномъ видѣ; но зато къ этому умѣренному азіанизму принадлежатъ всѣ болѣе или менѣе выдающіеся христіанскіе проповѣдники. Особенно характеренъ въ этомъ отношеніи IV-й вѣкъ, когда краснорѣчіе восточной церкви достигло своего апогея въ лицѣ знаменитаго тріумвирата: Григорія Богослова, Василія Великаго и Іоанна Златоуста. Оба первые имѣли учителемъ краснорѣчія крайняго азіанца Имерія, Іоаннъ—крайняго классициста Ливанія; тѣмъ не менѣе всѣ они значительно умѣрили манеру своихъ учителей. И въ легкомъ стилѣ Григорія, и въ пышномъ Василія замѣтно чувство такта, не дающее имъ переходить извѣстные предѣлы. Мы здѣсь вторично встрѣчаемся съ тѣмъ явленіемъ, которое уже выше обратило на себя наше вниманіе; какъ тамъ римская государственность, такъ здѣсь христіанская религіозность была тѣмъ ядромъ жизни, которое, сплочивая вокругъ себя разрѣженную подъ тропическимъ солнцемъ фантазіи атмосферу азіанскаго краснорѣчія, давало ему болѣе оформленности и силы. Таково же было и отношеніе Златоуста къ классицизму: жизнь не давала старательно полоть лексическій огородъ и смотрѣть за тѣмъ, чтобы въ немъ не водилось не-аттическихъ словъ и оборотовъ; она не давала подгонять непосредственно возникавшій аффектъ къ мѣркѣ Лисія или даже Демосѳена. Такъ-то стиль Златоуста, несмотря на противоположную точку исхода, не очень отличается отъ пышнаго стиля Василія; казалось, что въ лицѣ этихъ трехъ великихъ проповѣдниковъ христіанство хотѣло примирить между собою оба главныя направленія художественной прозы, столь долго враждовавшія между собой.

Этимъ миромъ мы и закончимъ обзоръ развитія греческой прозы. Конечно, оно на немъ не остановилось; но, въ силу той *восточной* точки зрѣнія, о которой рѣчь была выше, его дальнѣйшіе шаги не имѣли большого вліянія на другіе на-

роды. Византинизмъ—затонъ на великой рѣкѣ всеобщей словесности; можно пріятно отдыхать на дремлющей поверхности его водъ, подъ тихій шелестъ его камыша, но слѣдуетъ помнить, что пловцу тамъ пути нѣтъ; если вы жаждете жизни, движенія, силы, то вамъ нужно повернуть челнокъ и отдаться главному теченію рѣки; а оно выноситъ васъ, черезъ Римъ, на дѣвственные берега едва охристіанившагося Запада.

Въ Римѣ о заключеніи мира и рѣчи не было, но война и тутъ велась подъ землею. Азіанизмъ и тутъ въ началѣ торжествуетъ; Тертулліанъ весь поддается вліянію той его разновидности, которую мы называемъ африканской латынью, и его знаменитое „credo quia absurdum"—не что иное какъ «сентенція» въ духѣ азіанской риторики. Но онъ былъ не подражателемъ, а творцомъ; въ его лицѣ азіанизмъ вступилъ въ новый фазисъ: никогда еще легкость формы не была соединена съ такой страстностью содержанія. Онъ безпрестанно жонглируетъ, не хуже Апулея, но не мячиками, какъ тотъ, а мечами и факелами. Но великій Августинъ? Кто знаетъ технику и образцы, тотъ безъ труда съумѣетъ выдѣлить ихъ роль въ знаменитыхъ самобичеваніяхъ его «Исповѣди»—этихъ чисто азіанскихъ colores. Если этотъ послѣдній неудобо-объяснимый терминъ мало понятенъ, то мы попросимъ вникнуть въ слѣдующее мѣсто изъ одной его проповѣди, помня, что это—одно изъ очень многихъ (говорится о праведномъ и окаянномъ): „Этотъ бодрствуетъ, чтобы хвалить врача—освобожденный; тотъ бодрствуетъ, чтобы хулить судью—приговоренный; этотъ бодрствуетъ, умами [1]) благими трепеща и сіяя; тотъ бодрствуетъ, зубами своими скрежеща и изнывая; этому доброта, тому неправота, этому христіанская бодрость, тому бѣсовская подлость не даютъ въ многолюдіи заснуть". Таковы образцы азіанской прозы въ христіанской духовной литературѣ.

Классицизму служило главной помѣхой, какъ было сказано выше, требованіе старательнаго изученія образцовъ, безъ котораго онъ былъ невозможенъ; но разъ путь къ компромиссамъ былъ облегченъ признаніемъ допустимости художественной прозы вообще, то и это препятствіе долго устоять не могло. Конецъ III-го вѣка далъ христіанской литературѣ своего Цицерона въ лицѣ Лактанція, этого если не наиболѣе славнаго, то наиболѣе любимаго христіанскаго писателя, красота души котораго соперничала съ красотой его стиля. Къ сожалѣнію, онъ слишкомъ мало говоритъ о себѣ и лишаетъ насъ этимъ возможности судить о той душевной борьбѣ, которой ему стоило его пристрастіе къ своему языческому образцу; зато объ этой борьбѣ пространно говоритъ другой «цицероніанецъ» изъ отцовъ церкви, Іеронимъ. Самъ онъ разсказываетъ о ниспосланномъ ему въ назиданіе видѣніи, послѣ котораго онъ далъ—увы! неисполнимый для него—обѣтъ: никогда болѣе не читать ни Цицерона, ни другого представителя лживой языческой мудрости!

[1]) Въ подлинникѣ та же «катахреза» ради риѳмы: vigilat iste mentibus piis fervens et lucescens, vigilat ille dentibus suis frendens et tabescens.

Былъ ли этотъ классицизмъ дѣйствительно только книжнымъ, дѣланнымъ, безжизненнымъ? Уже оба только-что названныхъ писателя должны бы, кажется, убѣдить насъ въ противномъ; но пришло время, когда только этотъ стиль сталъ способнымъ выражать одинъ живой и жгучій аффектъ. Римъ палъ подъ натискомъ варваровъ, дикое племя готовъ завладѣло «святою» почвой Италіи; тогда и христіане изъ римлянъ стали со скорбью вспоминать о минувшемъ величіи развѣнчанной царицы міра, и естественнымъ выразителемъ этой скорби сталъ языкъ великой старины, языкъ архаистическій. Имъ писалъ Боэтій, приближенный и жертва Теодерика; его «Утѣшеніе» — послѣдній памятникъ художественной римской прозы, величавый и грустный, подобно древнимъ гробницамъ пустынной Аппіевой дороги.

VI.

Римъ палъ,—и на первый взглядъ представляется непонятнымъ, какъ его художественная проза могла пережить его паденіе. Насъ не удивляетъ ея переходъ изъ Греціи въ Римъ—общность религіи, культурная эллинизація римской интеллигенціи подготовили этотъ переходъ. Мы понимаемъ также ея обращеніе въ христіанство — общность расы и языка навели новыхъ христіанъ на компромиссы, сдѣлавшіе возможнымъ это

обращеніе. Но теперь предстояло *третье* испытаніе: носителями христіанства дѣлаются люди, никакимъ племеннымъ родствомъ не связанные съ тѣми, которые произвели и вырастили художественность рѣчи; чѣмъ могло быть для нихъ это чуждое имъ во всѣхъ отношеніяхъ дѣтище? Пусть Іеронимъ, Оригенъ и другіе стремятся къ художественной отдѣлкѣ своей рѣчи—на то они греки и римляне; но къ чему было Алкуину и Эгингарду слѣдовать ихъ примѣру?

Вотъ тутъ-то и слѣдуетъ подчеркнуть рѣшающее значеніе того, что̀ мы выше назвали западной точкой зрѣнія на способъ усвоенія чужой культуры; заимствуя у Рима христіанство, варварскій западъ заимствовалъ за-одно съ нимъ и латинскій языкъ. Папизмъ здѣсь ровно не причемъ: ирландскія и англійскія миссіи учениковъ Колумбана были независимы отъ епископальной власти Рима, и въ то же время—такія же латинскія, какъ и остальныя, даже болѣе. Правда, была сдѣлана попытка націонализировать христіанство: готы перевели писаніе на свой языкъ, но, къ счастью для Запада, эта попытка не удалась. Не будемъ разрушать величія культурно-историческихъ моментовъ мелочными и поверхностными мотивировками; лучше признать таинственность той инстинктивной силы, которыя указывала Западу единственный путь къ его будущей славѣ. Латинскій языкъ сдѣлался интернаціональнымъ, правильнѣе говоря—супра-національнымъ языкомъ христіанскаго Запада; этимъ самымъ христіанину былъ врученъ ключъ, который, современемъ, открылъ ему сокровищницу древняго образованія.

Первый шагъ былъ сдѣланъ,—но оттуда до усвоенія художественной прозы было еще далеко. Благодаря монастырямъ съ ихъ разнообразными обитателями, благодаря правовымъ и другимъ условіямъ, о которыхъ говорить здѣсь не мѣсто, латинскій языкъ сдѣлался настоящимъ живымъ языкомъ средневѣковой интеллигенціи, или тѣхъ, кто занималъ ея мѣсто; на немъ говорили такъ же бойко, какъ на родномъ. Что̀ же могло помѣшать этимъ людямъ писать такъ же, какъ они говорили? Очевидно, ничто и никто: Самъ папа Григорій Великій подалъ этому примѣръ. „Я нисколько не забочусь о томъ,—пишетъ онъ,—чтобы слѣдить за окончаніями падежей и соблюдать правила относительно предлоговъ; я считаю въ высшей степени недостойнымъ подчинять слова божественной рѣчи законамъ грамматика Доната“. Много вѣковъ спустя, на констанцскомъ соборѣ, императору Сигизмунду, попытавшемуся произвести своей императорской властью neutrum въ femininum (*haec* schisma), былъ данъ классическій отвѣтъ: „nec Caesar supra grammaticos“,—то было время зарождающагося гуманизма. Между обоими этими изреченіями лежатъ всѣ средніе вѣка, во время которыхъ беззаботный латинскій стиль жилъ и развивался, пока не достигъ наконецъ знаменитой схоластической латыни Дунса Скота и Ѳомы Аквинскаго. Честь и слава ей за все то, что̀ она сдѣлала для развитія средневѣковой мысли, но намъ этимъ заниматься не приходится. Художественности же въ ней не было никакой; не было даже и стремленія къ ней.

И все-таки художественность появилась, и ея появленіе было послѣдствіемъ, хотя и не прямымъ, прививки латинскаго языка христіанскому Западу. Слѣдующія условія содѣйствовали тому.

За послѣднее время существованія древне-римской интеллигенціи ея дѣятельность напоминаетъ поведеніе экипажа при кораблекрушеніи: стараются связать въ одинъ по возможности негромоздкій узелокъ все самое необходимое для перваго пропитанія. Къ этому самому необходимому принадлежали прежде всего предметы школьнаго преподаванія—извѣстныя съ давнихъ поръ семь «artes». Онѣ были языческаго происхожденія; неудивительно, поэтому, что среди нихъ, на ряду съ грамматикой, логикой, ариѳметикой, геометріей, астрономіей и музыкой, находилась и риторика. Христіанство противъ этой организаціи не протестовало, что̀, въ виду состоявшихся компромиссовъ, тоже особеннаго удивленія не возбуждаетъ. Такимъ образомъ, изученіе риторики, т.-е. техники художественной рѣчи, дѣлается обязательнымъ въ христіанскихъ школахъ и, со временемъ, въ христіанскихъ университетахъ Запада. Но кто же изучаетъ теорію, не чувствуя потребности примѣнять ее на практикѣ? Какова ни была грубость новыхъ адептовъ цивилизаціи, но постоянно внушаемое имъ убѣжденіе, что есть нѣкоторое достоинство въ томъ, чтобы слова слѣдовали

одно за другимъ именно въ такомъ порядкѣ, а не въ другомъ—не могло не ввести въ ихъ сознаніе новый факторъ — факторъ красоты прозаической рѣчи. Это тѣмъ болѣе естественно, что техника краснорѣчія была, какъ мы видѣли въ самомъ началѣ, лишь развитіемъ тѣхъ художественныхъ нормъ, которыя въ зачаточномъ видѣ существуютъ въ природной рѣчи каждаго народа.

Итакъ, интеллигенція Запада почувствовала потребность писать по-своему художественно; она называла это: dictare— интересное слово, давшее происхожденіе нѣмецкому «dichten». Конечно, еслибы теорія, которою тогда вдохновлялись, была раціональна, то это имъ, пожалуй, и удалось бы; но могла ли она быть раціональна? Такая задача и нашему времени оказалась непосильной; древняя же риторика—даже въ лучшихъ своихъ представителяхъ — требовала отъ учениковъ лингвистическаго чутья для контроля ея законовъ; подъ рукою же позднѣйшихъ компиляторовъ она потеряла послѣдніе остатки раціональности, и ее давали въ руки людямъ, для которыхъ латинскій языкъ былъ чуждымъ по природѣ. Нечего говорить, что она стала источникомъ самыхъ крупныхъ недоразумѣній. Возьмемъ для примѣра явленіе, называемое «гипербатомъ», т.-е. нарушеніе естественнаго порядка словъ въ предложеніи. Мы объясняемъ его столкновеніемъ логическаго принципа съ психологическимъ и ритмическимъ, и знаемъ предѣлы, въ которыхъ оно допускается; эти предѣлы, различные въ различныхъ языкахъ, служатъ намъ интересными данными для психологіи народовъ. Но никто, конечно, не станетъ требовать такого раціональнаго отношенія къ дѣлу отъ средневѣковой риторики,—она просто отвела «гипербату» мѣсто въ числѣ «троповъ»—какъ «украшенію» рѣчи. И вотъ монахи вообразили, что ихъ рѣчь будетъ тѣмъ красивѣе, чѣмъ болѣе они перепутаютъ порядокъ словъ; что получится особаго рода изящество, если принадлежащее къ главному предложенію слово перебросить въ придаточное, или наоборотъ: нѣкій британскій грамотей удивилъ свою братію открытіемъ, что прелесть настоящаго «гесперическаго», т.-е. латинскаго слога (famina hesperica) достигается въ томъ случаѣ, если глаголъ ставить посрединѣ и вокругъ него группировать остальныя части предложенія, старательно отдѣляя при этомъ опредѣленіе отъ опредѣляемаго, примѣрно такъ: „Лучезарное влажную лобзаетъ свѣтило землю; въ зеленой голосистыя славословятъ дубравѣ пернатыя“ и т. п. Другіе точно такъ же злоупотребляютъ риторическими риѳмами.

Таковы были средневѣковыя «dictamina». Ихъ авторы извлекали свои нелѣпыя теоріи слога, какъ мы видѣли, изъ своихъ учебниковъ риторики; но откуда же брали они свои вычурныя выраженія, о которыхъ мы постарались дать представленіе приведенными только-что образчиками? Тутъ казалось бы, нужны образцы. Да но за образцами ходить было недалеко, ими служили тѣ же «artes». Особенно популярна была въ средніе вѣка нынѣ забытая энциклопедія Марціана Капеллы, одного изъ упомянутыхъ въ началѣ этой главы спасителей культурнаго ручного багажа передъ кораблекрушеніемъ; она сплошь была написана той африканской латынью, которую мы знаемъ изъ Апулея. Результатъ интересный: выходитъ, что стиль средневѣковыхъ «dictamina»—прямое продолженіе древняго азіанизма; мы тѣмъ болѣе имѣемъ право такъ его назвать, что и онъ, подобно своему древнему родоначальнику, находился подъ ближайшимъ вліяніемъ теоріи.

Подобно ему, затѣмъ, и онъ не стоялъ на мѣстѣ, а развивался—или, по крайней мѣрѣ, измѣнялся. Не всѣ «диктаторы» были похожи на вышеуказанныхъ; были между ними и умѣренные. И вотъ въ ихъ-то манерѣ стали различать нѣсколько отдѣльныхъ «стилей». Такихъ стилей Данте насчитываетъ четыре; „первый,—говоритъ онъ,—стиль безвкусный, свойственный неучамъ, въ родѣ: «Петръ очень любитъ госпожу Берту»; второй—просто умственный (sapidus—затрудняюсь переводомъ), свойственный строгимъ схоларамъ и магистрамъ, въ родѣ: «я недоволенъ своими согражданами, но еще болѣе сожалѣю о тѣхъ, которые, изнывая въ изгнаніи, лишь во снѣ навѣщаютъ свою родину»; есть, затѣмъ, умственно-изящный стиль, свойственный людямъ, поверхностно ознакомившимся съ риторикой, въ родѣ: «достохвальная скромность графа д'Эсте и его всѣмъ доступная щедрость дѣлаютъ его предметомъ всеобщей любви»; есть, наконецъ, умственно-изящно-возвышенный, свойственный знаменитымъ «диктаторамъ», въ родѣ: «исторгнувъ столько

цвѣтовъ изъ твоего лона, Флоренція, поздній Тотила напрасно посѣтилъ Тринакрію». Этотъ стиль мы называемъ превосходнымъ; его ищемъ мы, когда стремимся къ наивысшему“... «Тотила»—древній король итальянскихъ готовъ; здѣсь иносказательно обозначается Карлъ Валуа; а Тринакрія — миѳологическое имя Сициліи. Необходимо знать исторію и миѳологію, если хочешь понимать красоты возвышеннаго стиля!

Вспоминая о древнемъ азіанизмѣ, мы безъ труда признаемъ въ изящномъ стилѣ Данте «игривую», а въ его возвышенномъ стилѣ—«пышную» манеру азіанскихъ риторовъ; но, какова бы ни была справедливость этого послѣдняго сближенія—фактъ тотъ, что, благодаря допущенію въ средневѣковое образованіе «artes» и ихъ учителей, средневѣковое человѣчество поняло художественность прозы.

Это, скажутъ, не художественность, а искусственность. Согласны,—но, во всякомъ случаѣ, эта искусственность могла подготовить почву для настоящей художественности. «Artes» были только первымъ изъ намѣченныхъ выше условій ея появленія; вторымъ были сохранившіеся *авторы* и ихъ изученіе. Но съ ними дѣло обстояло гораздо менѣе благополучно.

«Artes» въ средніе вѣка пользовались неизмѣннымъ покровительствомъ церкви; требовалось только, чтобы человѣкъ изучалъ ихъ не ради нихъ самихъ, а какъ орудіе къ лучшему пониманію богословія. Подъ этимъ условіемъ онѣ всѣ были допустимы, начиная съ грамматики; да и можно ли было сомнѣваться въ благонадежности грамматики? Сколько въ спряженіи лицъ?—три, столько же, сколько и въ св. Троицѣ,—и ужъ, конечно, не по какой-либо иной причинѣ. По какому склоненію склоняется homo?—по третьему; это значитъ, что человѣкъ долженъ склоняться, т.-е. смиряться трижды—передъ Богомъ, передъ ближнимъ и передъ самимъ собою. Таково было религіозно-нравственное значеніе законовъ Доната, но можно ли было сказать то же про авторовъ? Конечно, нѣтъ, если не считать Виргилія, предсказавшаго, будто бы, въ одной эклогѣ пришествіе Спасителя и описавшаго въ Энеидѣ иносказательно мытарства души на пути къ спасенію,—за что этотъ поэтъ едва не попалъ въ святые. Но Виргилій былъ поэтомъ, и потому насъ здѣсь не интересуетъ; остальные же auctores были въ загонѣ. Страшное видѣніе Іеронима, подвергшагося бичеванію за свой «цицероніанизмъ», было памятно всѣмъ и повторялось нерѣдко—при склонности средневѣкового аскетизма къ экзальтаціи, мы не имѣемъ причины сомнѣваться въ истинѣ того, что намъ объ этомъ говорится. И вотъ церковь, взявъ подъ свое покровительство «artes», отказываетъ въ немъ «авторамъ», объявляя ихъ излишними и даже вредными; мы часто читаемъ о запретахъ, налагаемыхъ на занятія въ языческихъ половинахъ монастырскихъ библіотекъ. И все-таки эти авторы дошли до насъ,—съ рѣдкими исключеніями, въ копіяхъ средневѣковыхъ монаховъ. Чѣмъ это объяснить?

Говоря правду — прочностью средневѣковой бумаги. Даже противники проклятыхъ «авторовъ» не были непремѣнно вандалами, которые стали бы намѣренно разрушать имѣющіяся въ монастыряхъ сокровища языческой литературы — ихъ просто оставляли въ покоѣ, давали имъ покрываться пылью и паутиной, — въ крайнемъ случаѣ, за недостаткомъ помѣщенія, бросали ихъ въ какой-нибудь смрадный и темный чуланъ. Тамъ они и лежали въ продолженіе одного, двухъ, трехъ поколѣній, пока монастырь не получалъ какого-нибудь болѣе просвѣщеннаго игумена. Тогда о нихъ вновь вспоминали; конечно, того, что было съѣдено крысами, вернуть нельзя было; зато остальное приводилось въ порядокъ, очищалось, переписывалось. Мало того, посылали за оригиналами въ другіе монастыри, — съ тѣмъ, разумѣется, чтобы, по взятіи копіи, вернуть ихъ по принадлежности... если требованія будутъ очень настойчивы. Такимъ образомъ, положительное отношеніе къ «авторамъ» приносило болѣе пользы, чѣмъ отрицательное—вреда; насъ же эти рѣдкіе покровители древней литературы интересуютъ тѣмъ болѣе, что они были въ то же время ревнителями новой художественности латинской прозы въ средніе вѣка—художественности, основанной на сознательномъ подражаніи древнимъ авторамъ. Ее мы, по самой природѣ вещей, можемъ назвать классицизмомъ; въ противоположность къ школьному краснорѣчію «диктаторовъ» и въ точномъ соотвѣтствіи съ древнимъ классицизмомъ, этотъ стиль зарождается въ библіотекахъ; своимъ возникновеніемъ онъ обязанъ книгѣ и ея усердному изученію.

Такъ-то въ средніе вѣка возобновляется старинная борьба между азіанизмомъ и классицизмомъ; она возникла изъ борьбы между «artes» и «auctores». Въ обстоятельной характеристикѣ классицизмъ не нуждается, такъ какъ онъ никакихъ новыхъ идеаловъ не создалъ; требовалось возможно-близкое воспроизведеніе стиля образцовыхъ писателей древности, и прежде всего — Цицерона, имя котораго не потеряло своего блеска и въ средніе вѣка, даже въ глазахъ тѣхъ, которые воображали, что Туллій и Цицеронъ — это два различныхъ автора. Такъ писали при Карлѣ Великомъ—Эгингардъ, при Карлѣ Лысомъ—Серватъ Лупъ, при первыхъ Капетингахъ—Гербертъ (онъ же и папа Сильвестръ II), въ эпоху схоластики—Іоаннъ Саресберійскій. При послѣднемъ борьба между «artes» и «auctores» велась самымъ ожесточеннымъ образомъ; твердыней первыхъ былъ Парижъ, твердыней вторыхъ—Шартръ. Нечего говорить, что при такомъ положеніи дѣлъ авторитетъ первыхъ былъ несравненно выше, и пренебреженіе, съ которымъ ихъ представители относились къ покровителямъ «авторовъ» и ревнителямъ чистой художественной рѣчи, внушило одному изъ учениковъ шартрской школы, только-что названному Іоанну, дѣйствительно краснорѣчивые стихи, о которыхъ мы желали бы дать посильное представленіе въ нижеслѣдующемъ переводѣ:

Если ты «авторовъ» любишь, охотно ихъ книги читаешь,
Съ тѣмъ, чтобъ изящества путь, слѣдуя имъ, обрѣсти, —
Крикъ подымается всюду: На что этотъ «древній оселъ» намъ?
Что онъ намъ древнихъ слова, древнихъ дѣянья твердитъ!
Мудры своимъ мы умомъ; молодежь научили мы нашу:
Догматы древнихъ твоихъ наша откинула рать.
. . . .
Бѣдный безумецъ! Зачѣмъ подгоняешь ты къ времени время,
Вяжешь падежъ съ падежомъ, числа подводишь къ числу?
Трудъ кропотливый тутъ нуженъ, и средствъ облегчить его нѣту;
День утекаетъ за днемъ, жизнь пропадаетъ твоя.
Можешь безъ лишнихъ усилій быть многимъ рѣчистѣе, другъ мой,
Тѣхъ, что подъ ветхій законъ выю покорную гнутъ:
Все, что взбредетъ на языкъ, говори и отважно, и гордо;
Эту теорію (ars) знай: дѣлаетъ хватомъ она.

Невесело было настроеніе у человѣка, писавшаго эти стихи, и дѣйствительно, могущество схоластиковъ было таково, что защитникамъ «авторовъ» ихъ дѣло должно было казаться заранѣе проиграннымъ. Все же шартрская школа стойко держала знамя художественности рѣчи въ XII вѣкѣ; въ XIII вѣкѣ оно переходитъ къ орлеанской школѣ. „Схоляры, — говорятъ намъ, — учатся семи «artes» въ Парижѣ; «авторамъ» — въ Орлеанѣ; законовѣдѣнію — въ Болоньѣ; врачеванію — въ Салерно; чернокнижію — въ Толедо; а добрымъ нравамъ — нигдѣ“. Но и тогда роль «авторовъ» была очень скромна, и Генрихъ д'Андели, одинъ изъ тогдашнихъ «труверовъ», изобразившій въ комическомъ стихотвореніи войну между парижскими «artes» и орлеанскими «авторами», кончаетъ ее побѣдой первыхъ. Самъ онъ, однако, сочувствуетъ вторымъ; „торжество тѣхъ «artes», — говоритъ онъ, — продлится еще лѣтъ тридцать; но когда вступитъ на арену новое поколѣніе, то нынѣшняя побѣдительница будетъ побѣждена“...

Пророчество это исполнилось, хотя и нѣсколько позже; въ эпоху Возрожденія борьба между «auctores» и «artes» возобновилась съ новой силой и кончилась полной побѣдой первыхъ, а съ ними и классицизма, т.-е. художественной прозы въ духѣ древнихъ. Само собою разумѣется, что не къ этому сводится важность Возрожденія; его дѣятели служили и многимъ другимъ, несравненно болѣе высокимъ цѣлямъ, часто сами того не сознавая; но наиболѣе сознательно, наиболѣе усердно преслѣдуемою цѣлью было у нихъ—*воскрешеніе древней художественной рѣчи*. Въ Италіи они легко побѣдили; болѣе серьезное сопротивленіе оказалъ сѣверъ. Въ Парижѣ, Кёльнѣ и другихъ университетахъ почтенные magistri nostri были возмущены подувшимъ съ юга вѣтромъ; „чего хотятъ они со своей новой латынью?“ — сердито говорили они, тщетно стараясь предать осмѣянію «grossa vocabula», — какъ они ихъ называли, — своихъ враговъ. Но осмѣянію подверглись они сами; безсмертныя «epistolae obscurorum virorum» схоронили подъ гнетомъ всеобщаго презрѣнія кёльнскихъ магистровъ и баккалавровъ съ ихъ схоластикой, кухонной латынью, dictamina — и всѣмъ прочимъ.

Какъ видно отсюда, побѣда классицизма въ эпоху Воз-

рожденія была двойная: и надъ варварскимъ азіанизмомъ упомянутыхъ „dictamina“, и надъ беззаботнымъ обиходнымъ языкомъ латинской схоластики. О первомъ жалѣть было нечего, — но второй?..

За побѣдой послѣдовалъ, какъ это было естественно, расколъ въ лагерѣ побѣдителей. Первые гуманисты стремились къ подражанію, — но не къ подражанію рабскому; любили прежде всего Цицерона, а затѣмъ и другихъ, стараясь брать прекрасное всюду, гдѣ оно было. Но вотъ возникаютъ фанатики пуризма, не допускающіе ни одного слова, ни одного оборота, котораго бы нельзя было узаконить ссылкою на Цицерона; подобно большинству фанатиковъ, это были посредственности, старавшіяся возмѣстить недостатокъ таланта строгостью подчиненія «регулѣ». Называли они себя «цицероніанцами», не понимая того, что ихъ кумиръ первый отвергъ бы ихъ не по разуму усердную службу; это *они* называли соколовъ орлами, на томъ основаніи, что слово falco случайно у Цицерона не встрѣчается, и приглашали верховнаго жреца, т.-е. папу, уповать на помощь безсмертныхъ боговъ, намѣстникомъ которыхъ онъ состоитъ на землѣ. Разумные люди не раздѣляли ихъ увлеченія, и глава сѣвернаго гуманизма, Эразмъ, осмѣялъ ихъ въ своемъ бойкомъ и ѣдкомъ діалогѣ «Ciceronianus». Такъ-то мы уже въ сравнительно раннее время встрѣчаемъ умѣренныхъ и крайнихъ классицистовъ. Но умы были возбуждены, и этимъ дѣло не кончилось. Ужъ если подражать, то почему непремѣнно Цицерону? Чѣмъ плохъ былъ Сенека, мастеръ и глубокой, и хлёсткой «сентенціи»? И онъ находитъ себѣ почитателей, къ которымъ принадлежалъ, между прочимъ, знаменитый Липсій; другими словами азіанизмъ, недавно лишь похороненный въ лицѣ средневѣковыхъ «диктаторовъ», вновь водворяется на расчищенной почвѣ классической рѣчи. Но и этого было мало; колесо, разъ приведенное въ движеніе, не могло остановиться на Сенекѣ. Вотъ — Апулей съ его африканской латынью; почему бы не писать какъ онъ? Появляются апулеянцы, одинаково ненавистные обѣимъ партіямъ, и классицистамъ, которымъ они рѣзали уши, и азіанцамъ, которыхъ они компрометтировали. На бѣду, главное сочиненіе Апулея носило заглавіе: «Оселъ»; можно себѣ

представить остроты, которыя посыпались на его поклонниковъ. Теперь комплектъ былъ полнымъ; мы имѣемъ крайнихъ классицистовъ, умѣренныхъ классицистовъ, умѣренныхъ азіанцевъ, крайнихъ азіанцевъ; могла быть дана генеральная битва. И она была дана. Съ одной стороны, предавалась анаѳемѣ «ересь цицероніанцевъ»; съ другой стороны — осмѣивались люди, которымъ пріятнѣе было «ревѣть» съ Апулеемъ, чѣмъ говорить съ Цицерономъ. Все болѣе и болѣе разгорался бой; онъ перешелъ изъ XVI вѣка въ XVII-й и все еще не обѣщалъ конца; но воюющіе не замѣтили въ пылу сраженія, что они мало-по-малу оставили землю и поднялись въ поднебесное пространство, между тѣмъ какъ землю, изъ-за которой они сражались, мирно подѣлили между собою ихъ общіе враги — природные языки новыхъ европейскихъ народовъ.

И вотъ какъ это случилось.

VII.

Антагонизмъ между латинскимъ языкомъ и новыми языками начинается въ одно и то же время, какъ и самый гуманизмъ; мы встрѣчаемъ его уже у Петрарки. Съ точки зрѣнія гуманистовъ, германскіе языки были варварскими, романскіе — искаженной латынью. Въ средніе вѣка отношенія были лучше; внимательный изслѣдователь безъ труда убѣдится, что условіемъ такихъ хорошихъ отношеній было явленіе, называемое въ физикѣ «осмозомъ» — взаимный обмѣнъ матеріаловъ. То же самое мы видимъ и въ политической жизни народовъ: сосѣднія государства живутъ въ мирѣ между собой, пока ввозъ и вывозъ продуктовъ происходитъ взаимно на равныхъ условіяхъ; но отношенія тотчасъ обостряются, если одно изъ нихъ вздумаетъ воспрепятствовать ввозу продуктовъ своего сосѣда.

Въ средніе вѣка, повторяю, осмозъ былъ обоюднымъ; чтобы понять это и вмѣстѣ съ тѣмъ оцѣнить всю пользу, которую извлекали новые языки изъ своего, такъ сказать, сожительства съ латинскимъ, слѣдуетъ представить себѣ особенность «продуктовъ» той и другой области. Особенностью

новыхъ языковъ была вѣрная и мѣткая передача самыхъ разнообразныхъ объектовъ *внѣшнихъ ощущеній*; только на новыхъ языкахъ можно было дать имена отдѣльнымъ предметамъ домашней утвари, составнымъ частямъ лошадиной сбруи, корабельнымъ снастямъ и т. д. Конечно, у древнихъ римлянъ эти предметы, поскольку они не были изобрѣтеніями новыхъ народовъ, тоже имѣли свои названія; но, во-первыхъ, эта категорія изобрѣтеній была довольно значительна и съ каждымъ столѣтіемъ дѣлалась значительнѣе; во-вторыхъ, извлеченіе древне-римскихъ названій требовало особаго филологическаго труда; а въ-третьихъ, оно часто было совершенно безполезно: что̀ пользы въ томъ, что мы изъ Горація, Ювенала, Марціала можемъ составить довольно полный списокъ словъ, передающихъ различныя разновидности общаго понятія сло́ва: «чаша», когда мы не знаемъ, какая разновидность какимъ словомъ обозначается? Поступали, поэтому, проще — брали требуемое слово прямо изъ новаго языка; надо было явиться гуманизму и Рабле́ для того, чтобы „reddite nobis clochas nostras“ показалось смѣшнымъ. Это проникновеніе новыхъ словъ въ латинскій языкъ создало то, что̀ позднѣе стали называть «кухонною латынью».—Гораздо серьезнѣе выгода, полученная новыми языками благодаря ввозу съ латинскаго. Въ противоположность къ послѣднему, новые языки были почти лишены *интеллектуалистическихъ* элементовъ; не было или почти не было словъ для выраженія объектовъ внутренняго познаванія, равно какъ не было средствъ для передачи отвлеченныхъ отношеній между наблюдаемыми — хотя бы и внѣшними чувствами—явленіями. Новые языки — первоначально языки видимости; человѣкъ какъ бы видитъ то, что̀ онъ говоритъ о предметахъ, и говоритъ о нихъ такъ, какъ онъ видитъ, выражая только послѣдовательность, но не связь. Отсюда крайняя бѣдность временъ, почти полное отсутствіе наклоненій, отчаянная скудость союзовъ: во всемъ этомъ варваръ по складу своего ума не нуждался. Но вотъ варвара стали учить по-латыни: весь внутренній міръ, не существовавшій для него до тѣхъ поръ, открылся ему. Мало-по-малу онъ съ нимъ освоился и уже обойтись безъ него не могъ. И вотъ онъ исподволь сталъ приспособлять и

свою родную рѣчь къ выраженію этого внутренняго міра, то заимствуя латинскія слова, то развивая и измѣняя, по аналогіи латинскихъ словъ, формы или значенія родныхъ, то стараясь подражать въ родной рѣчи оборотамъ латинской. Такъ-то латинскій языкъ, благодаря богатству своего *интеллектуалистическаго* фактора, сдѣлался не только необходимымъ дополненіемъ къ преимущественно сенсуалистическимъ новымъ языкамъ, но и ихъ учителемъ; школа была продолжительна и серьезна, но зато и въ высшей степени плодотворна: къ концу средневѣковаго періода новые языки были уже *почти* культурными языками, и въ такомъ качествѣ *почти* уже могли замѣнить латинскій языкъ во всѣхъ его отправленіяхъ.

Такова была цивилизаторская миссія латинскаго языка на Западѣ; правильность «западной» точки зрѣнія на способъ усвоенія чужой культуры была блистательно подтверждена.

Дважды употребленнымъ только-что словомъ «почти» я имѣлъ въ виду количественные недочеты новыхъ языковъ въ сравненіи съ латинскимъ, восполнимые съ теченіемъ времени и теперь давно уже восполненные; но кромѣ нихъ слѣдуетъ указать на два принципіальныхъ ихъ недостатка. Во-первыхъ, они были понятны каждый лишь у себя дома, между тѣмъ какъ латинскій языкъ былъ интернаціональнымъ; во-вторыхъ, *они не знали художественной прозы*. Это второе обстоятельство — единственное, которое интересуетъ насъ здѣсь.

Художественной прозы новые языки знать не могли, потому, что ея не зналъ и тотъ латинскій языкъ, подъ вліяніемъ котораго они находились; а была это, какъ мы видѣли въ прошлой главѣ, латынь *схоластическая*. Отъ красотъ «dictamina» хорошаго воздѣйствія нельзя было и требовать; представителей же дѣйствительно художественной, классической латыни было слишкомъ мало. Нужно было, чтобы западный міръ сначала на латинскомъ языкѣ почувствовалъ всю красоту художественной прозы, а затѣмъ перенесъ ее на чуждую ей первоначально почву новыхъ языковъ; вторично латинскій языкъ сдѣлался учителемъ этихъ послѣднихъ, и это второе

ученіе было такъ же плодотворно, какъ и первое. Съ этой точки зрѣнія, и борьба за превосходство того или другого стиля въ латинской рѣчи теряетъ свой характеръ мелочности и получаетъ особое историческое значеніе: латинскій языкъ былъ въ этомъ случаѣ лишь матеріей для опытовъ, результаты которыхъ должны были имѣть рѣшающее значеніе для всей художественной прозы вообще.

Уже Боккаччіо писалъ свои безсмертныя новеллы съ явнымъ стремленіемъ воспроизвести на итальянскомъ языкѣ роскошную періодизацію Цицерона. Нельзя сказать, чтобы это ему вполнѣ удалось, и многимъ, безъ сомнѣнія, безъискусственный и безпритязательный стиль его предшественниковъ покажется болѣе пріятнымъ; тѣмъ не менѣе, итальянцы считаютъ справедливо именно Боккаччіо основателемъ своей художественной прозы—хотя онъ увлекся и перешелъ мѣру; дѣломъ его послѣдователей было къ этой мѣрѣ вернуться. Къ тому же, онъ былъ только предвѣстникомъ; латинская художественная проза была возсоздана лишь въ XV-мъ вѣкѣ, а между тѣмъ ясно, что сначала она должна была окрѣпнуть и развернуться, а затѣмъ уже передать свою красоту идущимъ по ея стопамъ новымъ языкамъ. Случилось это въ XVI-мъ вѣкѣ; да и тутъ новые языки еще сильно отстаютъ. Какъ хороши, съ точки зрѣнія стиля, латинскія сочиненія Гуттена, и какъ неудобочитаемы его же произведенія, написанныя по-нѣмецки! Послѣднія, положимъ, болѣе прославляются въ настоящее время патріотами изъ его эпигоновъ—ихъ счастье, что ихъ самихъ не заставляютъ ихъ читать.

Подражаніе было тутъ вполнѣ сознательнымъ. Гуманисты не особенно рекомендовали употребленіе новыхъ языковъ, но все же иногда его допускали и только совѣтовали развивать ихъ по образцу латинскаго; такъ, одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ дѣятелей XVI-го вѣка, испанецъ Вивесъ, требуетъ, чтобы ученики особенно старательно знакомились съ латинскимъ языкомъ, „какъ для того",—говоритъ онъ,—„чтобы хорошенько понимать его и черезъ него всю науку, такъ и для того, чтобы, пользуясь имъ, очищать и обогащать свою родную рѣчь, точно отведенной отъ источника водой". Одновременно съ нимъ французъ дю-Белле́, стоявшій вообще на противоположной точкѣ зрѣнія, — предлагая отдать предпочтеніе французскому языку передъ латинскимъ — требуетъ, однако, чтобы писатели обогащали этотъ языкъ путемъ подражанія древнимъ авторамъ. То же требованіе выставилъ къ концу вѣка и знаменитый законодатель французскаго стиля, предвѣстникъ французскаго классицизма, Ронсаръ.

Такимъ образомъ, вліяніе латинской художественной прозы на художественную прозу новыхъ языковъ не только было фактомъ, но и признавалось законнымъ; въ виду этого, вопросъ о томъ, кому будетъ присуждена побѣда въ борьбѣ за цицероніанизмъ, былъ довольно существеннымъ. Кто заглядывалъ въ произведенія тогдашнихъ цицероніанцевъ и ихъ противниковъ, тотъ знаетъ, сколько тѣми и другими было въ ней обнаружено стилистическаго чутья; безспорно, эти люди могли многому научить своихъ современниковъ. Самымъ благодарнымъ для ученія возрастомъ былъ возрастъ школьный, поэтому намъ небезъинтересно знать, за которой изъ враждующихъ партій осталась побѣда въ школахъ, а именно, — такъ какъ художественную прозу на новыхъ языкахъ создала романская Европа,—въ школахъ католическихъ, т.-е. іезуитскихъ. Педагогика іезуитовъ намъ теперь извѣстна въ точности; мы знаемъ, что въ ихъ школахъ процвѣталъ цицероніанизмъ. „Мы желаемъ,—читаемъ мы въ «Memoriale» іезуита Ѳ. Бузея (1609 г.), чтобы занимающіеся наукой, и учителя, и ученики, держались въ богословіи св. Ѳомы, въ философіи—Аристотеля, а въ humaniora слѣдовали и подражали Цицерону". Такъ-то Цицеронъ, создавшій художественную прозу въ древнемъ Римѣ, создалъ ее вторично для языковъ новой Европы: прозаическая литература романскихъ языковъ чѣмъ дальше, тѣмъ больше подчиняется его вліянію. Особенно замѣтно это на писателѣ, котораго можно считать завершителемъ классической прозы французовъ, Бальзакѣ Старшемъ (первой пол. XVII вѣка); онъ и въ теоріи былъ цицероніанцемъ — болѣе позднихъ авторовъ онъ сравнивалъ съ Икаромъ и Фаэтонтомъ— и на практикѣ съумѣлъ болѣе, чѣмъ кто-нибудь до него, воспроизвести во французской рѣчи величавость и грацію цицероновскихъ періодовъ.

Но цицероніанизмъ, т.-е., согласно сказанному выше,

классицизмъ,—не былъ единственнымъ теченіемъ въ художественной прозѣ новѣйшихъ народовъ, какъ онъ не былъ единственнымъ теченіемъ въ художественной прозѣ современнаго имъ латинскаго языка. Мы видѣли, какую роль игралъ въ этой послѣдней азіанизмъ, какъ въ его крайнихъ, такъ и въ его умѣренныхъ представителяхъ; если принять во вниманіе плѣнительность, свойственную ему именно въ глазахъ молодого общества, то его отсутствіе въ Европѣ XVI-го и XVII-го вѣковъ покажется a priori невѣроятнымъ. Къ счастью, онъ существовалъ, и его наличность еще разъ подтверждаетъ и безъ того уже несомнѣнный фактъ, что художественная проза новыхъ народовъ образовалась подъ непосредственнымъ вліяніемъ художественной прозы гуманистической латыни.

«Антитеза» была первымъ конькомъ азіанскаго краснорѣчія: вторымъ—была позднѣе развившаяся «сентенція». Само собою разумѣется, что азіанскій характеръ сказывается только въ злоупотребленіи той и другой; совсѣмъ безъ нихъ не обходится ни одинъ художественный стиль, какъ не обходится безъ нихъ и первообразъ художественной рѣчи, языкъ естественный, народный. И то, и другое злоупотребленіе мы встрѣчаемъ въ художественной прозѣ тогдашней Европы, притомъ не злоупотребленіе случайное, безсознательное и невольное, а систематическое, сознательное и намѣренное, возведенное въ норму и давшее опредѣленную окраску стилю: построенный на «сентенціи» стиль назывался «драгоцѣннымъ стилемъ» (style précieux), а построенный на «антитезѣ»—извѣстенъ подъ именемъ «юфуизма» (euphuism).

О «драгоцѣнномъ» стилѣ у насъ теперь опять стало возможнымъ говорить, не рискуя остаться непонятымъ: послѣдній французскій поэтъ, Ростанъ, снова его сдѣлалъ популярнымъ во Франціи и, по крайней мѣрѣ, извѣстнымъ у насъ. На вопросъ, что такое «драгоцѣнный» стиль, можно дать краткій отвѣтъ: это — Сирано де-Бержеракъ. Мы затруднились выше русскимъ переводомъ слова sententia; по-французски переводъ возможенъ самый точный и выразительный: сентенція, это—pointe. «Драгоцѣнный» стиль весь построенъ на немъ; ошеломите своего слушателя фейерверкомъ непрерывныхъ pointes, какъ это дѣлаетъ Сирано, говоря о своемъ носѣ, — это будетъ стиль phébus; прибавьте къ нимъ паѳоса и сентиментализма, какъ это дѣлаетъ Сирано, объясняясь въ любви,— вы получите style alambiqué; затемните ихъ совершенно намеками на самые разнородные предметы такъ, чтобы каждое слово требовало комментарія, и въ то же время нагромождайте ихъ такъ, чтобы слушатель не имѣлъ времени подумать и не вынесъ изъ вашей рѣчи ровно ничего, кромѣ безграничнаго благоговѣнія предъ вашей эрудиціей и вашимъ esprit — чего Сирано, впрочемъ, не дѣлаетъ,—и вы будете владѣть самымъ возвышеннымъ изъ «драгоцѣнныхъ» стилей—style galimatias.

Теперь всѣ эти разновидности «драгоцѣннаго» стиля, кромѣ послѣдней, стяжавшей себѣ печальное безсмертіе, давно забыты; но въ свое время онѣ надѣлали много шуму. Въ Испаніи, главнымъ представителемъ «style précieux» былъ Гонгора, давшій ему имя «гонгоризмъ»; въ Италіи его пропагандировалъ Вирджиліо Мальвецци; въ Англіи онъ вызвалъ полемику Роджера Ашама и Филиппа Сиднэ; въ Германіи имъ прониклась вся т.-наз. вторая силезійская школа. Но откуда же онъ взялся? Тогдашніе теоретики знали это отлично: въ діалогѣ Бонура: «La manière de bien penser dans les ouvrages d'esprit» (1649), поклонникъ «драгоцѣннаго» стиля открыто называетъ свои образцы: это—Веллей, Сенека, Тацитъ, представители, какъ мы видѣли выше, азіанизма въ римской словесности. Недаромъ въ одномъ изъ произведеній новаго стиля самъ Сенека выставленъ его первообразомъ: передъ своей смертью римскій философъ обращается къ своему кинжалу съ такими pensées alambiquées, что мы проникаемся живѣйшей симпатіей къ Нерону. А когда Бальзакъ за свой цицероніанизмъ подвергся нападеніямъ современныхъ ему précieux, то защитникъ Бальзака, Ожье, ставя имъ въ вину ихъ «fausses subtilités», или «sottises étudiées», извиняетъ ихъ до нѣкоторой степени тѣмъ—„qu'en cela ils ont imité les Anciens", а именно, какъ онъ прибавляетъ ниже (называя, конечно, только косвенные образцы), Горгія, Каллисѳена, Клитарха, Гегесія, т.-е. азіанцевъ и ихъ родоначальника. Такова была борьба между архаизмомъ и азіанизмомъ на почвѣ новыхъ языковъ.

Впрочемъ, «драгоцѣнный» стиль былъ только одной отраслью новѣйшаго азіанизма; другой былъ, какъ было сказано выше, «юфуизмъ». Своимъ названіемъ онъ обязанъ, какъ извѣстно, появившемуся въ 1579 г. роману Джона Лили подъ заглавіемъ: «Euphues, the anatomy of wit»; стиль этого романа весь построенъ на антитезѣ, но антитезѣ чисто внѣшней, формальной, подчеркнутой созвучіемъ соотвѣтствующихъ другъ другу словъ, какъ въ вышеприведенныхъ примѣрахъ изъ Горгія, Апулея и Августина. Вотъ образчики: „Господа, если я могъ быть заподозрѣнъ вами въ недомысліи, выслушивая ваши разсказы, то теперь я могу быть уличенъ вами въ легкомысліи, отвѣчая на такой вздоръ; конечно, насколько вы заставили краснѣть мои уши исторіей вашей любви, настолько вы ожесточили мое сердце воспоминаніемъ о вашемъ безразсудствѣ". Этотъ стиль, пріобрѣвшій всемірное значеніе своимъ вліяніемъ на Шекспира, не былъ оригинальнымъ открытіемъ Лили: онъ заимствовалъ его у испанца Гевары, автора знаменитаго въ тѣ времена романа о Маркѣ Авреліи; Гевара въ свою очередь почерпнулъ свою страсть къ антитезамъ у Исократа; нѣкоторыя рѣчи послѣдняго какъ разъ въ это время, шесть лѣтъ до появленія только-что упомянутаго романа, были Вивесомъ переведены по-испански. Это родство между Геварой и Исократомъ, замѣченное еще современникомъ Лили, Джорджемъ Петтенгэмомъ, ещё разъ уполномочиваетъ насъ отнести и юфуизмъ, наравнѣ съ драгоцѣннымъ стилемъ, къ возрожденному въ новой Европѣ азіанизму.

Только теперь мы въ состояніи вполнѣ оцѣнить значеніе литературной борьбы, кипѣвшей въ западной Европѣ въ продолженіе XVI и XVII вѣковъ. Усиліями гуманистовъ латинской прозѣ возвращается художественность, которая ей была свойственна въ древнія времена—и тотчасъ на почвѣ художественной латинской рѣчи возобновляется борьба между классическимъ стилемъ—съ одной и азіанскимъ—съ другой стороны. Но новые языки, привыкшіе орошать свою ниву неисчерпаемымъ родникомъ латинской рѣчи, вскорѣ и сами явились на арену; имъ нужно было только добыть себѣ дворянскую грамоту, т.-е. художественность, для того, чтобы принять участіе въ турнирѣ. И въ ихъ рядахъ мы находимъ классицистовъ и

азіанцевъ; и нужно ли доказывать, что эта борьба все еще не прекращается? Отпадаютъ лишь крайности, но классицизмъ, какъ классицизмъ, продолжаетъ жить, и азіанизмъ подъ различными масками — сентиментализма, романтизма, неоромантизма, модернизма—постоянно воскресаетъ и собираетъ вокругъ себя своихъ поклонниковъ. И нѣтъ причины желать, чтобъ эта борьба прекратилась: классицизмъ и азіанизмъ по природѣ своей вѣчны, какъ вѣчны оба источника всякой художественной прозы: разумъ и фантазія.

Зато вторая борьба, повидимому, кончилась; это — борьба между латинской художественной прозой и художественной прозой новыхъ языковъ за преобладаніе въ литературѣ. Стараніемъ гуманистовъ — латинскому языку была возвращена его художественность; зато была принесена въ жертву обоюдность осмоза между нимъ и новыми языками; было устранено все то, что латинскій языкъ принялъ въ себя въ теченіе всего средневѣковаго періода, и что сдѣлало его способнымъ выражать мысли современныхъ людей. Это — разъ. Во вторыхъ, новая латынь гуманистовъ была гораздо труднѣе схоластической, именно потому, что была художественной; если прежняя была желѣзомъ, ковать которое могъ любой кузнецъ, то новая была золотомъ, обращаться съ которымъ могъ только ювелиръ. Вступало въ силу возраженіе парижскаго артиста противъ классической латыни:

Трудъ кропотливый тутъ нуженъ, и средствъ облегчить его нѣту:
День утекаетъ за днемъ, жизнь пропадаетъ твоя.

Положимъ, средства облегчить этотъ трудъ были возможны, и сами гуманисты позаботились о томъ, чтобы ихъ добыть,—куда легче и пріятнѣе было учиться латинскому языку по colloquia Эразма, чѣмъ по чудовищному доктриналу Александра de Villa Dei, — но интеллигенція не хотѣла ждать. Такимъ образомъ, гуманизмъ, возвращая латинской прозѣ ея художественность, противъ своей воли содѣйствовалъ ея паденію: съ одной стороны, онъ сдѣлалъ ее самоё и непрактичнѣе, и труднѣе; съ другой стороны, онъ ту же художественность доставилъ и новымъ языкамъ, которые, почувствовавъ свою красоту, потребовали для себя первенствующей и вскорѣ исключительной роли въ литературной жизни.

Этому принято радоваться; оно и понятно. Каждый человѣкъ принадлежитъ къ какому-нибудь народу и по одному этому съ удовольствіемъ привѣтствуетъ возвышеніе національной прозы; а оно обусловливалось паденіемъ латинской прозы, мѣсто которой національная и заняла. Не слѣдуетъ, однако, забывать и о жертвахъ, которыми было искуплено это возвышеніе. Былъ утерянъ, прежде всего, международный языкъ, а съ нимъ не только неоцѣнимое орудіе для научныхъ, дипломатическихъ, судебныхъ и торговыхъ сношеній,—даже и торговыхъ: не забудемъ, что и двойная бухгалтерія, по мнѣнію Нибура, была извѣстна римлянамъ, — но и живой символъ международнаго мира. А затѣмъ,—съ національзаціей литературы и науки, европейскіе народы вступили въ тотъ фазисъ своего развитія, которому въ экономической ихъ жизни соотвѣтствуетъ капитализмъ. Эразмъ былъ голландецъ, Рейхлинъ—нѣмецъ; пока они оба писали по-латыни, ихъ сочиненія находили себѣ одинаковый сбытъ во всей цивилизованной Европѣ. Но заставьте каждаго писать на своемъ національномъ языкѣ—и публика перваго уменьшится болѣе чѣмъ вдесятеро противъ публики второго, а публика — это капиталъ писателя. Допустите національзацію литературы и науки—и Рейхлинъ окажется въ такихъ же точно условіяхъ по отношенію къ Эразму, въ какихъ находится заводчикъ по отношенію къ ремесленнику. А національзація школы и вызванная ею борьба, въ которой всѣ удары сыплются на безвинныя головы мальчиковъ и дѣвочекъ! сочтены ли слезы, которыхъ она стоила уже теперь? опредѣлено ли психологами, какой ядъ гибельнѣе для дѣтскихъ душъ: ожесточеніе ли побѣжденныхъ, или злорадство побѣдителей?

Національзмъ и капитализмъ—одинаково необходимые факторы нашей культуры въ настоящемъ фазисѣ ея развитія; насколько они необходимы и въ будущемъ—рѣшитъ потомство. Нашъ очеркъ — историческій; а чѣмъ ближе человѣкъ знакомится съ исторіей, тѣмъ болѣе онъ дѣлается склоннымъ ограничивать область безапелляціонныхъ ея приговоровъ.

Уголовный процессъ XX вѣковъ назадъ.

(1901).

Современный глава нѣмецкаго матерьялизма, Эрнстъ Гекель, въ своихъ надѣлавшихъ столько шума «Міровыхъ загадкахъ», самодовольно озираясь на головокружительный прогрессъ естественныхъ наукъ за истекшее столѣтіе, съ пренебреженіемъ отзывается о настоящемъ положеніи другихъ наукъ и спеціально юриспруденціи, обвиняя ихъ въ отсталости и неспособности считаться съ требованіями времени. Мнѣ неизвѣстно, какъ отнеслись къ этому упреку своего соотечественника нѣмецкіе юристы; но какъ человѣкъ, не впервые интересующійся юридическими вопросами, я могу себѣ представить причину того въ чемъ извѣстный біологъ усмотрѣлъ признаки отсталости, и надѣюсь, что мое объясненіе окажется не очень далекимъ отъ истины. Естественныя науки, не исключая и антропологіи, имѣютъ своею цѣлью обнаруженіе правды, находящейся внѣ насъ; вотъ почему ихъ начала такъ скромны и ихъ прогрессъ, при наличности научнаго интереса, такъ ошеломительно быстръ. Юриспруденція, напротивъ, видитъ свою задачу въ обнаруженіи и осуществленіи той правды, которая живетъ *въ насъ самихъ*, будучи результатомъ совокупности культурныхъ условій, въ которыхъ мы находимся; вотъ почему, съ одной стороны, общество съ самыми дикими представленіями о внѣшнемъ мірѣ и о физическомъ организмѣ человѣка—можетъ въ то же время имѣть очень правильныя воззрѣнія на

житейскую правду и на способы ея осуществленія; вотъ, съ другой стороны, почему и прогрессъ въ области права, имѣющій своимъ условіемъ общекультурный прогрессъ, не можетъ не быть медленнымъ и постепеннымъ.

Эта органическая связь юриспруденціи (въ широкомъ смыслѣ слова) съ умственной культурой общества, въ которомъ она живетъ и дѣйствуетъ, несомнѣнно составляетъ ея наиболѣе выгодную, наиболѣе привлекательную для молодыхъ талантовъ сторону; но, сверхъ того, она же придаетъ и особый интересъ изученію правовыхъ институтовъ отдаленныхъ эпохъ, и преимущественно тѣхъ, которыя оказали болѣе или менѣе значительное вліяніе на нашу культуру. Исключительное положеніе, съ этой точки зрѣнія, римскаго права признано юриспруденціей и въ теоріи и на практикѣ; и если представленіе о непосредственно *нормативномъ* характерѣ этого права, существовавшее нѣкогда, уже утратило свое обаяніе, то его историческая важность, за то, чѣмъ далѣе тѣмъ болѣе сознается. Эта историческая важность остается и за тою его областью, которая, по внутреннимъ и внѣшнимъ условіямъ, лишь въ слабой мѣрѣ была окружаема ореоломъ нормативности: за римскимъ *уголовнымъ* правомъ и процессомъ.

Его систематическое изложеніе дали многіе, и лучше всѣхъ Моммзенъ въ своемъ недавно появившемся капитальномъ руководствѣ (Römisches Strafrecht 1899); моя задача здѣсь другая. Мнѣ хотѣлось бы,—вмѣсто того, чтобы описывать по частямъ римскую (если можно такъ выразиться) уголовно-судебную машину — изобразить ея *дѣйствіе* на одномъ конкретномъ, по возможности полномъ примѣрѣ. Въ такихъ примѣрахъ недостатка нѣтъ: начиная съ легендарнаго процесса сестроубійцы Горація, римская литература изобилуетъ болѣе или менѣе подробными описаніями уголовныхъ дѣлъ; но только-что подчеркнутое стремленіе къ полнотѣ заставило меня ограничить поле выбора тѣми случаями, для которыхъ сохранена подлинная судебная рѣчь по крайней мѣрѣ одной изъ сторонъ—т.-е. тѣми, въ которыхъ ораторомъ выступалъ Цицеронъ. Такихъ не мало — всего, включая экстраординарное дѣло Катилинарцевъ, 19; но для нашей цѣли требовалось дѣло, по своему существу представляющее наиболѣе сходства съ тѣми, которыя и у насъ

разбираются передъ судьями-присяжными, и въ то же время ни по характеру преступленія, ни по характеру замѣшанныхъ въ немъ лицъ не заставляющее отступать на задній планъ *юридическій* интересъ передъ интересомъ *политическимъ*. При такихъ условіяхъ выборъ не могъ быть сомнительнымъ: изо всѣхъ дѣлъ Цицерона только одно имъ отвѣчало, но зато отвѣчало какъ нельзя лучше: это—дѣло римскаго всадника *Клуенція, обвинявшагося въ 66 г. до Р. Х. въ томъ, что онъ въ 74 г., подкупивъ голоса присяжныхъ, добился осужденія уголовнымъ судомъ своего вотчима Оппіаника, а затѣмъ и отравилъ его*. Правда, политическій элементъ не вполнѣ отсутствуетъ и въ этомъ дѣлѣ—по характеру той бурной эпохи, когда сами суды были предметомъ политической агитаціи, онъ не могъ вполнѣ отсутствовать ни въ одномъ мало-мальски интересномъ дѣлѣ. Но зато онъ игралъ въ немъ довольно скромную роль; а съ другой стороны наше дѣло показываетъ намъ весь аппаратъ уголовно-судебной обстановки въ такой полнотѣ, какой мы нигдѣ въ другомъ мѣстѣ не встрѣчаемъ. Тутъ самыя разнообразныя категоріи уголовныхъ судовъ, начиная съ домашняго суда надъ провинившимися рабами — продолжая тріумвиральнымъ надъ пойманными съ поличнымъ и сознавшимися преступниками,—далѣе, судомъ присяжныхъ при различныхъ формахъ сословнаго представительства, притомъ прямымъ и косвеннымъ (объ этомъ странномъ терминѣ потомъ), — далѣе, цензорскимъ квазисудомъ, столь характернымъ для Рима, — и кончая народнымъ судомъ съ трибуномъ въ роли и обвинителя и предсѣдателя. Тутъ, затѣмъ, очень полный подборъ посторонних ъ, вліяющихъ на убѣжденіе о виновности подсудимаго факторовъ, какъ res judicatae, цензорскія и сенатскія постановленія преюдиціальнаго характера и даже частные приговоры, выраженные въ формѣ духовныхъ завѣщаній. Тутъ, далѣе, очень тонкія и щекотливыя соображенія адвокатской этики, естественно вызванныя тѣмъ обстоятельствомъ, что защитнику подсудимаго пришлось отстаивать убѣжденіе противоположное тому, которое онъ раньше не только раздѣлялъ, но и выражалъ передъ судомъ. Тутъ, наконецъ, защитительная рѣчь Цицерона, охватывающая всѣ пункты обвиненія, и притомъ едва ли не самая блестящая изъ всѣхъ судебныхъ его рѣчей;

по крайней мѣрѣ онъ самъ приводитъ ее какъ примѣръ рѣчи «разнообразной», т.-е. пользующейся всею клавіатурой аффектовъ, а одинъ изъ позднѣйшихъ римскихъ писателей заявляетъ, что въ остальныхъ рѣчахъ Цицеронъ побѣждалъ другихъ, въ этой же самъ себя побѣдилъ.

Приступимъ, однако, къ изложенію дѣла; изложеніе это я рѣшилъ дать по возможности словами самого оратора. Конечно, я не скрываю отъ себя неудобства, заключающагося въ томъ обстоятельствѣ, что мы должны возстановлять дѣло Клуенція, пользуясь при этомъ свидѣтельствами одной только стороны; но, во-первыхъ, это зло непоправимое, а во-вторыхъ, оно для интересующихъ насъ вопросовъ и не особенно значительно. Былъ ли Клуенцій на самомъ дѣлѣ невиновенъ? Если нѣтъ, то тѣмъ хуже для него и, пожалуй, для его защитника, но не для насъ; наши представленія о ходѣ и характерѣ уголовнаго процесса въ его эпоху ничуть не пострадали бы отъ отрицательнаго отвѣта на этотъ вопросъ.

I.

Кровавая исторія, приведшая Клуенція на скамью подсудимыхъ, началась не въ Римѣ, а въ самнитскомъ городѣ Ларинѣ, немного лишь лѣтъ назадъ получившемъ римское гражданство.

Въ ней замѣшано довольно много лицъ, которыхъ я, чтобы не запутывать дѣла, перечислять не буду; все же ея главными героями были трое: римскій всадникъ Клуенцій, его мать Сассія и мужъ послѣдней, вотчимъ Клуенція, Оппіаникъ. Съ бытовой точки зрѣнія наибольшій интересъ возбуждаетъ Сассія, одна изъ тѣхъ великолѣпныхъ тигрицъ, которыми такъ богатъ былъ Римъ во всѣ времена своей исторіи; но я могу лишь бѣгло указать на это ея значеніе, такъ какъ у насъ на первомъ планѣ стоитъ юридическій интересъ этой ларинской трагедіи.

Разладъ между Клуенціемъ и его матерью Сассіей начался еще рано—лѣтъ за двадцать до самого процесса; чтò было его причиной—объ этомъ послушаемъ самого оратора (§§ 11—14).

„Клуенцій, отецъ подсудимаго, и по своимъ личнымъ качествамъ, и по всеобщему къ нему уваженію, и по своей знатности принадлежалъ къ первымъ людямъ не только въ своемъ родномъ муниципіи Ларинѣ, но и по сосѣдству и вообще во всей той мѣстности. Онъ умеръ въ консульство Суллы и Помпея (88 г.), оставивъ пятнадцатилѣтняго сына—того, о которомъ идетъ рѣчь,—и взрослую дочь-невѣсту, вышедшую вскорѣ послѣ смерти отца за своего двоюроднаго брата А. Аврія Мелина. Мелинъ считался тогда однимъ изъ лучшихъ молодыхъ людей въ тѣхъ краяхъ не только по происхожденію, но и по нравственной жизни; свадьба была отпразднована съ блескомъ, молодые жили въ полномъ согласіи — но вотъ въ одной разнузданной женщинѣ вспыхиваетъ нечестивая страсть, и семья не только покрылась позоромъ, но и была запятнана преступленіемъ. Этой женщиной была Сассія, мать нашего Клуенція,—да, судьи, *мать*; во всей своей рѣчи я буду называть ее матерью того человѣка, къ которому она относится съ ненавистью и жестокостью врага, и слушая разсказъ о своихъ безчеловѣчныхъ злодѣяніяхъ, она каждый разъ услышитъ заодно и то имя, которое дала ей природа...

„Такъ вотъ эта мать нашего Клуенція воспылала безбожною страстью къ своему зятю, молодому Мелину... Воспользовавшись слабостью неопытнаго и неокрѣпшаго еще духомъ юноши и пустивъ въ ходъ всѣ средства, которыя дѣйствуютъ на людей его возраста, она сумѣла его опутать. Ея дочь, которая не только была оскорблена въ своихъ женскихъ чувствахъ такою невѣрностью мужа, но и терзалась при невыносимой мысли, что разлучницей была ея собственная нечестивая мать,—скрывала свое глубокое горе отъ другихъ и изнывала въ объятіяхъ нѣжно-любящаго ее брата, лишь въ его присутствіи давая волю слезамъ. Но вотъ любовники внезапно рѣшаютъ кончить дѣло разводомъ; этимъ, казалось, было найдено исцѣленіе отъ всѣхъ страданій. Клуенція оставляетъ домъ Мелина... Такимъ образомъ теща вышла замужъ за зятя, безъ благословенія религіи, безъ согласія родныхъ, напутствуемая всеобщими проклятіями“.

Въ такомъ положеніи находились дѣла въ 85 г., двадцатью годами раньше нашего процесса; недолго, однако, Мелину при-

шлось быть супругомъ своей бывшей тещи. Плодомъ ихъ брака была дочь Аврія, которой было суждено сыграть позднѣе въ самомъ процессѣ нѣкоторую, хотя и пассивную роль; но вскорѣ затѣмъ самъ Мелинъ погибъ, павъ жертвой мстительности второго главнаго героя трагедіи *Оппіаника*. Дебютъ этого страшнаго человѣка состоялся слѣдующимъ образомъ.

Въ ларинской муниципальной аристократіи тѣхъ временъ не послѣднее мѣсто занимала нѣкая *Динея*, мать многочисленныхъ дѣтей, прижитыхъ ею въ двухъ послѣдовательныхъ бракахъ и носившихъ поэтому два различныхъ родовыхъ имени — Авріевъ и Магіевъ; переживъ обоихъ своихъ мужей, она была владѣлицей или узуфруктуаріей громаднаго состоянія, которое со временемъ должно было достаться ея дѣтямъ. На одной изъ ея дочерей былъ женатъ нашъ Оппіаникъ; правда, этотъ бракъ не былъ продолжительнымъ, все же онъ далъ жизнь ребенку мужского пола — Оппіанику Младшему, который въ качествѣ родного внука Динеи могъ сдѣлаться наслѣдникомъ ея богатствъ, если бы ея прочія дѣти умерли, не оставивъ потомства. И вотъ Оппіаникъ направляетъ всѣ свои помыслы къ осуществленію этой мечты. Отчасти, впрочемъ, сама судьба шла на встрѣчу его планамъ: одинъ изъ его шурьевъ умеръ бездѣтнымъ естественной смертью, вслѣдъ за нимъ — другой. Къ несчастію, этотъ послѣдній, умирая, оставилъ свою жену беременной; это было тѣмъ досаднѣе, что онъ достаточно зналъ нравственные принципы своего зятя и распорядился соотвѣтствующимъ образомъ, но... предоставимъ тутъ опять слово оратору (§ 33—35).

„Гней Магій, будучи тяжело боленъ и намѣреваясь назначить наслѣдникомъ своего племянника Оппіаника Младшаго, созвалъ совѣтъ друзей и въ присутствіи своей матери, Динеи, спросилъ свою жену, чувствуетъ ли она себя беременной; когда она отвѣчала утвердительно, онъ наказалъ ей, чтобы она послѣ его смерти до самыхъ родовъ жила у Динеи, своей свекрови, и всячески старалась беречь свой плодъ и благополучно разрѣшиться отъ бремени. Мало того, онъ отказываетъ ей въ завѣщаніи крупный легатъ отъ имени ребенка, еслибы таковой родился, и ничего не отказываетъ отъ имени второго наслѣдника. Вы видите, чего онъ ожидалъ отъ Оппіаника въ будущемъ.

„Теперь дайте разсказать вамъ о дѣяніяхъ Оппіаника; вы увидите, что близость смерти не сдѣлала ясновидящимъ того Магія. Тѣ деньги, которыя онъ завѣщалъ женѣ въ видѣ легата отъ имени ожидаемаго сына, Оппіаникъ уплатилъ ей тотчасъ отъ себя, — если только эта операція можетъ быть названа «уплатой легата», а не наградой за вытравленіе плода; получивъ эту сумму и еще много подарковъ, списокъ которыхъ былъ въ свое время прочитанъ суду на основаніи записей самого Оппіаника, эта женщина уступила своей алчности и продала преступнымъ вожделѣніямъ Оппіаника свою надежду, которую она зачала отъ мужа и носила въ своемъ лонѣ. — Казалось бы, этимъ достигнутъ предѣлъ человѣческой порочности; но послушайте, чѣмъ дѣло кончилось. Эта женщина, которая, по настоятельной просьбѣ мужа, въ теченіе слѣдующихъ 10 мѣсяцевъ не должна была знать другого дома, кромѣ дома своей свекрови — она на пятый мѣсяцъ послѣ смерти мужа выходитъ замужъ за самого Оппіаника. Правда, этотъ бракъ былъ непродолжителенъ: онъ сплочивался не обоюднымъ достоинствомъ, а участьемъ въ одномъ и томъ же преступленіи“.

При всемъ томъ, Оппіаникъ могъ считать себя побѣдителемъ: смерть сдѣлала свое дѣло, вскорѣ изъ богатаго нѣкогда потомства Динеи никого не осталось въ живыхъ, кромѣ ея внука, а этотъ внукъ былъ роднымъ сыномъ Оппіаника. Но вотъ случилось нѣчто неожиданное.

Я уже сказалъ, что городъ Ларинъ лишь немного лѣтъ назадъ сдѣлался римскимъ муниципіемъ, а именно въ 89 г., вмѣстѣ съ другими самнитскими городами. Было это результатомъ такъ наз. италійской (или союзнической) войны, которую вели противъ Рима его бывшіе италійскіе союзники. Принимали участіе въ этой войнѣ также и ларинаты; и, конечно, Авріи, какъ наиболѣе видные среди нихъ, не могли не находиться среди сражающихся. Когда война кончилась, одного изъ нихъ, а именно Марка, старшаго сына Динеи, не досчитались: среди убитыхъ его не нашли, при возвращеніи плѣнныхъ его не оказалось — однимъ словомъ, онъ пропалъ безъ вѣсти. Такъ прошло около шести лѣтъ; „но вотъ“, разсказываетъ ораторъ (§ 21—23):

„Динея получаетъ извѣстіе довольно точное и достовѣрное,

что ея сынъ М. Аврій живъ и служитъ рабомъ въ Галльской области. Когда такимъ образомъ этой женщинѣ въ ея сиротствѣ представилась надежда получить обратно хоть одного изъ своихъ сыновей, она созвала всѣхъ своихъ родственниковъ, всѣхъ друзей своего сына и со слезами стала ихъ молить, чтобы они взяли на себя трудъ отыскать юношу, чтобы они вернули ей сына, единственнаго, котораго судьбѣ угодно было сохранить ей изъ столькихъ ея дѣтей.

„Едва успѣвъ дать ходъ этому дѣлу, она слегла въ постель; тогда она составила завѣщаніе, въ которомъ сдѣлала главнымъ наслѣдникомъ того же своего внука Оппіаника Младшаго, отказавъ однако легатъ въ 400000 сестерціевъ своему сыну; нѣсколько дней спустя она скончалась. Все же тѣ родственники, вѣрные своему слову, которое они дали Динеѣ при ея жизни, вскорѣ послѣ ея смерти отправились на поиски М. Аврія въ Галльскую область, взявъ съ собой того самаго молодого человѣка, который привезъ извѣстіе о томъ, что онъ живъ.

„Тутъ-то Оппіаникъ и проявилъ всю силу своей преступной отваги. Первымъ дѣломъ онъ черезъ одного своего близкаго знакомаго, жившаго въ Галльской области, подкупилъ вѣстника; затѣмъ онъ путемъ ничтожной затраты устранилъ и самого М. Аврія, распорядившись, чтобы его убили. Тѣмъ временемъ тѣ, которые отправились на поиски своего родственника, посылаютъ письмо въ Ларинъ къ Авріямъ съ извѣстіемъ, что дѣло съ поисками осложняется, и что причиной тому, какъ они догадываются, подкупъ Оппіаникомъ вѣстника. Получивъ это письмо, А. Аврій (Мелинъ), ближайшій родственникъ того М. Аврія, отправляется на площадь и тамъ публично, — въ присутствіи большой толпы народа, среди которой находился и Оппіаникъ,—читаетъ его, послѣ чего громогласно заявляетъ, что если онъ узнаетъ объ убійствѣ М. Аврія, онъ привлечетъ Оппіаника къ отвѣтственности".

Тутъ впервые вокругъ Оппіаника повѣяло судебной атмосферой; но онъ сумѣлъ себѣ помочь. Времена были жестокія: Сулла какъ разъ возвращался въ занятый маріанцами Римъ, предстояли ужасы проскрипцій; при такихъ обстоятельствахъ люди съ желѣзной волей и мѣднымъ лбомъ находятъ себѣ цѣнителей. И вотъ мы видимъ Оппіаника въ лагерѣ Сулланцевъ; вскорѣ затѣмъ его ларинскіе враги, мстители-добровольцы за смерть несчастнаго Марка Аврія, попадаютъ въ проскрипціонные списки; еще немного — и Оппіаникъ получаетъ отъ побѣдителя отрядъ вооруженныхъ, съ нимъ вторгается въ свой родной городъ Ларинъ и лично приводитъ въ исполненіе имъ же продиктованный приговоръ. Среди его жертвъ находился, какъ этого и слѣдовало ожидать, и Мелинъ, тотъ самый, который раньше былъ женатъ на молодой Клуенціи, а затѣмъ — на ея матери Сассіи; такимъ образомъ, эта послѣдняя вторично стала вдовой.

Но кромѣ того она стала также владѣлицей довольно крупнаго состоянія, унаслѣдованнаго отъ обоихъ ея мужей: размѣрами этого состоянія опредѣлялась ея цѣнность въ глазахъ Оппіаника. Онъ былъ уже однимъ изъ первыхъ ларинскихъ богачей, получивъ въ свое владѣніе какъ богатство своего собственнаго рода (это — довольно темная исторія, которой я счелъ за лучшее не касаться), такъ и огромное имущество Динеи и ея дѣтей; теперь онъ, ободренный успѣхами и безнаказанностью, сталъ простирать свои взоры и на состояніе Сассіи. Самымъ простымъ средствомъ для завладѣнія имъ былъ бракъ; и вотъ Оппіаникъ дѣлаетъ Сассіи предложеніе, той самой Сассіи, у которой онъ убилъ мужа... Не буду тутъ приводить тѣхъ характерныхъ подробностей, которыми сопровождались переговоры по этому вопросу; результатъ былъ тотъ, что Оппіаникъ сталъ третьимъ мужемъ Сассіи, а Сассія — пятой женой Оппіаника.

Теперь семейное положеніе обоихъ героевъ было слѣдующее: у Оппіаника былъ единственный сынъ, Оппіаникъ Младшій, прямой наслѣдникъ состоянія Динеи и ея покойныхъ дѣтей; у Сассіи была отъ второго брака малолѣтняя дочь Аврія, которую можно было современемъ выдать за Оппіаника Младшаго; но, къ несчастью, у нея были также и дѣти отъ перваго брака, сынъ-юноша Клуенцій и взрослая дочь Клуенція. О послѣдней что-то не слышно: повидимому, она не долго оставалась въ живыхъ послѣ своего горестнаго развода съ Мелиномъ, ставшимъ изъ мужа ея вотчимомъ. Но Клуенцій былъ серьезнымъ препятствіемъ для осуществленія завѣтной мечты Оппіаника — концентраціи ларинскихъ капиталовъ въ

своихъ рукахъ; его во что бы то ни стало нужно было устранить. Для этого, однако, требовалась осторожность. Проскрипціонный терроръ кончился, законность опять водворилась въ римскомъ государствѣ; а съ другой стороны тѣ, которые въ свое время извлекли пользу для себя изъ этого террора, были предметомъ всеобщей ненависти. Ихъ нельзя было преслѣдовать судомъ за ихъ преступленія, совершенныя подъ сѣнью режима Суллы; но за ними зорко слѣдили, и они могли быть увѣрены, что при первомъ уголовномъ процессѣ, который бы возникъ по какому-нибудь новому съ ихъ стороны преступленію, ихъ участіе въ проскрипціяхъ негласно дастъ перевѣсъ роковой для нихъ чашкѣ вѣсовъ Ѳемиды.—Нѣтъ, дѣло требовало осторожности; надобно было дѣйствовать черезъ другихъ, самому оставаясь въ тѣни.

И надобно ему отдать справедливость: въ своемъ *конфликтѣ съ Клуенціемъ* Оппіаникъ соблюлъ крайнюю осторожность.

II.

Благопріятная минута для рѣшительныхъ дѣйствій наступила тогда, когда оба врага сошлись въ Римѣ по поводу одного дѣла, близко затрогивавшаго интересы ихъ общей родины. Судьба и здѣсь пошла на встрѣчу планамъ Оппіаника: *Клуенцій заболѣлъ*; его жизнь зависѣла отъ искусства и добросовѣстности пользовавшаго его врача, грека Клеофанта.

Въ тѣ времена жилъ въ Римѣ человѣкъ, носившій очень славное въ римскихъ лѣтописяхъ имя, но по своимъ нравамъ ничуть не похожій на своего знаменитаго родича — нѣкто *Г. Фабрицій;* родомъ онъ былъ изъ муниципія Алетрія, находившагося въ странѣ вольсковъ, недалеко отъ родины Цицерона Арпина — это послѣднее обстоятельство необходимо удержать въ памяти. Будучи человѣкомъ ловкимъ, жаднымъ и беззастѣнчивымъ, онъ, какъ нельзя лучше, годился въ орудіе Оппіанику, который, дѣйствительно, уже въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ находился съ нимъ въ близкихъ отношеніяхъ. У этого Фабриція было, въ свою очередь, лицо вѣрное и преданное—и тутъ мы касаемся очень характернаго для римскаго общества явленія—

его бывшій рабъ и тогдашній отпущенникъ *Скамандръ*... Я назвалъ это явленіе характернымъ для Рима; дѣйствительно, оно было источникомъ совершенно особой морали, которая, не будучи признаваема закономъ, должна была повести къ тяжкимъ, трагическимъ конфликтамъ. Вся нравственность рабовъ была сосредоточена въ ихъ первой и единственной заповѣди: „слушайся господина, рабъ, и въ справедливомъ и въ несправедливомъ дѣлѣ" (δοῦλε, δεσποτῶν ἄκουε καὶ δίκαια κἄδικα); эта мораль безграничной преданности естественно удерживалась рабомъ и послѣ полученія свободы, которая, вѣдь, большею частью была подаркомъ именно за твердость въ морали рабства; и дѣйствительно, отношенія отпущенниковъ къ своимъ патронамъ принадлежатъ къ самымъ трогательнымъ, о которыхъ знаетъ исторія. Но право этой морали не признаетъ: для него отпущенникъ—свободный гражданинъ, вполнѣ отвѣтственный за всѣ свои дѣйствія. — Читатель догадывается объ остальномъ. Стоитъ сомкнуться этой роковой цѣпи, оба крайнихъ звена которыхъ образуютъ оба врага, Клуенцій и Оппіаникъ, а средніе — Фабрицій, Скамандръ и Клеофантъ,—и результатомъ будетъ искра преступленія.

И она сомкнулась. По странной случайности нашему Фабрицію пришлось очутиться совершенно въ такой же обстановкѣ, какъ и та, которая покрыла такой славой имя его знаменитаго родича. Тому врачъ его врага Пирра предложилъ отравить своего больного повелителя, и Фабрицій не только отвергъ его предложеніе, но и написалъ о немъ Пирру въ краткомъ и внушительномъ письмѣ; здѣсь, напротивъ, отъ Фабриція исходитъ преступное предложеніе, и честность врача съ его персоналомъ служитъ препятствіемъ къ его исполненію.

Скамандръ по порученію Фабриція заводитъ знакомство съ рабомъ врача Клеофанта, Діогеномъ; достаточно подготовивъ почву, онъ дѣлаетъ ему предложеніе, за крупную сумму денегъ подсыпать Клуенцію въ лекарство ядъ. Діогенъ съ виду соглашается; они сговариваются о днѣ окончательнаго свиданія для врученія Скамандромъ Діогену денегъ за приготовленный Діогеномъ ядъ. Въ ожиданіи этого дня Діогенъ разсказываетъ обо всемъ Клеофанту, Клеофантъ—Клуенцію; тотъ принимаетъ мѣры предосторожности, Скамандру въ день свиданія устраи-

вается засада, его схватываютъ—и въ его рукахъ оказываются и деньги, и ядъ. Все же онъ не признаетъ себя пойманнымъ съ поличнымъ; ему удается найти объясненіе и тому и другому компрометтирующему обстоятельству; дѣло переносится въ судъ.

Да, въ судъ; но въ какой? Въ тѣ времена, о которыхъ мы говоримъ, уголовныя дѣла давно уже были достояніемъ суда присяжныхъ, предсѣдателемъ котораго былъ либо одинъ изъ преторовъ даннаго года, либо—за недостаткомъ таковыхъ—т. наз. слѣдователь (quaesitor) изъ числа бывшихъ эдиловъ. Особенностью этого римскаго суда присяжныхъ было, во-первыхъ, то, что для каждаго рода преступленій существовала особая т. наз. постоянная слѣдственная коммиссія (quaestio perpetua), засѣдавшая круглый годъ; во-вторыхъ, то, что составъ присяжныхъ опредѣлялся ихъ принадлежностью къ тому или другому сословію. Такъ въ нашу эпоху реакціи Суллы присяжными могли быть исключительно сенаторы, между тѣмъ какъ до Суллы ими были только представители второго привилегированнаго сословія, всадниковъ (т.-е. финансовой аристократіи). Но эти сенаторскіе суды подвергались ожесточеннымъ нападкамъ со стороны демократіи — и дѣйствительно, нельзя сказать, чтобы они были на высотѣ своей задачи. Суллѣ пришлось удвоить численность сенаторовъ, чтобы найти достаточное количество присяжныхъ для всѣхъ уголовныхъ комиссій; со свойственной ему неразборчивостью онъ принялъ въ число сенаторовъ много сомнительныхъ по части нравственности лицъ, которыя пользовались своимъ положеніемъ для личныхъ, своекорыстныхъ цѣлей и этимъ глубоко роняли въ глазахъ народа престижъ своей корпораціи. Вскорѣ пришлось уступить давленію демократической партіи и издать новый законъ—lex Aurelia judiciaria—открывшій доступъ въ уголовныя комиссіи всѣмъ тремъ сословіямъ, изъ которыхъ состоялъ римскій народъ; съ изданіемъ этого закона судебное дѣло было наконецъ умиротворено.

Но это случилось лишь четыре года спустя (70 г.); процессъ же Скамандра состоялся въ 74 г., когда присяжными были одни только сенаторы. По нашимъ понятіямъ передъ судомъ должны бы были предстать трое подсудимыхъ: Скамандръ,

какъ непосредственный исполнитель, Фабрицій, какъ ближайшій зачинщикъ, и Оппіаникъ, какъ первый вдохновитель преступленія... допуская, что мы вообще назвали бы преступленіемъ попытку, заглушенную въ своемъ зародышѣ; но римскія понятія были въ этомъ отношеніи иныя. Отравленіе было (какъ его кто-то назвалъ) національнымъ преступленіемъ въ Италіи. Сулла, учреждая особую уголовную комиссію для разбирательства относящихся сюда дѣлъ (quaestio de veneficiis), опредѣлилъ одну и ту же кару для всякаго, кто съ цѣлью убійства человѣка „изготовитъ, продастъ, купитъ, станетъ держать у себя или поднесетъ кому ядъ (quicumque fecerit vendiderit emerit habuerit dederit, ср. Моммзенъ, R. Strafrecht 636; это обстоятельство обыкновенно забывается издателями и критиками рѣчи за Клуенція). Но съ другой стороны обвиненіе каждаго причастнаго къ преступленію лица должно было быть ведено особо, и прямой обвинительный приговоръ первому подсудимому былъ лишь косвеннымъ приговоромъ остальнымъ, нравственно убійственнымъ, но юридически и практически пока недѣйствительнымъ.

Итакъ, дѣло переносится въ судъ, т.-е. въ quaestio de veneficiis, предсѣдателемъ которой былъ бывшій эдилъ и кандидатъ въ преторы Г. Юній, а членами — тридцать два сенатора. Объ обвинителѣ — за неимѣніемъ у римлянъ института государственной прокуратуры,—пришлось позаботиться самому потерпѣвшему; Клуенцій обратился къ молодому и талантливому повѣренному, Каннуцію. Пришлось и обвиняемому—или, вѣрнѣе, его патрону Фабрицію,—подумать о защитникѣ... но тутъ произошла столь характерная для Рима и Италіи всѣхъ временъ исторія, что было бы несправедливо не передать ее словами самого оратора. Напомню только, 1) что солидарность всѣхъ гражданъ одного и того же городка въ ущербъ даже общегосударственнымъ интересамъ составляетъ и понынѣ отличительную особенность итальянской жизни, то, что итальянцы называютъ «политикой (родной) колокольни» (politica del campanile); 2) что латинское слово officium означало не только «нравственный долгъ», но и обязанность оказывать услуги своимъ согражданамъ въ предѣлахъ нравственной возможности—а эти предѣлы были, въ силу господствовавшаго квазипарла-

ментскаго режима, довольно широкими; 3) и въ особенности, что officium спеціально повѣреннаго, при всей растяжимости этого понятія, оставалось на нѣкоторой нравственной высотѣ, благодаря своей *абсолютной безвозмездности*. А теперь пусть говоритъ Цицеронъ: (§ 49—53).

„Тутъ Гай Фабрицій, сознававшій, что осужденіе отпущенника грозитъ такою же опасностью и ему самому, вспомнилъ, что его земляки алетринаты — мои сосѣди и большею частью мои добрые знакомые, и привелъ большое ихъ число ко мнѣ. Тѣ, конечно, были о немъ такого мнѣнія, какого онъ заслуживалъ; все же они полагали, что ихъ достоинство требуетъ отъ нихъ, чтобы они по мѣрѣ возможности защищали человѣка, происходившаго изъ одного муниципія съ ними; поэтому они попросили и меня поступить такъ же, т. е. взять на себя веденіе дѣла Скамандра, отъ исхода котораго зависѣла участь самого Фабриція. Что касается меня, то съ одной стороны у меня не хватило духу огорчить отказомъ этихъ столь достойныхъ и столь преданныхъ мнѣ людей; съ другой стороны, ни я, ни они, которые тогда рекомендовали мнѣ это дѣло, не имѣли понятія о томъ, что виновность обвиняемаго была такъ велика и такъ очевидна; поэтому я обѣщалъ имъ исполнить ихъ желаніе.

„Началось разбирательство дѣла; былъ вызванъ въ качествѣ обвиняемаго Скамандръ; обвинителемъ былъ Каннуцій, чрезвычайно остроумный человѣкъ и опытный ораторъ. Къ Скамандру относились только три слова обвинительной рѣчи: *былъ захваченъ ядъ*; остальныя стрѣлы всѣ попадали въ Оппіаника. Обвинитель разоблачилъ причину покушенія на жизнь Клуенція, упомянулъ о близкомъ знакомствѣ Оппіаника съ Фабриціемъ, описалъ его жизнь, охарактеризовалъ его отвагу, однимъ словомъ — живо и убѣдительно доказалъ виновность Оппіаника и заключилъ фактомъ, что Скамандръ былъ пойманъ съ поличнымъ, т.-е. съ ядомъ.

„За нимъ пришлось говорить мнѣ; боги безсмертные! съ какой тревогой всталъ я, съ какимъ смущеньемъ, съ какимъ страхомъ! Правда, я всегда волнуюсь, начиная свою рѣчь; всякій разъ мнѣ кажется, что будутъ судить меня, и не только мой талантъ, но мою честность и добросовѣстность, обвиняя меня въ отсутствіи стыда, если я буду утверждать то, чего не въ состояніи доказать, и въ небрежности и вѣроломствѣ, если я не дойду до предѣловъ возможнаго. Но тогда я былъ до того смущенъ, что боялся всего: боялся молчать, чтобы не прослыть неспособнымъ, боялся въ такого рода дѣлѣ дать волю словамъ, чтобы не прослыть безсовѣстнымъ. Насилу собрался я съ духомъ и рѣшилъ отважно взяться за дѣло, сказавъ себѣ, что меня въ моемъ тогдашнемъ возрастѣ (32 года) скорѣе похвалятъ за то, что я не оставилъ человѣка даже въ отчаянномъ дѣлѣ. Такъ я и сдѣлалъ. Я такъ ожесточенно боролся, такъ напрягалъ свои силы, такъ неутомимо отыскивалъ всѣ закоулки, всѣ лазейки, какія только могъ, что достигъ одного: никто — выражусь скромно, — не могъ жаловаться на недостаточность защиты. Но за какое оружіе ни хватался я, — тотчасъ же обвинитель вырывалъ его у меня изъ рукъ.

„Если я спрашивалъ, какую же вражду питалъ Скамандръ къ Клуенцію, — онъ отвѣчалъ, что никакой, но что *Оппіаникъ*, орудіемъ котораго былъ подсудимый, былъ злѣйшимъ врагомъ Клуенція и остался таковымъ понынѣ; если я замѣчалъ, что смерть Клуенція не сулила Скамандру никакой выгоды, — онъ соглашался, но напоминалъ, что въ случаѣ его смерти его состояніе доставалось женѣ *Оппіаника*, мастера въ истребленіи своихъ женъ; если я въ пользу Скамандра приводилъ то соображеніе, которое всегда считается выгоднымъ для обвиняемыхъ отпущенниковъ, — именно, что онъ пользуется полнымъ довѣріемъ своего патрона, — онъ опять соглашался, но спрашивалъ, чьимъ же довѣріемъ пользуется самъ патронъ; если я съ особенной любовью отстаивалъ мысль, что Діогенъ устроилъ Скамандру западню, что они сговорились по другому дѣлу, что Скамандръ поручилъ Діогену принести ему лѣкарство, а не ядъ, что въ такую ловушку попалъ бы всякій — онъ спрашивалъ, къ чему было выбирать такое укромное мѣсто, къ чему было приходить одному, къ чему было являться съ запечатанными деньгами".

Не всѣ подробности этого дѣла для насъ ясны — такъ насъ озадачиваетъ вопросъ, какимъ образомъ ядъ могъ очутиться въ рукахъ Скамандра, между тѣмъ какъ и изготовить его, и поднести Клуенцію могъ только Діогенъ; но это слѣдуетъ, вѣ-

роятно, приписать нашему неполному знакомству съ римской жизнью. Судьямъ-присяжнымъ, во всякомъ случаѣ, дѣло показалось достаточно яснымъ: большинствомъ всѣхъ голосовъ противъ одного *Скамандръ былъ признанъ виновнымъ*.

Справедливость требуетъ, чтобы мы, указывая на торжество правосудія въ дѣлѣ Скамандра, не забыли того несчастнаго, который своимъ самоотверженіемъ ему способствовалъ, хотя ораторъ и упоминаетъ о немъ только вскользь. Виновность подсудимаго была доказана также и свидѣтелями, дававшими свои показанія, какъ это полагается и у насъ, подъ присягой. Но они могли разсказать только о заключительныхъ сценахъ преступной интриги; объ ея началѣ могъ знать только одинъ человѣкъ, которому и принадлежало, стало быть, первое мѣсто среди свидѣтелей: это былъ *рабъ Діогенъ*, устоявшій противъ посуловъ Скамандра и спасшій своею честностью жизнь Клуенцію. А рабовъ къ присягѣ не подводили: они свои показанія должны были давать *подъ пыткой*. Очевидно, эту предстоящую пытку и имѣлъ въ виду Цицеронъ, говоря намъ, что Клуенцій, по совѣту своихъ друзей, купилъ Діогена у Клеофанта: было справедливо оградить честнаго врача Клеофанта отъ матеріальнаго ущерба, который могъ быть ему причиненъ изувѣченіемъ его раба. Но наше сердце возстановленіемъ этой матеріальной справедливости не довольствуется; равнымъ образомъ мы остаемся глухи и къ тому соображенію, что при наличности вышеуказанной рабской морали подведеніе рабовъ къ присягѣ не имѣло бы никакого смысла, и что тѣлесная боль, лишающая человѣка возможности измышлять и комбинировать, оставалась единственной гарантіей правдивости показанія. Но, какъ ни основательно наше отвращеніе къ этому институту пытки рабовъ — было бы несправедливо изъ-за него осуждать античность, которая, вѣдь, не создала его, а только не успѣла упразднить. Скорѣе ее слѣдуетъ благодарить за то, что она торжественно упразднила этотъ отвратительный судебный институтъ для гражданъ: признавая несовмѣстимость понятій «гражданинъ» и «пытка», она этимъ самымъ обезпечила неприкосновенность тѣла и всему человѣчеству съ того дня, когда гражданами будутъ признаны всѣ люди.

III.

Осужденіе Скамандра было косвенно обвинительнымъ приговоромъ и нравственнымъ виновникамъ преступленія, Фабрицію и Оппіанику; оставалось обратить этотъ косвенный приговоръ въ прямой, т.-е. обвинить послѣдовательно обоихъ въ той же уголовной комиссіи de veneficiis. Римскій уголовный процессъ, не допуская совмѣстнаго обвиненія нѣсколькихъ подсудимыхъ, допускалъ однако въ случаяхъ совмѣстнаго преступленія процессуальную льготу для обвинителя: добившись осужденія перваго обвиняемаго, онъ могъ для остальныхъ требовать разбирательства внѣ очереди, т.-е. тотчасъ же, при томъ же составѣ комиссіи. Обычай еще болѣе шелъ на встрѣчу интересамъ обвинителя, придавая состоявшемуся уже «косвенному приговору» (praejudicium) почти что значеніе такъ-называемой res judicata и сводя дальнѣйшіе процессы почти что къ простой, хотя и неизбѣжной формальности.

При этихъ обстоятельствахъ исходъ *дѣла Фабриція*, второго въ ряду подсудимыхъ, не представлялся сомнительнымъ; все же юмористическій разсказъ о немъ Цицерона представляетъ нѣкоторый интересъ какъ съ точки зрѣнія адвокатской этики по отношенію къ преюдиціямъ, такъ и съ точки зрѣнія процессуальныхъ формъ. Что касается послѣднихъ, то слѣдуетъ помнить, что въ Римѣ судимость въ обыкновенныхъ случаяхъ не сопровождалась содержаніемъ подъ стражей: рядомъ съ подсудимымъ не было жандарма съ мечомъ, и ничто не мѣшало ему уйти въ любой моментъ, если онъ не боялся вліянія этого его ухода на настроеніе присяжныхъ. Въ остальномъ же разсказъ Цицерона о дѣлѣ Фабриція вполнѣ удобопонятенъ (§ 56—59).

„Тутъ Фабрицій не только не приводилъ ко мнѣ тѣхъ алетринатовъ, моихъ сосѣдей и друзей, но даже въ нихъ самихъ не могъ найти ни защитниковъ, ни хвалителей—мы считали требованіемъ гуманности вступиться за не чуждаго намъ человѣка хотя бы и въ подозрительномъ дѣлѣ, пока это дѣло не было еще рѣшено, но сочли бы безсовѣстной всякую попытку про-

тиводѣйствовать предрѣшенному уже его осужденію. Въ этомъ безпомощномъ и безвыходномъ положеніи, въ которомъ онъ очутился благодаря неопрятности своего дѣла, онъ вынужденъ былъ обратиться къ братьямъ Цепазіямъ, извѣстнымъ хлопотунамъ, жадно хватавшимся за каждую возможность выступить ораторами, какъ за честь и благодѣяніе для себя. Вообще наша жизнь въ этомъ отношеніи какъ-то несуразно устроена: во время болѣзни мы приглашаемъ тѣмъ болѣе знаменитаго и свѣдущаго врача, чѣмъ сильнѣе опасность; напротивъ, если человѣкъ состоитъ подъ уголовнымъ судомъ, онъ именно въ самыхъ отчаянныхъ случаяхъ обращается къ самому дурному и темному адвокату. Впрочемъ, это дѣлается, быть можетъ, не безъ причины: отъ врача мы ничего не требуемъ, кромѣ его искусства, но защитникъ поддерживаетъ насъ также и своимъ авторитетомъ.

„Итакъ, обвиняемый вызывается въ судъ; Каннуцій, считая дѣло рѣшеннымъ, ограничивается краткой обвинительной рѣчью; ему отвѣчаетъ Цепазій Старшій, начиная издалека очень длиннымъ вступленіемъ. Въ первое время всѣ внимательно его слушали; Оппіаникъ, который былъ уже близокъ къ отчаянію, сталъ видимо бодрѣе; самъ Фабрицій ликовалъ, не понимая, что судьи поражены не краснорѣчіемъ, а развязностью защитника. Но когда тотъ приступилъ къ главной части рѣчи, подсудимый получилъ отъ него только новыя раны къ тѣмъ, которыя ему нанесъ разборъ самого дѣла; несмотря на его несомнѣнную добрую волю, казалось иногда, что онъ не защищаетъ своего кліента, а дѣйствуетъ заодно съ обвиненіемъ. И вотъ, въ то время какъ онъ былъ высокаго мнѣнія о своемъ лукавствѣ и произносилъ трогательныя фразы, принадлежащія къ самому секретному аппарату его искусства: «Взгляните, судьи; вотъ она, жизнь человѣка! взгляните: вотъ она, измѣнчивая и прихотливая игра счастья! взгляните на старика Фабриція!» нѣсколько разъ, украшенія ради, повторяя это слово «взгляните» — ему вздумалось «взглянуть» самому. Но было поздно: Г. Фабриций, махнувъ рукой, уже всталъ со скамьи подсудимыхъ и ушелъ домой. Тутъ судьи стали хохотать; защитникъ разгорячился, негодуя, что ему испортили всю защиту, не давъ досказать конца его фразы «взгляните, судьи!»; казалось, онъ готовъ былъ пуститься въ догонку за подсудимымъ и, схвативъ его за шиворотъ, привести обратно къ его скамьѣ, чтобы затѣмъ произнести заключеніе своей рѣчи.

„Такъ-то Фабрицій былъ осужденъ вдвойнѣ: сначала судомъ собственной совѣсти, что самое главное, а затѣмъ — силой закона и вердиктомъ судей“.

Наконецъ, все въ томъ же 74 г., по осужденіи обоихъ своихъ сообщниковъ самъ зачинщикъ всего дѣла, Оппіаникъ, предсталъ передъ судьями; накоплявшаяся въ теченіе десяти лѣтъ вражда между обоими ларинскими царями нашла себѣ почву для окончательнаго, рѣшительнаго дѣйствія. Съ одной стороны — Клуенцій, кровный аристократъ, членъ древнѣйшаго рода, который Виргилій позднѣе производилъ отъ троянца Клоанѳа, спутника Энея — рода, давшаго италійцамъ полководца въ ихъ войнѣ съ Римомъ и Суллой; съ другой стороны — Оппіаникъ, не столь блестящаго происхожденія, но едва ли не болѣе еще богатый, поглотившій огромныя наслѣдства и Оппіаниковъ, и Авріевъ, и Магіевъ, и теперь простершій свою жадную руку и на состояніе Клуенціевъ. Не человѣкъ съ человѣкомъ столкнулись, а мошна съ мошной; а при такого рода столкновеніяхъ дѣло рѣдко обходится безъ грѣха.

Присмотримся нѣсколько ближе къ *составу присяжныхъ*; ихъ было, какъ уже сказано, 32, всѣ изъ первенствующаго въ Римѣ сословія сенаторовъ... Да, но это были члены удвоеннаго Суллой сената, чистка котораго (цензорами 70 г.) тогда еще только предстояла; по теоріи вѣроятности 16 человѣкъ должны были быть «сулланцами», а этотъ терминъ тогда имѣлъ очень дурной привкусъ. Это съ одной стороны; а съ другой припомнимъ, что вольному положенію подсудимаго въ Римѣ соотвѣтствовало столь же вольное положеніе присяжныхъ. Тѣ мѣры крайней предосторожности, съ которой нынѣ присяжные охраняются отъ всякаго воздѣйствія на нихъ внѣшняго міра, тогда еще не были въ ходу: присяжныхъ не только на ночь не запирали въ особое помѣщеніе — они и днемъ могли дѣлать, что имъ угодно было, приходить въ засѣданіе, уходить, отсутствовать не только на преніяхъ и слѣдствіи, но — если не было протестовъ со стороны обвинителя и защитника — и при окончательномъ голосованіи. Все это нужно принять во вниманіе —

богатство обоихъ противниковъ, сомнительный нравственный цензъ многихъ среди присяжныхъ, наконецъ, отсутствіе всякаго контроля за ихъ дѣйствіями — и разыгравшаяся въ этомъ judicium Junianum трагикомедія покажется вполнѣ естественной.

Страннымъ можетъ показаться уже одно то обстоятельство, что защитникомъ Оппіаника рѣшился выступить народный трибунъ того года, Л. Квинкцій. Скамандра защищалъ Цицеронъ, тогда еще мало извѣстный молодой человѣкъ; Фабриція — даже совсѣмъ неизвѣстный Цепазій; а тутъ, въ третьемъ процессѣ, подсудимаго поддерживаетъ своимъ авторитетомъ магистратъ, и притомъ — вслѣдствіе демократическаго, антиреакціоннаго теченія той эпохи — популярнѣйшій и вліятельнѣйшій магистратъ! Но было бы несправедливо видѣть въ этомъ пунктѣ вліяніе чьихъ-либо денегъ: Цицеронъ, очень невыгодно отзывающійся о Квинкціи, не позволяетъ себѣ даже малѣйшаго намека въ этомъ направленіи. Нѣтъ, Квинкціемъ руководилъ лишь агитаторскій интересъ: пусть Оппіаникъ самъ былъ, какъ мы видѣли, сулланцемъ — въ этомъ случаѣ его судилъ учрежденный Суллою судъ, и было очень заманчиво для демократа-трибуна присмотрѣться, въ качествѣ защитника, къ махинаціямъ этого суда, съ тѣмъ, чтобы позднѣе ихъ обличить.

И дѣйствительно, зрѣлище было интересное.

Едва открылось засѣданіе суда, какъ стало твориться нѣчто странное: сначала тихо, затѣмъ все громче и громче раздавался звонъ золота надъ злополучной коллегіей, наполняя сердца зрителей все усиливающимся страхомъ за судьбу правосудія: тысячи сестерціевъ, десятки тысячъ, сотни тысячъ — повсюду носилась пѣснь золота, еще болѣе страшная тѣмъ, что никто не могъ разобраться, *откуда* она исходила. Мало-по-малу въ этомъ золотомъ туманѣ стала вырисовываться, въ видѣ центральной личности, фигура одного изъ присяжныхъ — нѣкоего Стаіена; онъ, очевидно, былъ главнымъ орудіемъ подкупа, онъ и себя далъ подкупить, и взялся подкупить остальныхъ; его прошлое вполнѣ подтверждало это подозрѣніе. Но чьимъ же интересамъ служилъ Стаіенъ? Оппіаника ли? или Клуенція? или, быть можетъ — обоихъ? Люди терялись въ догадкахъ и съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдили за всѣми перипетіями процесса. Къ его послѣдней стадіи нѣсколько присяжныхъ выбыло (по государственной надобности) изъ состава, пришлось произвести дополнительную жеребьевку. Позднѣе нашли страннымъ, что предсѣдатель Юній произвелъ жеребьевку не по тому списку, который былъ составленъ городскимъ преторомъ; но такъ какъ городскимъ преторомъ былъ тогда пресловутый Верресъ, то этотъ темный пунктъ такъ и остался невыясненнымъ. Только окончательное голосованіе присяжныхъ могло, казалось, пролить свѣтъ на творившееся, указать источникъ золотого ручья; я долженъ тутъ напомнить, 1) что въ Римѣ присяжному разрѣшался, кромѣ положительнаго и отрицательнаго отвѣтовъ, еще третій — non liquet, который былъ равносиленъ требованію вторичнаго разбирательства, и 2) что по требованію защиты голосованіе должно было производиться открыто, въ опредѣленномъ жребіемъ порядкѣ.

И вотъ слѣдствіе объявляется законченнымъ; моментъ разгадки, казалось, наступилъ. Всѣ напряженно ищутъ Стаіена, главное орудіе подкупа; на бѣду его не оказывается налицо. Обвинитель — все тотъ же Каннуцій — ничего не имѣетъ противъ его отсутствія; очевидно, онъ не имѣлъ основанія разсчитывать на его голосъ. Другое дѣло — защитникъ: будучи въ то же время народнымъ трибуномъ (очень неудобное совмѣстительство, какъ видно отсюда), онъ приказываетъ предсѣдателю послать за Стаіеномъ, подъ конецъ самъ за нимъ отправляется... къ чему такая заботливость? въ интересахъ ли правосудія, или только въ интересахъ подсудимаго? — Но вотъ, наконецъ, Стаіена приводятъ; начинается голосованіе — по требованію защиты, открытое. Среди первыхъ приходится подавать голосъ Стаіену — всеобщее напряженіе достигаетъ крайнихъ предѣловъ... Его приговоръ: condemno. Всѣ точно громомъ поражены: какъ, Стаіенъ, на головѣ котораго сосредоточены были всѣ подозрѣнія о подкупѣ, подалъ голосъ противъ Оппіаника? Но кто же тогда его подкупилъ? Неужели Клуенцій? Но почему же тогда именно защита требовала его присутствія?.. Среди всеобщихъ криковъ голосованіе продолжается; его результатъ: 17 голосовъ противъ подсудимаго, пять — за него, 10 — въ пользу вторичнаго разбирательства. Итакъ, большинствомъ 17 голосовъ изъ 32 подсудимый былъ осужденъ, т.-е. минимальнымъ законнымъ числомъ; будь противъ подсудимаго

однимъ голосомъ меньше—осужденіе состояться бы не могло. Неужели въ этомъ знаменательномъ численномъ отношеніи виновата случайность, а не разумная и разсчетливая воля человѣка?—Стали присматриваться къ составу той группы, которая, со Стаіеномъ во главѣ, обвинила Оппіаника: всѣ присяжные съ сомнительной репутаціей оказались въ ней. Тутъ казалось, всѣ сомнѣнія были устранены. *Подкупленный судъ обвинилъ Оппіаника—значитъ, онъ былъ подкупленъ Клуенціемъ;* противъ этого яснаго, простого, логическаго вывода никакія возраженія не казались возможными.

IV.

Скандальный исходъ суда надъ Оппіаникомъ въ Юніевой комиссіи сыгралъ роль искры, брошенной въ складъ пороха. Сенаторскіе суды, какъ мы уже видѣли, не пользовались расположеніемъ народа; агитація противъ этого дѣтища суллиной реакціи велась довольно дѣятельно, и Квинкцій въ качествѣ народнаго трибуна былъ призваннымъ главой демократической оппозиціи. А тутъ къ политическому мотиву присоединялся и личный: Квинкцій былъ разбитъ въ лицѣ своего кліента, и былъ разбитъ—этого онъ скрывать отъ себя не могъ—благодаря своему собственному чрезмѣрному усердію: оставь онъ тогда Стаіена,—обвиненіе не получило бы требуемаго большинства голосовъ. Теперь его роль какъ защитника была сыграна: но народнымъ трибуномъ онъ оставался и имѣлъ въ качествѣ таковаго полную возможность перенести дѣло изъ суда въ народную сходку. Конечно, спасти Оппіаника онъ этимъ не могъ (въ Римѣ приговоры суда присяжныхъ ни обжалованію, ни кассаціи не подлежали), но онъ могъ разжечь до огромныхъ размѣровъ пламя ненависти противъ сенаторскихъ судовъ—и онъ это сдѣлалъ. Въ продолженіе четырехъ лѣтъ «Юніевъ судъ» былъ центромъ всеобщаго вниманія; это была настоящая римская дрейфусіада, прекратить которую удалось не иначе, какъ пожертвовавъ сенаторскими судами вообще.

Вотъ прежде всего какъ состоялось—по словамъ Цицерона—перенесеніе этой дрейфусіады на политическую почву (§§ 77—79):

„Лишь только Оппіаникъ былъ осужденъ, Л. Квинкцій, одинъ изъ первыхъ тогдашнихъ демагоговъ, прекрасно умѣвшій пользоваться толками людей и подлаживаться подъ настроеніе собиравшейся въ сходкахъ толпы, рѣшилъ, что ему представился прекрасный случай увеличить свою популярность на счетъ сенаторскихъ судовъ, которые, какъ онъ замѣчалъ, перестали пользоваться довѣріемъ народа. Состоялась сходка, бурная и внушительная, за ней другая, затѣмъ еще нѣсколько; народный трибунъ громко утверждалъ, что судьи дали себя подкупить, чтобы произнести невиновному человѣку обвинительный приговоръ, говорилъ, что отнынѣ никто не обезпеченъ, что нѣтъ болѣе правосудія, что нѣтъ возможности жить въ безопасности тому, у кого есть богатый врагъ. Его слушатели, не имѣвшіе понятія о самомъ дѣлѣ, никогда не видавшіе Оппіаника, подумали, что и взаправду прекрасный и добродѣтельный человѣкъ былъ погубленъ путемъ подкупа; ихъ подозрительность разыгралась, и они стали требовать, чтобы дѣло было предоставлено имъ, чтобы всѣ участвовавшіе въ немъ были преданы ихъ суду. Подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ условій—неизвѣстности, которой до тѣхъ поръ была покрыта для народа не только жизнь, но и имя Оппіаника; возмутительнаго подозрѣнія, что за деньги былъ осужденъ невинный; безнравственности Стаіена и подлости нѣкоторыхъ другихъ похожихъ на него судей, служившей подтвержденіемъ тому подозрѣнію; наконецъ, дѣятельнаго участія, которое принималъ въ этомъ дѣлѣ Л. Квинкцій, обладавшій, помимо своей высокой власти, и всѣми личными качествами, которыя дѣйствуютъ на настроеніе толпы—подъ вліяніемъ, повторяю, всѣхъ этихъ условій бурное пламя народной ненависти и позора окружило тотъ судъ. Я помню, какъ въ самый разгаръ этого пламени въ него былъ брошенъ Г. Юній, предсѣдатель того суда, и какъ этотъ человѣкъ, занимавшій раньше должность эдила, всѣми считавшійся почти что преторомъ, вынужденъ былъ уступить не убѣжденіямъ, а крику своихъ противниковъ и покинуть не только форумъ, но и государство".

Этотъ *Юній*, предсѣдатель продажнаго суда, сдѣлался естественно первой жертвой народной ненависти; судимъ онъ былъ, однако, не въ уголовной коммиссіи, а по дореформеннымъ по-

20*

рядкамъ въ *народномъ судѣ* подъ предсѣдательствомъ народнаго трибуна, того же Квинкція, который былъ такимъ образомъ и обвинителемъ и предсѣдателемъ суда. Этотъ народный трибунскій судъ фактически вышелъ изъ употребленія со времени реформы уголовнаго судопроизводства, поведшей къ учрежденію коммиссій присяжныхъ; но юридически онъ отмѣненъ не былъ, и иронія исторіи заключалась въ томъ, что въ нашемъ 74 г. этотъ дореформенный, покоящійся на *розыскномъ* началѣ трибунскій судъ показался демократической партіи болѣе надежнымъ блюстителемъ правосудія, чѣмъ построенный на *состязательномъ* принципѣ судъ присяжныхъ.

Обвинялся Юній фактически во взяточничествѣ; но такъ какъ его непосредственно въ этомъ уличить нельзя было, то формальное обвиненіе было построено на двухъ формальныхъ прегрѣшеніяхъ Юнія: 1) что онъ уклонился отъ присяги (это— темный для насъ и повидимому маловажный пунктъ) и 2) что онъ неправильно произвелъ дополнительную жеребьевку. Второе—главное. Среди попавшихъ путемъ дополнительной жеребьевки въ составъ присяжныхъ находился и нѣкій сенаторъ *Фалькула*; онъ, такимъ образомъ, прослушалъ только конецъ слѣдствія и имѣлъ поэтому полное основаніе, при постановленіи приговора, присоединить свой голосъ къ тѣмъ, которые требовали вторичнаго разбирательства («non liquet»). Ко всеобщему удивленію онъ подсудимаго обвинилъ. Поинтересовались подробностями жеребьевки, двинувшей Фалькулу въ составъ присяжныхъ; потребовали отъ городского претора предъявленія общаго списка присяжныхъ—а городскимъ преторомъ былъ тогда Верресъ—и вотъ, въ томъ спискѣ *имени Фалькулы не оказалось.*—Это послѣднее открытіе подтвердило всѣ имѣвшіяся противъ Юнія подозрѣнія: очевидно онъ нарочно, путемъ подтасовки, провелъ въ присяжные этого продажнаго субъекта Фалькулу, чтобы заручиться лишнимъ обвинительнымъ голосомъ.—Я долженъ прибавить, что имя Верреса было тогда еще незапятнаннымъ: заклеймившій его навѣки процессъ состоялся лишь 4 года спустя. Подозрѣніе, что Верресъ попросту *стеръ* въ своемъ общемъ спискѣ имя Фалькулы, не могло поэтому возникнуть; во всемъ виноватымъ показался Юній, онъ и былъ осужденъ. Мало того: въ виду размѣровъ, которые приняла агитація Квинкція, сенатъ счелъ своимъ долгомъ вмѣшаться: чтобы хоть нѣсколько успокоить народъ, онъ уполномочилъ консуловъ внести въ народное собраніе проектъ чрезвычайной слѣдственной коммиссіи, „буде найдутся люди, причастные подкупу уголовнаго суда“.

Шумъ, поднятый процессомъ Юнія, совершенно почти заглушилъ другой, состоявшійся одновременно съ нимъ процессъ—процессъ гражданскій, въ которомъ истцомъ былъ только что осужденный Оппіаникъ, отвѣтчикомъ—Стаіенъ, а предметомъ иска—640.000 сестерціевъ, полученныхъ Стаіеномъ отъ Оппіаника для того, чтобы... чтобы *примирить* съ нимъ Клуенція, какъ значилось оффиціально. Доблестный Стаіенъ не прочь былъ бы отпереться отъ полученія этой суммы, но его уличили съ помощью ловко устроенной засады, и ему пришлось ее выдать. Многихъ, впрочемъ, уже тогда поразила странность этой цифры—640.000: почему не круглая сумма, не 600.000 или 700.000? почему именно сумма въ шестьсотъ *сорокъ* тысячъ, съ ея соблазнительно легкой дѣлимостью на 16, т.-е. на требовавшійся для оправданія минимумъ голосовъ?—Но Юнію и его суду этотъ эпизодъ не помогъ: его мало кто замѣтилъ, а кто замѣтилъ, тотъ большого значенія ему не приписалъ. Что-жъ значитъ, Стаіенъ получилъ взятку и отъ Оппіаника и отъ Клуенція; съ него станется. На этой точкѣ зрѣнія стоялъ м. пр. и Цицеронъ еще въ 70 г.

Такъ-то среди всеобщаго волненія кончился 74 г.; наступилъ годъ ужасовъ—73. Надобно знать, что по таинственнымъ вычисленіямъ астрологовъ и вѣщателей роковымъ для Рима долженъ было сдѣлаться тотъ годъ, которымъ кончился 10-й «вѣкъ» (saeculum, по 110 лѣтъ каждый) послѣ паденія Трои (1183 г.) т.-е. 83 г.; когда въ этомъ году дѣйствительно въ междоусобной войнѣ между Суллой и маріанцами сгорѣлъ капитолійскій храмъ, то въ этомъ уничтоженіи главной святыни государства увидѣли подтвержденіе грознаго предвѣщанія и доказательство предстоящей гибели; когда же 83 г. миновалъ, то было рѣшено, что гибель наступитъ не вдругъ, а въ три послѣдовательныхъ удара съ десятилѣтними промежутками. Такъ вотъ теперь насталъ годъ второго удара—ждать его пришлось недолго. Очагомъ Рима былъ храмъ Весты съ его священнымъ

неугасимымъ огнемъ, охраняемымъ чистыми дѣвственницами Весталками; и вотъ въ этомъ 73 г. этотъ священный огонь потухъ. Стали доискиваться причины; очевидно, богиня разгнѣвалась; очевидно, ея жрицами былъ нарушенъ обѣтъ цѣломудрія. Этому имѣлись и другія улики; состоялся судъ надъ заподозрѣнными Весталками. Уличеніе въ «инцестѣ» грозило Весталкамъ страшной карой: чтобы умилостивить гнѣвъ оскорбленной богини, онѣ должны были заживо быть зарыты въ землю. Но Весталки были дочерьми знатнѣйшихъ родовъ, судъ былъ свой, понтификальный—обвиненныя были оправданы. Это значило, что богинѣ Вестѣ было отказано въ требуемомъ ею удовлетвореніи,—а стало быть, что ея гнѣвъ съ удвоенной силой тяготѣлъ надъ городомъ. Увѣренность въ этомъ увеличила бодрость домашнихъ враговъ Рима—рабовъ; отвѣтомъ на оправданіе Весталокъ было *возстаніе Спартака*.

Всѣ эти ужасы отвлекли на время вниманіе народа отъ Юніева суда: консулы 73 г. нашли возможнымъ не вносить въ народное собраніе того сенатскаго проекта слѣдственной коммиссіи по дѣлу о Юніевомъ судѣ, о которомъ рѣчь была выше. Но это было не успокоеніемъ, а только временнымъ заглушеніемъ боли; когда годъ ужасовъ прошелъ, она опять дала знать о себѣ: по настоянію демократической оппозиціи, консулы 72 г., наконецъ, внесли сенатскій проектъ. Предполагалось учредить чрезвычайную слѣдственную *коммиссію для разбора всего дѣла о подкупѣ Юніева суда*; въ ея составъ должны были, безъ сомнѣнія, войти кромѣ сенаторовъ и представители другихъ сословій. Первой ея жертвой оказался бы, разумѣется, предсѣдатель, Г. Юній. Положимъ, онъ былъ уже осужденъ; но, во-первыхъ, послѣдствіемъ того осужденія былъ только штрафъ, а главное—онъ былъ осужденъ не за взяточничество, а за нарушеніе процессуальныхъ формъ, такъ что правило ne bis in idem не находило себѣ здѣсь примѣненія. Тѣмъ не менѣе нельзя было не признать, что эта дистинкція была чисто юридическая; по существу все-таки выходило, что учреждается судъ надъ осужденнымъ уже человѣкомъ. Когда, поэтому, проектъ былъ внесенъ, разыгралась чисто римская сцена. Явился самъ Г. Юній, съ неостриженными волосами, съ отрощенной бородой и въ нарядѣ скорбящаго, со своимъ малолѣтнимъ сыномъ на рукахъ;

мальчикъ со слезами взмолился къ народу, прося о пощадѣ для своего и безъ того уже несчастнаго отца. Народъ расчувствовался и—какъ говоритъ Цицеронъ—„съ громкими криками, окруживъ безпорядочной толпой кресло магистрата, потребовалъ, чтобы о предполагаемой коммиссіи и касающемся ея законопредложеніи не было болѣе рѣчи“.

Это было для демократической оппозиціи пораженіемъ, и никто въ этомъ пораженіи не былъ такъ виноватъ, какъ Квинкцій: не поторопись онъ въ 74 г. судомъ надъ Юніемъ—онъ получилъ бы теперь просторъ для гораздо болѣе дѣйствительнаго суда. Дѣло впрочемъ еще не было испорчено: народъ вѣдь не оправдалъ Юнія, а только пожалѣлъ его, такъ что преюдиціальнаго въ этомъ его состраданіи не было ничего; можно было смѣло, не смущаясь крушеніемъ сенатскаго проекта, продолжать начатое въ 74 г. дѣло противъ «юніанцевъ». Ближайшимъ объектомъ, послѣ самого Юнія, былъ *Фалькула:* Юній оттого и былъ осужденъ, что онъ путемъ неправильной жеребьевки ввелъ въ коммиссію Фалькулу съ цѣлью обвиненія Оппіаника: естественнымъ продолженіемъ было привлеченіе къ отвѣтственности самого Фалькулы. Онъ и былъ привлеченъ, но не передъ народомъ — Квинкція въ числѣ трибуновъ давно уже не было—а въ уголовной коммиссіи: обвиненіе касалось, какъ и въ судѣ надъ Юніемъ, формальнаго прегрѣшенія—что онъ былъ присяжнымъ не въ очередь. Доказательствомъ и здѣсь долженъ былъ служить составленный Верресомъ общій списокъ присяжныхъ, но къ этому времени честность Верреса успѣла стать подозрительной — стали извѣстны его многочисленныя злоупотребленія за годъ его городской претуры (74 г.), да и его хозяйничанье въ Сициліи (въ 73 г.) было таково, что сенатъ счелъ нужнымъ отправить ему туда преемника, котораго только война со Спартакомъ задержала въ Италіи. Судьи не рѣшились осудить человѣка на основаніи столь ненадежнаго документа; Фалькула былъ оправданъ.—Тогда враги Юніева суда обвинили его вторично, въ другой коммиссіи и по другому преступленію — а именно въ полученіи взятки въ 50.000 сест. съ цѣлью осужденія обвиняемаго. Но и эта попытка не увѣнчалась успѣхомъ: Фалькула былъ вторично оправданъ.

Это было худо; оправданіе Фалькулы было преюдиціемъ для всѣхъ дальнѣйшихъ такого же рода судовъ, отъ которыхъ слѣдовало такимъ образомъ воздержаться. Но нѣтъ худа безъ добра: оправдали вѣдь Фалькулу сенаторскіе суды, тѣ же, которые раньше осудили Оппіаника; это оправданіе можно было, поэтому, прекрасно эксплуатировать противъ сенаторскихъ судовъ вообще, между тѣмъ какъ въ невиновности Фалькулы оно никого не убѣдило. Онъ продолжалъ ходить замаранный подозрѣніемъ, что онъ за 50.000 сест. продалъ свою совѣсть и жизнь невиннаго человѣка; это сказалось между прочимъ въ 69 г. въ гражданскомъ процессѣ нѣкоего А. Цецины,—интересномъ для насъ тѣмъ, что въ немъ повѣреннымъ истца выступалъ Цицеронъ. Дѣло ничего общаго не имѣло съ дѣломъ юніанцевъ, кромѣ одного случайнаго обстоятельства, что въ числѣ свидѣтелей противной стороны находился нашъ Фалькула. Цицерону необходимо было замарать этого свидѣтеля, и онъ сдѣлалъ это слѣдующимъ манеромъ... не знаю, насколько допустимымъ съ *этической* точки зрѣнія, но съ *эстетической* точки зрѣнія—блистательнымъ. Дѣло касалось одного спорнаго имѣнія; и вотъ, когда Фалькула представился суду въ качествѣ сосѣда отвѣтчика, Цицеронъ предложилъ ему естественный и на видъ безобидный вопросъ, сколько тысячъ шаговъ (milia passuum) его имѣніе отстоитъ отъ Рима. Фалькула, не подозрѣвая коварства, отвѣтилъ: „безъ малаго пятьдесятъ тысячъ". Но едва успѣлъ онъ произнести роковую цифру, какъ въ публикѣ раздался смѣхъ и ехидные крики „нѣтъ, полностью!"—и свидѣтельство Фалькулы было заранѣе потоплено.

Вернемся, однако, къ непосредственнымъ послѣдствіямъ процессовъ Фалькулы. Обвинять его сообщниковъ прямо во взяточничествѣ было безцѣльно — объективныя улики противъ нихъ были еще слабѣе, чѣмъ противъ него. Но можно было окольнымъ путемъ достигнуть того же дѣйствія. Я уже сказалъ, что среди осудившихъ Оппіаника юніанцевъ находились субъекты довольно сомнительной репутаціи, провинившіеся кто въ одномъ, кто въ другомъ проступкѣ; вотъ въ этихъ-то проступкахъ ихъ можно было обвинить, при чемъ—въ силу римскаго обычая подробно развивать въ обвинительныхъ рѣчахъ такъ наз. probabile ex vita—обвинитель получилъ бы полный просторъ говорить о судѣ надъ Оппіаникомъ и о полученной отъ Клуенція взяткѣ, а въ случаѣ осужденія подсудимаго, очень вѣроятнаго, получилось бы впечатлѣніе, что осудили его между прочимъ, если не главнымъ образомъ, за эту взятку.—Такъ и было сдѣлано. Одинъ за другимъ были привлечены къ отвѣтственности и осуждены — Стаіенъ, Бульбъ, Гутта, Попилій, Септимій... кто за подстрекательство къ мятежу, кто за грабежи въ провинціи, кто за незаконные маневры при соисканіи должности; но каждый разъ судьямъ и публикѣ расписывалась потрясающая картина проданнаго за взятку Оппіаника, каждый разъ обвинительные вердикты присяжныхъ косвенно подтверждали въ глазахъ народа правильность этой картины. Благодаря этому искусному маневру создалась противъ юніанцевъ цѣлая сѣть если не юридическихъ, то нравственныхъ преюдиціевъ; когда судился Септимій, эта сѣть была уже такъ густа, что судьи, опредѣляя размѣръ причитающагося съ подсудимаго штрафа (при такъ наз. litis aestimatio), допустили также и статью, гласившую «за полученную въ должности судьи взятку»—создавая такимъ образомъ уже почти что юридическое praejudicium.

Это случилось еще въ 72 г.; о событіяхъ 71 г. мы свѣдѣній не имѣемъ—вѣроятно, онъ былъ заполненъ агитаціей противъ сенаторскихъ судовъ; несомнѣнно, что въ этой агитаціи одно изъ первыхъ мѣстъ принадлежало обстоятельному разбору постыдныхъ дѣяній юніанцевъ.

Наконецъ, наступилъ годъ искупленія—70. Ужасы домашнихъ войнъ прекратились; оба спасителя Рима, Помпей и Крассъ, заняли консульскія кресла; дѣло о грабителѣ Сициліи, Верресѣ, кончилось его добровольнымъ удаленіемъ въ изгнаніе; впервые послѣ Суллы было избрано двое цензоровъ, чтобы очистить общину и сенатъ и вновь поручить ихъ милости боговъ; наконецъ — и это было главное — сенаторскіе суды были упразднены и замѣнены судами всесословными, допускавшими въ составъ присяжныхъ по одинаковому числу представителей всѣхъ трехъ сословій. Этимъ судебный вопросъ былъ, казалось, рѣшенъ: правда, мелкія поправки дѣлались и впослѣдствіи, но пока въ Римѣ существовалъ вообще судъ присяжныхъ, этимъ судомъ былъ всесословный судъ 70 г. На-

родъ относился къ нему съ полнымъ довѣріемъ; когда отецъ поэта Горація, родившагося около того времени, хотѣлъ указать своему сыну хорошаго человѣка, онъ указывалъ ему на одного изъ присяжныхъ всесословнаго суда.

При такихъ обстоятельствахъ дѣлу юніанцевъ предвидѣлся скорый конецъ. Правда, Цицеронъ въ своихъ рѣчахъ противъ Верреса мѣстами еще ссылается на него: „я объясню римскому народу—говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ (Actio I, 38)—почему, когда сенаторъ Септимій былъ осужденъ, съ него взыскали штрафъ также и за полученную имъ въ должности судьи взятку;—почему въ процессѣ Атилія Бульба... было доказано, что онъ, будучи членомъ той коммиссіи, торговалъ своей совѣстью; почему нашлись сенаторы, вынимавшіе въ городскую претуру Верреса жребій съ тѣмъ, чтобы осудить человѣка, съ дѣломъ котораго они не были знакомы (намекъ на Фалькулу); почему отыскался сенаторъ, который, какъ судья, получилъ въ одномъ и томъ же процессѣ деньги и отъ подсудимаго съ тѣмъ, чтобы раздѣлить ихъ между судьями, и отъ обвинителя съ тѣмъ, чтобы вынести обвинительный приговоръ“ (намекъ на Стаіена). Но дѣло Верреса слушалось еще въ сенаторскомъ судѣ, въ качествѣ одного изъ послѣднихъ; съ установленіемъ новыхъ судовъ и дѣло юніанцевъ должно было потерять эту сторону своего интереса.

Равнымъ образомъ мы и въ цензорскихъ приговорахъ, состоявшихся въ 70 и 69 гг., можемъ видѣть только желаніе покончить съ прошлымъ. Набранный Суллой сенатъ сильно нуждался въ очисткѣ, да и вообще законъ предоставлялъ цензорамъ право клеймить, кого они считали этого заслуживающимъ, причемъ, однако, это ихъ клеймо никакихъ другихъ послѣдствій для заклейменнаго не имѣло. Они воспользовались этимъ правомъ между прочимъ и по отношенію къ нѣкоторымъ юніанцамъ, мотивируя свой приговоръ тѣмъ, что они получили взятку ради осужденія невиннаго; состоявшіеся по дѣлу юніанцевъ нравственные преюдициі давали имъ на это, казалось, нравственное же право, а въ другомъ они при исполненіи своей безотвѣтственной должности не нуждались.

Еще можно упомянуть, хотя и скорѣе въ видѣ курьеза, о томъ, что отецъ одного изъ юніанцевъ, обходя наслѣдствомъ этого своего нелюбимаго сына, мотивировалъ въ завѣщаніи свое рѣшеніе тѣмъ, что этотъ послѣдній далъ себя подкупить въ должности судьи. Характеръ курьеза это завѣщаніе получило благодаря тому, что составившій его строгій отецъ самъ былъ исключенъ изъ сената цензорами 70 г.; все же оно лишній разъ доказывало безславіе, тяготѣвшее надъ юніанцами.

А затѣмъ ихъ дѣлу оставалось только сойти съ арены. Его роль была сыграна, и сыграна успѣшно: сенаторскіе суды пали главнымъ образомъ подъ гнетомъ позора, которымъ ихъ покрылъ процессъ Оппіаника. Теперь новый, всесословный судъ былъ введенъ, демократія торжествовала побѣду надъ сулланой реакціей. Назрѣвали новыя задачи: надлежало отбить море у пиратовъ, востокъ у Митридата; слава Помпея была въ своемъ зенитѣ — право, пора было предать забвенію злополучную ссору Клуенція съ Оппіаникомъ. Забылъ о ней Квинкцій, нашедшій въ пурпуровой тогѣ эдила утѣшеніе за нанесенный ему въ его бытность трибуномъ афронтъ; забылъ о ней Клуенцій, весь погрузившійся въ свои муниципальныя дѣла; забылъ о ней и самъ Оппіаникъ, вкусившій могильный покой вскорѣ послѣ своего осужденія. Одна только не забыла о ней мать Клуенція—ларинская тигрица Сассія; и вотъ въ то время, когда форумъ оглашали имена Помпея и пиратовъ, Лукулла и Митридата—дѣло Оппіаника вновь всплываетъ на поверхность.

V.

Мы оставили нашихъ ларинскихъ героевъ тотчасъ послѣ осужденія Оппіаника, когда центръ интереса быстро перемѣстился, и бывшіе судьи превратились въ подсудимыхъ. Можетъ показаться страннымъ, что во всей бурѣ, которая поднялась въ Римѣ къ исходу семидесятыхъ годовъ, особа Клуенція не была ни разу затронута: Юній, Фалькула, Стаіенъ, столько другихъ обвинялось въ полученіи отъ Клуенція взятки, цѣлая коммиссія учреждалась для разбора дѣла о ларинскихъ милліонахъ, а предполагаемаго источника всего этого золотого ручья никто не думалъ касаться. Этотъ странный фактъ имѣлъ

свою еще болѣе странную, на нашъ взглядъ, причину: дѣло въ томъ, что проступокъ, въ которомъ только и можно было обвинить Клуенція, никакому суду подсуднымъ не былъ. Обвинить его можно было лишь въ томъ, что онъ предложилъ взятку семнадцати юніанцамъ, чтобы добиться отъ нихъ обвинительнаго вердикта; это было очень скверно, но преслѣдованію по закону не подлежало, такъ какъ... Клуенцій былъ не сенаторомъ, а всадникомъ. Римлянамъ не легко было отрѣшиться отъ принципа, что всякое даяніе есть благо; исключенія они допускали лишь медленно и исподволь, для кандидатовъ, для магистратовъ, для сенаторовъ; до всадниковъ тогда очередь еще не дошла. И вотъ, въ то время какъ сенаторы-юніанцы дрожали предъ страшилищемъ уголовнаго обвиненія, Клуенцій могъ спокойно, закутавшись въ свой всаднической плащъ, заниматься своими ларинскими дѣлами. Правда, этотъ плащъ спасалъ его только отъ суда, а не отъ цензорскаго приговора; цензоры 70 г., не связанные никакими законными кляузами, обратили вниманіе и на Клуенція и не обошли его своей nota. Но эта нота, какъ мы уже видѣли, никакихъ практическихъ послѣдствій не имѣла.

Нѣтъ, Клуенцій долго бы наслаждался невозмутимымъ покоемъ, если бы не его родная мать Сассія.

Эта замѣчательная женщина не покинула своего третьяго мужа въ его несчастіи; сопровождаемый ею и нѣкіимъ своимъ отпущенникомъ, С. Альбіемъ, Оппіаникъ нашелъ пристанище въ Фалернской области, у одного своего друга, Г. Квинкція (быть можетъ, родственника своего бывшаго защитника). Новѣйшіе толкователи Цицерона нашли странной эту вѣрность Сассіи: какъ это она, такъ легко позабывшая своего молодого, любимаго мужа Мелина и даже подарившая свою руку его убійцѣ, рѣшилась дѣлить невзгоды изгнанія съ пожилымъ уже Оппіаникомъ, женившимся на ней ради ея денегъ! Полагаютъ поэтому, что Цицеронъ значительно сгустилъ краски, рисуя портретъ Сассіи. Не берусь рѣшить этого вопроса, который къ тому же насъ прямо и не касается; но мнѣ вспоминается съ другой стороны, что по отзыву знатоковъ уголовная атмосфера — l'odeur du bagne — не лишена привлекательности для такихъ тигрицъ, какъ Сассія. Какъ бы то ни было, но Сассія живетъ въ имѣніи Квинкція со своимъ пожилымъ, хворымъ мужемъ, Оппіаникомъ, а тутъ же — молодой, здоровый отпущенникъ С. Альбій. Вѣрный рабъ Никостратъ доноситъ своему господину Оппіанику, что между его госпожей и Альбіемъ творится что-то неладное; вслѣдъ затѣмъ Оппіаникъ оставляетъ Фалернское имѣніе и отправляется подъ Римъ, гдѣ у него была снята дача; здѣсь его болѣзнь ухушается — кто говоритъ, отъ паденія съ лошади, кто — послѣ съѣденнаго куска хлѣба, поданнаго ему его другомъ Азелліемъ; нѣсколько дней спустя онъ умираетъ. Все это случилось еще въ 72 г.

О дальнѣйшемъ послушаемъ Цицерона (§ 176—178). Его описаніе интересно и съ юридической точки зрѣнія: оно рисуетъ намъ положеніе дознанія и предварительнаго слѣдствія въ ту эпоху, когда оно не лежало еще на обязанности государства, а было областью частной и, пожалуй, общественной иниціативы.

„Какъ видите, судьи, обстановка его смерти никакихъ уликъ не содержитъ; а если и содержитъ, то всѣ онѣ касаются семейнаго преступленія, о которомъ знаютъ лишь внутренніе покои дома. Но не успѣлъ онъ умереть, какъ его нечестивая жена уже начала строить козни своему сыну.

„Она рѣшила произвести домашнее слѣдствіе о смерти своего мужа. Она купила у врача А. Рупилія, который пользовалъ Оппіаника, нѣкоего раба Стратона — казалось, она брала примѣръ съ Клуенція, купившаго съ тою же цѣлью Діогена. Кутѣръ съ Клуенція, купившаго съ тою же цѣлью Діогена. Купивъ его, она объявила, что будетъ допрашивать этого Стратона, а затѣмъ и своего раба, какого-то Асклу; сверхъ того она у молодого Оппіаника потребовала на пытку того раба Никострата, за его чрезмѣрную, по ея мнѣнію, болтливость и преданность своему господину. Такъ какъ Оппіаникъ былъ въ то время почти мальчикомъ, и ему говорили, что допросъ долженъ обнаружить виновника смерти его отца, то онъ не осмѣлился перечить мачихѣ, хотя и считалъ того раба вѣрнымъ слугою своего покойнаго отца и своимъ. Затѣмъ Сассія приглашаетъ многихъ друзей и кунаковъ своего покойнаго мужа и своихъ, людей честныхъ и во всѣхъ отношеніяхъ почтенныхъ; самыя жестокія орудія пытки пускаются въ ходъ; но какъ ни старалась Сассія склонить рабовъ къ показаніямъ, то обнадеживаніемъ, то запугиваніемъ — благодаря участію столь

достойныхъ людей они остались на почвѣ истины и сказали, что ничето не знаютъ; на этомъ-то и пришлось, по требованію друзей, прекратить допросъ въ тотъ день.

„По прошествіи довольно продолжительнаго времени она созываетъ ихъ вновь; допросъ возобновляется; рабовъ подвергаютъ самымъ мучительнымъ истязаніямъ, какія только можно было придумать; понятые стали протестовать, едва будучи въ силахъ выносить это зрѣлище, но безчеловѣчная женщина продолжала свирѣпствовать, взбѣшенная тѣмъ, что задуманная ею тактика не давала ожидаемыхъ результатовъ. Наконецъ, когда и палачъ былъ уже утомленъ, да и самыя орудія пытки перестали служить, а она все еще не хотѣла угомониться, одинъ изъ понятыхъ, возвеличенный народомъ и украшенный многими добродѣтелями мужъ, заявилъ, что по его убѣжденію допросъ производится не съ тѣмъ, чтобы обнаружить истину, а съ тѣмъ, чтобы заставить допрашиваемыхъ дать лживыя показанія. Остальные къ этому мнѣнію присоединились; съ общаго согласія было рѣшено допросъ прекратить. Никостратъ былъ возвращенъ Оппіанику, сама же Сассія со своими рабами отправилась въ Ларинъ, огорченная мыслью, что теперь уже ничто не можетъ повредить ея сыну, когда противъ него нельзя было добыть не только достовѣрнаго доказательства, но даже призрачной улики, когда онъ избѣгъ не только открытыхъ покушеній своихъ враговъ, но даже тайныхъ козней своей матери.

Таковъ былъ допросъ 72 г.; результатовъ онъ не далъ никакихъ. Было это, какъ мы видѣли выше, непосредственно послѣ года ужасовъ; за нимъ послѣдовали менѣе тревожные годы, во время которыхъ дѣло юніанцевъ и, стало быть, имя Клуенція были въ устахъ у всѣхъ; наконецъ наступила цензора 70 г. съ ея строгими мѣрами противъ юніанцевъ, отъ которыхъ пострадалъ, какъ мы видѣли, и самъ Клуенцій; можно было надѣяться, что, подкрѣпленное этимъ вѣскимъ цензорскимъ приговоромъ, и уголовное обвиненіе будетъ имѣть успѣхъ. Да, но какое? въ подкупѣ суда? Въ немъ всѣ были убѣждены, но Клуенція, какъ мы видѣли, спасало его всадническое званіе: ни одинъ предсѣдатель уголовной комиссіи не далъ бы хода такой жалобѣ, какъ лишенной всякаго законнаго основанія. Нѣтъ, формально нужно было обвинить Клуенція въ другомъ

преступленіи, хотя бы и слабо обоснованномъ: предсѣдатель, вѣдь, въ разборъ дѣла по существу не входитъ, а спрашиваетъ лишь о формальной допустимости жалобы. А разъ ей данъ будетъ ходъ, остальное будетъ дѣломъ обвинителя: онъ слегка, для приличія, коснется содержанія формальнаго обвиненія, а затѣмъ весь нравственный центръ тяжести перенесетъ на вопросъ о подкупѣ Юніева суда, въ фактичности котораго были убѣждены всѣ... Конечно, при нашей практикѣ судоговоренія съ ея опредѣленными вопросами присяжнымъ такой маневръ ни къ чему не повелъ: вопроса о подкупѣ юніанцевъ предсѣдатель, въ виду его формальной недопустимости, не поставилъ бы, а на формально допустимый вопросъ пришлось бы поневолѣ отвѣтить отрицательно. Но въ Римѣ этихъ опредѣленныхъ вопросовъ не полагалось; присяжный отвѣчалъ огуломъ на все содержаніе обвиненія своимъ condemno, absolvo или non liquet, и такое сочетаніе реально сильнаго, но формально слабаго обвиненія съ формально сильнымъ, но реально слабымъ обѣщало хорошіе плоды.

Но для этого нужно было подыскать предлогъ для формально сильнаго обвиненія. Существовало подозрѣніе, что Оппіаникъ не естественною смертью умеръ, а былъ отравленъ ядомъ, изготовленнымъ Стратономъ, бывшимъ рабомъ врача Рупилія, и поднесеннымъ Оппіанику въ кускѣ хлѣба его другомъ Азеліемъ; къ сожалѣнію, домашнее слѣдствіе никакихъ данныхъ, подтверждающихъ это подозрѣніе, не обнаружило. Тѣмъ временемъ Оппіаникъ Младшій, естественный мститель за смерть своего отца, возмужалъ; Сассія, согласно программѣ покойника, выдала за него свою дочь и будущую наслѣдницу, молоденькую Аврію. Вскорѣ же—въ 69 г.—представился и случай подвергнуть раба Стратона новому и болѣе плодотворному допросу.

Этотъ Стратонъ, эксплуатируя свои медицинскія познанія, открылъ въ Ларинѣ на средства своей новой госпожи аптеку: понятно, однако, что онъ особой привязанности къ этой своей мучительницѣ не чувствовалъ и былъ не прочь стать на собственныя ноги, хотя бы и цѣною преступленія. И вотъ, въ то время какъ Сассія устраивала счастіе молодой четы—продолжаю словами Цицеорна (§ 179):

„нашъ медикъ Стратонъ произвелъ у нея кражу съ убій-

ствомъ; дѣло произошло такъ. Въ я домѣ находился шкафъ, содержавшій, какъ ему было извѣстно, добрую сумму денегъ и не мало золотыхъ сосудовъ. Однажды ночью онъ убилъ двухъ товарищей-рабовъ, воспользовавшись ихъ сномъ, и бросилъ ихъ трупы въ рыбный садокъ, а затѣмъ взломалъ шкафъ и унесъ... *(цифра пропала)* сестерціевъ и пять фунтовъ золота; его сообщникомъ былъ рабъ-подростокъ. На слѣдующій день кража обнаружилась: подозрѣніе плало на исчезнувшихъ рабовъ.

„Но вотъ люди обратили вниманіе на взломанный шкафъ; стали строить догадки, какъ могъ быть произведенъ взломъ: одинъ изъ друзей Сассіи вспомнилъ, что онъ видѣлъ недавно на какомъ-то аукціонѣ среди мелкой утвари маленькую серповидную пилу съ зубцами на обѣ стороны, посредствомъ которой легко могъ быть выпиленъ кусокъ стѣны шкафа. Обратились съ запросомъ къ аукціоннымъ агентамъ; оказалось, что пилу купилъ Стратонъ. Когда такимъ образомъ напали на слѣдъ преступленія и открыто былъ заподозрѣнъ Стратонъ, тотъ мальчикъ, его сообщникъ, оробѣлъ и во всѣмъ признался своей госпожѣ. Трупы въ рыбномъ садкѣ были найдены, Стратона арестовали и въ его лавкѣ нашли краденыя деньги, хотя и далеко не всѣ.

„Начинается слѣдствіе... о воровствѣ, конечно: другого подозрѣнія, вѣдь, не было. Или вы скажете, что послѣ взлома шкафа, послѣ похищенія денегъ, послѣ обнаруженія одной лишь ихъ части, послѣ убійства рабовъ начато было слѣдствіе о смерти Оппіаника? Да кто же вамъ повѣритъ? Да развѣ можно сочинить нѣчто менѣе правдоподобное? Вѣдь не говоря объ остальномъ: со времени смерти Оппіаника прошло уже три года!.. Такъ нѣтъ же: было назначено слѣдствіе о смерти Оппіаника, причемъ злопамятная женщина безъ всякаго разумнаго повода снова потребовала къ допросу того самаго Никострата. Молодой Оппіаникъ сначала не соглашался; но она пригрозила ему, что уведетъ свою дочь и лишитъ его наслѣдства, и въ концѣ концовъ онъ выдалъ жестокой женщинѣ своего преданнѣйшаго раба не для допроса, а на вѣрную мучительную казнь".

Этотъ разъ Сассія была благоразумнѣе: въ понятые были приглашены не именитые, почтенные люди, какъ въ прошлый

разъ, а толпа подневольныхъ кліентовъ, въ родѣ названнаго уже отпущенника и фаворита С. Альбія. Что въ дѣйствительности показали Стратонъ и Никостратъ, такъ и осталось неизвѣстнымъ; но протоколъ допроса, подписанный Альбіемъ и остальными, содержалъ вполнѣ откровенное признаніе въ изготовленіи, по наущенію Клуенція, яда для Оппіаника. Позднѣе люди дивились странной прямолинейности протокола; какъ это Стратонъ, допрашиваемый о воровствѣ, отвѣтилъ такъ неожиданно показаніями объ отравленіи? Но пособить дѣлу было уже невозможно: Никостратъ пропалъ безъ вѣсти; что же касается Стратона, то ларинская тигрица съ этимъ своимъ рабомъ поступила по-своему: она, говоритъ Цицеронъ (§ 187)

„своего раба Стратона велѣла распять, предварительно вырѣзавъ ему языкъ. Всѣ въ Ларинѣ объ этомъ знаютъ; обезумѣвшая женщина боялась не своей совѣсти, не ненависти своихъ земляковъ, не повсемѣстной дурной молвы, нѣтъ,—какъ бы не сознавая, что всѣ будутъ свидѣтелями ея злодѣянія, она боялась обвинительнаго приговора изъ устъ своего умирающаго раба!"

Ихъ присутствіе не требовалось болѣе—напротивъ, было скорѣе стѣснительно: имѣлся протоколъ, содержавшій ихъ показанія. Такимъ образомъ, все нужное для формально-сильнаго обвиненія было налицо. Данныя для т. наз. probabile ex vita добыть было нетрудно: лицо вліятельное, какимъ былъ Клуенцій, не могло не имѣть завистниковъ и враговъ, готовыхъ вредить ему своими правильными или лживыми показазанія. Конечно, для формы всѣмъ долженъ былъ руководить молодой Оппіаникъ: его роль какъ мстителя за отца была самая благодарная. Теперь оставалось пригласить обвинителя изъ опытныхъ ораторовъ того времени: Оппіаникъ обратился къ молодому и дѣльному Т. Аттію. Все же эти переговоры и приготовленія заняли еще два года съ лишнимъ: только въ 66 г. могъ состояться послѣдній актъ ларинской драмы—*процессъ Клуенція*.

VI.

Но и противная сторона не оставалась въ бездѣйствіи: пока его мать Сассія готовилась нанести ему рѣшительный ударъ — Клуенцій заручился надежнымъ оплотомъ въ лицѣ тогдашняго претора, уже знаменитаго въ тѣ времена оратора Цицерона.

Это можетъ показаться страннымъ. Въ процессѣ Скамандра, открывшемъ собою всю нескончаемую серію уголовныхъ дѣлъ, которая прошла передъ нами — Цицеронъ былъ защитникомъ обвиняемаго, т.-е. противникомъ Клуенція; защита эта была неудачна, и читатель помнитъ, съ какимъ юморомъ Цицеронъ сумѣлъ отнестись къ этому легкому удару, нанесенному его репутаціи. Съ тѣхъ поръ онъ держалъ себя въ сторонѣ отъ дальнѣйшей уголовной эпопеи, но раздѣлялъ общее мнѣніе относительно Юніева суда. Это мнѣніе ему было на руку: будучи по всему своему прошлому противникомъ суллиной реакціи, онъ и самъ работалъ въ пользу упраздненія сенаторскихъ судовъ и введенія всесословнаго суда 70 г. Поэтому онъ и не стѣснялся, какъ мы видѣли, эксплуатировать безславіе юніанцевъ: доставалось отъ него осужденнымъ Стаіену и Бульбу, доставалось и оправданному Фалькулѣ.

Слѣдуетъ ли въ этомъ признать безповоротное, обязательное для него убѣжденіе?—Мы любимъ людей, которые на подобные вопросы отвѣчаютъ „да", будь они публицисты, адвокаты или простые смертные; Цицеронъ, однако, отвѣтилъ „нѣтъ". Ниже я приведу его собственную мотивировку этого отвѣта: это мѣсто въ высшей степени интересно для исторіи адвокатской этики. Онъ былъ преторомъ; консулатъ былъ впереди; его слава все росла, но росла благодаря его собственной неутомимой дѣятельности. Отдыхать было нельзя: предложеніе Клуенція было соблазнительно не своей матеріальной стороной—я уже сказалъ, что дѣятельность повѣренныхъ, patroni, была безвозмездной, Цицеронъ же даже по отзыву его враговъ стоялъ выше всякаго подозрѣнія въ любостяжаніи—а всякаго рода выгодами болѣе идеальнаго характера. Съ одной стороны, за Клуенціемъ стоялъ весь его муниципій Ларинъ — мы уже знакомы съ этой «политикой родной колокольни»: всѣ ларинаты въ лицѣ Клуенція предлагали себя Цицерону въ «кліенты», а расширеніе кліентелъ было для государственнаго дѣятеля самымъ вѣрнымъ средствомъ пріобрѣсть вліяніе—особенно для человѣка небогатаго, какимъ былъ Цицеронъ, и не могущаго добиваться популярности съ помощью такъ наз. «щедротъ» (largitiones). Съ другой стороны, оратору представлялся случай разъ на всегда покончить со скандальными слухами, ходившими относительно Юніева суда, съ этой «римской дрейфусіадой», какъ я назвалъ ее выше. Правда, заступаясь за виновнаго, Цицеронъ рисковалъ нанести сильный ударъ своей славѣ; но былъ ли Клуенцій виновенъ? До сихъ поръ убѣдительныхъ уликъ противъ него представлено не было; его дѣломъ всѣ занимались скорѣе мимоходомъ, эксплуатируя народные слухи и руководствуясь поговоркой «нѣтъ дыма безъ огня». Болѣе внимательное изученіе дѣла убѣдило Цицерона — быть можетъ, въ полной невиновности Клуенція, и во всякомъ случаѣ въ томъ, что честный ораторъ могъ, не рискуя уронить себя, взять его подъ свою защиту.

Итакъ, противъ Т. Аттія, представителя обвиненія, выступилъ защитникомъ обвиняемаго Цицеронъ.

Теперь постараемся представить себѣ съ возможной жизненностью движеніе Клуенціева дѣла. Опять засѣдаетъ, какъ и въ дѣлѣ Оппіаника, уголовная коммиссія по дѣламъ объ отравленіи, quaestio perpetua de veneficiis; опять ея предсѣдатель — quaesitor изъ бывшихъ эдиловъ, нѣкто Кв. Воконій Назонъ; но члены коммиссіи уже другіе. Тогда ими были 32 сенатора; теперь, послѣ судебной реформы 70 года, мы имѣемъ присяжныхъ-представителей всѣхъ трехъ сословій, по двадцати пяти изъ каждаго—сенаторскаго, всадническаго и третьяго.

Дѣло происходитъ на форумѣ, подъ открытымъ небомъ. Присяжные сидятъ на своихъ скамьяхъ; впереди всѣхъ на особыхъ креслахъ предсѣдатель суда, рядомъ съ нимъ — приглашенные имъ лично его совѣтники-юристы (не забудемъ, что самъ предсѣдатель юристомъ не былъ и поэтому безъ совѣта людей свѣдущихъ обойтись не могъ). Тамъ же, вѣроятно, и многіе другіе магистраты и сенаторы, поскольку они пришли

вообще изъ интереса къ дѣлу и не намѣрены своимъ присутствіемъ поддерживать ту или другую сторону. Тамъ же и секретарь (scriba) съ огромной кучей всякаго рода документовъ, среди которыхъ не трудно различить, по множеству покрывающихъ ихъ печатей, оба протокола домашняго допроса Сассіи; тамъ же и судебные пристава (praecones) и нѣсколько служителей, сторожей и курьеровъ. Затѣмъ, съ одной стороны «скамьи обвиненія»; тутъ мы легко различаемъ самого обвинителя, молодого Оппіаника, быть можетъ—его мачиху Сассію, но во всякомъ случаѣ — его повѣреннаго Т. Аттія; тамъ же изрядное число сенаторовъ и всадниковъ, пришедшихъ своимъ присутствіемъ поддержать обвиненіе (advocati); среди нихъ одинъ или нѣсколько юрисконсультовъ, явившихся по просьбѣ Аттія помогать ему своей юридической опытностью—онъ, вѣдь, хотя и повѣренный, но не юристъ, а ораторъ (это въ Римѣ— двѣ различныя вещи); тамъ же, хотя и нѣсколько подаль, свидѣтели обвиненія, причемъ судебные пристава зорко наблюдаютъ, чтобы они не вступали въ сношенія съ обвинителемъ. Затѣмъ съ другой стороны—«скамьи защиты»; тутъ на первомъ планѣ самъ Клуенцій, котораго легко узнать по его — предписанному для подсудимыхъ—squalor, т.-е. небритой и нестриженной головѣ, блѣдности и нищенскомъ одѣяніи; съ нимъ рядомъ, ободряя его, его защитникъ Цицеронъ, красивый сорокалѣтній мужчина съ большимъ умнымъ лбомъ, съ живыми глазами, съ тонкими, дышащими ироніей губами; тутъ же и «адвокаты» защиты, а затѣмъ — оригинальная группа людей, такъ наз. «хвалители» (laudatores), пришедшіе дать лестное свидѣтельство о жизни подсудимаго. Среди нихъ выдаются депутаты отъ ларинской думы, затѣмъ—депутаты отъ сосѣднихъ муниципіевъ, Теана, Луцеріи, Бовіана и т. д.; ихъ хвалебные отзывы находятся у секретаря и будутъ имъ же прочитаны въ свое время, при чемъ сами они только вставаніемъ засвидѣльствуютъ свое авторство; пока же они дѣйствуютъ на публику однимъ только своимъ внушительнымъ присутствіемъ. За адвокатами и хвалителями сидятъ, тоже нѣсколько подаль, свидѣтели защиты. Наконецъ, все это собраніе со всѣхъ сторонъ окружено многочисленной толпой (corona); это—populus Romanus Quirites. Она сама нѣкогда судила Юнія; теперь она

пришла, зная, что будутъ судить этотъ ея судъ; настроеніе по отношенію къ защитѣ, поэтому, неособенно дружественное. Но среди римской рѣчи слышится также и оживленный осскій (самнитскій) говоръ: среди присутствующихъ — масса ларинатовъ, и они всѣ за Клуенція. Если бы дѣло дошло до скандала—«очистить мѣсто засѣданія» было бы невозможно: пришлось бы самому суду удалиться. Отъ ораторовъ потребуется, поэтому, кромѣ умѣнія, еще и тактъ. Впрочемъ, скандалъ не въ интересахъ публики: она рада послушать рѣчи ораторовъ, которые въ ту пору были ея первыми и лучшими учителями и знали это.

Открывъ засѣданіе, предсѣдатель Воконій убѣждается, прежде всего, въ наличности, какъ обвинителя Аттія (до Оппіаника ему, какъ предсѣдателю, нѣтъ дѣла) такъ и подсудимаго и его защитника; затѣмъ онъ производитъ перекличку присяжнымъ, чтобы убѣдиться, что они присутствуютъ въ достаточномъ числѣ—присутствія полнаго состава не требовалось. Такъ какъ отводъ присяжныхъ по требованію сторонъ состоялся уже раньше, то за перекличкой слѣдуетъ присяга. Это очень торжественный моментъ: присяжные окружаютъ трибуну (rostra), обращаются лицомъ къ форуму и его святынямъ и клятвенно обѣщаютъ судить нелицепріятно, по тщательномъ выслушаніи всѣхъ свидѣтелей, а въ случаѣ закрытой подачи голосовъ не выдавать ни своего, ни чужого голоса. Затѣмъ они вновь занимаютъ свои мѣста; послѣ маленькой паузы, предсѣдатель предоставляетъ слово обвинителю Т. Аттію.

Въ этомъ, дѣйствительно, заключалась особенность римскихъ порядковъ: на окончательномъ производствѣ пренія предшествовали слѣдствію, такъ что обоимъ противникамъ приходилось пользоваться еще нерасчищеннымъ матеріаломъ. Это разъ; а затѣмъ важно и слѣдующее. Чтенія обвинительнаго акта не полагалось: какъ присяжные, такъ и публика впервые изъ устъ обвинителя узнаютъ, въ чемъ дѣло. Обвинитель же этотъ — представитель не государства, а стороны: онъ не связанъ, подобно нашему прокурору, тѣми стѣснительными условіями, въ которыя ставитъ человѣка сознаніе его роли какъ государственнаго дѣятеля. — Рѣчь Аттія, поэтому, страстна и безпощадна. Клуенцій, прежде всего, виновенъ въ томъ, что под-

купилъ членовъ Юніева суда, чтобы заставить ихъ осудить невиновнаго Оппіаника. Въ этомъ и безъ того убѣждены всѣ; разсказавъ, какъ произошло дѣло, обвинитель приводитъ отдѣльные случаи, въ которыхъ сказалось это всеобщее убѣжденіе, начиная съ народнаго суда надъ самимъ Юніемъ, продолжая осужденіями отдѣльныхъ юніанцевъ, Стаіена, Бульба, Гутты, остальныхъ, коихъ имена давно стали бранными словами... и сенатъ, вѣдь, присоединился ко всеобщему убѣжденію въ своемъ проектѣ чрезвычайной слѣдственной комиссіи, и цензоры — въ своихъ приговорахъ, и частныя лица — въ своихъ духовныхъ завѣщаніяхъ, и что всего пикантнѣе, самъ Цицеронъ... Да, нынѣшній защитникъ Клуенція, тогда самъ публично заявлялъ, что Клуенцій подкупилъ Юніевъ судъ; можно себѣ представить, съ какимъ наслажденіемъ. Т. Аттій остановился на одномъ мѣстѣ изъ рѣчи противъ Верреса (Actio I § 38): „Я объясню римскому народу, почему, когда сенаторъ Септимій былъ осужденъ по обвиненію въ вымогательствѣ, съ него взыскали штрафъ также и за то, что онъ будучи судьей, далъ подкупить себя; почему въ процессѣ Бульба, который былъ осужденъ по обвиненію въ превышеніи власти, было доказано, что подсудимый, будучи членомъ уголовной комиссіи, торговалъ своею совѣстью; почему нашлись сенаторы, вынимавшіе жребій при городскомъ преторѣ Верресѣ съ тѣмъ, чтобы осудить человѣка, съ дѣломъ котораго они не были знакомы (Фалькула); почему явился сенаторъ, который, какъ судья, получилъ въ одномъ и томъ же процессѣ деньги и отъ подсудимаго съ тѣмъ, чтобы раздѣлить ихъ между судьями, и отъ обвинителя, чтобы вынести подсудимому обвинительный приговоръ (Стаіенъ)“. Хватитъ ли послѣ этого у защитника смѣлости утверждать, что Клуенцій не виновенъ въ подкупѣ суда? Врядъ ли; онъ воспользуется, скорѣе всего, удобной лазейкой, которую ему открываетъ законъ, и станетъ вамъ доказыватı, что Клуенцій не можетъ быть преслѣдуемъ за подкупъ присяжныхъ, такъ какъ онъ—всадникъ, а не сенаторъ. Что жъ, судьи, вашимъ дѣломъ будетъ рѣшить, желаете ли вы, чтобы и впредь богачи-всадники пользовались пробѣломъ нашего уголовнаго законодательства для совершенія гнусностей, а пока перейдемъ ко второму пункту.

Клуенцій не удовольствовался неправымъ осужденіемъ своего вотчима; ему нужна была его смерть. Вотъ, прежде всего, случаи изъ его жизни, доказывающіе, что онъ—склонный къ насиліямъ и неразборчивый въ своихъ средствахъ человѣкъ— въ ихъ достовѣрности вы убѣдитесь въ свое время, когда будутъ допрошены свидѣтели. Вотъ—другіе случаи, доказывающіе, что онъ и съ ядомъ обращаться умѣетъ: между прочимъ онъ пытался отравить нынѣшняго обвинителя Оппіаника Младшаго, на его свадебномъ пиршествѣ, но случайно стаканъ былъ перехваченъ другимъ, который и скончался отъ него. Отсюда видно, что Клуенцій былъ *способенъ* отравить своего вотчима; что онъ это въ дѣйствительности сдѣлалъ, видно и изъ обстоятельствъ его смерти, и изъ показаній свидѣтелей-рабовъ, протоколъ которыхъ съ законнымъ числомъ печатей приложенъ къ дѣлу.

Таковъ краткій эскизъ рѣчи обвинителя; прежде чѣмъ перейти къ допросу свидѣтелей, нужно было дать слово защитнику для отвѣтной рѣчи. Быть можетъ, это случилось не въ тотъ же день; судя по объему сохранившейся защитительной рѣчи, мы легко можемъ допустить, что рѣчь обвинителя съ чтеніемъ письменныхъ доказательствъ, съ перерывами, наконецъ — со вступительными формальностями заняла все первое засѣданіе, и что Цицерону пришлось отвѣчать лишь въ слѣдующій присутственный день. Его задача была не изъ легкихъ: противникъ не только раздавилъ подсудимаго подъ тяжестью позора Юніева суда, память о которомъ онъ такъ живо воскресилъ—онъ заранѣе подорвалъ довѣріе къ его защитнику, сославшись на его собственное прежнее отношеніе къ этому суду. Цицеронъ понялъ, что ему прежде всего слѣдуетъ побороть это враждебное къ нему настроеніе судей и публики; отказавшись отъ обычнаго, спокойнаго типа вступленій, онъ выбралъ ту его форму, которая у древнихъ называлась insinuatio; онъ началъ такъ:

„Рѣчь обвинителя, судьи, распадается на двѣ части: первая, въ которой онъ обнаруживаетъ наиболѣе самонадѣянности, имѣетъ основаніемъ враждебное настроеніе народа противъ Юніева суда, съ давнихъ уже поръ существущее; во второй онъ лишь ради формы робко и неувѣренно касается вопроса

объ отравленіи, благо настоящая комиссія учреждена законодателемъ именно для этого рода преступленій. Въ виду этого я рѣшилъ сохранить то же дѣленіе и въ своей защитительной рѣчи, посвящая одну ея часть тому враждебному настроенію, а другую—обвинительнымъ пунктамъ, обрабатывая каждую изъ нихъ такъ тщательно, чтобы никто не могъ заподозрить меня въ желаніи уклониться отъ обсужденія невыгоднаго обстоятельства путемъ замалчиванія, или въ стремленіи затопить его значеніе потокомъ фразъ.

„Размышляя, однако, о суммѣ труда, которой потребуетъ отъ меня та и другая часть, я нахожу, что одна—именно та, которая собственно подлежитъ вашему суду, имѣя содержаніемъ преступленіе, предусмотрѣнное законодателемъ при учрежденіи «комиссіи объ отравленіяхъ» — не потребуетъ ни продолжительнаго времени, ни особеннаго съ моей стороны напряженія; другая, напротивъ, предметъ которой ничего общаго съ правосудіемъ не имѣетъ, а скорѣе можетъ служить темой для рѣчи въ народной сходкѣ, созванной какимъ-нибудь мутителемъ толпы, чѣмъ для преній предъ спокойнымъ и безстрастнымъ судомъ,— представляетъ много неудобствъ для оратора, много трудностей. Но въ этомъ неудобствѣ, судьи, меня утѣшаетъ мысль, что вы строго относитесь лишь къ той части рѣчи защитника, которая касается собственно обвиненія: тутъ дѣйствительно обязанность привести оправдательные доводы лежитъ всецѣло на защитникѣ, и вы не считаете нужнымъ предоставлять подсудимому другія средства къ спасенію, кромѣ тѣхъ ораторскихъ, которыми располагаетъ его защитникъ для опроверженія взводимыхъ на него обвиненій и доказательствъ его невиновности. Но разъ рѣчь зашла о враждебномъ настроеніи толпы — вы должны принимать во вниманіе не одно только то, что я говорю, но и то, что мнѣ слѣдовало бы сказать. Въ самомъ дѣлѣ, обвиненіе грозитъ опасностью одному лишь А. Клуенцію, враждебное настроеніе, напротивъ, представляетъ собою общественное зло. Поэтому я въ той части буду опираться на доказательства, въ этой—на просьбы; въ той постараюсь лишь заручиться вашимъ вниманіемъ, въ этой долженъ взывать къ вашему милосердію, такъ какъ безъ заступничества вашего и подобныхъ вамъ людей никто изъ насъ не можетъ бороться

съ враждебнымъ настроеніемъ толпы. Дѣйствительно, предоставленный одному себѣ, я не буду знать, что мнѣ и дѣлать: могу ли я оспаривать существованіе дурной молвы о запятнавшемъ себя взяточничествомъ судѣ? Могу ли я отрицать, что это дѣло было предметомъ рѣчей въ народныхъ сходкахъ, предметомъ преній въ судѣ, предметомъ докладовъ въ сенатѣ? Могу ли я вырвать изъ сознанія людей это столь позорящее, столь вкоренившееся, столь старинное убѣжденіе? На это у меня таланта не хватитъ; дѣло вашего человѣколюбія, судьи, придти на помощь этому невинному человѣку и спасти его отъ этого бѣдственнаго безславія, которымъ онъ окруженъ, точно разрушительнымъ пламенемъ, точно гибельнымъ для всѣхъ насъ пожаромъ. Пусть въ другихъ мѣстахъ хирѣетъ и гибнетъ истина; здѣсь, передъ вашимъ судилищемъ, безсильной должна быть народная молва, коль скоро она несправедлива; пусть она подымаетъ голову въ народныхъ сходкахъ, но лежитъ смирно въ судѣ; пусть, наконецъ, сохраняетъ свое значеніе то требованіе, которое наши предки ставили правому суду — поражать вину даже при отсутствіи молвы, но заставлять молчать молву при отсутствіи вины.

„Вотъ почему я, судьи, въ этой вступительной части своей рѣчи прежде всего обратился бы къ вамъ съ требованіемъ, чтобы вы слушали меня безо всякаго предубѣжденія; но допуская, что вы уже прониклись какимъ-нибудь убѣжденіемъ, я прошу васъ, чтобы вы не слишкомъ упорно отстаивали его, видя, что оно поколеблено доводами разума, расшатано моей рѣчью, что истина, наконецъ, вырываетъ его изъ вашей души— нѣтъ, прошу васъ, чтобы вы въ этомъ случаѣ пожертвовали имъ, если не охотно, то, по крайней мѣрѣ, спокойно. А затѣмъ, прошу васъ, чтобы вы, прислушиваясь къ ходу моего разсужденія и къ отдѣльнымъ пунктамъ моей защиты, не сразу вызывали у себя въ умѣ противорѣчащія ей соображенія, а ждали моего послѣдняго слова, дозволяя мнѣ сохранить планъ моей рѣчи, а затѣмъ уже ставили вопросъ, не пропущено ли мною что.

„Я прекрасно понимаю, судьи, что выступилъ защитникомъ человѣка, о которомъ вотъ уже восемь лѣтъ подрядъ люди довѣрчиво слушаютъ рѣчи нашихъ противниковъ, человѣка, почти

ужъ осужденнаго молчаливымъ приговоромъ общественнаго мнѣнія; но если только боги дозволятъ, чтобы вы выслушали меня благосклонно, вы увидите, что, насколько дурная молва для человѣка самое страшное изо всѣхъ золъ, настолько справедливый судъ представляется для безвинно оговореннаго самымъ желательнымъ изо всѣхъ исходовъ, такъ какъ только онъ можетъ положить предѣлъ лживымъ толкамъ, позорящимъ его имя. Вотъ почему я не отказываюсь отъ надежды, что если только мнѣ удастся надлежащимъ образомъ развить въ своей рѣчи всѣ стороны этого дѣла, то ваше судилище, въ которомъ наши противники думали найти грозу и гибель для А. Клуенція, окажется, напротивъ, его гаванью, его убѣжищемъ отъ преслѣдующей его злой доли".

Приступая затѣмъ къ самому дѣлу, онъ на первомъ мѣстѣ противопоставляетъ заявленію обвинителя, что *Клуенцій подкупилъ Юніевъ судъ*, свое категорическое отрицаніе. Нѣтъ, онъ его не подкупилъ — прежде всего потому, что не имѣлъ никакой надобности къ этому. Преступленіе, въ которомъ обвинялся Оппіаникъ, было несомнѣнно имъ совершено; это доказывается: 1) всею жизнью Оппіаника, истребителя собственной семьи, истребителя рода Динеи, мужа безчеловѣчной матери Клуенція, Сассіи; это доказывается 2) и обстоятельствами самого покушенія противъ Клуенція, которыя всѣ указываютъ на виновность Оппіаника. Но кромѣ этого нравственнаго принужденія, судьи Оппіаника находились подъ гнетомъ также и процессуальнаго принужденія, такъ какъ они уже осудили обоихъ сообщниковъ Оппіаника, Скамандра и Фабриція: нѣтъ, Юніевъ судъ не могъ не вынести Оппіанику обвинительнаго вердикта, а если такъ, то значитъ, Клуенцію не было надобности его подкупать.

Все это вполнѣ убѣдительно; но вотъ мы наталкиваемся на серьезное затрудненіе. Подкупъ Юніева суда никоимъ образомъ не можетъ быть объявленъ фикціей; а между тѣмъ, этотъ судъ обвинилъ Оппіаника. Кѣмъ же былъ онъ подкупленъ, если не Клуенціемъ?

— *Оппіаникомъ*,—отвѣчаетъ Цицеронъ.

— Да вѣдь онъ же Оппіаника обвинилъ!—говорятъ противники.

— Постойте; прежде всего мы установимъ фактъ, что Оппіаникъ дѣйствительно далъ судьѣ Стаіену 640.000 (§§ 65, 84—87).

„Кто можетъ оспаривать это? скажи, Оппіаникъ! Скажи Т. Аттій! Вы оба оплакиваете осужденіе того человѣка, одинъ—въ своей пламенной обвинительной рѣчи, другой—въ тихой грусти своего любящаго сыновняго сердца; рѣшитесь же оспаривать утверждаемый мною фактъ, что Оппіаникъ далъ деньги судьѣ Стаіену; рѣшитесь, повторяю, оспаривать его теперь же, обрывая меня... Что же вы молчите?—Понимаю: вы не можете отрицать того факта, на основаніи котораго вы въ свое время предъявили искъ, произнесли рѣчь, получили исполнительный листъ. Но откуда же берете вы смѣлость заявлять о подкупѣ суда, если вы сами признаете, что съ вашей стороны деньги были и даны судьѣ до приговора, и отняты у него послѣ приговора? «Но» возражаютъ намъ, «Оппіаникъ не для того давалъ Стаіену деньги, чтобы тотъ подкупилъ судъ, а для того, чтобы онъ примирилъ его съ Клуенціемъ». Съ трудомъ вѣрится, Аттій, что это утверждаешь ты, такой умный, опытный и знающій людей человѣкъ! Если, согласно извѣстному изреченію, самый мудрый человѣкъ тотъ, кто самъ можетъ придумать, что надо, а ближе всѣхъ къ нему по мудрости тотъ, кто повинуется мудрымъ совѣтамъ другого, то въ противоположномъ качествѣ дѣло обстоитъ наоборотъ: менѣе неразуменъ тотъ, кто ничего придумать не можетъ, чѣмъ тотъ, кто одобряетъ придуманную другимъ нелѣпость. Вѣдь эта басня о примиреніи была импровизаціей прижатаго къ стѣнѣ Стаіена!.. Но одно—тогдашнее положеніе Стаіена, другое—теперешнее твое положеніе, Аттій. Для него въ виду невозможности бороться съ фактами всякое другое объясненіе было благовиднѣе того, которое соотвѣтствовало истинѣ; но я не понимаю, какъ можешь ты теперь возвращаться къ этой нелѣпости, которая въ свое время была встрѣчена со смѣхомъ и недовѣріемъ. Да могъ ли Клуенцій думать о примиреніи съ Оппіаникомъ? Могъ ли онъ думать о примиреніи съ матерью? Имена обвинителя и обвиняемаго были окончательно внесены въ обвинительный актъ; Фабриціи были осуждены; такимъ образомъ, съ одной стороны замѣщеніе

Клуенція другимъ обвинителемъ не помогло бы Оппіанику избѣгнуть осужденія, съ другой стороны Клуенцій не могъ отказаться отъ обвиненія, не навлекая на себя подозрѣнія въ гнусной ябедѣ. А впрочемъ, зачѣмъ я такъ долго объ этомъ толкую, точно о какомъ-то неясномъ вопросѣ, когда самая цифра данныхъ Стаіену денегъ указываетъ намъ не только количество этихъ денегъ, но также и ихъ назначеніе? Я сказалъ уже, что для оправданія Оппіаника нужно было подкупить 16 судей; къ Стаіену же было отнесено 640.000 сестерціевъ. Если цѣлью этой уплаты было, какъ ты говоришь, примиреніе съ Клуенціемъ, то какой смыслъ имѣетъ эта придача въ 40.000? Если же, какъ утверждаемъ мы, Оппіаникъ хотѣлъ, чтобы каждый изъ 16 судей получилъ по 40.000 сест., то самъ Архимедъ не могъ бы сосчитать лучше.

Итакъ, Стаіенъ былъ подкупленъ Оппіаникомъ; это фактъ. Съ этимъ фактомъ прекрасно вяжется то обстоятельство, котораго противники объяснить не могутъ—что когда на окончательномъ голосованіи Стаіена не оказалось, то обвинитель Оппіаника ничего не имѣлъ противъ его отсутствія, но за то защитникъ его, Квинкцій, протестовалъ и силою привелъ его обратно къ скамьямъ присяжныхъ—значитъ, на него разсчитывала защита, а не обвиненіе, Оппіаникъ, а не Клуенцій.

Но какъ же объяснить, что онъ *обвинилъ Оппіаника*, и вмѣстѣ съ нимъ другіе продажные субъекты? — Вотъ какъ (§ 69—72):

„Видя отчаянное положеніе Оппіаника, раздавленнаго двумя преюдиціями, Стаіенъ обращается къ нему съ обѣщаніями, совѣтуя не предаваться унынію и не отчаяваться въ своей судьбѣ; Оппіаникъ же сталъ его молить, чтобы онъ указалъ ему возможность подкупить судей. Тогда Стаіенъ — какъ это впослѣдствіи подтвердилъ самъ Оппіаникъ—отвѣтилъ, что никто во всемъ государствѣ не можетъ ему устроить этого, кромѣ него, но тутъ же на первыхъ порахъ сталъ отнѣкиваться, говоря, что онъ выступаетъ кандидатомъ въ эдилы, что его конкуррентами будутъ очень вліятельные люди, что онъ боится попасть на зубокъ и потерпѣть неудачу. Затѣмъ онъ далъ упросить себя, но потребовалъ сперва неслыханныхъ денегъ; наконецъ они доторговались до сходной суммы, и Стаіенъ поставилъ условіемъ, чтобы къ нему на домъ отнесли 640.000 сестерціевъ.

„Лишь только деньги были у него на дому, нашъ злодѣй тотчасъ началъ сосредоточивать всѣ силы своего ума на той мысли, что для него выгоднѣе всего добиться осужденія Оппіаника; дѣйствительно, по его оправданіи пришлось бы ту сумму или раздать судьямъ, или вернуть ему—напротивъ, въ случаѣ его осужденія нельзя было ожидать, чтобы кто либо потребовалъ ее обратно. Итакъ, онъ придумываетъ нѣчто замѣчательное. Планъ его состоялъ въ томъ, чтобы посулить взятку нѣкоторымъ менѣе щепетильнымъ судьямъ и затѣмъ обмануть ихъ надежды; онъ разсчитывалъ, что честные люди и такъ отнесутся къ подсудимому строго, а продажные будутъ озлоблены противъ него за его мнимое вѣроломство. Будучи, однако, страннымъ въ своихъ вкусахъ и эксцентричнымъ человѣкомъ, онъ началъ свое угощеніе съ Бульба (Цыбульки); видя, что онъ хандритъ и скучаетъ, давно уже не получивъ никакой взятки, онъ подходитъ къ нему и, легонько хлопнувъ его по плечу, говоритъ: «скажи-ка, Бульбъ, готовъ ты помочь мнѣ, чтобы намъ не даромъ служить отечеству?» Тотъ, едва услышавъ слово «не даромъ», отвѣтилъ: «я весь къ твоимъ услугамъ, но въ чемъ дѣло?» Стаіенъ обѣщаетъ дать ему 40.000 сест. въ случаѣ, если Оппіаникъ будетъ оправданъ, и проситъ его обратиться съ такимъ же предложеніемъ и къ другимъ, кого онъ знаетъ поближе; а затѣмъ онъ самъ, какъ кухмистеръ всего этого дѣла, приправилъ Бульба Гуттой (Цыбульку—Сосомъ), такъ что его блюдо не могло не показаться вкуснымъ тѣмъ, чей аппетитъ онъ возбудилъ своими словами.

„Проходитъ, однако, день, два, нѣсколько—дѣло стало сомнительнымъ: ни секвестръ, ни поручитель не показывался. Тутъ Бульбъ съ ласковой улыбкой обращается къ Стаіену, стараясь придать своему голосу какъ можно болѣе мягкости: «Скажи-ка, другъ, какъ же насчетъ того дѣла, о которомъ мы недавно говорили? Всѣ желаютъ узнать отъ меня, у кого эти деньги». Тутъ нашъ безсовѣстный проходимецъ насупилъ брови—вы помните его физіономію, его напускную важность? Онъ сталъ жаловаться, что Оппіаникъ обманулъ его, и какъ человѣкъ, весь сотканный изъ лжи и обмана и умѣвшій при-

правлять свою природную гнусность особой техникой мошенничества, которую онъ выработалъ путемъ долгихъ упражненій,—онъ съ большимъ апломбомъ развиваетъ этотъ пунктъ и для большей убѣдительности присовокупляетъ, что при открытомъ голосованіи подастъ голосъ противъ Оппіаника.

„Какъ извѣстно, привыкшіе получать взятки избиратели бываютъ особенно озлоблены противъ тѣхъ кандидатовъ, которыхъ они подозрѣваютъ въ удержаніи обѣщанныхъ имъ денегъ; точно такъ же и продажные судьи были тогда озлоблены противъ подсудимаго. А тутъ какъ нарочно жребій опредѣляетъ подавать голосъ въ числѣ первыхъ—Бульбу, Стаіену и Гуттѣ. Всѣ съ крайнимъ напряженіемъ ждутъ, за кого выскажутся эти безчестные, продажные судьи,—а они всѣ, безъ малѣйшаго колебанія, объявляютъ: *да, виновенъ*. Всѣ были озадачены, что̀ бы это могло значить? И вотъ нѣкоторые разсудительные люди старой школы, не считая возможнымъ оправдать завѣдомо виновнаго человѣка, но и не желая сразу и до болѣе точныхъ свѣдѣній осудить того, который, казалось, былъ жертвой подкупа,—потребовали вторичнаго разбора; нѣкоторые, впрочемъ, какъ люди строгіе, считавшіе главнымъ въ каждомъ поступкѣ внутреннее побужденіе человѣка, были того мнѣнія, что если другіе постановили правильный приговоръ подъ вліяніемъ взятки, то отсюда не слѣдуетъ, чтобы они сами имѣли право отказываться отъ своихъ прежнихъ рѣшеній; въ виду этого они объявили подсудимаго виновнымъ. Вообще нашлось только пять человѣкъ, рѣшившихся оправдать этого вашего «невиннаго» Оппіаника“.

«Откуда узналъ Цицеронъ объ этомъ разговорѣ?», спрашиваютъ наивные люди. Нечего и говорить, что это — гипотеза, долженствующая объяснить несомнѣнный фактъ обвиненія Оппіаника Стаіеномъ и остальными при столь же несомнѣнномъ фактѣ полученія имъ отъ Оппіаника взятки,—т.-е. то, что древніе теоретики называютъ color. Такъ какъ эта гипотеза съ одной стороны вполнѣ объясняетъ требующіе объясненія факты, съ другой — вполнѣ согласуется съ характеромъ замѣшанныхъ въ дѣлѣ лицъ, то ее можно будетъ признать весьма правдоподобной.

Итакъ: необходимость подкупа для Оппіаника доказана, для Клуенція нѣтъ; фактъ подкупа для Оппіаника непосредственно доказанъ, для Клуенція—нѣтъ. Дѣйствительно, нѣтъ ни одного слѣда, который бы указывалъ на предложеніе хотя бы одного сестерція Клуенціемъ судьѣ... Зато, говорятъ противники, косвенныя доказательства имѣются. Какія? Преюдиціи. Разсмотримъ эти преюдиціи; въ чемъ же онѣ состоятъ? Во-первыхъ, въ осужденіи Юнія народнымъ судомъ; но это — вспышка политическихъ страстей, а не судъ. Во-вторыхъ, въ осужденіи юніанцевъ. Неправда: тѣ изъ нихъ, которые были осуждены, обвинялись не въ полученіи взятки отъ Клуенція, тѣ же, которые обвинялись въ послѣднемъ, осуждены не были. Въ третьихъ, въ оштрафованіи Септимія; но litis aestimatio не имѣетъ преюдиціальнаго характера. Въ четвертыхъ, въ приговорахъ цензоровъ, сената и т. под.; но и они не могутъ считаться преюдиціями. Все это доказывается подробно, ясно и убѣдительно. Положимъ, при нашей системѣ вольной оцѣнки судебныхъ доказательствъ этотъ споръ о наличности или отсутствіи преюдиціальнаго характера въ данномъ приговорѣ насъ мало интересуетъ; но не забудемъ, что эта система вольной оцѣнки доказательствъ еще только вырабатывалась, причемъ — спѣшу это замѣтить — однимъ изъ наиболѣе ревностныхъ ея приверженцевъ былъ именно Цицеронъ. Особенно же важнымъ моментомъ въ оцѣнкѣ доказательствъ, въ силу возникновенія римскаго уголовнаго процесса изъ гражданскаго, считались res judicatae: Цицерону необходимо было устранить мнѣніе, будто въ дѣлѣ имѣется хоть одна res judicata противъ Клуенція.

И вотъ наконецъ мы подошли къ самому пикантному мѣсту всей защиты (§ 138—142).

„Есть еще одинъ преважный авторитетъ, котораго я, стыдно сказать, чуть не пропустилъ; это — *мой собственный*. Аттій прочиталъ вамъ выдержку изъ одной рѣчи, — моей, какъ онъ не преминулъ подчеркнуть—содержащую обращеніе къ судьямъ, чтобы они творили судъ честно, и перечень нѣкоторыхъ дурныхъ судовъ, между которыми былъ названъ и Юніевъ судъ. Но развѣ я не призналъ въ самомъ началѣ своей защитительной рѣчи, что этотъ судъ пользовался дурной славой? Развѣ я могъ, разсуждая о безславіи судовъ, пропустить самый гром-

кій въ тѣ времена примѣръ? Допуская, что я и сказалъ нѣчто въ этомъ родѣ—вѣдь я говорилъ не какъ знакомый съ дѣломъ человѣкъ и не какъ свидѣтель; моими устами говорила сторона, а не мое личное убѣжденіе, не мой личный авторитетъ. Я былъ обвинителемъ: моей задачей было въ началѣ рѣчи — возбудить вниманіе слушающаго народа и судей; съ этой цѣлью я сталъ перечислять прегрѣшенія судовъ, руководствуясь не своимъ личнымъ мнѣніемъ, а тѣмъ, что говорили люди; не могъ я при такихъ обстоятельствахъ пропустить дѣло, которое благодаря усердной агитаціи получило такую всенародную огласку. *Грубо ошибается тотъ, кто наши судебныя рѣчи считаетъ сводами нашихъ личныхъ убѣжденій;* всѣ онѣ — органы обстоятельствъ дѣла и сторонъ, а не самихъ повѣренныхъ, какъ людей. Если бы стороны могли сами говорить за себя, никто бы не приглашалъ оратора; если же насъ приглашаютъ, то конечно не для того, чтобы мы излагали наши собственныя воззрѣнія, а для того, чтобы мы высказывали то, чего требуютъ самое дѣло и интересы стороны.

„Умный ораторъ М. Антоній не разъ говаривалъ, что онъ для того никогда не издалъ ни одной рѣчи, чтобы ему легче было, въ случаѣ надобности, отказаться отъ своихъ собственныхъ словъ; какъ будто наши слова не запечатлѣваются въ памяти людей и безо всякихъ записей съ нашей стороны! Нѣтъ, я въ этомъ пунктѣ скорѣе соглашаюсь съ другими ораторами, главнымъ образомъ съ краснорѣчивѣйшимъ и мудрѣйшимъ изъ нихъ, Л. Крассомъ. Однажды онъ защищалъ Гн. Планка; обвинителемъ былъ М. Брутъ, пылкій и хитрый ораторъ. Этотъ Брутъ представилъ суду двоихъ чтецовъ и велѣлъ имъ читать по главѣ изъ двухъ рѣчей Красса, въ которыхъ развивались мнѣнія, противорѣчащія другъ другу: въ одной рѣчи, произнесенной противъ законопредложенія объ упраздненіи колоніи Нарбона, авторитетъ сената умалялся до предѣловъ возможнаго; другая, напротивъ, произнесенная за Сервиліевъ законъ, содержала блистательный панегирикъ сенату. Крассу, очевидно, была непріятна эта критика его политическихъ рѣчей, въ которыхъ мы, дѣйствительно, скорѣе вправѣ требовать отъ оратора постоянства въ развиваемыхъ имъ мнѣніяхъ. Что же касается меня, то чтеніе Аттія меня ничуть не смущаетъ. Моя тогдашняя рѣчь вполнѣ соотвѣтствовала обстоятельствамъ дѣла, по которому она была произнесена, и точкѣ зрѣнія, на которой я стоялъ, какъ представитель стороны; она не налагала на меня никакихъ обязательствъ, которыя мѣшали бы мнѣ честно и свободно въ настоящемъ дѣлѣ защищать Клуенція. А затѣмъ — если я сознаюсь, что только теперь изслѣдовалъ его дѣло, а тогда раздѣлялъ общее о немъ мнѣніе, что же тутъ дурного? Вѣдь я и къ вамъ, судьи, справедливо могу предъявить требованіе, которое я выразилъ уже въ началѣ рѣчи и теперь повторяю—чтобы тѣ изъ васъ, которые явились сюда съ неблагопріятнымъ мнѣніемъ о судѣ Юнія, отказались отъ него, узнавъ отъ меня подробности дѣла и истинный ходъ событій".

Я уже раньше сказалъ, что это мѣсто — интересная данная для исторіи адвокатской этики; это значеніе за нимъ и останется, все равно какъ бы мы ни рѣшили—теперь, въ началѣ двадцатаго вѣка — поставленный Цицерономъ вопросъ. Его рѣшеніе выходитъ изъ предѣловъ и моей задачи и моей компетенціи; какъ филологъ я долженъ, однако, во избѣжаніе недоразумѣнія, замѣтить слѣдующее. Если бы вопросъ былъ поставленъ такъ: „имѣетъ ли адвокатъ право, въ интересахъ стороны, выдавать за правду то, что по его убѣжденію неправда?", то я не думаю, чтобы Цицеронъ рѣшился отвѣтить на него утвердительно. Конечно, на практикѣ встрѣчаются случаи, когда въ сердце слушающаго судебную рѣчь невольно закрадывается подозрѣніе, что говорящій разрѣшилъ себѣ такую вольность; но отъ допущенія неправды на практикѣ до ея узаконенія въ теоріи — громадный шагъ. Нѣтъ; здѣсь дѣло касается только обширной области сомнительнаго. Вопросъ поставленъ такъ: имѣетъ ли адвокатъ право, въ интересахъ стороны выдавать за правду такое построеніе, которое нигдѣ не приходитъ въ столкновеніе съ удостовѣренными фактами и ни въ чемъ, поэтому, не противорѣчитъ его убѣжденіямъ? Не считаю нужнымъ скрывать, что, поинтересовавшись рѣшеніемъ этого вопроса у современныхъ теоретиковъ (Фридмана, Шалля и Богера, Варги, Пикара Владимірова и др.), я нашелъ, что и они рѣшаютъ его въ утвердительномъ смыслѣ. Но, какъ я уже сказалъ, это меня здѣсь не касается; Цицеронъ во всякомъ случаѣ отвѣтилъ на него утвердительно.

Изъ всего этого слѣдуетъ выводъ: виновность Клуенція въ подкупѣ суда ничѣмъ не доказана, ни прямо, ни косвенно, между тѣмъ какъ виновность Оппіаника несомнѣнна. Обвинитель, такимъ образомъ, ошибался, когда утверждалъ, что защита, за невозможностью обѣлить Клуенція въ дѣлѣ подкупа суда, станетъ на почву закона, не допускающаго преслѣдованія за такое дѣло римскаго всадника. Нѣтъ: отпоръ данъ обвиненію на почвѣ фактовъ, а не права; а впрочемъ, разъ этотъ отпоръ данъ, позволительно вспомнить и о томъ законѣ. Если законъ дуренъ—что-жъ, отмѣните его законодательнымъ путемъ; но, пока онъ существуетъ, ему слѣдуетъ повиноваться.

Первая часть обвиненія, такимъ образомъ, опровергнута: обвинять Клуенція въ подкупѣ Юніева суда ни съ точки зрѣнія фактовъ, ни съ точки зрѣнія права нельзя. Слѣдуетъ *вторая* часть: обвиненіе въ отравленіи имъ его вотчима, Оппіаника Старшаго, подкрѣпленное приведеніемъ болѣе или менѣе родственныхъ фактовъ изъ его прочей жизни. Послѣдніе—всѣ легковѣсны и маловажны; да и обвиненіе въ отравленіи Оппіаника не лучше обосновано. Въ самомъ дѣлѣ, обстоятельства смерти стараго злодѣя никакихъ уликъ не содержатъ; что же касается допросовъ рабовъ, Стратона и Никострата, то они были простой жестокой забавой Сассіи: первый протоколъ, подписанный почтенными личностями, никакихъ показаній противъ Клуенція не содержитъ; что же касается второго, содержащаго якобы полное сознаніе, то подписавшіяся подъ нимъ лица никакого довѣрія не заслуживаютъ, провѣрить же его нѣтъ возможности, такъ какъ Сассія съ Оппіаникомъ устранили тѣхъ, кто были предметомъ допроса.

Покончивъ такъ съ обѣими частями обвиненія, указавъ— по римскому обычаю—на авторитетъ пришедшихъ поддержать Клуенція хвалителей, ораторъ слѣдующими словами заканчиваетъ свою рѣчь (§ 199—202):

„И вотъ противъ ихъ сочувствія, ихъ заботливости, ихъ усердія, противъ моего трудолюбія—которое я доказалъ вамъ тѣмъ, что по старинному обычаю взялъ на себя всю защиту подсудимаго,—противъ вашего правосудія и человѣколюбія ратуетъ *одна лишь эта мать*. Но что это за мать! Ослѣпленная жестокостью и преступной отвагой, неспособная, въ угожденіи своимъ страстямъ, остановиться передъ какой бы то ни было гнусностью, она своею нравственной испорченностью исказила и опорочила всѣ понятія общечеловѣческаго права: едва заслуживая своимъ умственнымъ развитіемъ имени человѣка, она слишкомъ необузданна, чтобы называться женщиной, слишкомъ жестока, чтобы называться матерью. И не довольствуясь извращеніемъ имени и нрава, которымъ надѣлила ее природа, она пожелала представить въ своей особѣ смѣшеніе всевозможныхъ степеней родства, ставъ женой своего зятя, мачехой своего сына, разлучницей своей дочери; она довела себя до того, что, кромѣ своей наружности, не оставила себѣ ничего, что бы сближало ее съ человѣческимъ родомъ!

„Въ виду всего этого, судьи, прошу васъ, если въ васъ сильна ненависть къ преступленію, преградите матери доступъ къ крови ея дѣтища, пронзите сердце родительницы небывалой еще печалью, даруя жизнь и побѣду ея сыну, не дайте матери возрадоваться своей осиротѣлости—пусть лучше уйдетъ она отсюда, побѣжденная вашимъ правосудіемъ. Если же въ васъ, какъ этого и требуетъ ваша природа, сильнѣе любовь въ чести, къ правдѣ, добру,—то облегчите, наконецъ, судьи, участь этого вашего просителя, который столько уже лѣтъ живетъ окруженный незаслуженнымъ безславіемъ и опасностями, который теперь впервые послѣ той бури, поднятой чужими дѣяніями, чужой неправотой, начинаетъ дышать нѣсколько бодрѣе и свободнѣе, забывая свой страхъ въ надеждѣ на ваше правосудіе, который въ васъ видитъ вершителей своей судьбы, котораго столь многіе желаютъ видѣть спасеннымъ, но спасти можете одни вы. Клуенцій умоляетъ васъ, судьи, съ плачемъ заклинаетъ васъ, чтобы вы его не выдали ненависти толпы, которой не мѣсто въ судѣ, не выдали — его матери, обѣты и молитвы которой могутъ внушать вамъ одно отвращеніе, не выдали—Оппіанику, этому нечестивцу, котораго уже постигли осужденіе и смерть. Если на него, несмотря на его невинность, обрушится бѣдствіе на этомъ судѣ—о, какъ будетъ онъ жалѣть, несчастный, если только онъ преодолѣетъ себя и останется живъ, какъ часто и глубоко будетъ онъ жалѣть о томъ, что обнаружилъ нѣкогда тотъ ядъ, который ему подносилъ Фабрицій: не будь онъ тогда предостереженъ—этотъ ядъ былъ бы

для этого страдальца не ядомъ, а исцѣленіемъ отъ многихъ скорбей: тогда, быть можетъ, сама мать пошла бы провожать его прахъ и притворилась бы горюющей о смерти своего сына. Теперь же въ чемъ будетъ заключаться его облегченіе? Ужъ не въ томъ ли, что его жизнь, вырванная изъ самой пучины гибели, будетъ обречена постоянной печали, а въ смерти онъ будетъ лишенъ утѣшенія почить въ гробницѣ своихъ отцовъ?.. Но нѣтъ: довольно томился онъ, судьи, достаточное число лѣтъ преслѣдовала его молва; нѣтъ у него, если не считать матери, такого ненавистника, душа котораго не была бы уже утолена. Вы, которые справедливы ко всѣмъ, вы, которые тѣмъ ласковѣе принимаете человѣка, чѣмъ ожесточеннѣе его притѣсняютъ — пощадите Клуенція; верните его невредимымъ его родинѣ, возвратите его этимъ его друзьямъ, сосѣдямъ, гостепріимцамъ, любовь которыхъ вы видите, сдѣлайте его навѣки должникомъ вашимъ и вашихъ дѣтей; это будетъ достойно васъ, судьи, достойно вашего званія, вашей кротости. Мы вправѣ требовать отъ васъ, чтобы вы освободили наконецъ отъ бѣдствій человѣка добраго, невиннаго, дорогого такому множеству людей, и чтобы вы этимъ дали всѣмъ понять, что слѣпая ненависть можетъ бушевать въ народныхъ сходкахъ, но что въ судахъ должна царствовать правда".

VII.

Для насъ послѣднія слова оратора — послѣднее, что̀ мы узнаемъ о дѣлѣ Клуенція вообще. Конечно, аналогіи другихъ процессовъ доказываютъ намъ, что когда, послѣ заключительныхъ словъ защитника, судебный приставъ по приказанію предсѣдателя своимъ dixerunt объявилъ пренія законченными, то начался допросъ свидѣтелей, занявшій, повидимому, не одно засѣданіе. Но мы спеціально объ этомъ допросѣ ничего не знаемъ; не знаемъ даже навѣрно, чѣмъ кончился процессъ; хотя, съ другой стороны, охотность, съ которой Цицеронъ вспоминалъ объ этой своей рѣчи, слава, которой она пользовалась у позднѣйшихъ, невольно заставляютъ насъ думать, что его защита была не безуспѣшна.

Это, въ сущности, для насъ и не такъ важно. Важно для насъ то дыханіе жизни, которое мы чувствуемъ, перечитывая теперь, спустя двѣ тысячи лѣтъ послѣ дѣла Клуенція, произнесенную за него рѣчь Цицерона; то дыханіе жизни, которое манитъ насъ къ этому дѣлу, точно къ развитому организму, заставляя насъ всматриваться въ функціи его отдѣльныхъ частей и воспроизвести его въ нашемъ воображеніи какъ нѣчто цѣльное, жизнеспособное и живое. Не устоялъ противъ этого соблазна и я; работа была не изъ легкихъ, и мнѣ приходилось не разъ ошибаться и поправлять свои ошибки, прежде чѣмъ мнѣ удалось уразумѣть и изобразить связь между отдѣльными частями изучаемаго организма; надѣюсь, что мой трудъ былъ не безплоденъ, и что люди, непосредственно знакомые съ жизнью уголовныхъ процессовъ, найдутъ дѣло Клуенція въ моемъ изображеніи, по крайней мѣрѣ, жизнеспособнымъ.

Характеръ античной религіи въ сравненіи съ христіанствомъ.

(1908).

Оцѣнка античной религіи въ сознаніи христіанскаго общества за все время существованія послѣдняго пережила очень интересную и характерную эволюцію, обусловленную отчасти его собственнымъ культурнымъ уровнемъ, отчасти большею или меньшею близостью къ нему образовъ античной религіи и внушаемыми ими симпатіей и антипатіей, отчасти, наконецъ, и измѣненіемъ взглядовъ на само христіанство. Прослѣдить эту эволюцію необходимо для того, чтобы понять послѣдній ея фазисъ—тотъ, которому суждено опредѣлить на будущее время отношеніе вдумчиваго христіанина къ античной религіи и навсегда, думается мнѣ, укрѣпить ея цѣнность.

I.

При обзорѣ этой эволюціи естественнѣе всего начать съ самой эпохи *возникновенія христіанскихъ общинъ* въ средѣ античнаго общества и, какъ его послѣдствія, возникновенія антагонизма между христіанствомъ и язычествомъ, нашедшаго себѣ выраженіе въ полемическихъ сочиненіяхъ христіанскихъ писателей, такъ называемыхъ апологетовъ, противъ окружающей и угнетающей ихъ религіи. Я этимъ не хочу преувеличивать оригинальности доводовъ, которые мы встрѣчаемъ у этихъ писателей: теперь можетъ считаться удостовѣреннымъ, что христіанская апологетика пошла по стопамъ іудейской, точно такъ же, впрочемъ, какъ эта послѣдняя усвоила соображенія самой античной философіи, преимущественно эпикуреизма, противъ античной религіи. Но при всей заимствованности отдѣльныхъ аргументовъ, общій аспектъ античной религіи былъ для той эпохи чѣмъ-то поразительно новымъ. Зарождающееся новое христіанское общество въ огромномъ большинствѣ своихъ представителей не думало оспаривать *реальность* образовъ античной религіи, будь то ясные и пластичные боги греческаго Олимпа, или туманныя въ своей отвлеченности божества римскихъ понтификальныхъ книгъ, или, наконецъ, расплывающіеся въ безграничности мірозданія пришлецы съ азіатско-египетскаго Востока. Нѣтъ, всѣ они дѣйствительно были—и Зевсъ, и Квиринъ, и Исида; но только это были не боги, а враги единаго Бога, демоны. Но кто же они такіе, эти демоны? На это отвѣтить можно было различно. Одинъ отвѣтъ подсказывала Книга Бытія: это были падшіе ангелы, возставшіе противъ Творца, низвергнутые за это въ преисподнюю и старающіеся съ тѣхъ поръ завлечь съ собой туда же и весь родъ людской. Другой отвѣтъ напрашивался самъ собою для лицъ, знакомыхъ съ религіозно-философской теоріей нѣкоторыхъ ученыхъ язычниковъ, такъ называемыхъ евгемеристовъ. Согласно этой теоріи, боги были первоначально людьми, возведенные послѣ смерти въ санъ боговъ за свои заслуги. Это можно было принять, за исключеніемъ, конечно, заслугъ. Да, всѣ они—Юпитеръ, Меркурій, Венера,—были нѣкогда людьми, но людьми силы—злыми, хитрыми, развратными... къ сожалѣнію, греко-римскіе миѳы въ соблазнительномъ пересказѣ Овидія и другихъ давали черезчуръ даже обильный матеріалъ для этого утвержденія. Теперь ихъ души живутъ среди отверженныхъ, но успокоиться онѣ не могутъ: онѣ блуждаютъ среди людей, стараясь найти среди нихъ приверженцевъ и поклонниковъ себѣ, стараясь и ихъ сдѣлать такими же злыми, хитрыми, развратными, какими были нѣкогда они. Въ тогдашнемъ римскомъ обществѣ христіане находили блестящее подтвержденіе своей теоріи: да, эти боги были достойными представителями и показателями тогдашняго злого, хитраго, развратнаго Рима. Но именно поэтому хри-

стіанинъ долженъ чуждаться ихъ; именно поэтому «идолопоклонство» было не неразуміемъ, каковымъ оно представлялось атеистической философіи эпикурейцевъ, а нечестіемъ.

Повторяю, для христіанъ послѣднихъ вѣковъ античности языческіе боги были реальными существами, такъ же какъ и для своихъ приверженцевъ. Одно объясняетъ другое: психологически невозможно было не допускать реальности того, чему столь многіе столь усердно поклонялись. Но эта причина была преходяща: когда послѣдній языческій кумиръ палъ подъ ударами христіанскаго молота, когда послѣдній жертвенникъ былъ разрушенъ и истоптанъ, тогда, казалось, и языческіе боги, а съ ними и вся античная религія должна была отойти въ область небытія.

Случилось ли это? Чтобъ убѣдиться въ этомъ, посмотримъ, каково было представленіе объ античной религіи въ эпоху *среднихъ вѣковъ*.

Само собой разумѣется, прежде всего, что для подавляющаго большинства христіанскаго населенія Европы отвѣтъ будетъ чисто отрицательнымъ: тѣ обитатели кельтскихъ, германскихъ, славянскихъ лѣсовъ, которые приняли христіанство изъ устъ свв. Колумбана, Вонифатія или Кирилла и Меѳодія, ничего не знали о Зевсѣ, Меркуріи или Исидѣ. Здѣсь рѣчь идетъ только объ интеллигенціи духовнаго или полудуховнаго покроя, но затѣмъ и о тѣхъ, которые находились подъ ея ближайшимъ воздѣйствіемъ; такъ вотъ благодаря ей, этой интеллигенціи, и образы античной религіи ожили вновь или, быть можетъ, не успѣли умереть. Дѣйствительно, въ эпоху средневѣковья вѣра въ реальность античныхъ боговъ еще не утратилась: конечно, они уже не чувствовались въ непосредственной близости, какъ нѣкогда въ эпоху зарожденія христіанства, такъ какъ не было кругомъ поклоняющихся имъ людей; но и въ томъ отдаленіи, въ которомъ они пребывали, они не переставали внушать безпокойство. Причины этому были различны. Съ одной стороны, средневѣковая христіанская школа приняла наслѣдство античной школы и продолжала воспитывать своихъ питомцевъ на твореніяхъ древнихъ римскихъ поэтовъ, особенно Виргилія, а молодому уму трудно свыкнуться съ мыслью о полной нереальности того, во что такъ пламенно вѣруетъ усердно читаемый и почитаемый авторъ. Съ другой стороны, въ составъ богословскаго чтенія входила и древне-христіанская апологетика, а эта послѣдняя, какъ мы знаемъ, признавала реальность античныхъ боговъ или, какъ она ихъ называла, демоновъ. Наконецъ, сокровенной наукой позднѣйшаго средневѣковья была алхимія, чернокнижіе, старинная наука Гермеса-Меркурія, которая теперь, послѣ долгаго обхода черезъ еврейскія и арабскія руки, вернулась въ Европу. Конечно, этотъ обходъ не прошелъ для нея безслѣдно, и она, благодаря ему, обогатилась обильнымъ персоналомъ семитической демонологіи, причемъ печать Соломона едва не вытѣснила волшебнаго жезла первоначальнаго покровителя «герметическаго» искусства; но все же въ пестрой компаніи восточной каббалистики и магіи продолжали встрѣчаться и античные боги. Все это вмѣстѣ взятое не могло не содѣйствовать оживленію вѣры въ реальность образовъ античной религіи какъ силы, враждебной Богу и опасной для человѣка. Красивымъ символомъ этой силы была прелестница Венера, Frau Venus или Frau Minne, богиня трубадуровъ и миннезингеровъ, личность не менѣе реальная для средневѣковаго человѣка, какъ и сама Богородица, противницей которой она была. Она живетъ здѣсь же, среди людей, въ подземномъ гротѣ и иногда чарующимъ пѣніемъ своихъ дѣвъ завлекаетъ къ себѣ христіанъ. Тогда двери живого міра закрываются для поддавшихся соблазну, и для нихъ начинается «долгая пляска», долгій волшебный сонъ — вплоть до ужаснаго пробужденія въ пламени геенны.

Во всемъ этомъ было одно неразрѣшенное противорѣчіе, одна двусмысленность: ею была роль языческой римской поэзіи, въ которой эта враждебная христіанству сила была описана въ самыхъ привлекательныхъ краскахъ. Церковь была поэтому очень недовольна этимъ наслѣдіемъ античности, которое какъ-то само собой въ силу традиціи держалось въ ея школѣ, и стремилась—чѣмъ далѣе, тѣмъ сильнѣе—замѣнить языческіе факторы своего воспитанія христіанскими. *Эпоха Возрожденія* положила конецъ ея усиліямъ; но такъ какъ дѣятели этой эпохи, гуманисты, не имѣли въ виду бороться съ христіанствомъ, а напротивъ, считали себя правовѣрными католиками, то имъ пришлось какъ-нибудь доказать безобидность, съ точки

зрѣнія вѣры, той античной поэзіи, которую они такъ любили. Это имъ удалось блистательно; но спасая античную религію для поэзіи, они этимъ самымъ уничтожили вѣру въ реальность ея образовъ. Иначе и быть не могло. Если Юпитеръ, Венера и всѣ прочіе имѣли свое реальное существованіе въ видѣ враждебныхъ Богу и опасныхъ для человѣческой души демоновъ-дьяволовъ, то роднить съ ними эту самую душу, да еще въ самомъ нѣжномъ періодѣ ея развитія, было прямо грѣшно; противъ этого возражать было трудно. Другое дѣло, если ихъ въ дѣйствительности нѣтъ и никогда не было. Но если Юпитеръ съ Венерой — не боги и не дьяволы, то что же они такое? Съ одной стороны, олицетвореніе природныхъ или нравственныхъ силъ: многіе античные миѳы получаютъ прекрасное и глубокомысленное содержаніе, если ихъ подвергнуть аллегорическому толкованію. А съ другой стороны — многіе разсказы о богахъ представляютъ собою праздные, если угодно, но красивые вымыслы поэтовъ, къ которымъ и слѣдуетъ относиться исключительно съ поэтической точки зрѣнія. Эти разсужденія, къ слову сказать, не были новостью; то теперь только этотъ голосъ, звучавшій нѣкогда среди многихъ и заглушаемый голосами преданной и гнѣвной вѣры — сталъ звучать одиноко и побѣдоносно.

Благодаря его побѣдѣ, образы античной религіи были окончательно и безповоротно изъяты изъ области вѣры и подѣлены между областью науки и областью поэзіи. Наукѣ надлежало систематизировать и объяснять античную религію или, вѣрнѣе, единственный ея остатокъ — античную миѳологію; поэзіи предоставлялось пересказывать ея вымыслы въ полномъ сознаніи ихъ вымышленности, прибѣгая при этомъ къ помощи родственныхъ ей изобразительныхъ искусствъ. Наука, пока что, туго отзывалась на этотъ призывъ, но поэзія съ живописью и скульптурой послѣдовали ему очень охотно: эпоха гуманистовъ, но еще болѣе *классицизмъ* XVII вѣка были настоящимъ расцвѣтомъ античной миѳологіи. До какой степени были къ тому времени позабыты прежнія войны между античной религіей и христіанствомъ, объ этомъ свидѣтельствуетъ лучше всего одно изъ характернѣйшихъ сочиненій XVII вѣка, нѣкогда общеизвѣстная, теперь почти забытая книга «Приключенія Телемаха». Идея этой книги—воспитаніе молодого героя въ духѣ добродѣтели и труда подъ руководствомъ Минервы, сопровождающей его подъ видомъ мудраго старца Ментора, и въ противодѣйствіи кознямъ Венеры, старающейся опутать его сѣтями своихъ любовныхъ чаръ. Тутъ характернѣй всего то, что эта вполнѣ языческая по своей обстановкѣ книга имѣетъ авторомъ одного изъ первыхъ представителей христіанской церкви того времени—камбрейскаго архіепископа Фенелона.

Такъ-то между античной религіей и христіанствомъ въ Европѣ XVII в. воцарился глубокій миръ, по крайней мѣрѣ, въ католической. Не былъ онъ нарушенъ и въ первую половину XVIII в., когда само христіанство подверглось усиленнымъ нападеніямъ со стороны вольнодумствующей науки, въ такъ называемую *просвѣтительную эпоху*. Для нея античная религія не представляла особеннаго интереса: увѣренная заранѣе въ ея полной несостоятельности, какъ и вообще несостоятельности какой бы то ни было религіи, просвѣтительная мысль если и занималась ея бреднями, то для того только, чтобъ выставить ихъ намѣреннымъ обманомъ хищныхъ и коварныхъ жрецовъ.

II.

Переломъ и здѣсь наступилъ во вторую половину XVIII вѣка, эпоху возникновенія *неогуманизма* и родственныхъ ему идей. Была открыта народная поэзія; съ этой новой точки зрѣнія и давно извѣстный, но до тѣхъ поръ непонятый Гомеръ пріобрѣлъ новый интересъ. А съ Гомеромъ возвысилась и та народная греческая религія, пророкомъ которой онъ былъ. Началось столь знаменательное для новаго времени «вчувствованіе» въ античную религію; открытіе трудами Винкельмана истинной греческой скульптуры оказало могучее содѣйствіе такому направленію. Стали свыкаться съ представленіемъ объ античной религіи, какъ о дѣйствительной религіи; стали смотрѣть глазами вѣрующихъ на ея образы въ твореніяхъ Гомера и Фидія. Дѣйствіе новыхъ откровеній было на первыхъ порахъ ошеломляющимъ: благодаря помощи, которую оказывала дружелюбно настроенная фантазія, древне-эллинскіе боги предстали

передъ глазами неогуманистовъ въ такомъ ослѣпительномъ свѣтѣ, что рядомъ съ ними поблекли отвлеченности христіанской догматики. Кульминаціоннымъ пунктомъ этого движенія было знаменитое и по сіе время стихотвореніе Шиллера «Боги Эллады», въ которомъ провозглашалось превосходство античной эллинской религіи передъ христіанской и прославлялось счастье человѣчества въ ту прекрасную, наивную пору,

Какъ вѣнчали храмъ твой, Афродита,
Ликъ твой, Аматузія!

Все же это была пока поэзія; дать посильное представленіе о томъ, чѣмъ въ дѣйствительности была античная религія, какъ сама по себѣ, такъ и въ ея отношеніи къ христіанству, могла толька наука, въ данномъ случаѣ—филологическая наука. Не сразу поняла она свою задачу. У ея перваго представителя изъ неогуманистовъ, Хр. Гейне, была еще настолько сильна просвѣтительная закваска, что онъ допускалъ происхожденіе миѳа изъ аллегоріи, послѣдствіемъ чего было отрицаніе настоящей вѣры въ религіозные образы, по крайней мѣрѣ, у самихъ творцовъ миѳа. Но время требовало своего, и вскорѣ аллегорическое толкованіе стало лицомъ къ лицу съ другимъ, болѣе вытекающимъ изъ современныхъ условій — съ символическимъ.

Эти современныя условія тогда наилучшимъ образомъ шли навстрѣчу всему таинственному, сокровенному, чудесному. Съ одной стороны — мистицизмъ Сведенборга, подкрѣпленный къ концу столѣтія кудесничествомъ Кальостро, съ другой стороны — масонство съ его своеобразнымъ сочетаніемъ вольнодумства и оккультизма, — все это направило умы по стезѣ сверхъестественнаго и приспособило ихъ къ воспріятію откровеній изъ надземнаго міра. И масонство, и Кальостро указывали на Востокъ, какъ на источникъ своихъ таинствъ; настоящимъ же Востокомъ Востока и колыбелью человѣческой культуры считали Индію. Когда съ начала XIX вѣка литература и философія Индіи стали извѣстными въ Европѣ, случилось нѣчто противоположное тому, что послѣдовало за открытіемъ Гомеровской поэзіи: теперь ясные образы гомеровскаго Олимпа поблекли передъ призраками, показавшимися изъ-за священнаго полумрака индійскихъ пещеръ. Для любителей античности явилась естественная потребность пріобщить и свою область къ той, которая пользовалась такимъ расположеніемъ публики, доказать, что Греція — тотъ же Востокъ, что и здѣсь мудрое жречество восточнаго происхожденія въ символической формѣ распространяло глубокомысленное ученіе о природѣ мірозданія и души. Взялись за исполненіе этой задачи многіе, но главными ея исполнителями были двое: Сентъ-Круа во Франціи и Крейцеръ въ Германіи. Въ наукѣ имъ не посчастливилось: я уже сказалъ, что въ ней, при всемъ ея неогуманистическомъ характерѣ, была сильна просвѣтительная закваска. Противникомъ Крейцера выступилъ Фоссъ со своей «Антисимволикой», противникомъ Сентъ-Круа—Лобекъ со своимъ еще болѣе знаменитымъ «Аглаофамомъ». Трезвая, насмѣшливая, чуждая всякой фантастичности, но и всякой фантазіи критика обоихъ ученыхъ надолго уронила престижъ символизма—безъ малаго на цѣлое столѣтіе.

Наука пошла по другому пути. Съ одной стороны, изученіе миѳологіи другихъ народовъ подало надежду, что путемъ сравненія миѳовъ удастся опредѣлить ихъ древнѣйшій составъ и выяснить ихъ значеніе; съ другой стороны, изслѣдованіе самихъ античныхъ источниковъ, запасъ которыхъ постоянно возрасталъ (особенно въ области живописи), дало возможность внутри самой античности установить послѣдовательность въ развитіи миѳовъ. Явились «сравнительная» и «историческая» миѳологіи. Тамъ беззаботно привлекали для сравненія позднѣйшія формы миѳовъ на-ряду съ древнѣйшими, стараясь главнымъ образомъ найти единый принципъ объясненія ихъ всѣхъ. Таковымъ было либо солнце съ луною и звѣздами (солярная теорія), либо земная влага, либо добытіе небесной влаги изъ тучи, либо происхожденіе жертвеннаго огня, либо душа умершаго и ея культъ. Разрѣшеніе удавалось прекрасно; но именно, то, что оно удавалось одинаково прекрасно при всѣхъ перечисленныхъ принципахъ, не могло не подорвать вѣры въ правильность метода. Здѣсь, наоборотъ, въ «исторической» миѳологіи, задача объясненія мало безпокоила умы, и это, пожалуй, было хорошо; зато изслѣдованія источниковъ давали очень цѣнные результаты, какъ подготовительная работа, и достаточно

указать на такой монументальный объединяющій трудъ, какъ миѳологическій словарь Рошера, чтобы вполнѣ понять и оправдать гордость представителей этой школы.

Правда, съ другой стороны, что при этой работѣ то религіозное вчувствованіе, которое создало великодушное увлеченіе античной религіей въ эпоху Шиллера и символизма начала XIX в., совершенно прекратилось; само понятіе античной религіи потеряло право на существованіе. Убѣжденіе, что нужно самому быть до нѣкоторой степени художникомъ для того, чтобы понять античное художество, мало-по-малу распространялось, вытѣсняя прежній антикварный методъ; но другое, параллельное ему убѣжденіе, *что только религіозно настроенный человѣкъ можетъ понять также и античную религію*—даже и не появлялось среди ученыхъ.

III.

Соотвѣтственно этому и *сравненіе съ христіанствомъ*—въ какомъ бы то ни было смыслѣ—либо отсутствовало вовсе, либо производилось съ предвзятой точки зрѣнія. Способствовало этому немало и столь же необходимое, сколь и вредное раздѣленіе факультетовъ. Античная религія (или то, что отъ нея сохранилось) проходилась на философскомъ или филологическомъ факультетѣ; христіанская религія, разумѣется, на богословскомъ. Филологи благоразумно сторонились всякихъ захватовъ въ область своихъ сосѣдей; богословы довольствовались тѣмъ, что, согласно традиціи, выводили христіанство изъ іудейства, Новый Завѣтъ изъ Ветхаго, античной же религіи они отводили мѣсто среди религій языческихъ, такъ называемыхъ религій низшаго порядка.

Справедливость требуетъ признать, что движеніе, измѣнившее этотъ порядокъ вещей, возникло все-таки на богословскихъ факультетахъ. Изученіе раннихъ періодовъ христіанской церкви обратило вниманіе изслѣдователей на цѣлый рядъ религіозныхъ образованій, посредствующихъ между христіанской религіей и античными—образованій, которымъ нынѣ присвоено мѣткое имя попытокъ «острой эллинизаціи христіанства». Конечно, тутъ дѣло касалось теченій, которыя господствующей церковью были признаны еретическими; все же одинъ тотъ фактъ, что эти теченія, будучи античными, считали себя христіанскими, не могъ не подвергнуть сомнѣнію взгляда на античную религію, какъ на религію низшаго порядка. Но пытливость изслѣдователей не остановилась на полпути: она подвергла анализу и то христіанство, которое, явившись результатомъ борьбы съ ересями III в., стало признаннымъ ученіемъ христіанской церкви—и результатъ этого анализа былъ такой, что значеніе античной религіи, какъ непосредственной предшественницы христіанской—стало вполнѣ несомнѣннымъ. Нѣтъ надобности соглашаться съ парадоксальнымъ мнѣніемъ Гарнака, который видитъ въ христіанствѣ, по крайней мѣрѣ восточной церкви, античную религію съ христіанскимъ уткомъ: уже одно то, что ученый съ его именемъ и знаніями могъ дойти до такого парадокса, свидѣтельствуетъ о важности происшедшей здѣсь перемѣны.

Прежде чѣмъ идти дальше, осмотримъ внимательнѣе то мѣсто нашего пути, къ которому мы пришли. Мы говоримъ о христіанствѣ христіанской церкви III и IV в., отличая его этимъ какъ будто отъ христіанства Христа; а между тѣмъ есть не только богословскія школы, но и цѣлыя церкви, которыя этой разницы не признаютъ. Конечно, онѣ могутъ ошибаться, и аналитическое изслѣдованіе можетъ обнаружить эту ошибку; но не ляжетъ ли необходимость этого изслѣдованія грузной заставой поперекъ нашего пути?

Думаю, что нѣтъ; думаю, что есть діалектическая тропинка, которая можетъ помочь намъ обойти эту заставу. Но прежде чѣмъ указать ее, мнѣ хотѣлось бы отмѣтить другую тропинку, которая тоже ведетъ въ обходъ заставы, но грозитъ повести насъ въ еще худшія дебри.

Эта опасная тропинка сводится къ слѣдующему ходу мыслей. Допустимъ, что церковное христіанство есть именно ученіе Христа; кто же мѣшаетъ намъ поставить вопросъ о зависимости этого послѣдняго отъ античной религіи? Палестина была тогда не только окружена, но и пропитана эллинизмомъ; спеціально Галилея кипѣла греками; всюду греческія имена, греческая рѣчь; не естественно ли допустить, что ученіе, явив-

шееся протестомъ галилеянъ противъ іудейскаго закона, возникло именно подъ вліяніемъ античныхъ идей? Дѣйствительно, были ученые, не убоявшіеся этой тропинки; другіе озабоченно или негодующе смотрѣли на ихъ попытки, опасаясь, какъ бы ихъ результатомъ не явилось устраненіе самаго драгоцѣннаго элемента христіанства — его богооткровенности. О неосновательности этихъ опасеній еще будетъ рѣчь; я же въ данномъ случаѣ руководствуюсь не ими, а, какъ было замѣчено выше, наличностью другой, гораздо болѣе надежной тропинки.

На нее насъ наводитъ неоспоримый фактъ, что христіанизація Европы состоялась на той же почвѣ, которая испытала на себѣ также всю эволюцію античной религіи. Для іудейства христіанство было маловажнымъ эпизодомъ не только временнаго, но и мѣстнаго характера; мало того: кто сравнитъ іудейскую вѣтвь христіанства съ прочими, тому она съ самаго начала покажется чѣмъ-то хилымъ и половинчатымъ, не обѣщающимъ никакой жизни, никакого развитія въ будущемъ. Итакъ, несомнѣнно, что языческій міръ былъ гораздо лучше подготовленъ къ воспріятію христіанства, чѣмъ іудейство; это культурно-историческій фактъ такой огромной важности, что рядомъ съ нимъ вопросъ объ отношеніяхъ Христа къ іудеямъ теряетъ свою жгучесть. А этотъ неоспоримый фактъ въ свою очередь наводитъ насъ на правильную постановку того вопроса, о которомъ у насъ идетъ рѣчь. Мы не будемъ говорить о зависимости христіанства отъ античной религіи; вопросъ нашъ поставленъ такъ: какіе элементы античной религіи подготовили античный міръ къ воспріятію христіанства?

Именно въ этой постановкѣ вопроса заключается новый взглядъ на античную религію; отвѣтъ же на поставленный такимъ образомъ вопросъ будетъ таковъ, что, благодаря ему, мы получимъ возможность принять вышеупомянутый парадоксъ Гарнака въ болѣе полной мѣрѣ и въ болѣе серьезномъ значеніи, чѣмъ полагалъ онъ самъ. Да, христіанство было античной религіей, и притомъ не только восточное, а все; но, называя его такъ, мы не унижаемъ христіанства, а, наоборотъ, возвышаемъ античную религію.

IV.

Глубокій знатокъ исторіи религій вообще и религій древняго Востока въ особенности, недавно скончавшійся голландскій профессоръ Тиле, усмотрѣлъ характернѣйшую разницу между индо-европейскими и семитическими религіями въ наличности или отсутствіи того, что̀ можно выразить однимъ словомъ: Богочеловѣчность.

Въ представленіи семита неизмѣримая пропасть отдѣляетъ божество отъ созданнаго имъ рода человѣческаго: оно властвуетъ надъ нимъ, но не роднится съ нимъ, не допускаетъ ни перехода своей силы въ бренную оболочку человѣческой плоти, ни тѣмъ паче возвышенія человѣка до него. Религіи этого порядка Тиле называетъ «теократическими»; повторяю, что онѣ характерны для семитскаго Востока.

Иначе представляли себѣ свои божества индо-европейцы. Потому ли, что убѣжденіе въ сотвореніи ими міра держалось у нихъ не особенно крѣпко и имѣло противъ себя вѣру въ ихъ происхожденіе наравнѣ съ людьми изъ предвѣчнаго міра или Земли, только пропасть между богами и людьми не казалась имъ безнадежной. Съ одной стороны, смертные люди за свои заслуги награждались безсмертіемъ и этимъ самымъ переходили въ сонмъ боговъ; съ другой стороны, и боги спускались къ смертнымъ, вступали съ ними въ общеніе и отъ смертныхъ женщинъ рожали себѣ сыновей неземной силы или дочерей неземной красоты — какихъ-нибудь Геракла или Елену. Эти послѣдніе занимали посредствующее мѣсто между богами и человѣческимъ родомъ, — самое слово: «богочеловѣкъ», anêr theos, впервые встрѣчается у Софокла въ примѣненіи къ одному изъ нихъ, къ только-что названному Гераклу. Такъ вотъ религіи этого порядка, признающія богочеловѣчность, мы по примѣру вышеназваннаго ученаго называемъ «теантропическими». Теантропизмъ характеренъ для индо-европейскихъ религій, семитамъ онъ чуждъ. Положимъ, мы встрѣчаемъ въ «Книгѣ Бытія» загадочное слово о томъ, какъ „сыны Божіи увидѣли дочерей человѣческихъ, что онѣ красивы, и брали ихъ себѣ

въ жены, какую кто избралъ" (гл. 6, 2); но вѣдь извѣстно также, что это слово, различно истолкованное и различно толкуемое понынѣ, было caput mortuum въ религіи древняго Израиля, пока оно не нашло себѣ своеобразнаго объясненія и развитія въ ученіи чернокнижниковъ позднѣйшаго времени и не породило обширной алхимистической демонологіи.

Для античной религіи, напротивъ, богочеловѣчность не была caput mortuum: какъ одинъ изъ центральныхъ и непосредственно понятныхъ ея догматовъ, она господствовала надъ религіознымъ сознаніемъ античнаго человѣка и была способна къ богатому развитію. И я думаю, мы имѣемъ право сказать, что и христіанство находилось на линіи этого развитія; во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что если справедливо указанное дѣленіе религій на теократическія и теантропическія и пріуроченіе ихъ къ семитическимъ и индо-европейскимъ племенамъ — а я не вижу возможности оспаривать его — то одинъ признакъ богочеловѣчности воздвигаетъ нерушимую стѣну между христіанствомъ и іудействомъ, заставляя признать первое индоевропейской, а слѣдовательно античной религіей.

Тутъ, однако, напрашивается возраженіе: допустимо ли это сопоставленіе античной и христіанской богочеловѣчности? Охотно дѣлаю себѣ это возраженіе, чтобы выяснить одну сторону обсуждаемаго нами вопроса, о которой я просилъ бы помнить при чтеніи всей настоящей статьи. Въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ по возможности конкретный примѣръ — изъ разсказа Одиссея о томъ, что онъ видѣлъ въ обители Аида (Одиссея, XI, ст. 235, перев. Жуковскаго).

Прежде другихъ подошла благороднорожденная Тиро,
Дочь Салмонеева, славная въ мірѣ супруга Креѳея,
Сына Эолова; все о себѣ мнѣ она разсказала.
Сердце свое Энипеемъ, потокомъ божественно-свѣтлымъ,
Между рѣками земными прекраснѣйшимъ, Тиро плѣнила.
Часто она посѣщала прекрасный потокъ Энипея.
Въ образъ облекся его Посидонъ земледержецъ, чтобъ съ нею
Въ устьѣ волнистокипучемъ рѣки сочетаться любовью.
Воды пурпурныя встали горой и, сліявшись прозрачнымъ
Сводомъ надъ ними, сокрыли отъ взоровъ и бога, и дѣву.
Дѣвственный поясъ ея развязалъ онъ, ей очи смеживши
Сномъ; и когда, распаленный, свое утолилъ вожделѣнье,

За руку взялъ, и по имени назвалъ ее, и сказалъ ей:
„Радуйся богомъ любимая! Прежде чѣмъ полный свершится
Годъ, у тебя два прекрасные сына родятся — безплоденъ
Съ богомъ союзъ не бываетъ — и ихъ воспитай ты съ любовью.
Но возвратяся къ домашнимъ, мое называть имъ страшися
Имя; тебѣ же откроюсь: я — богъ Посидонъ земледержецъ".

Полагаю, никто не останется нечувствительнымъ къ поэтической красотѣ этого мѣста, къ этой сценѣ любви бога и дѣвы, въ прозрачномъ терему водъ. Всякій, затѣмъ, охотно признаетъ здоровую естественность послѣднихъ словъ Посидона, поздравляющаго свою избранницу съ ея грядущимъ счастьемъ — прекрасными близнецами божественнаго сѣмени. Но при всемъ томъ возможно ли сравнить съ ними наше христіанское Благовѣщеніе? Отвѣчу: сравненіе не есть приравненіе. Отъ языческаго привѣта съ его наивной чувственностью христіанское Благовѣщеніе отличается такъ же, какъ духъ отличается отъ плоти; но при всемъ томъ я могу сказать, что этотъ духовный цвѣтъ выросъ изъ того тѣлеснаго корня. Я могу себѣ представить, что народъ, въ своемъ младенчествѣ воспринявшій понятіе богочеловѣчности въ той наивной, тѣлесной, чувственной формѣ — современемъ, возмужавъ, обученный философіей, все болѣе и болѣе ее одухотворитъ и обезплотитъ, пока не дойдетъ, наконецъ, до вполнѣ духовной, христіанской формы (эта эволюція, сопровождая послѣдовательное обезплоченіе самого божества, совершающееся отъ Гомера до Платона — будетъ вполнѣ естественной, необходимой эволюціей). Но я рѣшительно не вижу возможности для народа, ни въ какомъ видѣ не допускающаго богочеловѣчности и происхожденія человѣка отъ брака бога и смертной — не допускаю для него возможности дойти до пониманія той сцены, съ которой начинается повѣствованіе о земной жизни Христа. Насколько наше Благовѣщеніе было вѣнцомъ въ развитіи античной богочеловѣчности, настолько оно шло вразрѣзъ со всѣмъ теократическимъ характеромъ іудейской религіи. Тамъ завершеніе, здѣсь противорѣчіе: таковъ выводъ логики, — и исторія, какъ извѣстно, только подтвердила этотъ выводъ.

Конечно, этимъ еще далеко не все сказано. Кромѣ чувственной оболочки гомеровскаго миѳа, еще другая его особен-

ность не дозволяетъ его сопоставленія съ сокровеннѣйшимъ таинствомъ христіанской христологіи. Тамъ отъ брака бога съ смертной произошли два богатыря и царя; положимъ, это были могучіе богатыри, богатые цари, но вѣдь и только.

Ну, а у насъ рѣчь идетъ не болѣе и не менѣе какъ о Спасителѣ рода человѣческаго!

Разница огромная, не спорю. Все же и тутъ античная религія намѣтила тотъ идеалъ, который ей по исполненіи времени принесло христіанство.

V

Въ древнѣйшую достижимую для насъ эпоху греческой жизни господствующей религіей была религія Зевса въ ея первобытной, чистой формѣ. Эта религія была основана на дуализмѣ: высшими религіозными единицами были двое: Зевсъ и Земля. Зевсъ основалъ свое царство, побѣдивъ Землю и ея силы, Титановъ; но съ тѣхъ поръ надъ нимъ тяготѣетъ проклятье Земли, и ему грозитъ гибель въ неравномъ бою съ ея сынами, Гигантами. Эта предстоящая «гигантомахія» — настоящія «сумерки боговъ» античной религіи. Залогъ его спасенія извѣстенъ ей одной—предвѣчной, вѣщей Землѣ. Было бы долго разсказывать, какимъ образомъ Зевсу удалось вывѣдать ея тайну; тайна же состояла въ томъ, что только человѣкъ, но человѣкъ божественнаго сѣмени, богочеловѣкъ можетъ спасти Зевса и его царство въ предстоящей роковой битвѣ. И вотъ Зевсъ задается мыслью осуществить это дѣло спасенія своего царства; онъ —

> Новую думу задумалъ въ душѣ своей, чтобъ и безсмертнымъ
> И земнороднымъ создать отвратителя злого проклятья.

Такъ описываетъ его намѣреніе одинъ изъ древнѣйшихъ греческихъ поэтовъ, Гесіодъ. Спускается онъ съ этой цѣлью къ смертной женщинѣ Алкменѣ, женѣ царя Амфитріона. Было дѣломъ позднѣйшей комедіи—отъ поэтовъ V в. до Р. Х., до Мольера и Клейста — представить это похожденіе Зевса въ смѣшномъ видѣ и дать имени Амфитріона то значеніе, которое

за нимъ понынѣ удержалъ французскій бульварный жаргонъ; насколько серьезно смотрѣла на него древнѣйшая греческая поэзія, видно по слѣдамъ этого настренія въ аттической трагедіи, по той благоговѣйной смѣси смиренія и гордости, съ которой этотъ Амфитріонъ, наприм., въ «Неистовомъ Гераклѣ» Еврипида называетъ себя «соложникомъ» Зевса.

Дѣйствительно, дѣло было великое. Смертные тогда отожествили свою участь съ участью своего божественнаго вождя: тяготѣвшее надъ нимъ проклятье угрожало и имъ, его гибель была и ихъ гибелью, а потому и ожидаемый спаситель царства боговъ былъ спасителемъ также и человѣческаго рода,—такъ называлъ его и Гесіодъ.

Итакъ, вотъ какой величественный и возвышающій человѣка догматъ создала античная религія уже въ первыя столѣтія своего существованія: ту задачу спасенія міра, которая непосильна высшему богу,—ее долженъ исполнить его божественный, но смертный и смертной рожденный сынъ.

Конечно, въ частностяхъ мы и здѣсь на земной, чувственной почвѣ: рожденіе намѣченнаго спасителя древнѣйшая Эллада не можетъ себѣ представить иначе, какъ по естественнымъ законамъ плоти, хотя и при исключительныхъ, чудесныхъ условіяхъ. Высшій богъ спускается къ своей избранницѣ въ образѣ смертнаго, въ образѣ ея мужа Амфитріона: это — для того, чтобы намѣченная мать спасителя чувствовала себя вѣрной, цѣломудренной женой, чтобы великое дѣло созданія «боготвора» не было осквернено прелюбодѣяніемъ. Онъ остается съ ней въ продолженіе «долгой ночи», продленной запретомъ Солнцу взойти раньше трехсуточнаго срока; такъ объясняла наивная мудрость древнѣйшей Эллады сверхчеловѣческую силу «боготвора». Да, это сознаемъ мы всѣ; но не сознаемъ ли мы также, что это — грубо-чувственныя оболочки идеи, долженствующія пасть современемъ, когда мышленіе и чувствованіе людей возвысятся до пониманія чистой духовности, и обнаружить скрывающееся въ нихъ глубокое таинство — «Таинство Отца и Сына» — и ихъ общее дѣло спасенія свѣтлаго царства и самаго рода человѣческаго?

VI.

Намѣченный спаситель Зевса и его царства ничѣмъ не долженъ былъ быть обязанъ своему божественному отцу, — этотъ выводъ непосредственно вытекалъ изъ основного догмата объ его миссіи. Будучи обязанъ ему, онъ былъ бы зависимъ отъ него; зависимость же есть слабость сравнительно съ тѣмъ, отъ кого зависишь. Самобытность и самодовлѣніе поэтому — исконныя, природныя черты нашего спасителя, Геракла. Онъ не царь, онъ даже не собственникъ, у него нѣтъ ни пяди земли. Его оружіе — та булава, которую онъ себѣ добылъ въ лѣсу; его одежда — шкура того льва, котораго онъ поборолъ. Бездомнымъ скитальцемъ бродитъ онъ по землѣ, всюду побѣждая дикія чудовища и беззаконныхъ людей, въ ожиданіи того дня, когда онъ на колесницѣ своего отца сразится съ гигантами въ послѣдней, роковой битвѣ за небесное царство.

Эта жизнь Геракла, какъ бездомнаго скитальца, глубоко врѣзалась въ сознаніе историческихъ грековъ.

Съ одной стороны, она сыграла немаловажную роль въ сословной жизни и въ сословной борьбѣ позднѣйшихъ временъ. Увѣренность, что этотъ прославленный на всѣ времена сынъ Зевса былъ бѣднякомъ, скитальцемъ, даже рабомъ—дѣйствительно, преданіе не остановилось даже передъ этимъ выводомъ—утѣшающе и возвышающе дѣйствовала на тѣхъ, которые были принижены и обременены на землѣ, и прежде всего, разумѣется, на рабовъ. Уже у Эсхила царица утѣшаетъ свою новую рабу (Агам. 1040).

Самъ сынъ Алкмены, говорятъ, былъ проданъ
И рабскаго отвѣдать принужденъ
Былъ хлѣба...

Его поэтому рабы считали своимъ заступникомъ и покровителемъ; его праздники были излюбленными праздниками рабовъ и вообще маленькихъ людей.

Второе значеніе нашего догмата было нравственное. Примѣръ Геракла показалъ людямъ, какъ мало человѣку нужно

для жизни, и главное, насколько онъ можетъ быть свободенъ и независимъ отъ окружающей и подавляющей обыкновеннаго человѣка обстановки. И вотъ явилась школа или, вѣрнѣе, орденъ людей, поставившихъ себѣ задачей слѣдовать примѣру Геракла и, какъ они выражались, «жить по-геракловски» (hêrakleiôs zên). Это были такъ наз. киники, послѣдователи Антисѳена и знаменитаго Діогена: они называли себя философами, но брали изъ философіи то, что было непосредственно примѣнимо къ жизни и въ то же время было доступно пониманію всѣхъ маленькихъ людей. Кто поступалъ въ ихъ орденъ, тотъ этимъ самымъ отрекался отъ всѣхъ земныхъ благъ; свое имущество онъ раздавалъ бѣднымъ, надѣвалъ на плечо суму — суму Діогена, какъ ее называли, — и отправлялся странствовать, чтобы служить ближнимъ и словомъ и дѣломъ. Таковъ былъ тотъ Кратетъ «добрый демонъ», какъ его прозвали люди, другъ и помощникъ огорченныхъ, до того любимый маленькими людьми, что они даже на дверяхъ своихъ хижинъ писали: «войди, Кратетъ, нашъ добрый демонъ!»

Такъ позднѣе, къ исходу среднихъ вѣковъ, явился вдохновенный учитель, поставившій цѣлью своей жизни слѣдованіе Христу въ Его бѣдности и лишеніяхъ; онъ увлекъ за собою многочисленную толпу приверженцевъ и сталъ основателемъ монашескаго ордена проповѣдниковъ, друзей и заступниковъ бѣдноты. «Поясъ св. Франциска» (la corda di S. Francesco) и сума Діогена (hê Diogenus pêra)—поразительно схожія явленія; а сходство послѣдствій подкрѣпляетъ и подтверждаетъ и сходство тѣхъ основныхъ идей, которыя въ нихъ проявились.

Третье значеніе, если можно такъ выразиться, эстетическое. Контрастъ между высокимъ призваніемъ спасителя рода человѣческаго и низменной обстановкой его земной жизни напрашивался на поэтическую обработку. Первое отношеніе къ нему было, какъ и слѣдуетъ ожидать въ серьезную эпоху греческой религіи, отношеніе трагическое; и дѣйствительно, не глубокимъ ли трагизмомъ проникнуты слова, которыя отъ него слышитъ Одиссей на томъ свѣтѣ: (Од. XI 620).

Сыномъ Зевеса я былъ Олимпійца, но трудъ непомѣрный
Былъ мнѣ удѣломъ земнымъ...

Мы опять не приравниваемъ, но не родственнымъ ли трагизмомъ дышатъ и слова нашего Спасителя (Лука 9, гл. 58): „лисицы имѣютъ норы и птицы небесныя гнѣзда, а Сынъ Человѣческій не имѣетъ, гдѣ преклонить голову?"

За эпосомъ пошла и трагедія; это вполнѣ естественно. Но въ V—IV вѣкахъ Геракломъ занялась и комедія; она прямо съ наслажденіемъ набросилась на низменныя черты въ земной жизни героя, любимца рабовъ и маленькихъ людей; ея грубоватому, хотя и добродушному юмору мы обязаны типомъ комическаго Геракла-Геркулеса... Ужъ здѣсь, казалось бы, сравненіе невозможно? Увы: средневѣковая мистерія не оказалась ни благочестивѣе, ни почтительнѣе своей древне-греческой родоначальницы, и различныя детали, которыми она разукрасила евангельскія повѣствованія, съ точки зрѣнія болѣе строгой религіи пришлось бы признать сплошнымъ кощунствомъ. Но идемъ дальше. За трагедіей и комедіей пришлось сказать свое слово и идилліи; она сказала его устами своего лучшаго представителя Ѳеокрита. Убогая обстановка жизни Геракла переносится на его отчій домъ: Алкмена укладываетъ спать малютку Геракла въ щитѣ его пріемнаго отца, Амфитріона, служащемъ ему колыбелью; она тихо укачиваетъ его: „Счастливо засни, счастливо проснись на зарѣ!" а затѣмъ и сама ложится спать со своимъ мужемъ. Вотъ настоящая «святая семья» греческой религіи; нужно ли вспоминать о художникахъ Возрожденія и ихъ любовной, реалистической обработкѣ всей обстановки жизни младенца Іисуса въ домѣ Его пріемнаго отца, плотника Іосифа, и Его матери Маріи?

VII.

Все же въ описанномъ до сихъ поръ «Таинствѣ Отца и Сына» роль послѣдняго заключалась въ спасеніи того царства, которое было основано Его Отцомъ; какъ себѣ конкретно представлять это основаніе царства, т.-е. какъ себѣ представлять міроздание до и послѣ титаномахіи, на это трудно дать опредѣленный отвѣтъ. Современемъ религіозно-космогоническая спекуляція коснулась и этого вопроса. Догматъ о предвѣчной Землѣ и рожденномъ во времени Зевсѣ тѣмъ болѣе терялъ свою

убѣдительность для людей, чѣмъ болѣе самъ Зевсъ претворялся въ бога-Духа и этимъ возвышался надъ обязательно матеріальной Землей. Возникло мнѣніе о происхожденіи самой Земли изъ предвѣчной матеріи, Хаоса; а разъ это было такъ, то для той силы, которая заставила безпорядочный Хаосъ превратиться въ стройное міроздание, самъ собою обозначился пробѣлъ. Все же Зевсъ этого пробѣла заполнить не могъ; древнѣйшая религія не знала его какъ творца или устроителя мірозданія, и позднѣйшая, хотя все еще древняя спекуляція не дерзнула обогатить его образъ этой новой чертой. Были придуманы другіе, болѣе или менѣе глубокомысленные исходы. Въ Беотіи, гдѣ особымъ культомъ пользовался Эротъ, этотъ послѣдній былъ признанъ устроителемъ міра, и позднѣйшая философія подхватила эту мысль, превращая Эрота въ символъ центростремительныхъ силъ въ природѣ. Въ Аркадіи эта роль была предоставлена родному богу страны, Гермесу, сыну Зевса; и этотъ ростокъ оказался наиболѣе могучимъ и плодотворнымъ. Вначалѣ этотъ Гермесъ представлялся сыномъ Зевса во плоти, какъ плодъ его брака съ Маей (матерью); но современемъ, когда Зевсъ сталъ духомъ, то рожденіе имъ сына во плоти показалось неубѣдительнымъ. Гермесъ представлялся людямъ не рожденнымъ, а только исходящимъ отъ него. А Гермесъ въ космогоническій миѳъ велъ и своего сына, аркадскаго бога Пана—«Великаго Пана».

Это странное божество именно своей странной наружностью получеловѣка-полукозла напрашивалось на символическое толкованіе: эту наружность признали смѣшеніемъ двухъ природъ, высшей и низменной. А такъ какъ Гермесъ, отецъ Пана, считался—и это было очень древнее представленіе—владыкою и дарователемъ слова, то его двуобразный сынъ былъ принятъ за символическое выраженіе этого послѣдняго съ его двумя натурами, возвышенной и низменной. Такъ обстояло дѣло въ эпоху Платона. Но расцвѣтъ религіи Гермеса и всей «герметической» спекуляціи принадлежитъ болѣе поздней эпохѣ: когда Зевсъ претворился въ высшій разумъ, а его сынъ Гермесъ въ его духовное излученіе, тогда и двуобразный сынъ Гермеса былъ нареченъ, вмѣсто символическаго, своимъ настоящимъ именемъ, какъ олицетворенное Слово, какъ Логосъ. Этотъ

фазисъ герметической религіи былъ намъ раскрытъ однимъ религіозно-историческимъ памятникомъ чрезвычайной важности, найденной лишь недавно въ Египтѣ такъ наз. «страсбургской космогоніей».

Еще позднѣе—я долженъ замѣтить, что мы можемъ прослѣдить это развитіе по этапамъ—Гермесъ миѳологическій, имя котораго стояло между отвлеченными именами высшаго Разума и Логоса, самъ превратился въ отвлеченную силу: онъ сталъ Разумомъ-Творцомъ (Деміургомъ), его же миѳологическое имя было дано предполагаемому пророку герметической религіи.

Такъ-то получилась *троица*: Высшій Разумъ, Разумъ-Творецъ и Логосъ, причемъ второй представленъ исходящимъ отъ перваго, а третій—отъ второго. Порядокъ исхожденія при сходствѣ естествъ не могъ быть соблюденъ тщательно: появились толки, согласно которымъ Логосъ непосредственно исходилъ отъ Высшаго Разума, а Разумъ-Творецъ, исполнивъ свое дѣло, возсоединился съ нимъ, будучи единосущенъ ему. Такъ-то Логосъ сталъ сыномъ высшаго бога,—а его участникомъ въ дѣлѣ сотворенія міра онъ былъ еще ранѣе.

Но другіе и этимъ не удовольствовались; троицѣ первоначальнаго герметическаго ученія они противопоставляли единство творческой силы, «монаду». Мнѣнія колебались: гдѣ одни видѣли троицу, другіе — усматривали единство. Религіозныя мнѣнія живучи, особенно если о нихъ спорятъ; были ли споръ рѣшенъ на почвѣ герметизма, мы не знаемъ, но ясно одно: единственнымъ его рѣшеніемъ, которое удовлетворило бы обѣ спорящія стороны, было бы соединеніе спорныхъ мнѣній въ примиряющій догматъ о единой троицѣ, о тріединомъ Богѣ...

Надо ли намъ здѣсь производить сравненіе? Нѣтъ, не надо. Его за насъ произвелъ древній христіанскій писатель Лактанцій: „не знаю, какъ это произошло, — говоритъ онъ, — но только Гермесъ предугадалъ всю истину“.

Впрочемъ, одно уже давно было замѣчено: происхожденіе того Логоса, воплощеніемъ котораго Іоаннъ призналъ Іисуса Христа, отъ античнаго Логоса. Не мало ученыхъ изслѣдованій было посвящено выясненію этого замѣчательнаго факта; одно изъ лучшихъ принадлежитъ покойному профессору Московскаго университета, кн. С. Трубецкому. Всѣ они, однако, выводятъ

античнаго Логоса изъ философской, спеціально стоической спекуляціи,—и винить ихъ за это нельзя. Тогда еще не была найдена страсбургская «космогонія», показавшая, что образъ Логоса былъ еще раньше созданъ античной религіей, и что стоическая философія его лишь заимствовала оттуда.

VIII.

Но все же Іисусъ Христосъ, а съ нимъ и христіанство родились въ Палестинѣ. Безспорно; но чѣмъ болѣе христіанство забывалось въ Палестинѣ и прививалось къ собственно античному міру, тѣмъ болѣе терялись мессіанскія черты въ образѣ Христа и подчеркивалось его тождество съ античнымъ богочеловѣкомъ и античнымъ Логосомъ. И какъ умы христіанъ II и III вв. были въ чередованіи поколѣній біологическимъ продолженіемъ языческихъ умовъ I в., такъ точно ихъ христіанство, то самое, которое исповѣдуемъ и мы, было продолженіемъ античной религіи—продолженіемъ и, согласно сказанному, завершеніемъ. На вопросъ, почему христіанство, отверженное іудействомъ, привилось къ античному міру, мы даемъ единственно возможный для научно-настроеннаго человѣка отвѣтъ: потому, что оно по своей природѣ было столь же родственно античной религіи, сколь чуждо іудейской.

Но пусть это будетъ единственнымъ отвѣтомъ для научно-настроеннаго человѣка; дозволенъ ли онъ христіанину? Полагаю, что да. Еще древніе отцы—Климентъ Александрійскій и др.—пораженные чистотой и величіемъ античной нравственной философіи, возвысились до замѣчательнаго, столь же христіанскаго, сколь и гуманнаго сужденія: „Господь Богъ въ своемъ попеченіи о человѣческомъ родѣ до пришествія Христа далъ евреямъ законъ, а эллинамъ философію“. И мы лишь незначительно измѣняемъ идею христіанскаго мыслителя, прибавляя къ античной философіи ея родоначальницу и вдохновительницу—античную религію.

Античная религія—настоящій Ветхій Завѣтъ *нашего* христіанства.

Памяти И. Ѳ. Анненскаго.

(1909).

I.

Внезапно, со всею непреоборимостью абсурда, смерть похитила у насъ дѣятеля, которому по всѣмъ человѣческимъ разсчетамъ мѣсто еще надолго было въ нашихъ рядахъ. Думаешь объ этой смерти — и невольно хватаешься за послѣдній день предшествовавшей ей жизни, за этотъ образъ здороваго, цвѣтущаго и смѣющагося И. Ѳ., точно желая воротить его съ мѣста рокового крушенія и направить по другой, безопасной для него и безбольной для его друзей колеѣ.

Это было въ понедѣльникъ 30 ноября, на Высшихъ Историко-литературныхъ курсахъ Н. П. Раева, гдѣ покойный въ теченіе послѣднихъ полутора лѣтъ читалъ античную словесность, и гдѣ мы съ нимъ исправно встрѣчались по понедѣльникамъ въ 12 ч., во время перерыва между его парой лекцій и моей. Мнѣ разсказывали потомъ, что онъ читалъ въ этотъ день особенно бодро и воодушевленно и потомъ весело бесѣдовалъ со слушательницами, приглашавшими его придти вечеромъ на ихъ концертъ и балъ. Да и мнѣ онъ показался тѣмъ И. Ѳ., какимъ я его зналъ въ лучшіе моменты его жизни; говорили мы съ нимъ объ его курсѣ, объ Еврипидѣ и въ отдѣльности объ его рефератѣ, который ему предстояло прочесть въ тотъ же вечеръ въ «Обществѣ классической филологіи» о «Таврической жрицѣ»

Еврипида. Затѣмъ—моя лекція, а слѣдовательно и прощаніе. Говорю ему машинально обычное „до свиданія“, уже погруженный въ свой курсъ. — „Сегодня вечеромъ—не правда ли?“ — „Да конечно“, отвѣчаю, — не подозрѣвая, какое это будетъ свиданіе.

Къ 8 часамъ въ помѣщеніи Общества собралось большее противъ обыкновеннаго число членовъ—сообщенія И. Ѳ. всегда служили особенно лакомой приманкой для обремененныхъ своимъ дѣломъ и стѣсненныхъ во времени педагоговъ. Среди гостей было и нѣсколько «раичекъ», отчасти въ бальныхъ нарядахъ въ виду предстоящаго, послѣ серьезнаго засѣданія, веселаго праздника въ Благородномъ собраніи; было бы и больше, кабы не совпаденіе съ этимъ самымъ праздникомъ. Но гдѣ же самъ референтъ? Ждемъ четверть часа, затѣмъ еще четверть; живетъ онъ въ Царскомъ Селѣ—ужъ не къ поѣзду ли опоздалъ?.. Предоставляемъ слову второму референту, въ надеждѣ, что во время его коротенькаго доклада первый подоспѣетъ... Нѣтъ, онъ все не показывается; за то во время чтенія сторожъ вызываетъ секретаря къ телефону, секретарь подаетъ предсѣдателю какую то записку; все это дѣлается тихо и по возможности незамѣтно, чтобы не мѣшать докладчику, но, разумѣется, все это тѣмъ не менѣе замѣчается и усиливаетъ напряженность ожиданія. Докладъ конченъ; предсѣдатель читаетъ доставленную ему записку:

„Въ Царскосельскомъ вокзалѣ внезапно скончался неизвѣстный господинъ, который, будучи доставленъ въ Обуховскую больницу, былъ опознанъ, какъ И. Ѳ. Анненскій. Ошибка возможна, но мало вѣроятна“.

Засѣданіе закрывается.

Быстрыя, полусознательныя прощанія; въ головѣ какой то тупой протестъ, безконечно повторяемое „невозможно, невозможно!“; давленіе абсурда, усугубляемое тяжелымъ морозомъ петербургской зимней ночи; и больше ничего, на всемъ длинномъ пути, кромѣ этой внутренней и внѣшней тяжести, этого внутренняго и внѣшняго холода. И вотъ оно, наконецъ, это мрачное зданіе Обуховской больницы, тяжелое и холодное, какъ и все прочее. Голыя стѣны пріемнаго покоя, деревянныя скамьи; и на одной изъ нихъ... нѣтъ, теперь ошибка уже невозможна.

Но что это за чудное, ласковое, одухотворенное лицо! какъ оно приковываетъ взоръ, какъ побѣждаетъ тяжесть и холодъ всей обстановки этого унылаго участка смерти! Не вѣрится, что онъ умеръ; онъ какъ бы спитъ, и притомъ здоровымъ, спокойнымъ сномъ. Такъ и видно, что послѣдняя минута этой прекрасной жизни была безбольной, что врагъ человѣчества побоялся слишкомъ грубымъ прикосновеніемъ нарушить гармонію этихъ тонкихъ, прекрасныхъ чертъ. „Сіяющая недвижность" чела, окаймленнаго черными, молодыми волосами; глаза, какъ бы нарочно закрытые, чтобы заслонить завѣсою вѣкъ внутреннюю работу мысли отъ вторженія дѣйствительности; мягкое выраженіе какъ бы готовыхъ улыбнуться губъ...

Вспоминается античная euthanasia; вспоминается желаніе еврипидовой героини euschêmôs thanein, „благообразно умереть". Конечно, это не можетъ насъ примирить съ абсурдомъ смерти— тутъ никакое примиреніе немыслимо — но можетъ заставить хоть на минуту о немъ забыть.

II.

Да проститъ мнѣ читатель эти строки, навѣянныя личными воспоминаніями. Я написалъ ихъ не для него и не для себя; я написалъ ихъ для покойнаго, думая, что ему было бы пріятно ихъ прочесть, если бы... Ахъ, это „если бы!"; наше чувство все еще движется по старинной, младенческой колеѣ—до того ему противны отвѣты сухой и жестокой возмужалости нашего культурнаго бытія!

Но фактъ тотъ, что послѣдній день жизни И. Ѳ. дѣйствительно удачно сосредоточилъ въ себѣ его дѣятельность какъ филолога-классика. Вѣдь въ чемъ состояла эта дѣятельность? Это были, во первыхъ, его лекціи по античной словесности на Раевскихъ курсахъ; во вторыхъ, его доклады въ ученыхъ обществахъ; въ третьихъ и главнымъ образомъ—русскій Еврипидъ, это его великое и живучее дѣло.

Говоря прежде всего объ его лекціяхъ, нельзя не указать на то, что самыя условія университетскаго чтенія требовали отъ И. Ѳ. жертвы, для большинства лекторовъ совершенно

неощутительной. Въ своей статьѣ о Бальмонтѣ онъ сочувственно цитируетъ одно стихотвореніе этого поэта, въ которомъ тотъ называетъ себя художникомъ „русской медлительной рѣчи". Сочувствіе понятное; дѣло въ томъ, что эти слова какъ нельзя лучше примѣнимы къ самому И. Ѳ. Мало сказать, что онъ былъ чрезвычайно тонкимъ и чуткимъ стилистомъ: онъ былъ стилистомъ именно произносимаго, а не читаемаго слова; онъ заботился о тщательномъ подборѣ выраженій не только со стороны смысла, но и со стороны звука. А между тѣмъ старательность этого подбора требовала извѣстной подготовки, требовала предварительной записи—она несовмѣстима съ импровизаціоннымъ или полуимпровизаціоннымъ характеромъ академическаго чтенія. Университетскій лекторъ, читающій „съ тетрадки", лишаетъ себя самаго драгоцѣннаго, что можетъ дать лекція— живого общенія съ аудиторіей, того неуловимаго и все же несомнѣннаго магнетическаго тока симпатіи, который при свободномъ чтеніи устанавливается между ею и имъ.

И. Ѳ. понялъ своеобразныя условія своей новой дѣятельности (говорю „новой", такъ какъ онъ приступилъ къ ней только съ осени 1908 г.), и сумѣлъ приноровиться къ нимъ. Когда совѣтъ профессоровъ Высшихъ Женскихъ Историко-литературныхъ курсовъ пригласилъ его въ свою среду читать античную (сначала греческую, а затѣмъ и римскую) словесность,—онъ отнесся, прежде всего, съ полнымъ пониманіемъ и полной серьезностью къ той задачѣ, которую онъ взялъ на себя. Дѣйствительно, въ силу историческихъ условій все античное должно у насъ еще завоевывать себѣ положеніе; правда, борьба уже не такъ тяжела, какъ лѣтъ 20 тому назадъ, но все же она необходима—и мы на это не жалуемся. Если профессоръ новой исторіи сухо или водянисто излагаетъ свой предметъ, то аудиторія говоритъ: „лекторъ неинтересно читаетъ"; но если то же самое дѣлаетъ профессоръ античной словесности, то она говоритъ: „античная словесность неинтересна". Такимъ образомъ этотъ послѣдній несетъ двойную отвѣтственность—и за себя и за свой предметъ; и всякій, берущій на себя эту задачу, долженъ это помнить.

И. Ѳ. это помнилъ. Не желая повторять того же курса изъ года въ годъ, онъ раздѣлилъ его на нѣсколько частей и

на первый академическій годъ избралъ наиболѣе близкую ему область греческой драмы; за ней послѣдовалъ во второмъ году, до конца котораго ему не суждено было дожить, греческій эпосъ. Съ теченіемъ времени онъ, вѣроятно, расширилъ бы рамки своихъ курсовъ; пока же онъ рѣшилъ этого не дѣлать, чтобы имѣть возможность сообщить больше подробностей, дать болѣе тщательный анализъ разбираемыхъ произведеній и вообще углубить свой предметъ.

Составивъ заранѣе тщательный планъ своего курса и, въ частности, предстоящихъ лекцій, онъ, однако, ничего писаннаго съ собою на каѳедру не бралъ; явившись въ свою аудиторію — курсистки не преминули отмѣтить нѣкоторую торжественность и эффектность его появленія — онъ говорилъ вполнѣ свободно, сознательно отдаваясь теченію своихъ мыслей, безсознательно опредѣляемому безмолвными вопросами сотенъ пытливыхъ глазъ, устремленныхъ на него. И это теченіе было подчасъ таково, что его лекція принимала совершенно иное направленіе, чѣмъ то, которое имъ было заранѣе намѣчено; въ этихъ случаяхъ онъ долженъ былъ отказывать слушательницамъ, „составлявшимъ“ его лекціи (знакомые съ академическимъ дѣломъ поймутъ эту абракадабру) и просившимъ у него его конспекта, — конспектъ, молъ, не соотвѣтствовалъ тому, что было дѣйствительно прочитано въ данный часъ.

И все же художникъ „медлительной рѣчи“ сказался и здѣсь. Слушательницамъ памятны были тѣ моменты, когда краснорѣчивый только что лекторъ внезапно умолкалъ; наступала пауза, иногда довольно длинная. Это значило, что лекторъ набрелъ на мысль, которой онъ особенно дорожилъ. Ея онъ не хотѣлъ выразить первыми встрѣчными словами: онъ надумывалъ обороты, подбиралъ термины, старался найти требуемую формулировку. Онъ при этомъ не торопился, не обнаруживалъ той растерянности, которая бываетъ свойственна неопытнымъ лекторамъ, потерявшимъ нить своихъ разсужденій; увѣренный въ себѣ, онъ спокойно искалъ — и продолжалъ свою рѣчь лишь послѣ того, какъ искомое было найдено.

Аудиторія, тѣмъ временемъ, терпѣливо ждала. Она знала, что лекторъ не терялъ своего времени — что за свое терпѣніе она будетъ вознаграждена особенно мѣткой и красивой фразой — такой, которую можно будетъ именно въ этомъ видѣ запомнить, такъ какъ въ ней ни одного слова не окажется лишнимъ или употребленнымъ невпопадъ.

Но, разумѣется, къ этой манерѣ нужно было привыкнуть; она слишкомъ была своеобразна, слишкомъ отличалась отъ того, что обыкновенно слышалось съ каѳедры какъ отъ хорошихъ, такъ и отъ посредственныхъ лекторовъ. Та толпа слушательницъ, которая собралась на первыя лекціи И. Ѳ., со временемъ стала рѣдѣть, находя, что чтеніе лектора утомляетъ ея вниманіе. Но этотъ отливъ былъ не продолжителенъ. Глубокая проникновенность И. Ѳ., его добросовѣстное отношеніе къ своей задачѣ, содержательность его лекцій дѣлали свое дѣло. Мало по малу аудиторія наполнилась вновь, И. Ѳ. сталъ занимать прочное мѣсто среди самыхъ любимыхъ профессоровъ. И если бы кто могъ въ этомъ сомнѣваться при жизни покойнаго — его похороны окончательно бы его въ этомъ убѣдили. Всѣмъ присутствовавшимъ на нихъ памятны эти „волны“ женской молодежи, хлынувшія въ этотъ день — непривѣтливый зимній день — въ Царское Село и направившіяся отъ вокзала на квартиру покойнаго, изъ квартиры въ гимназическую церковь, изъ церкви на далекое кладбище; это были «раички», пришедшія отдать послѣднюю дань праху своего любимаго профессора.

И въ то время, какъ я пишу эту характеристику И. Ѳ., какъ лектора, со словъ одной изъ его самыхъ ревностныхъ слушательницъ, — я чувствую сугубую тоску по немъ, сугубую злобу противъ того жестокаго абсурда, жертвою котораго онъ палъ. Подумать, что этотъ прирожденный проповѣдникъ античности только теперь, только на 52-омъ году своей жизни сталъ на тотъ путь, для котораго онъ былъ созданъ; что эта жизнь въ теченіе безъ малаго тридцати лѣтъ трепала его по разнаго рода административнымъ должностямъ, претившимъ всему складу его тонкой и изящной природы; что едва ставъ на свою естественную колею, онъ рѣшительно и окончательно былъ выбитъ изъ нея безсмысленнымъ и грубымъ ударомъ той безотвѣтственной силы, которой подвластенъ нашъ міръ...

III.

Вкратцѣ упомяну о докладахъ И. Ѳ. Здѣсь художникъ медлительной рѣчи былъ вполнѣ въ своей стихіи; предварительная запись, недопустимая въ лекціи, здѣсь не только не исключалась, но даже была вполнѣ въ порядкѣ вещей. Всѣ достоинства, которыми авторъ могъ надѣлить свой литературный трудъ, тщательно подбирая слова и прилаживая ихъ другъ къ другу, выступали здѣсь въ полномъ блескѣ. Все же это были достоинства для немногихъ—для тѣхъ, кто были въ состояніи оцѣнить музыку рѣчи и оригинальность оборота и отвести должное мѣсто тѣмъ парадоксамъ, на которые не скупилась богатая, но прихотливая фантазія автора.

Для большинства эта задача была не по плечу; успѣха въ большой публикѣ И. Ѳ. не имѣлъ, даже когда читалъ на интересныя также и для большой публики темы. Никогда не забуду огорченія, которое причинилъ ему неуспѣхъ его лекціи о Бальмонтѣ, прочитанной именно передъ многими. Особенно возмутилъ слушателей тотъ стихъ поэта-виртуоза, въ которомъ онъ объявлялъ, что передъ нимъ всѣ прежніе поэты—предтечи. Докладчику не трудно бы было прикрыть ироніей—добродушной или язвительной—наивную похвальбу самозваннаго мессіи русской поэзіи. Но у него не хватило духу отречься отъ любимаго поэта даже въ этомъ щекотливомъ вопросѣ; онъ ратовалъ за него до конца и за него и съ нимъ вмѣстѣ пострадалъ.

Тѣмъ больше было его удовлетвореніе, когда онъ отъ многихъ уходилъ къ немногимъ, къ своимъ друзьямъ и товарищамъ; особенно желаннымъ гостемъ былъ онъ въ «Обществѣ классической филологіи и педагогики», томъ самомъ, гдѣ онъ долженъ былъ читать въ день своей смерти.

Говоря правду, блестящимъ лекторомъ И. Ѳ. не былъ. Его дикціи недоставало разнообразія въ модуляціи; его пріятный, слегка бархатный голосъ держался преимущественно въ среднихъ регистрахъ, и если не производилъ впечатлѣнія однообразія, то потому только, что содержаніе читаемаго сосредоточивало на себѣ вниманіе слушателя. Все же и это содержаніе

страдало иногда отъ того, что тембръ лектора не вездѣ поспѣвалъ за извилинами и скачками его подчасъ шаловливой мысли, и эта послѣдняя постоянно какъ бы опекалась его всегда корректнымъ и джентльменскимъ голосомъ.

Особенно памятнымъ осталось у меня одно изъ посвященныхъ Еврипиду засѣданій. Лекторъ развивалъ нѣкоторые пункты изъ области своей излюбленной драматической эстетики. Понадобилось ему сравненіе; — и вотъ онъ сталъ насъ увѣрять, что мы всѣ, любуясь на упражненія акробата, втайнѣ желаемъ, чтобы онъ полетѣлъ внизъ со своего каната и сломалъ себѣ шею. Мы всѣ испуганно переглянулись; никто вѣдь не сомнѣвался въ томъ, что, случись такое несчастье на дѣлѣ, добрѣйшій И. Ѳ. былъ бы имъ болѣе пораженъ, чѣмъ кто либо другой. Но эти слова были произнесены тѣмъ же ровнымъ, пріятнымъ голосомъ, какъ и все прочее, безо всякой мефистофельской нотки—и оставалось только благодарить судьбу за то, что ихъ слышали мы, а не большая публика. Я, по крайней мѣрѣ, былъ—за автора—этому очень радъ.

Кромѣ докладовъ, И. Ѳ. любилъ также читать намъ свои переводы изъ Еврипида—либо въ томъ же Обществѣ, либо у себя дома. Послѣднее имѣло свои неудобства—гостямъ приходилось ѣхать въ Царское Село—но зато доставляло лектору возможность читать свои произведенія аудиторіи, имъ же подобранной, и въ привычной для него обстановкѣ. Въ этой обстановкѣ—изящной, какъ и все, что исходило отъ И. Ѳ. и соприкасалось съ нимъ—болѣе всего бросались въ глаза экзотическіе цвѣты на письменномъ столѣ, за которымъ, повернувшись къ публикѣ, занималъ мѣсто лекторъ, и они удивительно шли другъ къ другу, этотъ лекторъ и его произведеніе, и эти цвѣты, поддерживая и усиливая созданную фантазіей слушателей иллюзію.

...Хотѣлось по мѣрѣ силъ запечатлѣть эти, быть можетъ, маловажныя подробности, относящіяся къ живому слову И. Ѳ. Нынѣ это слово уже замолкло; кто въ будущемъ станетъ заводить знакомство съ покойнымъ, для того онъ сольется со своими печатными произведеніями—и прежде всего съ русскимъ переводомъ того автора, котораго онъ болѣе другихъ зналъ и любилъ.

IV.

Есть филологи только (по нѣмецки ихъ называютъ Nurphilologen), и есть филологи, окрашенные въ своемъ научномъ естествѣ еще какой нибудь другой, научной или художественной предилекціей.

И. Ѳ. не относился пренебрежительно къ первой категоріи, но самъ онъ принадлежитъ ко второй. Будь онъ филологомъ только—онъ сталъ бы таковымъ на лингвистической закваскѣ. Къ этой области относились его первыя научныя работы; ее же онъ дѣлалъ и предметомъ своихъ курсовъ въ тѣ довольно давнія времена, когда онъ солидно, но безъ особеннаго успѣха, читалъ на (Бестужевскихъ) Высшихъ Женскихъ Курсахъ. Но занятія лингвистикой взростили въ немъ любовь къ слову; а любовь къ слову сблизила его съ источниками художественнаго слова (понимая художественность безотносительно къ сознательности)—со старинной русской литературой и—что рѣдко уживается вмѣстѣ—съ поэзіей запада. Особенно близка была ему въ этой послѣдней области та поэзія, которая практиковала, если можно такъ выразиться, культъ слова; такъ то естественная необходимость, вытекавшая изъ всей его филологической натуры, заставила И. Ѳ. отдаться модернизму.

Филологъ-классикъ и поэтъ-модернистъ—только очень наивные люди могутъ удивляться этому совмѣстительству; на дѣлѣ же оно совершенно естественно и подтверждается многими примѣрами и въ Россіи — и еще болѣе за границей. Только у каждаго къ нему своя дорога; я описалъ ту, которую избрала подвижная, рвавшаяся отъ изученія къ творчеству душа И. Ѳ. И это совмѣстительство отозвалось роковымъ образомъ на всей его работѣ. Онъ не могъ распредѣлить себя, такъ сказать, по вѣдомствамъ—да и можетъ ли это вообще дѣйствительно живой человѣкъ? Онъ всегда былъ въ предѣлахъ возможности, своимъ полнымъ *я*, всегда былъ и классикомъ, и модернистомъ, такъ какъ всегда былъ одинаково живъ.

Очень вѣроятно, что именно эта потребность сблизила его съ Еврипидомъ, этимъ модернистомъ среди греческихъ поэтовъ; русскій Еврипидъ—это и есть тотъ нерукотворный памятникъ, который себѣ воздвигъ И. Ѳ. Замѣчу тутъ же, что этотъ памятникъ законченъ — что судьба хоть въ этомъ отношеніи была милостива и къ нему и къ намъ. Правда, въ ту минуту, когда я пишу эти строки, только первый томъ (шесть драмъ) имѣется въ печати. Но въ рукописи готовъ весь переводъ, готовы и вступительныя статьи; они вмѣстѣ заполнятъ еще два тома, и наслѣдникъ его правъ и имени, надѣемся, сдѣлаетъ все отъ него зависящее, чтобы эти два тома увидѣли свѣтъ и въ наиболѣе скоромъ времени, и при наилучшихъ условіяхъ. Конечно, отсутствіе авторской корректуры дастъ знать о себѣ; И. Ѳ., вообще творившій быстро, предполагалъ еще разъ просмотрѣть свои переводы, особенно старые, сличить ихъ съ подлинникомъ, выровнять ихъ съ точки зрѣнія стиля. „Съ декабря мѣсяца я иду въ затворъ“ шутливо говаривалъ покойный, когда къ нему приставали по поводу продолженія его Еврипида. Это значило, что переводчикъ намѣренъ уединиться со своимъ авторомъ: его письменный столъ покроется его любимыми бѣлыми цвѣтами, и онъ будетъ черпать двойное вдохновеніе отъ аромата туберозъ и аромата еврипидовой поэзіи... Обидно думать, какъ былъ понятъ и исполненъ судьбою этотъ шутливый обѣтъ.

Сосредоточимся, однако, на томъ, что у насъ въ рукахъ. Давъ тотчасъ по выходѣ перваго тома его подробную оцѣнку [1]), я здѣсь не намѣренъ повторяться. Но одного предупрежденія нельзя не повторить. То, что намъ далъ И. Ѳ.—это не просто русскій Еврипидъ, а именно русскій Еврипидъ И. Ѳ. Анненскаго, запечатлѣнный всѣми особенностями его индивидуальности. Мы можемъ сколько угодно отмѣчать его несогласіе съ подлиннымъ Еврипидомъ; но если бы мы пожелали—и смогли—передать послѣдняго по своему, то все таки вышелъ бы именно нашъ Еврипидъ, а не Еврипидъ просто. Спеціально И. Ѳ. очень дорожилъ индивидуальными особенностями своего перевода и сдавался только передъ очевидностью. Помнится, я въ одной статьѣ процитировалъ одну выдержку изъ Еврипида въ

---

[1]) Въ (нынѣ тоже покойномъ) журналѣ „Перевалъ“ 1907 г., кн. XI и XII; повторено въ моемъ сборникѣ «Изъ жизни идей» I т. (2-ое изд.) стр. 321 сл.

его переводѣ. Я въ такихъ случаяхъ слѣдую совѣту Берне въ его прекрасной статьѣ о «критическомъ лаконизмѣ»: если замѣчаю явную ошибку, то исправляю ее молча. Встрѣтивъ, однако, И. Ѳ. въ «Обществѣ», вижу по его лицу, что ему моя корректура не понравилась. Такъ какъ онъ сидѣлъ далеко, то я посылаю ему записку:, „отчего Вы не въ духѣ?". Отвѣчаетъ: „отчего Вы измѣнили стихъ (такой-то) моего перевода?" Отвѣчаю: „оттого, что въ немъ шесть стопъ", — и слѣжу за эффектомъ своей записки. Первый эффектъ—недоумѣніе; второй—счетъ по пальцамъ; третій—кивокъ и примирительная улыбка.—Такъ и теперь, характеризуя Еврипида И. Ѳ Анненскаго, я отмѣчаю его различія отъ *моего* Еврипида. А убѣдила ли бы моя критика покойнаго—это еще вопросъ.

Разсудочный характеръ античной поэзіи ведетъ къ тому, что ея мысли сцѣплены между собою либо взаимной подчиненностью, либо всякаго рода союзами и частицами. Это для переводчика одинъ изъ главныхъ камней преткновенія. Русская поэзія періодизаціи не терпитъ и бѣдна союзами; приходится сплошь и рядомъ нанизывать тамъ, гдѣ античный поэтъ сцѣплялъ, разбивая его цѣпи на ихъ отдѣльныя звенья. Возьмемъ, для примѣра, нѣсколько стиховъ изъ монолога Медеи тотчасъ по удаленіи обманутаго ею Креонта (ст. 371 сл.). Въ точномъ прозаическомъ переводѣ они гласятъ такъ: „Онъ же дошелъ до такого неразумія, что, имѣя возможность, изгнавъ меня изъ земли, этимъ (заранѣе) уничтожить мои замыслы—разрѣшилъ мнѣ остаться этотъ день, въ теченіе котораго я обращу въ трупы троихъ моихъ враговъ — отца, дочь и моего мужа". Нечего говорить, что въ поэзіи этотъ переводъ невозможенъ; у И. Ѳ. мы находимъ:

О, слѣпецъ!
Въ рукахъ держать рѣшенье—и оставить
Намъ цѣлый день... Довольно за глаза,
Чтобы отца и дочь и мужа съ нею
Мы въ трупы обратили... ненавистныхъ.

Полезно сравнить его переводъ шагъ за шагомъ — такъ ясна здѣсь расчленяющая работа переводчика, заставившая его даже, ради эффектности антитезы, пожертвовать частью содержанія второго стиха. Въ этомъ можно видѣть недостатокъ

перевода; но переводчикъ намъ отвѣтитъ, что иначе пришлось бы пожертвовать поэзіей—и будетъ правъ.

Правъ—въ данномъ случаѣ; но не всегда. Не разъ соблазнъ расчлененія и нанизыванія доводитъ переводчика до того, что онъ имъ не облегчаетъ, а затрудняетъ пониманіе своего автора. Возьмемъ опять примѣръ — знаменитый монологъ Федры въ первомъ дѣйствіи. Его разсудочность вырастаетъ изъ самого характера героини; она такъ естественна, что съ ея устраненіемъ пропадаетъ и поэзія. Вотъ точный прозаическій переводъ начала (ст. 374 сл.): „Уже и раньше въ долгіе часы ночи я размышляла о томъ, что именно разрушаетъ человѣческую жизнь. И я рѣшила, что не по природѣ своего разума люди поступаютъ дурно—благоразуміе вѣдь свойственно многимъ—нѣтъ, но вотъ, какъ должно смотрѣть на дѣло. Мы и знаемъ и распознаемъ благо; но мы его не осуществляемъ, одни изъ вялости, другіе потому, что они вмѣсто блага признали другую отраду жизни". У И. Ѳ. мы читаемъ:

Уже давно въ безмолвіи ночей
Я думою томилась: въ жизни смертныхъ
Откуда жъ эта язва? Иль ума
Природа виновата въ заблужденьяхъ?...
Нѣтъ—разсужденья мало—дѣло въ томъ,
Что къ доброму мы не стремимся вовсе,
Не въ томъ, что мы его не знаемъ. Да,
Однимъ мѣшаетъ лѣность, а другой
Не знаетъ даже вкуса въ наслажденьѣ
Исполненнаго долга.

Бѣдная Федра, такъ гордящаяся безпощадной послѣдовательностью своего разсужденія, въ этомъ случаѣ, думается мнѣ, имѣла бы право слегка попенять на своего переводчика.

Этотъ „соблазнъ расчлененія", какъ я его назвалъ, можетъ быть изобличенъ еще одной, чисто внѣшней примѣтой. Какъ издатель античныхъ текстовъ, я люблю пользоваться всѣми знаками современнаго препинанія, включая и многоточіе. И тутъ я убѣдился, какъ рѣдко удается вставить этотъ знакъ въ текстъ подлинной греческой трагедіи; повидимому, такія мѣста сознавались и авторомъ и его публикой, какъ мѣста сильнаго драматическаго эффекта. У переводчика, напротивъ, это одинъ

изъ наиболѣе встрѣчаемыхъ знаковъ; въ одномъ монологѣ Медеи, изъ котораго я привелъ выше выдержку, онъ встрѣчается 19 разъ, занимая мѣсто непосредственно послѣ запятой (32 раза). Отсюда видно, что дикціонная физіономія Еврипида, если можно такъ выразиться, у его переводчика должна была сильно измѣниться. И это вѣдь—только примѣръ.

Но тутъ уже ничего не подѣлаешь. „Всякій переводъ есть метемпсихоза", сказалъ геніальный филологъ и переводчикъ, У. ф. Вилямовицъ; будемъ же довольны хоть тѣмъ, что въ данномъ случаѣ Еврипидъ претворился въ такой тонкой и интересной душѣ.—Зато по другому пункту я не сомнѣваюсь, что авторъ самъ исправилъ бы свои первоначальные переводы. Какъ человѣкъ талантливый, но прихотливый, онъ творилъ неровно, въ зависимости отъ своего настроенія; рядомъ съ изящными, поэтическими оборотами у него встрѣчаются вульгарные прозаизмы. Въ этомъ фактѣ ему пришлось самому убѣдиться не такъ давно при постановкѣ «Ифигеніи-жертвы» («Авлидской») въ его переводѣ. Въ немъ были такія мѣста какъ:

Но Эллада, царь, Эллада! *Ей за что же достается?*

или:

А за деньги власть купивши, промахнешься, *толстосумъ!*—

въ обращеніи Менелая къ Агамемнону. Актеръ, исполнявшій роль Менелая, отказался произнести подчеркнутыя слова—и былъ, разумѣется, вполнѣ правъ. Онъ помогъ себѣ тѣмъ, что попросту пропустилъ ихъ—публика, дескать не замѣтитъ. Но читатель не можетъ не замѣтить зіянія въ поэтическомъ текстѣ. И можно только желать, чтобы въ экземплярѣ покойнаго, по которому будутъ печататься невошедшія въ I томъ трагедіи, эти и имъ подобныя мѣста оказались исправленными. Особенно въ этомъ нуждаются «Вакханки», что и не удивительно: это былъ его первый трудъ.

Мы говорили до сихъ поръ объ однихъ переводахъ, но было бы несправедливо обойти молчаніемъ его вводныя статьи къ отдѣльнымъ трагедіямъ, которыя онъ издавалъ какъ предисловія и послѣсловія къ своимъ переводамъ. Чаще всего это были сравнительные анализы: И. Ѳ. бралъ одну или нѣсколько обработокъ Еврипидовыхъ сюжетовъ и сопоставлялъ съ ними оригинальную трагедію, удачно оттѣняя послѣднюю при помощи первыхъ. Его широкая начитанность, его тонкое пониманіе художественности выступали при этомъ въ полномъ блескѣ, и достаточно сравнить съ его разсужденіями убогія характеристики напр. Веклейна, въ его распространенныхъ нѣмецкихъ изданіяхъ Еврипида, чтобы убѣдиться въ громадномъ превосходствѣ русскаго толкователя. Конечно, и эти вводныя статьи будутъ изданы вмѣстѣ съ переводами; и когда это будетъ сдѣлано — русская интеллигенція будетъ имѣть въ «Театрѣ Еврипида» И. Ѳ. Анненскаго завидное по своей полнотѣ руководство для изученія греческаго трагика—руководство, къ которому она, надѣемся, будетъ обращаться не разъ.

V.

Античность далеко еще не сказала намъ своего послѣдняго слова.

Еще лѣтъ десять назадъ такое заявленіе было бы сочтено парадоксомъ въ рядахъ нашей интеллигенціи; теперь оно можетъ уже не опасаться серьезныхъ возраженій.

Не разъ бесѣдовали мы съ покойнымъ на эту тему, не разъ рисовали себѣ картину грядущаго «славянскаго возрожденія», какъ третьяго въ ряду великихъ ренессансовъ послѣ романскаго—XIV-го и германскаго—XVIII-го вѣковъ. Когда оно наступитъ? На первыхъ порахъ—это было, когда мы вмѣстѣ засѣдали въ коммиссіи покойнаго Н. П. Боголѣпова—настроеніе въ виду окружающей мглы было довольно унылое, и не помню ужъ, который изъ насъ варіировалъ по этому поводу мессіанскій вздохъ адріановой эпохи: „Трава будетъ рости изъ нашихъ челюстей, дорогой другъ, а обѣтованнаго Возрожденца все еще не будетъ". Но съ годами дѣло шло все лучше и лучше.

А впрочемъ—исходъ не въ нашей власти. Въ нашей власти только одно—работать и работать. И. Ѳ. работалъ, сколько могъ. И мы увѣрены: когда ожидаемое возрожденіе наступитъ—имя И. Ѳ., какъ одного изъ его предтечъ, озарится новымъ

блескомъ. О немъ вспомнятъ, какъ объ одномъ изъ немногихъ, которые въ трудную минуту нашей культурной жизни не бросали товарищей, не бѣжали съ поля, не предавались малодушiю. А его «Еврипидъ» займетъ почетное мѣсто въ литературѣ «новаго возрожденiя», какъ книга-дѣло, какъ книга-знамя. Она и при жизни своего автора вербовала сердца для новаго направленiя; она съ неменьшей энергiей будетъ это дѣлать послѣ его смерти.

Таково культурное значенiе сошедшаго въ раннюю могилу дѣятеля.

Vince, Sol!

Зачѣмъ такъ мягка, такъ пуглива, подруга моя? Зачѣмъ въ твоемъ сердцѣ столько отрицанiя — столько отреченiя? И зачѣмъ такъ мало рока въ твоемъ взорѣ?

Смотри: новую скрижаль водружаю я надъ тобой...

Ницше.

...Тотъ волшебникъ рѣчи, словами котораго я привѣтствовалъ тебя, мало тебя зналъ; нѣсколько отрывочныхъ сказанiй, которыя ты въ вѣщемъ забытьи повѣдала мiру на непонятномъ для него языкѣ—вотъ все, что̀ до него дошло отъ тебя. Но онъ вперилъ въ тебя свой орлиный, всепроницающiй взоръ— и его взоръ угасъ въ вѣщей глубинѣ твоей души. И онъ крикнулъ своимъ: Берегите ее! „Она единственная, которая еще можетъ обѣщать".

Все на землѣ опредѣлилось; мы знаемъ, кто богатъ и кто бѣденъ; знаемъ, чѣмъ кто богатъ; знаемъ и того, кто, будучи нищимъ, богато живетъ, воровски черпая изъ чужихъ запасовъ. Но о тебѣ никто ничего не знаетъ: живой загадкой, живымъ залогомъ будущаго бродишь ты между людей.

Я вижу ликъ солнца на твоемъ ясномъ челѣ; но его окружили черныя тучи, и оно борется съ нимъ, отчаянно напрягая весь жаръ своихъ лучей; и я молюсь, чтобы разсѣялись черныя тучи, чтобы побѣдило солнце. Тогда только ты скажешь то слово, котораго народы ждутъ отъ тебя—третье слово свободы, слово славянскаго возрожденья.

Молюсь—но зачѣмъ? Ты знаешь, зачѣмъ; знаешь, что я люблю тебя — люблю загадочный блескъ твоихъ обѣщающихъ глазъ, люблю кроткую усмѣшку твоихъ сомкнутыхъ устъ.

Ты научила меня твоему языку, и я полюбилъ его—этотъ роскошный и тонкій, могучій и нѣжный языкъ. Мнѣ любо ощущать въ немъ порывы твоей страстной, самоотверженной души; любо мечтать подъ мѣрный рокотъ его чарующихъ волнъ.

Я много бывалъ въ чужихъ странахъ, среди чужихъ народовъ; я заставлялъ себя жить ихъ жизнью, заставлялъ ихъ повѣрять мнѣ самыя сокровенныя тайны своей души. И все, что я услышалъ и извѣдалъ, я принесъ тебѣ.

Я пробилъ себѣ путь къ матерямъ всего сущаго—въ ту туманную ихъ обитель, гдѣ великія тѣни прошлаго лелѣютъ дремлющіе зародыши будущаго. Я принесъ тебѣ ихъ скрижали; онѣ должны стать твоими, чтобы ты могла произнести обѣщанное слово рока—третье слово свободы, слово славянскаго возрожденья.

Я говорю тебѣ о нихъ на твоемъ языкѣ — но, увы! не твоимъ языкомъ. Ты удивленно смотришь на меня, и я рѣдко вижу искру узнаванія въ твоихъ глазахъ. „Странно“, отвѣчаешь ты; „такъ еще никто со мною не говорилъ“.

И кто-то шепчетъ тебѣ: „Не вѣрь ему! Зачѣмъ онъ здѣсь? Онъ для тебя—чужой“. Черная тѣнь мелькнула передъ тобой, и ты ее узнала; узнавъ ее, ты сказала: „этотъ шепотъ лжетъ“.

Да, этотъ черный шепотъ лжетъ. Наши предки когда-то рубились между собой, но мы, ихъ потомки, этой враждой не связаны. То была честная вражда, ясный булатный звонъ въ чистомъ полѣ; мы будемъ вспоминать о ней и съ ясной улыбкой смотрѣть въ глаза другъ другу. „Для того терпѣли вы бѣдствія“, скажемъ мы словами древняго баяна, „чтобы была пѣсня среди людей“. Эта пѣсня есть; мы будемъ внимать ей, склонясь другъ къ другу, и чѣмъ грознѣе ея напѣвы, тѣмъ нѣжнѣе будутъ пожатія нашихъ рукъ.

Ясный булатный звонъ—ясная улыбка весенней дружбы... нѣтъ, это не все. Есть другое—ближе, грустнѣе, тяжеле.

Помнишь? Васъ было двѣ сестры... О, не сверкай на меня гнѣвной обидой твоихъ пугливыхъ, заплаканныхъ глазъ: я знаю вѣдь, то была не ты. Твои руки чисты, и нѣтъ злобы въ кроткой усмѣшкѣ твоихъ устъ.

Такъ про васъ въ сказкѣ говорится: васъ было двѣ сестры, и вы вмѣстѣ пошли въ лѣсъ... по малину. Славянская сказка ее любитъ, этотъ кроткій даръ славянскихъ лѣсовъ: „Кто больше малины соберетъ, тотъ унаслѣдуетъ землю“. Когда солнце стало садиться, его багровый лучъ освѣтилъ лишь одну; багровая капля повисла надъ ея черной бровью—это былъ не малиновый сокъ... Нѣтъ, нѣтъ, то была не ты; твои руки чисты, и нѣтъ злобы въ кроткой усмѣшкѣ твоихъ малиновыхъ устъ.

Когда солнце взошло, его блѣдный лучъ освѣтилъ могилу; черная кровь гнѣвно кипѣла и дымилась въ ея черной, рыхлой землѣ. И этотъ дымъ черной тучей заволакивалъ блѣдное небо холоднаго утра; солнце боролось съ нею, но черная туча побѣждала.

Нѣтъ, то была не ты: я знаю про тебя другую сказку. Верхомъ на конѣ, въ своихъ царственныхъ парчахъ слѣдовала ты въ свой новый стольный градъ; твоя черная прислужница шла за тобой. День былъ знойный, и полуденное солнце безпощадно палило, изсушая твое молодое тѣло. Тебя соблазнилъ родникъ, журчавшій у твоего пути; твоя черная прислужница помогла тебѣ сойти, а затѣмъ, сорвавъ парчевый нарядъ съ твоихъ плечъ, вскочила на твоего коня и велѣла тебѣ ей служить. И ты, царственная смиренница, послѣдовала за ней.

И каждый день, замученная раба, выходила ты за ворота своего стольнаго града, съ грустной улыбкой на твоихъ кроткихъ устахъ, со щемящей обидой въ твоемъ кроткомъ сердцѣ. Ты поднимала свой влажный взоръ къ холодному, облачному небу: „О солнце, пламя обличенья! когда же ты выплывешь изъ-за тучъ? Разсѣйтесь, черныя тучи; побѣди, солнце!“

Такой позналъ я тебя. Мы протянули руки другъ другу черезъ черную могилу; и могила покрылась зеленью, и гнѣвная кровь заснула, и ея черный дымъ разсѣялся въ голубыхъ мечтаніяхъ весенняго неба.

Такой позналъ и полюбилъ я тебя, славянка; и мнѣ больно, что не всѣ тебя знаютъ такой, не всѣ тебя любятъ. Другая присвоила себѣ твое имя и твою власть, — ты ее знаешь, свою

черную прислужницу? Багровая капля повисла надъ ея черной бровью; о солнце, пламя обличенія! ты знаешь, чья эта кровь?

О ради Бога, не дозволяй ей приближаться къ могилѣ! Ея проклятая поступь нарушитъ голубой сонъ дремлющей крови; молодая зелень поблекнетъ, сожженная жаромъ вскипѣвшей струи. Опять черный дымъ поднимется къ небесамъ: тщетна будетъ борьба солнца съ его мракомъ — мракъ побѣдитъ, и багровое пламя мести сверкнетъ изъ-за черныхъ тучъ...

Иль ты не можешь ее оттолкнуть? Она тебѣ повелѣваетъ, а ты смиренно ей служишь, царственная раба?

Но зачѣмъ,—зачѣмъ?

Зачѣмъ такъ мягка, такъ пуглива, — подруга моя?

***

Я знаю зачѣмъ.

Твои руки чисты, и нѣтъ злобы въ кроткой усмѣшкѣ твоихъ устъ; только бы они чаще смѣялись, эти кроткія уста! Но я вижу: твои губы вздрагиваютъ при каждой усмѣшкѣ, и эта дрожь говоритъ: „я виновата — я не должна смѣяться“. Кто же тебѣ сказалъ, что смѣяться грѣшно?

Смотри: могила покрылась зеленью, и расцвѣтшая липа льетъ тихую дрему на ея кровь. Божья пташка вьется надъ ней и поетъ долгую колыбельную пѣсню горю и злобѣ. Кто же тебѣ сказалъ, что смѣяться грѣшно?

А когда-то ты умѣла смѣяться. Ты, рѣзвясь, бросала свой звонкій смѣхъ въ голубое небо—и онъ, ниспадая, застывалъ въ веселыхъ переливахъ твоихъ удалыхъ пѣсенъ. Ты бросала его въ небо — и онъ застывалъ въ веселыхъ узорахъ твоихъ церквей и хоромъ. По этимъ пѣснямъ, по этимъ узорамъ народы узнали, чѣмъ былъ когда-то звонкій смѣхъ волшебницы-славянки; а тебѣ кто сказалъ, что смѣяться грѣшно?

Я знаю—это тебѣ *онъ* сказалъ.

Я его вижу: онъ съ молоткомъ стоитъ у твоего окна, выслѣживая каждое движеніе твоего лица. Чуть затеплится лучъ радости въ твоихъ очахъ—стукъ, стукъ. Чуть заиграетъ легкая зыбь веселья на твоихъ устахъ—стукъ, стукъ. Это „стукъ, стукъ“ говоритъ: ты не должна смѣяться—смѣяться грѣшно.

Онъ—пасѣчникъ. Его пчелы летаютъ по всѣмъ днамъ скорбныхъ долинъ твоего царства, вездѣ, гдѣ растутъ блѣдные, ядовитые цвѣты горя и злобы. Онѣ собираютъ ихъ ядъ—всѣ ихъ яды, отъ бѣшенаго крика отчаянія до тихаго вздоха раздавленной надежды; всѣ ихъ яды онѣ несутъ тебѣ; въ улей страданій обратили онѣ твое сердце.

Онъ—душеводитель. Такъ нѣкогда Богородицу водили по мукамъ; она прошла всю обитель окаянныхъ, пережила всѣ ихъ мученія своей любящей душой; а когда ее привели обратно къ воротамъ скорбнаго града — передъ ней поблекъ ея голубой рай, и она захотѣла навѣки остаться среди замученныхъ. Такъ и тебя онъ водитъ по всѣмъ днамъ скорбныхъ долинъ твоего царства.

Онъ — вампиръ. Я видѣлъ его, какъ онъ черною ночью, склонясь надъ твоимъ бѣднымъ, дрожащимъ тѣломъ, нашептывалъ тебѣ свои внушенія, чтобы ты ненавидѣла радость, чтобъ не смѣялась никогда. Я видѣлъ его: страшно горѣли его красные глаза въ черномъ мракѣ ночи, освѣщая мучительныя судороги твоего бѣднаго тѣла; я тебя звалъ, но ты не слышала меня.

Онъ шепотомъ тебя спрашивалъ: „что̀ видишь ты?“ И ты отвѣчала ему влажнымъ, замученнымъ голосомъ: „Я вижу черную землю и черное небо: свинцовыя тучи заволокли солнце; только въ одномъ мѣстѣ черезъ густой покровъ прорывается его блѣдный, плачущій лучъ; но и онъ, не достигши земли, замираетъ въ черной мглѣ».

Онъ спрашивалъ тебя: „чего хочешь ты?“ И ты отвѣчала: „Хочу опять видѣть зеленую землю и голубое небо. Разсѣйтесь, черныя тучи; побѣди, солнце!“

Онъ наполовину прикрылъ своей красной рукой сомкнутые глаза твои и опять спросилъ: „что̀ видишь ты?“ Ты глухо застонала; затѣмъ твой стонъ сталъ словомъ, и ты сказала: „Красный свѣтъ озарилъ черную землю; я вижу унылую мерзлую поляну; на ней лежитъ тысяча мертвыхъ, нагихъ тѣлъ. Нѣтъ! они не мертвыя: они ползаютъ, копошатся, жмутся другъ къ другу. Они всѣ посинѣли отъ стужи. Одни дышатъ себѣ на руки, чтобы ихъ согрѣть, но влага замерзаетъ на ихъ пальцахъ. Другіе хотятъ содрать ногтями поверхность земли, чтобы укрыться подъ мерзлой корой; но ихъ ногти разбиваются

объ ея ледъ, кровь сочится съ ихъ израненныхъ пальцевъ и замерзаетъ на нихъ. Они плачутъ отъ холода и отъ боли, но ихъ слезы замерзаютъ, не успѣвъ скатиться съ ихъ глазъ".

Онъ спросилъ тебя: „чего хочешь ты?"—и ты отвѣтила: „Ничего не хочу".

Онъ сказалъ: „Прикажи изрѣзать свой плащъ на тысячу лоскутовъ и дать имъ по лоскуту. Имъ ты этимъ не поможешь, но тебѣ будетъ легче: теперь ты терпишь тысячу стужъ, а тогда будешь терпѣть только одну". И ты глухо простонала въ отвѣтъ.

Онъ еще глубже надвинулъ тебѣ на глаза свою красную руку, совсѣмъ ихъ покрывая, и въ третій разъ тебя спросилъ: „что видишь ты?" И въ отвѣтъ ему послышался страшный, предсмертный хрипъ, въ которомъ я не узналъ тебя; и все-таки это была ты. И хрипъ сталъ словомъ и отвѣтилъ ему: „Земля разверзлась и открыла пропасть: въ пропасти, озаренное краснымъ пламенемъ, извивается чудовище. Въ немъ тысяча тѣлъ; нѣтъ! не тѣлъ, а головъ; нѣтъ! не головъ, а пастей. Ничего не вижу, кромѣ тысячи пастей; ничего не слышу, кромѣ ихъ протяжнаго, голоднаго воя. Онѣ вцѣпились зубами другъ въ друга, какъ бы желая другъ друга пожрать; кровь течетъ изъ ихъ ранъ, и ихъ языкъ жадно лижетъ эту кровь, не разбирая, чужая ли это или своя..."

Онъ спросилъ тебя: „чего хочешь ты?"—и ты отвѣтила: „хочу, чтобы угасъ этотъ блѣдный, плачущій лучъ, говорящій мнѣ, что есть гдѣ-то солнце, Сдвиньтесь, черныя тучи; навѣки побѣди, свинцовый мракъ!"

Онъ сказалъ: „Прикажи изрѣзать свое тѣло на тысячу кусковъ и дать имъ по куску. Имъ ты этимъ не поможешь, но тебѣ будетъ легче: теперь ты терпишь тысячу голодовъ, а тогда не будешь терпѣть ни одного". И страшный, предсмертный хрипъ былъ ему отвѣтомъ.

И долго, склонившись, висѣлъ онъ надъ тобою, озаряя краснымъ пламенемъ своего взора судороги твоего бѣднаго тѣла, нашептывая тебѣ свои внушенія, повѣряя тебѣ всѣ тайны и желанія своего злобнаго, мстительнаго сердца: чтобы ты ненавидѣла радость, чтобъ не смѣялась никогда. И страшно горѣли его красные глаза въ черномъ мракѣ ночи.

Одного только не повѣрилъ онъ тебѣ: что онъ — родной

сынъ твоей черной прислужницы и ею приставленъ для того, чтобы ты обезсилѣла и опустилась и навѣки осталась закрѣпощенной ей.

Зачѣмъ ты вѣришь ему? Зачѣмъ даешь ему убивать своимъ молоткомъ всякую Божью пташку, посланную тебѣ солнцемъ и весной? Зачѣмъ даешь ему наполнять видѣніями ужаса молодой, свѣжій сонъ твоихъ очей? Зачѣмъ обѣщаешь ему отрекаться отъ радости и отрицать солнце?

Зачѣмъ ты вѣришь ему, что тупое, безплодное уныніе— твой долгъ передъ голодными и нагими?

Уныніе безплодно, зиждительна радость. Семью смѣхами создалъ Творецъ весь живой міръ. Только при седьмомъ смѣхѣ ему взгрустнулось, и онъ пролилъ слезу; тогда возникла человѣческая душа — твоя душа, царевна Несмѣяна.

Уныніе безплодно, зиждительна радость. О, если бъ ты могла, какъ въ былые дни, бросить свой звонкій смѣхъ въ голубое небо — онъ ниспалъ бы мягкой волной и прикрылъ бы тысячу нагихъ, продрогшихъ тѣлъ; онъ ниспалъ бы небесной манной и накормилъ бы тысячу голодныхъ ртовъ. И изъ тысячи устъ раздалось бы благодарственное слово: спасибо, волшебница! твоимъ смѣхомъ намъ жизнь красна.

Жизнь, еще разъ! Ради смѣха волшебницы-славянки—еще разъ, жизнь!

Подруга моя! Зачѣмъ ты этого не хочешь — не можешь?

Зачѣмъ въ твоемъ сердцѣ столько отрицанія—столько отреченія—подруга моя?

* * *

Какъ здѣсь все ровно кругомъ—какъ плоско, какъ низко! Необозримой гладью тянется равнина; единственное возвышеніе на ней — могила. Странно! За рубежомъ говорятъ, что смерть равняетъ людей; у насъ ихъ равняетъ жизнь, жизнь втаптываетъ ихъ въ ровную почву, и лишь смерть насыпаетъ имъ въ утѣшеніе холмъ, именуемый могилой.

Горе тому, кто у насъ при жизни пожелаетъ возвыситься надъ равниной. Тысячи цѣпкихъ рукъ хватаютъ его, тысячи завистливыхъ голосовъ кричатъ; „Отдай! Отдай ту силу, кото-

рая возноситъ тебя: эту силу ты взялъ у насъ!“ — Безумцы! дайте же ему подняться, помогите ему. Онъ отдастъ вамъ сторицей, что онъ у васъ взялъ: чѣмъ выше взлетитъ водометъ, тѣмъ шире будетъ пространство, которое онъ своими брызгами ороситъ. — Но нѣтъ, я знаю васъ и вашу зависть: „наша равнина теперь просто равнина; она станетъ низменностью, когда ты вознесешься“.

Прости меня, я ученый; это ихъ чувство я называю «боязнью вертикали». А вертикаль—это рокъ жизни; ты этого не знала? Зато ты знаешь теперь, отчего такъ мало жизни было въ твоей жизни. У насъ жизнь ползетъ по равнинѣ, и только смерть насыпаетъ намъ возвышеніе, именуемое могилой; эта могила—послѣдній вздохъ жизни по утраченной вертикали.

Ты стоишь на могилѣ: ты не забыла, что обѣщала сказать свое слово народамъ? Ты удивленно смотришь: забыла!

Оставь могилу, съ нея ты того слова не скажешь. Пойдемъ туда: тамъ далеко, гдѣ равнина соприкасается съ моремъ, стоитъ одинокая гора. Правда, и эта гора лишь могила: равнина, умирая въ морѣ, насыпала себѣ ее въ утѣшеніе, какъ свой курганъ; она — ея предсмертный вздохъ по утраченной вертикали. Но что дѣлать! другихъ горъ у тебя нѣтъ.

Когда-то онѣ у тебя были. Ты помнишь, какимъ дружнымъ, могучимъ раскатомъ онѣ отвѣтили примчавшейся изъ-за моря грозѣ? Помнишь, какъ полились веселые водопады съ утесовъ Казбека и Чатыръ-дага? Ты удивленно смотришь на меня: „да развѣ это мои горы?“ Нѣтъ, теперь онѣ—не твои; онѣ вновь станутъ твоими, когда ты вспомнишь о своемъ обѣщанномъ словѣ.

Но эта—пока твоя; взойдемъ на нее. Видишь? Твой красный мучитель отсталъ отъ тебя. Онъ водилъ тебя по всѣмъ днамъ скорбныхъ долинъ твоего царства, но горъ онъ не любитъ: здѣсь нѣтъ тѣхъ блѣдныхъ цвѣтовъ, ядомъ которыхъ онъ кормилъ тебя. Другіе цвѣты здѣсь растутъ — теплые и яркіе, какъ это весеннее солнце, ласкающее насъ своими лучами; свѣжіе и бодрящіе, какъ этотъ вѣтерокъ, подувшій на насъ со студенаго моря.

Мы на вершинѣ; смотри, какая ширь кругомъ! Впереди насъ—голубой смѣхъ безпредѣльнаго моря; позади насъ—зеленый смѣхъ безпредѣльной равнины.

Взгляни пристальнѣе на эту вѣчно движущуюся, вѣчно безпокойную, голубую поверхность. Между волнами—синій мракъ; но каждая верхушка загорается, искрится, превращается на мгновеніе въ ослѣпительный огнеметъ. Волну тянетъ къ солнцу; смѣхъ волны—ея отвѣтъ на поцѣлуй солнца.

Взгляни пристальнѣе на ту навѣки застывшую, навѣки спокойную зеленую поверхность позади тебя. Когда ты смотрѣла на нее снизу, блѣдные и грязные стебли былинокъ и травъ пятнали свѣжую, сочную мураву: теперь ты смотришь на нее взоромъ солнца — и видишь однѣ зеленыя, озаренныя верхушки. Теперь ты познаешь, что смѣхъ муравы—ея отвѣтъ на поцѣлуй солнца.

Да, вертикаль — рокъ жизни: ты не забыла, что обѣщала сказать свое слово народамъ? Огонь обѣщанія заигралъ въ твоихъ просвѣтленныхъ очахъ; вѣрь мнѣ, подруга моя, смѣхъ твоихъ глазъ—ихъ отвѣтъ на поцѣлуй солнца.

Ты бредила подъ гнетомъ красной руки твоего мучителя— и бредящіе внимали твоему бреду и повторяли его: „Слушайте всѣ! раздалось слово волшебницы-славянки“. Да, твой стонъ сталъ словомъ, и твой хрипъ сталъ словомъ; когда же твой смѣхъ станетъ словомъ?

Огонь обѣщанія заигралъ въ твоихъ очахъ — и потухъ; отчего онъ потухъ? Оттого ли, что черная туча стала заволакивать солнце? Не теряй надежды; молись со мною, чтобы эта туча разсѣялась, чтобы солнце побѣдило.

Тебя тянетъ обратно — въ равнину—зачѣмъ? Ты потупляешь взоръ, ты шепчешь мнѣ въ отвѣтъ одно слово: „отдать!“

Отдать? да что же ты отдашь теперь, когда у тебя ничего еще нѣтъ? Ты изрѣжешь на тысячу лоскутовъ свой плащъ, и не согрѣешь нагихъ; ты велишь изрѣзать на тысячу кусковъ свое тѣло, и не утолишь голодныхъ. Нѣтъ, не предавайся тщетнымъ мечтамъ: теперь тебѣ еще нечего отдавать.

Отдать! Ты отдашь, когда скажешь свое слово; сказать его—твой рокъ. Его ты съ равнины не скажешь; его ты скажешь съ горы. Не покидай горы; равнина поглотитъ тебя. Ты развѣ не видишь, кто поджидаетъ тебя у подножія горы?

Огонь обѣщанія заигралъ въ твоихъ очахъ — и потухъ. Подруга моя! Отчего такъ пугливъ поцѣлуй солнца въ твоихъ очахъ?

Отчего такъ мало рока въ твоемъ взорѣ, — подруга моя?

* * *

Смотри: новую скрижаль водружаю я надъ тобой. Эта первая скрижаль — скрижаль Зевса.

Ты знаешь, кто такое Зевсъ? Это — тотъ богъ которому служили на вершинахъ горъ. Эта — та сила, которая тебя тянетъ на встрѣчу поцѣлую солнца. Это — духъ вертикали.

Ты помнишь? То было ночью. Была равнина и была влага; и влага стала возноситься надъ равниной. Но равнина ей крикнула: „отдай!", она ухватилась за нее тысячью цѣпкихъ рукъ — и влага разостлалась сѣрымъ, свинцовымъ туманомъ по равнинѣ, и стала душить ея травы и цвѣты и живыя твари... Ты хочешь отдать, подруга моя? хочешь лечь гнетущимъ туманомъ на твою родную землю?

Но вотъ сверкнуло въ горнихъ око Зевса, и влагу потянуло вверхъ, на встрѣчу его поцѣлую. Она собралась въ горнихъ дождевой тучей; тогда грозный смѣхъ Зевса заигралъ на ней, тысячью живительныхъ струй полилась она обратно на свою родную равнину, освѣжая ея травы и цвѣты и живыя твари. Такъ она отдала ей то, что взяла у ней — но отдала весельемъ и жизнью, а не болѣзнью и смертью.

Спроси влагу, думала ли она объ отдачѣ, когда возносилась къ нему, къ возлюбленному своей души. Она скажетъ: „нѣтъ". Она думала о немъ и о грозномъ веселіи его смѣха; а отдача совершилась сама собой, по предвѣчнымъ законамъ міра. Кто думаетъ объ отдачѣ, тотъ отъ тумана, а не отъ грозы.

Но ты боишься грозы. Тебѣ сердце щемитъ, когда огненная змѣя Зевса скользитъ по склонамъ тучи, когда все поднебесье весело содрогается отъ раскатовъ его смѣха; „молнія убиваетъ", говоришь ты. Да, конечно; молнія убиваетъ. А туманъ — о нѣтъ, онъ не убиваетъ. Онъ только отнимаетъ у насъ свѣтъ и веселіе и медленно, незамѣтно впитываетъ въ

насъ ядъ своей гнетущей хвори, отъ котораго мы потомъ — сами умираемъ.

Молнія убиваетъ, да. И тотъ народъ, который поклонялся Зевсу на вершинахъ горъ, воздавалъ почести тѣмъ, кого убивала его молнія, видя въ нихъ его избранниковъ и святыхъ. И онъ обводилъ изгородью тѣ мѣста равнины, которыя были убиты молніей Зевса, называя ихъ «энелисіями» и ублажая ихъ молитвами и приношеніями. А жертвы тумана — кого она заботитъ, эта безвѣстная проказа больной земли!

О ясная, могучая смерть! о ясная, святая скорбь! Жалокъ тотъ, у кого нѣтъ энелисія въ сердцѣ... Глаза твои блеснули влагою, подруга моя; я вижу, духъ горы тебя проникъ — ты понимаешь меня.

Посмотри... нѣтъ, не смотри; съ горы не увидишь. Но припомни, какъ точно и тщательно они раздѣлили равнину на участочки, чтобы всѣмъ одинаково въ нихъ задыхаться. Горе вамъ, богатыри! карлики писали законы для васъ. Ничего, говорятъ они, вымирайте, коли не можете приспособиться; мы, карлики, приспособились. А будетъ тѣсно и намъ — предоставимъ поле карликамъ карликовъ, и такъ далѣе, пока милліономилліонная тля не заполонитъ земли. Да здравствуетъ равенство и приспособляемость! да здравствуетъ земной рай — царство всепобѣждающей, непреоборимой плѣсени.

А пока — уважайте участочки и раздѣляющія ихъ канавы: тотъ грѣшникъ, тотъ преступникъ, кто преступаетъ канаву.

Смотри, подруга моя: солнце клонится къ закату, и наши тѣни призрачными исполинами скользятъ по замечтавшейся равнинѣ. Какъ ты думаешь, сколько канавъ ежесекундно преступаютъ наши исполинскія тѣни? И они этого не чувствуютъ, и нѣтъ грѣха въ дѣяніяхъ нашихъ. Да, красиво и вѣрно говорятъ жители горъ: „на горѣ нѣтъ грѣха".

У насъ, дѣтей Зевса, законъ одинъ — стремленіе къ нему, на встрѣчу его поцѣлую. И этотъ законъ — нашъ рокъ. Ты вѣдь знаешь: вертикаль — это рокъ жизни; ты не думаешь отрицать жизнь? Слѣдуй этому року — а отдача совершится сама собою, по предвѣчнымъ законамъ живой природы.

Понятна тебѣ скрижаль Зевса? Да, здѣсь она понятна; вѣдь Зевсъ — это тотъ, кому служили на вершинахъ горъ.

...Что слышу? Ты и сама хотѣла бы принести ему благодарственную жертву—здѣсь же, на его горѣ? Но какъ это сдѣлать? Кругомъ все пусто; здѣсь нѣтъ ни тельца, ни барана... Ты смѣешься; да, я понялъ тебя. Принесемъ ему въ жертву—вампира.

Но гдѣ онъ, твой вампиръ? Онъ спрятался у подножія горы, поджидая тебя, а теперь... смотри, что за чудо! Поцѣлуй солнца коснулся его, и онъ заметался въ предсмертныхъ судорогахъ. Теперь только видно, какъ онъ весь гадокъ: отвратительный волдырь, налитый краснымъ гноемъ,—чудовищная красная мокрица съ крыльями нетопыря. Но солнце побѣдоносно довершаетъ свое дѣло: онъ кипитъ, дымится, все его тѣло возносится краснымъ паромъ въ вечерній воздухъ. Рѣзвыя нимфы нашей горы весело треплютъ и рвутъ на части его призрачную плоть: всѣ очертанія слились, теперь онъ—не болѣе, какъ рядъ причудливыхъ красныхъ облачковъ, стремительно уносимыхъ въ море.

Въ добрый часъ! Оставаясь надъ равниной, онъ бы за ночь палъ ядовитой ржой на молодой хлѣбъ.

Жертвоприношеніе совершилось. Богъ принялъ его—ты слышишь веселый рокотъ удаляющейся тучи? Она повисла надъ сѣвернымъ небосклономъ, оставляя неприкосновеннымъ лучезарное око Зевса. Подруга моя! этотъ рокотъ предвѣщаетъ намъ тихую ночь и ясный, безоблачный день.

* * *

Смотри: новую скрижаль водружаю я надъ тобой. Эта вторая скрижаль—скрижаль Паллады.

Она—перворechoдная дочь Зевса, духъ державнаго разума и движимой разумомъ воли; ей служили въ бѣломраморныхъ храмахъ, вѣнчавшихъ кремли свободныхъ и благоустроенныхъ городовъ.

Теперь эти храмы въ развалинахъ; неразумная стихійная сила разбросала стройныя колонны и разбила строгую красоту ясныхъ фронтоновъ. Нѣкогда око Паллады сіяло въ нихъ; теперь оно померкло, и лишь одинокій путникъ любуется нѣмыми

остатками минувшаго величія и чуетъ близость богини въ ея поверженномъ твореньи.

Что̀ было въ началѣ, то стало вновь; а знаешь ты, что̀ было въ началѣ?

Въ началѣ была мгла и душа мглы—уродливая Горгона. Она жила въ сумрачной пещерѣ самой ядовитой долины первобытнаго міра. И у нея была своя скрижаль, и на скрижали стояли слова, которыя ты знаешь: „Науки храмъ, ея друзьямъ недостижимый вѣчно,—открытъ тому, кто врагъ уму: онъ въ немъ царитъ безпечно“.

Отсюда, изъ этой сумрачной пещеры, выпускала она своихъ гадовъ распространять слова ея скрижали среди людей. И каждому давала она, въ придачу къ нимъ, особое наставленіе.

Первому она велѣла говорить: „Ѣшь, пей и размножайся, остальное — суета и спѣсь“. Второму: „кто не за тебя, тотъ противъ тебя“. Третьему: „кто противъ тебя, тотъ глупъ или подлъ“. Четвертому: „Простота—залогъ истины“. Пятому: „Не довѣряй тому, кто ясными доводами пытается переубѣдить тебя, и не выпускай крота твоего убѣжденія изъ его норы“. Шестому: „Во всякомъ дѣяніи ищи себялюбиваго побужденія“. Седьмому: „Истина открывается коллективной волѣ толпы, а не единоличному мышленію выдающихся мужей: vox populi—vox Dei“.

Таковы были гады, посылаемые Горгоной во всѣ углы вселенной; и люди внимали ихъ ученію и слѣдовали ему, и царство мглы распространялось по землѣ.

И мгла стала грозить небу и его свѣтиламъ. „Не торжествуй, солнце!“ говорила она, „вскорѣ твой блескъ померкнетъ, затуманенный моимъ дыханіемъ, и старшій изъ моихъ гадовъ поглотитъ твой сіяющій ликъ“.

Многіе отправлялись въ пещеру Горгоны, чтобы сразить ее и спасти царство свѣта; но никто не могъ вынести ея пустого, мертвеннаго взора. Кровь леденѣла у бойцовъ, и они застывали каменными глыбами у порога пещеры.

Но вотъ, ведомый Палладой, Солнце-богатырь переступилъ этотъ порогъ. Онъ отразилъ своимъ яснымъ щитомъ каменный взоръ чудовища и отсѣкъ ему его уродливую голову. И Паллада прикрѣпила голову Горгоны къ своей эгидѣ и окружила ее тѣми семью гадами, которые распространяли ея науку по землѣ.

И когда мгла пошла походомъ противъ свѣта, стремясь поглотить небо съ его свѣтилами, и солнце уже стало меркнуть, окутанное ея ядовитымъ дыханіемъ — Паллада вышла ей навстрѣчу, высоко держа эгиду въ своей побѣдоносной рукѣ.

Страшно смотрѣлъ съ высоты блѣдный ликъ чудовища своимъ пустымъ, мертвеннымъ взоромъ: широкою щелью зіялъ подъ сплюснутымъ носомъ его безобразный ротъ, точно высмѣивая своей безсмысленной улыбкой безсмысленное послушаніе тѣхъ, кто принялъ его науку.

И мгла познала себя въ зіяющей пустотѣ этого мертваго лика; она выпустила небо изъ своихъ цѣпкихъ рукъ и скрылась, пораженная, въ ядовитыя пещеры и пропасти земли. Солнце побѣдило, и скрижаль Паллады возсіяла надъ міромъ.

Ты знаешь скрижаль Паллады—скрижаль державнаго разума? Да, подруга моя, теперь ты знаешь ее. Она открывается только тѣмъ, кто сразилъ Горгону, а ты ее сразила. Видишь, какъ рѣзвыя волны голубого моря треплютъ и заливаютъ красныя клочья ея тѣла?

Нѣтъ даровыхъ истинъ: только то—твое честное убѣжденіе, что ты честно продумала въ горнилѣ твоего сознанія. И только тотъ имѣетъ право согласиться съ тобой, кто закалилъ твою мысль въ огнѣ собственнаго разума.

Не все обозрѣваетъ огненный взоръ свѣтлоокой богини; есть область, надолго, ...быть можетъ, навсегда ей недоступная,— ее вѣдаетъ Деметра. Но того, что для тебя отвоевала Паллада, ты не должна уступать Горгонѣ и ея гадамъ.

Посмотри на богиню: какъ весело пылаетъ ясная гроза ея очей, какъ весело смѣется ея ясный шлемъ, возвращая солнцу его поцѣлуй! Какъ она горитъ жаждой боя за державный разумъ и его права! И что это будетъ за веселый, славный бой— ясный булатный звонъ въ чистомъ полѣ!

„Ты долженъ признать самое горькое для тебя положеніе, разъ оно доказано; ты долженъ отказаться отъ самаго дорогого для тебя убѣжденія, разъ оно опровергнуто“—вотъ завѣтъ Паллады ея бойцамъ. Ея око съ одинаковою любовью свѣтитъ и побѣдителямъ и побѣжденнымъ, если они соблюдаютъ этотъ завѣтъ, данный ею смертнымъ на всѣ времена.

А на груди ея—чешуйчатая эгида съ головой сраженнаго страшилища: пусть знаютъ смертные, кому они себя отдаютъ, отрицая свѣтлоокую богиню и ея завѣтъ, отвергая ясную грозу ея битвъ!

Гдѣ нѣтъ боговъ, тамъ рѣютъ привидѣнья; кто сторонится ока Паллады, надъ тѣмъ нависнетъ зіяющій взоръ Горгоны— тотъ взоръ, отъ котораго каменѣетъ плоть и леденѣетъ жизнь.

Хочешь ты, чтобы поля твоей равнины огласились яснымъ булатнымъ звономъ Палладиныхъ битвъ? Хочешь, чтобы ея бѣломраморные храмы вѣнчали кремли твоихъ городовъ?

Но кто-то шепчетъ тебѣ: „Не хоти. Зачѣмъ ей быть здѣсь? Она для тебя—чужая“. Черная тѣнь мелькнула передъ тобой, и ты ее узнала; узнавъ ее, ты сказала: „этотъ черный шепотъ лжетъ“.

Онъ лжетъ, да; но его ложь простительна. Эта черная тѣнь навѣки бы разсѣялась, если бы ее озарило око Паллады съ высоты ея бѣломраморнаго храма въ кремлѣ твоего стольнаго града.

* * *

Смотри: новую скрижаль водружаю я надъ тобой. Эта третья скрижаль — скрижаль Геракла.

Онъ—сынъ Зевса и любимецъ своей сестры Паллады; но его мать была смертная, и долей смертнаго была его доля на нашей землѣ.

Ему улыбнулась Жизнь, когда онъ былъ въ колыбели, и сказала ему: „Радуйся, дитя! Твой путь будетъ свободенъ: надъ тобой не будетъ закона, кромѣ твоей силы и твоей воли“. И малютка вздохнулъ ей въ отвѣтъ.

Она вторично улыбнулась и сказала ему: „Радуйся, дитя! Твой путь будетъ славенъ: твой отецъ Зевсъ пріобщитъ тебя къ сонму небожителей, и ты будешь вкушать вѣчное блаженство за его трапезой, рядомъ со златокудрой Гебой“. И малютка взглянулъ на нее, и огонь ея взора потухъ во влагѣ его очей.

Она въ третій разъ улыбнулась и сказала ему: „Радуйся, дитя! Твой путь будетъ свѣтелъ: я исполню всѣ желанія твоего сердца“. И тутъ только малютка отвѣтилъ ей улыбкой.

Ставъ отрокомъ, онъ отправился въ путь. Онъ проходилъ мимо скалистой Немеи; пастухи окружили его и взмолились къ нему: „Сжалься надъ нами, герой! дикій левъ разоряетъ наши стада". Вслѣдъ затѣмъ они разбѣжались: рычанье льва послышалось съ вершины ближайшей скалы. Гераклъ остался; немного спустя шкура косматаго звѣря уже свѣшивалась съ его плечъ.

Онъ прошелъ дальше; на зеленомъ лугу стояла Жизнь съ пучкомъ голубыхъ цвѣтовъ въ рукѣ. Она спросила его: „Неправда ли, ты думалъ о трапезѣ Зевса и ради нея совершилъ свой подвигъ, помогая слабымъ и обиженнымъ?" Онъ отвѣтилъ: „Я поборолъ льва, потому что онъ мнѣ встрѣтился на моемъ пути, и я чувствовалъ въ себѣ силу его побороть; мой трудъ былъ радостенъ и награды не ждетъ.

„А теперь ты мнѣ встрѣтилась на моемъ пути: дай же мнѣ одинъ изъ цвѣтовъ, которые у тебя въ рукѣ. Онъ тянетъ меня къ себѣ своимъ сладкимъ, веселящимъ запахомъ: если ты въ моемъ подвигѣ видишь заслугу, пусть твой цвѣтокъ мнѣ будетъ наградой за него".

Она сказала: „на что тебѣ этотъ цвѣтокъ? Мужайся и трудись: тебя ждетъ твое мѣсто за трапезой Зевса и ласка прекраснокудрой Гебы. А цвѣты мои не для тебя". И она, смѣясь, протянула ихъ проходившему мимо молодому пастуху; тотъ поигралъ ими и бросилъ ихъ въ протекавшій мимо ручей.

Онъ спросилъ: „Какъ же ты обѣщала исполнить каждое желаніе моего сердца?" Она отвѣтила: „Я не обѣщала исполнить это желаніе теперь". — „Будь благословенна!" сказалъ онъ и продолжалъ свой путь.

Минули годы; Гераклъ сталъ юношей. Онъ проходилъ мимо болотистой Лерны; крестьяне обступили его и взмолились къ нему: „Сжалься надъ нами, герой! Стоглавая гидра заняла единственный родникъ, дававшій намъ чистую, студеную воду". Вскорѣ затѣмъ изъ сосѣдней чащи послышалось шипѣніе гада. Гераклъ вышелъ ему навстрѣчу; послѣ долгой, упорной борьбы онъ отрѣзалъ и прижегъ головы чудовища и омочилъ свои стрѣлы въ его ядовитой крови.

Онъ прошелъ дальше; у родника его встрѣтила Жизнь съ вѣнкомъ изъ голубыхъ цвѣтовъ на русыхъ кудряхъ и съ золотой чашей въ правой рукѣ. Она сказала ему: „Я все время любовалась на тебя и на твой славный бой; ты, видно, пожалѣлъ бѣдныхъ крестьянъ, лишенныхъ своего единственнаго родника?" Онъ отвѣтилъ: „Я поборолъ гидру, потому что она мнѣ встрѣтилась на моемъ пути, и я чувствовалъ въ себѣ силу ее побороть; это былъ радостный трудъ. А если ты любовалась на мой подвигъ, то теперь награди меня".

Она сказала: „Я затѣмъ и встрѣтила тебя, герой, чтобы тебя наградить. Я дамъ тебѣ цвѣтокъ изъ моего вѣнка; онъ — такой же, какъ и тѣ, которые нѣкогда такъ нравились тебѣ". Онъ отвѣтилъ: „Его запахъ приторенъ, и его видъ не плѣняетъ болѣе моихъ глазъ; но меня тянетъ къ той чашѣ, что у тебя въ правой рукѣ. Какъ весело искрится ея золото въ лучахъ солнца! какъ весело играетъ ея свѣтлая, живительная влага! Дай мнѣ одинъ глотокъ, и я бодро буду продолжать свой путь".

Она сказала: „На что тебѣ моя чаша? Трудись и сражайся: тебя ждетъ вѣчная благодарность спасеннаго тобой человѣчества. А отъ чаши Жизни подальше: она не для тебя". И она, смѣясь, протянула ее проходившему мимо крестьянину; тотъ, отпивъ нѣсколько капель, бросилъ остатокъ вмѣстѣ съ самой чашей въ глубь родника.

Онъ вздохнулъ и спросилъ: „Какъ же ты обѣщала исполнить каждое желаніе моего сердца?" Она отвѣтила: „Ты пожелалъ имѣть мой цвѣтокъ, и я тебѣ его принесла; но я не обѣщала исполнить это желаніе теперь". — „Будь благословенна!" сказалъ онъ и грустно пошелъ дальше.

Возмужавъ, онъ поборолъ дикую рать кентавровъ; и опять его встрѣтила Жизнь подъ сѣнью раскидистой яблони. Она предложила ему напиться изъ ея чаши; но ея блескъ уже не веселилъ утомленныхъ глазъ героя, и ея влага показалась ему прѣсной и вялой. А тѣхъ яблокъ, что алѣли на краю вѣтви, она ему не позволила сорвать.

На исходѣ цвѣтущихъ лѣтъ онъ поборолъ Кербера, свирѣпаго стража преисподней; выйдя на свѣтъ, онъ опять увидѣлъ Жизнь, которая ждала его у подножія горы. Она улыбнулась и протянула ему три яблока; онъ равнодушно ихъ принялъ, равнодушно заложилъ руку за спину и въ грустномъ раздумьи опустилъ чело.

Поднявъ глаза, онъ встрѣтилъ ея загадочный, дѣтски веселый и дѣтски жестокій взоръ. Онъ сказалъ: „За что ты обманываешь меня? За каждый послѣдній мой подвигъ ты исполняла мое предпослѣднее, давно уже выдохшееся желаніе; ужели всегда такъ будетъ?“ — „Нѣтъ“, шепнула она, „есть одно желаніе, которое я исполню немедля, какъ послѣднее — чтобы ты не могъ сказать, что я исполняла не всѣ желанія твоего сердца“.

„Такъ вотъ оно“, сказалъ онъ, „я тебя хочу — тебя самоё; хочу, чтобы ты была моей — вотъ мое послѣднее желаніе, за которымъ уже не будетъ мѣста для другихъ!“ Съ этими словами онъ поднялъ руку по направленію къ ней. „Къ чему?“ спросила она съ дѣтскимъ удивленіемъ во взорѣ. „Къ чему это теперь? Будь терпѣливъ, и я сама къ тебѣ приду, когда ты будешь старцемъ, чтобы вѣнкомъ изъ розъ увѣнчать твою сѣдину“.

Онъ сказалъ: „Я давно тебя люблю, жестокая, люблю тебя любовью столь же безумной, какъ и ты сама. И я хочу тебя теперь же, а не тогда, когда крылья моего желанія, разбитыя, повиснутъ. Ты сама сказала, что нѣтъ надо мной закона, кромѣ моей силы и воли; покорись же моей силѣ и волѣ!“

Онъ опустилъ ей руку на плечо. Она быстро отшатнулась отъ него — и онъ почувствовалъ, какъ адское пламя окружило его тѣло. Точно весь ядъ гидры проникъ его плащъ и, впиваясь въ него самого, сталъ пожирать всѣ живые покровы его костей. Тщетно пытался онъ сбросить его: плащъ прилипъ къ его кожѣ, и онъ, отрывая его, раздиралъ свою собственную плоть. И всѣ страданія, перенесенныя имъ въ жизни, показались ему блаженствомъ въ сравненіи съ этой нестерпимой болью.

Онъ сказалъ ей: „Прекрати мою муку!“ Она грустно улыбнулась и отвѣтила: „Да, я ее прекращу; это и есть то твое желаніе, которое я могу исполнить немедля, какъ послѣднее“.

Она повела его на вершину горы; тамъ ореады воздвигли для него высокій костеръ. Опираясь на ея руку, онъ взошелъ на него. „Будь благословенна!“ шепнулъ онъ ей; и его шепотъ замеръ въ бурѣ пламени, охватившаго и костеръ и его.

* * *

Смотри: новую скрижаль водружаю я надъ тобой. Эта четвертая скрижаль — скрижаль Деметры.

Деметра — старшая сестра Зевса, кроткая богиня тайнъ о синемъ покровѣ. Она — духъ сонной равнины; ей служили въ прохладныхъ рощахъ, въ синемъ сумракѣ густолиственныхъ тополей.

Ты видишь: солнце повисло надъ краемъ западнаго моря, и волны стыдливо зардѣлись, готовыя принять въ свой теремъ божественнаго жениха. А тамъ, съ востока, Деметра все шире и шире простираетъ свой синій покровъ надъ утомленной равниной. Ты слышишь шепотъ ея предвѣстника, вечерняго вѣтерка? Онъ шепчетъ землѣ: „Засни, утомленная; засни — до утра“.

Утро — начало міра, вечеръ — его конецъ. Все, что началось, должно кончиться: всякому міру предстоитъ его вечеръ. Зевсъ вздрогнулъ, постигши силу этого слова; онъ взглянулъ на сестру — и нашелъ успокоеніе въ синей тайнѣ ея кроткихъ очей. „Да“, сказала она, „придетъ время — и твой вечеръ наступитъ, и мой покровъ покроетъ и тебя. Ты заснешь, утомленный; заснешь — до утра.

„Вы раздѣлили между собою всѣ міры видимости и мысли; мнѣ остались лишь синія междумірія, чаянія и тайны.

„Ты помнишь? Была весна; твои птички весело пѣли надъ моей равниной, и твое лучезарное око мирно улыбалось невинному, зеленому смѣху ея травъ. Онѣ стремились вверхъ на встрѣчу твоему поцѣлую; но пришло лѣто — стремленіе остановилось, колосъ зацвѣлъ; пришла осень — налившійся колосъ уныло отвернулся отъ тебя и опустилъ голову въ мрачномъ раздумьи: что же теперь?

„Что теперь?“ рявкнула Горгона; „теперь — конецъ, теперь — смерть! Горе вамъ, былинки и пташки: васъ ждетъ смерть! Горе вашимъ пѣснямъ, вашему смѣху: они застынутъ въ безмолвіи смерти! Горе вашему стремленію: его скуетъ смерть. А, вы не знали, для чего васъ вызвали изъ нѣдръ небытія? Такъ узнайте же: для того, чтобы вы медленно и полно вкусили горести смерти!“

„И она вышла изъ своей мрачной пещеры и показала равнинѣ свою уродливую голову съ ея пустымъ, зіяющимъ взоромъ. И равнина въ ужасѣ заколыхалась: спаси насъ, Зевсъ! спаси насъ, Паллада! мы всѣ васъ любили и къ вамъ стремились: не выдавайте насъ смерти!

„Но ты безучастно смотрѣлъ въ голубую даль, и твоя дочь грустно склонилась на свое копье. Гулъ отчаянія пронесся по пожелтѣвшей нивѣ; зерна выпали изъ своихъ колосьевъ: смерть торжествовала.

„Тогда я приблизилась къ бѣднымъ дѣтямъ моей равнины; я покрыла ихъ своимъ синимъ покровомъ и шепнула имъ: засните, утомленные; засните—до утра.

„Я поборола смерть. Я послала свою единственную дочь къ царю преисподней въ нѣдра земли; она принесла людямъ вѣсть, что смерти нѣтъ, что есть только синій сонъ утомленнымъ—сонъ до утра.

„Медленнымъ, тяжелымъ шагомъ достигаетъ усталый путникъ вечерняго берега жизни. Онъ готовъ возроптать, чуя прикосновеніе леденящей руки; но я осѣняю его глаза своимъ покровомъ—и онъ засыпаетъ, съ кроткой улыбкой надежды на устахъ, склонивъ голову ко мнѣ на плечо. Я его бережно укладываю на мягкое дно своего челна; тихо скользитъ мой челнъ по синимъ тайнамъ рѣки междумірія. Рой духовъ безмолвнымъ полетомъ провожаетъ сোннаго пловца, сплетая загадочные концы двухъ жизней, чередуя сновидѣнія воспоминаній со сновидѣніями чаяній; такъ доплываетъ онъ до утренняго берега. Здѣсь солнце свѣтитъ и трава зеленѣетъ; очнувшійся путникъ стряхиваетъ съ себя тайны междумірія и бодро стремится въ твой шумный градъ, гдѣ копье Паллады его привѣтствуетъ съ высоты бѣломраморнаго кремля.

„И люди познали благостыню моего синяго покрова; благодарные побѣдительницамъ смерти, они воздвигли мнѣ съ дочерью роскошный храмъ въ Элевсинѣ на озаренномъ пылающими свѣточами лугу. Здѣсь мы пѣстуемъ имъ святыя таинства; здѣсь золотая печать сковываетъ уста жрецовъ-Евмолпидовъ. Наше молчаніе—залогъ откровенія; горе тому, кто нарушитъ печать Элевсинскихъ таинствъ!

„И тысячи утомленныхъ стекаются въ Элевсинъ искать

откровенія и отрады въ синемъ сумракѣ моихъ пещеръ, въ торжественныхъ хороводахъ моего озареннаго луга. Паллада мирно взираетъ на мои таинства, навѣки скрытыя отъ ея огненнаго взора; она знаетъ, что ей меня не побороть—мѣдное остріе ея копья разбилось бы о мягкую, но несокрушимую ткань моего покрова.

„Мы не враги. Я охотно уступаю ей все, что горитъ огнемъ стремленія, все, въ чемъ кипитъ надежда и сила; она безъ зависти даетъ мнѣ затеплить синій огонекъ моей тайны для тѣхъ, для кого померкло лучезарное солнце счастья.

„И ты, о Зевсъ, не касайся своимъ перуномъ моего элевсинскаго храма! Пусть въ немъ во всѣ времена ищутъ отрады тѣ, у кого повисли крылья желаній, разбитыя бурей твоей жизни. Если ты разрушишь мой храмъ — воскреснетъ Горгона и ея гады, и всѣ разбитые жизнью усилятъ ея рать; мгла снова пойдетъ на солнце, и солнце не побѣдитъ.—Или ты не знаешь, что они сдѣлали съ моей страдалицей?

„Она была молода и счастлива, и они сказали ей: Ты должна отдать твои серьги, ожерелья и запястья, должна отдать твои шелка и парчи—этого требуетъ *онъ*. Грустная улыбка скользнула по ея устамъ; она отдала имъ все и сказала: да свершится воля *его*!

„Они сказали ей: ты должна отказаться отъ хороводовъ и вечеринокъ, должна сторониться друзей и подругъ, семьи и родныхъ: неустанный трудъ отъ зари до зари отнынѣ твой удѣлъ—этого требуетъ *онъ*. Слезы брызнули изъ ея очей; она положила себѣ на голову глиняный кувшинъ и покорно пошла за водой, говоря: да свершится воля *его*!

„Они сказали ей: ты должна отдать *ему* на закланіе своего единственнаго малютку, завѣтное дитя твоихъ надеждъ; этого требуетъ *онъ*. Румянецъ исчезъ съ ея щекъ, и ея очи потухли; она отдала имъ своего ребенка и шепнула помертвѣвшими устами: да свершится воля *его*!

„И день за днемъ, послѣ зари и передъ зарей, ходила она за водой къ роднику съ тяжелымъ кувшиномъ на головѣ, съ тяжелой думой въ сердцѣ; она работала за прялкой и кроснами, въ огородѣ и у очага; а вечеромъ, склонивъ усталый

станъ надъ пустой колыбелью своего ребенка, она шептала: *Онъ* далъ, *онъ* и взялъ; да свершится воля *его*!

„Но вотъ однажды, у порога ея хижины, ее встрѣтила твоя свѣтлоокая дочь. Безумная! гнѣвно воскликнула она, что сдѣлала ты? Твоя жертва была напрасна: знай, *его*—нѣтъ. Они обманули тебя: есть Зевсъ, богъ радости, разума и любви, но *его*—нѣтъ.

„Она отвѣтила: зачѣмъ ты мнѣ это сказала? Они мнѣ оставили жизнь; ты меня убила. Да будетъ проклятъ безжалостный блескъ твоихъ очей, озарившій мою пустоту!

„Паллада исчезла. Гдѣ нѣтъ боговъ, тамъ рѣютъ привидѣнія: изъ разверзшейся пещеры выползли, одинъ за другимъ, направляясь къ страдалицѣ, три гада. Одному имя было—Раскаяніе, другому—Отчаяніе, третьему—Уничтоженье. Ихъ глаза зловѣще горѣли багровымъ пламенемъ; они медленно приближались къ ней, и она уже чувствовала палящее дыханіе перваго изъ нихъ.

„Тогда я, оттолкнувъ гадовъ, къ ней подошла. Я осѣнила ее своимъ синимъ покровомъ — на нее повѣяло прохладой тайны съ рѣки междумірія, и счастливая улыбка впервые заиграла на ея блѣдныхъ устахъ. Я склонила ея голову себѣ на плечо и, покрывая ее, шепнула ей: засни, утомленная; засни—до утра“.

* * *

Смотри: солнце коснулось своимъ нижнемъ краемъ верхняго края моря; настала торжественная минута разлуки дня съ міромъ. И я водружаю надъ тобой новую скрижаль: эта пятая скрижаль—скрижаль Аполлона.

Оставимъ Деметру и синій покровъ ея тайнъ: онъ тебѣ будетъ нуженъ въ грядущемъ, но не теперь. Ты молода и прекрасна: мнѣ любо смотрѣть на твое свѣжее лицо, облитое румянцемъ заходящаго дня. Такъ нѣкогда Клитія, дѣва-цвѣтокъ, глядѣла вслѣдъ своему любимцу, догоравшему на огненномъ ложѣ волнъ, и лучъ ея взора угасалъ вмѣстѣ съ нимъ.

О, проникнись лучами угасающаго бога! въ нихъ для тебя новая, вѣчная наука. Только тотъ постигъ цѣнность жизни, кому понятна Клитія и ея гордая, ликующая смерть.

„Тебѣ мой возлюбленный!“ говорила она, „приношу я вольный даръ моей души, тобою вызванной къ бытію. Я была цвѣткомъ среди цвѣтковъ; одна лишь душа породы жила во мнѣ. Я не знала, что родилась вчера, не знала, что умру завтра; ровная струя подсознательной жизни уносила меня изъ вѣчности въ вѣчность.

„Да, тихо и ровно текла струя моего бытія. Величайшая радость лишь скользила по ней едва замѣтной зыбью, которую стирало слѣдующее мгновенье; величайшее горе отзывалось въ ней лишь едва слышнымъ стономъ, замиравшимъ въ первомъ вѣтеркѣ. Чѣмъ я была, и была ли я—всего этого я не знала.

„И вдругъ твой лучъ, о мой возлюбленный, коснулся меня; твой голосъ воззвалъ ко мнѣ: познай самоё себя! Я оглянулась на тѣхъ, что тѣснились кругомъ меня, и мнѣ стало ясно: все это была не я. Я посмотрѣла на себя: грань между мною и не мной опредѣлилась, душа личной жизни загорѣлась во мнѣ.

„Ты мнѣ сказалъ: Одумайся! еще есть время. Хочешь ты промѣнять вѣчность подсознательнаго бытія на минуту личной жизни? Я оглянулась назадъ: тихо и ровно текла струя, выбросившая меня на берегъ сознанія; мнѣ стало страшно этой безмолвной вѣчности, и я отвѣтила: да!

„Ты мнѣ сказалъ: Одумайся! еще есть время. До сихъ поръ ни радость тебя не окрыляла, ни горе не бороздило твоего сердца; хочешь ты отвѣдать восторгъ упоеній, окупаемый жгучею болью, мучительными содроганіями души? Я оглянулась назадъ: тихо и ровно текла струя вѣчности, покинутая мною; мнѣ стало страшно ея невозмутимой глади, и я отвѣтила: да!

„Ты мнѣ сказалъ: Теперь ты моя, и вотъ тебѣ мой второй завѣтъ: познавъ себя, будь тѣмъ, что ты есть! Я робко спросила тебя: о милый мой! имѣю ли я право быть тѣмъ, что я есть? Посмотри, сколько сотенъ и тысячъ тѣснятся кругомъ меня: если всѣ захотятъ быть тѣмъ, что они есть—какъ намъ ужиться другъ съ другомъ?

„Ты улыбнулся мнѣ въ отвѣтъ: мое слово, сказалъ ты, не для нихъ, мои лучи не проникаютъ въ глубину полусознательнаго бытія: ты уже была моей избранницей, когда я возжегъ въ тебѣ душу личной жизни. Не заглушай же ея въ себѣ: будь тѣмъ, что ты есть, познавъ себя!

„Это значитъ: будь художницей собственной жизни, собственнаго *я*; мой законъ — законъ гармоніи, законъ красоты: только то хорошо, что даетъ съ твоимъ *я* хорошее, ясное созвучье. Ты сама отнынѣ себѣ мѣрило: дѣлай все, что къ тебѣ идетъ, и другіе покорятся красотѣ и гармоніи твоего *я*.

„И не думай, что мое слово зоветъ тебя на стезю преступленія. Преступленіе несовмѣстимо съ тобой, потому что ты — избранница моя. И мое слово — только для тебя, моей избранницы, а не для тѣхъ сотенъ и тысячъ, что тѣснятся кругомъ тебя. Онѣ его не услышатъ; а если и услышатъ — пусть попытаются: вслѣдъ за ихъ преступленіемъ волна раскаянія опять погрузитъ ихъ въ ту струю, изъ которой имъ никогда не слѣдовало выходить.

„Онѣ будутъ оправданы своими дѣяніями; но твои дѣянія будутъ оправданы тобой. Тебѣ многое дозволено, чего другимъ нельзя.

„Такъ говорилъ ты мнѣ; и я сознала себя избранницей твоей. О, какъ горѣлъ твой лучъ въ моемъ сердцѣ! какъ чувствовала я свою отвѣтственность за то святое пламя красоты, которое ты во мнѣ возжегъ!

„О милый мой! Та личная жизнь, на стезю которой ты призвалъ меня, предстала предо мною въ двойномъ, причудливомъ свѣтѣ. Я часто спрашивала себя: да я ли еще я? Или я — сосудъ избранія, и чужая воля живетъ и волитъ во мнѣ? И я поняла, что въ этомъ отрѣшеніи отъ себя состоитъ высшее осуществленіе личной жизни.

„И для меня стало долгомъ все то, что во мнѣ волила эти воля. Въ началѣ они пытались навязывать мнѣ законы своей нравственности: они называли ее обязательною для всѣхъ, а, стало быть, и для меня. Я смѣялась надъ ихъ назойливостью, и они прокляли меня; я смѣялась надъ ихъ проклятіями, и они покорились мнѣ.

„Глупцы проклинали меня; безумцы мнѣ подражали. Имъ было любо слѣдовать за мною по бѣлой тесьмѣ, перекинутой черезъ пропасть; но тесьма не выносила тѣхъ, кого не окрыляла твоя воля, въ комъ не горѣло пламя твоей красоты, — и они обрушивались въ вѣчный мракъ. А сотни и тысячи ликовали объ ихъ паденіи и возглашали, смѣясь: смотрите всѣ! нравственный законъ торжествуетъ.

„И мнѣ стало страшно лишь одного: какъ бы раньше меня не потухло это святое пламя въ моей груди. Я питала его всѣмъ, чѣмъ оно хотѣло — и радостями, и горемъ. Сотни и тысячи гнѣвно взывали ко мнѣ; что дѣлаешь ты? Сторонись радости: она окупается горемъ. Сторонись горя: оно сокращаетъ жизнь. А я говорила: я сторонюсь лишь покоя — онъ отрицаетъ жизнь... Ко мнѣ, красота радости! ко мнѣ, красота горя! Было бы чѣмъ помянуть жизнь — тамъ, на томъ свѣтѣ!

„И жизнь моя была свѣтла, какъ свѣтелъ путь твоей колесницы на небесной тверди. Про меня пѣлъ влюбленный юноша въ лѣтнюю ночь, повѣряя своей милой тайну своихъ пламенныхъ желаній; про меня баяла старушка за зимнимъ огнемъ, воскрешая предъ внучатами память минувшей весны, а предъ собою — память отцвѣтшей жизни. Я стала Царь-дѣвицей нашихъ пѣсенъ и сказокъ.

„И ты, мой возлюбленный, былъ ко мнѣ милостивъ до конца. Меня освѣжалъ твой первый лучъ, еще влажный отъ ночного дыханія студенаго моря; меня ласкалъ твой послѣдній, прощальный взоръ, готовый потухнуть въ вечерней волнѣ. Твой огонь неугасимо горѣлъ въ моей груди; еще теперь онъ тлѣетъ, и я знаю: его послѣдняя, предсмертная вспышка унесетъ мою душу.

„Прости, мой лучезарный другъ! Еще мгновеніе — и надъ тобой сомкнется синяя пучина моря, а надо мной — синій покровъ богини тайнъ. Я съ благодарностью возвращаю тебѣ сладкій даръ жизни, безъ сожалѣнія о радостяхъ, которыми ты ее надѣлилъ, и безъ упрека за горе, которое ты заставилъ меня испытать. Будь благословенъ, мой другъ — будь благословенъ и прости!“

Такъ говорила дѣва-цвѣтокъ; Клитія, невѣста Аполлона; угасающій лучъ солнца принялъ ея послѣдній поцѣлуй. И тебя, подруга моя, ласкаетъ прощальный взоръ заходящаго бога; но ты молода и свѣжа, и жизненный путь едва начатъ тобою.

Хочешь, чтобы этотъ путь былъ свѣтелъ, такъ же свѣтелъ, какъ и бѣлая тесьма ея благословенной жизни? Хочешь стать Царь-дѣвицей нашихъ пѣсенъ и сказокъ?

Подумай; пока про тебя баютъ другую сказку, и она еще не прожита. Посмотри на западъ: о солнце, пламя обличенія!

Ты знаешь, что эта за сказка? Черная тѣнь мелькнула передъ тобою: хочешь ты, чтобы это было ея послѣднее появленье?

Какъ весело играетъ вечерній вѣтеръ твоими русыми кудрями; какъ ярко горятъ они, развѣваясь, въ багровыхъ лучахъ заходящаго солнца! Да, свѣтлый богъ, прощаясь, благословляетъ тебя на твой жизненный путь.

Подруга моя! хочешь ты быть достойной благословенія бога? Смотри: весь огненный шаръ уже погрузился, только верхній его край еще виднѣется надъ верхнимъ краемъ волнъ. Пока тебя еще ласкаетъ его прощальный лучъ, стряхни ярмо робости, кликни ему: да, хочу!

* * *

Солнце зашло: посмотри, какими чудными переливами алѣетъ надъ рубежомъ волнъ его огненное дыханіе! Скоро и оно угаснетъ; небо темнѣетъ, на его южномъ склонѣ золотой Гесперъ затеплилъ свою тихую лампаду. Гесперъ прекраснѣйшая изъ звѣздъ—Гесперъ, сопрестольникъ Афродиты—такъ называлъ его народъ-избранникъ боговъ.

Да, подруга моя; золотой лучъ любви запылалъ надъ нами на синемъ покровѣ ночного неба. И я водружаю надъ тобою новую скрижаль: эта шестая скрижаль—скрижаль Афродиты и ея таинствъ.

Ей служили когда-то на цвѣтистыхъ лугахъ подъ прозрачной сѣнью миртовыхъ бесѣдокъ. Тутъ ея прислужницы, теплой весенней порой, созывали ея юныхъ поклонниковъ на веселый всенощный праздникъ: „завтра люби, кто любви не позналъ; а кто ее знаетъ — завтра люби!“ Это было давно — теплой весенней порой жизни нашей породы.

Подулъ самумъ съ востока, и поблекли цвѣты луга Афродиты; пали наземь, изсушенныя зноемъ, зеленыя вѣтви ея миртовыхъ бесѣдокъ. Начался мартирологъ любви.

Другіе были изгнаны; ее взяли въ плѣнъ. Ее проклинали съ амвоновъ, ее распинали и жгли на городскихъ площадяхъ; ее волочили по домамъ разврата, гдѣ отверженцы жизни изрыгали предъ ней пьяную грязь своихъ блудныхъ похотей; ее облекали въ отвратительное рубище и привязывали къ позорному столбу, восклицая: смотрите всѣ! вотъ она,—ваша прославленная любовь!

Она все выносила въ горделивомъ спокойствіи и говорила своимъ мучителямъ: на васъ мой позоръ и на дѣтей вашихъ! Я—вѣчно чиста и прекрасна; но дряблѣетъ станъ и сохнетъ рука у того, кто посягаетъ на Зевсову дочь Афродиту.

Она все вынесла; но она стала другой, чѣмъ была нѣкогда среди миртовыхъ бесѣдокъ своего цвѣтистаго луга. И тѣ, кто къ ней приближается теперь, рѣдко видятъ улыбку ласки на ея божественныхъ устахъ, рѣдко слышатъ ея упоительный зовъ: „завтра люби, кто любви не позналъ; а кто ее знаетъ—завтра люби!“

„А, ты хочешь любви; но кто тебѣ сказалъ, что ты имѣешь право любить?

„Ты молодъ и силенъ; возьми этотъ камень, брось его вверхъ,—туда, вслѣдъ улетающей птицѣ. Смотри, какъ онъ понесся къ облакамъ! какъ онъ стремительно летитъ, точно не предчувствуя близкаго паденія! Вотъ онъ остановился: здѣсь раздѣлъ между восходящей и нисходящей вѣтвью его полета; но пока я говорю, онъ успѣлъ упасть и тяжело грохнуться о землю.

„А ты, мой другъ, что̀ собой представляешь,—восходящую или нисходящую вѣтвь жизни? Замѣть: я дочь Зевса, духа вертикали; я только тѣмъ улыбаюсь, въ комъ вижу порывъ восходящей жизни.

„Ты обидѣлся: я молодъ и силенъ, говоришь ты. О другъ мой! а увѣренъ ли ты, что не былъ старцемъ еще въ колыбели?

„Твой дѣдъ былъ прекрасенъ и могучъ; въ немъ жилъ порывъ восхожденія, который бы его вознесъ къ облакамъ. Но онъ его заглушилъ въ пьяной грязи своихъ блудныхъ похотей; онъ былъ раздѣломъ между восходящей и нисходящей вѣтвью вашей породы.

„Я—та, что «на жужжащемъ станкѣ времени ткетъ живую ризу божества». Я сплетаю лучшія единицы и изъ нихъ вывожу вѣчную нить породы. Какое мнѣ дѣло до тебя? Тебя я отвергла. Ты былъ старцемъ еще въ колыбели; не для тебя—любовь. Иди—умри бездѣтнымъ, во избѣжаніе худшаго зла: не сына, проклятіе родишь ты себѣ.

„И тебя также, о второй мой другъ, я съ болью въ сердцѣ отвергла. Твой отецъ былъ первымъ среди мудрецовъ; но ради науки онъ забылъ все въ мірѣ и сталъ раздѣломъ обѣихъ вѣтвей вашей породы. Тебѣ онъ передалъ свой пытливый умъ, свою беззавѣтную преданность разуму. Свѣтъ Паллады сіяетъ на твоемъ челѣ, огонь Паллады горитъ въ твоихъ впалыхъ глазахъ; служи ей и впредь—она окружитъ тебя почетомъ и славой, но мои розы не для тебя.

„И ты тоже, о мой третій другъ, оставь мою свиту. Ваша порода давно уже нисходитъ: въ тебѣ она дала свой послѣдній отпрыскъ, нѣжный и мягкій, съ печатью неземной доброты на твоихъ тонкихъ, грустныхъ устахъ. Служи Деметрѣ; она сдѣлаетъ тебя богомъ для людей и ласково тебя осѣнитъ своимъ синимъ покровомъ, когда мятежные сны о веснѣ вашей породы придутъ тревожить осеннюю дрему твоего сердца.

„Гдѣ вы, могучіе и смѣлые,—гдѣ вы, избранники мои? Я ищу васъ глазами среди этихъ сыновъ равнины—и едва нахожу немногихъ между многими. О дряблое племя! Недаромъ вы въ теченіе вѣковъ жгли и распинали Зевсову дочь Афродиту и топтали въ грязь ея божественные дары!

„Но я слышу, вы ропщете. Знаю: вы раздѣлили свою равнину на мелкіе участки, объявивъ преступникомъ того, кто преступитъ ваши межи и канавки. Вы и любовь размежевали: одного для одной, одну для одного, чтобы хватило на всѣхъ—вотъ ваша высшая справедливость. Такъ вы, не спрашиваясь меня, подѣлили мои дары!

„Вы меня распинали и жгли: я смотрѣла на хитрую сѣть вашихъ межей и канавокъ, и дикій хохотъ пробивался чрезъ боль моихъ мученій. О безумцы, безумцы! Не спросясь меня, дѣлить мои дары!

„Мое проклятіе поражало васъ въ вашихъ дѣтяхъ, и вы не хотѣли опомниться. Вы удивлялись росткамъ уродства, слабоумія и преступности на столь старательно размежеванныхъ вами участкахъ; вы строили для нихъ больницы, убѣжища и тюрьмы и тщетно старались исцѣлить и обезвредить то, что слѣдовало предупредить.

„Что дѣлали ваши врачи? Отчего они не учили васъ предупреждать нисхожденіе породъ? Но нѣтъ: они учили васъ сохранять въ живыхъ ваши отверженныя мною отродья и робко повторяли вашъ девизъ: одну для одного, чтобы хватило на всѣхъ.

„Неправда, неправда! ни одной для одного, если онъ отверженъ мною; вотъ вамъ мое слово! А мое слово—рокъ; тотъ рокъ, что хотящихъ ведетъ, а нехотящихъ волочитъ.

„А, вы остолбенѣли. Вижу, вы поняли, что́ я сказала, и еще лучше поняли то, чего я не сказала. И сотни рукъ угрожаютъ мнѣ: сгинь, дьяволица! О да, я васъ знаю; мой мартирологъ еще не конченъ. Ваши костры горѣли когда-то для еретиковъ вѣры; они горятъ и понынѣ для еретиковъ любви.

„И все же вы мнѣ сноснѣе тѣхъ другихъ сотенъ и тысячъ, что мнѣ радостно рукоплещутъ теперь, понявъ по-своему смыслъ моего молчанья. Какъ мнѣ противны ихъ гадкія улыбки, какъ противно любострастное морганіе ихъ слизкихъ, блудливыхъ глазъ! Подите прочь! какое мнѣ дѣло до васъ и вашихъ грязныхъ похотей?

„И какое вамъ дѣло до меня? Моя любовь—любовь красоты; моя красота—красота здоровья и силы, красота восходящей жизни. Я сплетаю своихъ избранниковъ алой тесьмой зиждительной любви.

„Зачѣмъ забыли вы слово моей пророчицы, вдохновенной Діотимы? «Любовь есть жажда рожденія въ красотѣ». А если это такъ, то что же такое красота?

„Знаете вы, что̀ говоритъ жгучій взоръ страсти моего избранника, покоящійся на его милой? Онъ самъ этого не знаетъ, но этотъ взоръ говоритъ: ты—та, которой суждено родить мнѣ завѣтное дитя моихъ надеждъ!

„И знаете вы смыслъ ея дѣвичьяго румянца, отвѣчающаго на взоръ его страсти? Онъ ей самой непонятенъ, но этотъ румянецъ говоритъ: ты—тотъ, отъ котораго мнѣ суждено родить завѣтное дитя моихъ надеждъ!

„Какое вамъ дѣло до всего этого? Гдѣ нѣтъ боговъ, тамъ рѣютъ привидѣнія. Ваша любовь—послѣднее издыханіе пораженной жизни, послѣдній чадъ догорающей свѣчи, послѣдній грошъ промотавшагося дармоѣда; ваша красота—чахлый пустоцвѣтъ, уродство отверженья. Подите прочь!—А вы, проклинающіе меня, выслушайте дьяволицу и запомните ея слова.

„Я сплетаю избранныя единицы и вывожу изъ нихъ вѣчную нить породы: но эти единицы я беру отовсюду. Слышите? Отовсюду, откуда мнѣ вздумается. И я смѣюсь, когда моя могучая поступь сметаетъ сотни вашихъ межей, засыпаетъ сотни вашихъ канавокъ. И тщетны будутъ ваши кары моимъ избранникамъ: въ своихъ дѣтяхъ найдутъ они оправданіе свое.

„Ройте, мѣрьте; старайтесь, не спросясь меня, дѣлить между собою мои дары по близорукимъ разсчетамъ вашей справедливости; въ своихъ дѣтяхъ найдете вы осужденіе свое. Ройте, мѣрьте; отъ моего слова вы все-таки не уйдете; мое слово— тотъ рокъ, что хотящихъ ведетъ, а нехотящихъ волочитъ".

Такъ говорила своимъ хулителямъ и отверженцамъ дочь Зевса; такъ рокоталъ ея голосъ изъ-за тучи гнѣва, нависшей надъ ея черными бровями... Ты удивлена, подруга моя? Тебѣ не вѣрится, чтобы это была она—кроткая богиня нѣги, вѣчно улыбающаяся владычица любовныхъ чаръ?

Я пересказалъ тебѣ ея грозное слово своимъ хулителямъ и отверженцамъ; но могу ли я пересказать тебѣ то, что отъ нея слышатъ ея избранники? Взгляни на ея предвѣстницу, золотую звѣзду на южномъ небосклонѣ; пусть ея тихое, кроткое сіяніе озаритъ твою душу. Она явственно шепчетъ тебѣ: „завтра люби, кто любви не позналъ; а кто ее знаетъ—завтра люби!"

* * *

Синій покровъ молчаливой богини сомкнулся надъ нами; тысячью глазъ смотритъ на насъ Тайна съ нетлѣнныхъ высотъ синяго неба. Меня смущаетъ ея строгій повелительный взоръ; я знаю, что долженъ водрузить надъ тобою еще одну новую скрижаль; эта седьмая и послѣдняя скрижаль — скрижаль Діониса.

Мое сердце горитъ при его имени, имени любимца моей души; смутное чувство, сладкое и страшное, вскипаетъ съ его глубины и тщетно ищетъ образа, чтобы воплотиться въ немъ. И все же мы не должны упускать этой минуты: теперь Діонисъ намъ ближе, чѣмъ когда-либо раньше. Онъ—духъ примиренія неба и земли; ему служили на святыхъ полянахъ горъ, подъ сверкающимъ покровомъ Тайны въ тихую весеннюю ночь.

Служили—ты знаешь, кто? Служила она, красавица юга, вожделѣнная дочь голубыхъ морей; но еще раньше служили ему—сыны нашей земли. Онъ—наше родное божество; онъ къ намъ вернулся изъ купели голубыхъ морей, и мы его не узнали въ его сіяющей, божественной красотѣ. Но онъ взглянулъ на насъ глубокимъ взоромъ своихъ томныхъ очей—и чувство признанія, сладкое и страшное, наполнило наше сердце.

О могучій взоръ! Онъ манитъ мою душу изъ предѣловъ видимости въ невѣдомое, несказанное и несомнѣнное; онъ будитъ тайну сущаго бытія, дремлющую въ вѣщей глубинѣ моего сердца. Онъ разрываетъ покровъ сознанія, сдерживающій мое я въ его ясно очерченныхъ границахъ; я чувствую, какъ оно расплывается, возсоединяется съ великою Сутью, отъ которой оно отдѣлилось для кратковременной личной жизни.

Нѣтъ болѣе пространства и его границъ; нѣтъ болѣе времени и его предѣловъ. Все, что когда-либо было чуднаго въ моемъ прошломъ, всѣ чаянія будущаго счастія, весь восторгъ гордыхъ обѣщаній, собранный молодой жизнью моей породы и таящійся въ заповѣдныхъ нѣдрахъ моего естества—все это зашевелилось, пробужденное взоромъ Діониса. О упоительное мгновеніе, полное блаженства вѣчной цѣпи вѣковъ!

Подруга моя! ты хочешь, чтобы я повѣдалъ тебѣ тайны Діониса? Дай мнѣ руку: пусть мѣрный волнобой моей крови сообщится тебѣ; тогда ты безъ словъ поймешь то, что я хотѣлъ бы тебѣ сказать.

Смотри какъ повелительно, тысячью своихъ страстныхъ очей, смотритъ на нашу гору небесная твердь. „Да проснись же, гора!" говоритъ она ей: „тотъ навѣки заснулъ, кто не проснется теперь".

Теплый ночной вѣтерокъ подулъ съ моря, насыщенный тайной сущаго бытія. Какъ расширяется моя грудь, вдыхая его благовонія! какъ сладко теряется образъ сознанія въ его опьяняющей нѣгѣ! Да, этотъ вѣтерокъ—дыханіе Діониса; онъ явственно шепчетъ мнѣ: „Да растворись же, душа! тотъ навѣки окоченѣлъ, кто не растворится теперь".

Ты здѣсь еще, подруга моя? Я чувствую жаръ твоей руки, вижу смѣющійся блескъ твоихъ очей черезъ прозрачную дымку мерцающей ночи. Но со мной ли душа твоя, или

во мнѣ—я не знаю. Да, я вижу и нашу гору: огромнымъ призракомъ выступаетъ она изъ тумана пропасти, въ которой потонули и равнина и море. Но на ней ли я, или надъ ней — я не знаю.

Сильнѣе подулъ теплый вѣтеръ съ моря, полный нѣги Діониса; мощнѣе звучитъ его страстный призывъ: „Да колыхнись же, гора! тотъ навѣки застылъ, кто не колыхнется теперь“.

Теперь, теперь... почему теперь? О да, мы забыли: сегодня — первая ночь мая, ночь свадьбы неба и земли; сегодня — праздникъ Діониса, примирителя неба и земли. Насъ осѣнила ночь чудесъ, поднимающая завѣсу бытія для избранниковъ Діониса.

Во всѣ времена тянуло ихъ въ эту ночь къ святымъ полянамъ нетлѣнныхъ горъ для службы Діонису; мать-Земля, въ восторгѣ весенняго упоенія, отступалась отъ своихъ правъ на нихъ; свободные отъ ея тяги, они блаженно рѣяли въ пространствахъ подлуннаго міра, обнимаясь съ ночными вѣтрами, летучей свитой Діониса. На утро они возвращались къ своимъ очагамъ, съ загадочной улыбкой знанія на сомкнутыхъ устахъ. Слѣпая чернь ихъ сжигала изъ зависти къ ихъ знанію; но всѣ мученія казни не могли пересилить блаженства той ночи чудесъ, и они умирали съ блескомъ Діониса въ своихъ вѣщихъ очахъ...

Смотри! гора всколыхнулась... или это заволновался туманъ, окутавшій ея призрачныя очертанія? Что за странный туманъ! смотри, какъ онъ тянется къ намъ изъ глубины пропасти, въ которой потонула равнина, какъ онъ ползетъ, точно исполинскій змѣй... или это подлинный змѣй? Смотри, какъ горятъ его багровые глаза, какъ сверкаетъ его серебристая чешуя... Нѣтъ! это огни Діониса озарили святую поляну на склонѣ горы. Это его избранники, со свѣточами въ рукахъ, приближаются къ намъ, справить священныя оргіи въ его честь.

Чу! Ты слышишь ихъ пѣснь? Точно вся радость возрожденной земли стала звукомъ и разливается, ликуя, во влажной теплотѣ ночного эѳира. — Ты видишь ихъ? Что за красота! Точно вся юность возрожденной земли стала образомъ

и воплотилась въ этомъ сонмѣ избранниковъ и избранницъ Діониса.

Ты здѣсь еще, подруга моя? Я чувствую жаръ твоихъ пылающихъ щекъ, я вижу сіяніе на твоихъ русыхъ кудряхъ... Откуда это сіяніе? Или это Сѣверный Вѣнецъ, свадебный даръ Аріадны, оставилъ сверкающую твердь и спустился къ тебѣ, чтобы увѣнчать твое юное чело? Да и та ли ты, что была прежде? Нѣтъ! Царственнымъ величіемъ дышатъ твои сверхземныя черты. Теперь только стала ты той, которой тебѣ суждено было быть: слава тебѣ, невѣста Діониса!

Ближе и ближе къ намъ тянется свита благословеннаго бога. Гора проснулась; тысячью свѣточей отвѣчаетъ она на огненный привѣтъ небесной тверди.

Громче и громче раздаются ликованія діонисовой пѣсни подъ глухой шумъ тимпановъ и звонкіе переливы флейтъ. Скоро они будутъ здѣсь; скоро вся гора закружится въ бѣшеной пляскѣ діонисовыхъ хороводовъ.

Ночь чудесъ наступила. Я умолкаю; пусть самъ Діонисъ доскажетъ тебѣ свою скрижаль...

* * *

Ночь чудесъ прошла. Мы опять на равнинѣ. Сквозь предразсвѣтный туманъ видны очертанія хижинъ; здѣсь отдыхаетъ, въ ожиданіи скораго пробужденія, вѣковой трудъ равнины и ея сыновъ.

Какъ мы спустились? Не знаю. Такъ, какъ спускается влага собравшейся въ вышнихъ тучи. Тебя давно тянуло къ равнинѣ; помнишь? Ты хотѣла отдать, когда тебѣ нечего было отдавать. Теперь ты богата: ты не забыла науки горы? Теперь ты можешь, ты должна отдать.

Востокъ зардѣлся алой зарей; нашъ сіяющій другъ посылаетъ впередъ свое огненное дыханіе возвѣстить о своемъ приближеньи. Еще часъ — и царственное свѣтило побѣдоносно взойдетъ надъ землей; прерванное дѣло жизни начнется вновь.

Равнина ждетъ; и всѣ горы и долы кругомъ ждутъ вмѣстѣ съ ней. Ты не забыла, что обѣщала утолить ихъ вѣковую жажду? Еще часъ выжидающей дремоты; а затѣмъ—

А затѣмъ — твое слово, моя царица; третье слово вожделѣнной свободы—слово славянскаго возрожденья!

6 марта 1905 г.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ПРИЛОЖЕНІЯ.